



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России
ООО "ИПО писателей"

Международный фонд
славянской письменности
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,
А. В. ВОРОНЦОВ,
В. Н. ГАНИЧЕВ,
Г. Я. ГОРЬОВСКИЙ,
Т. В. ДОРЕНИНА,
С. Н. ЕСИН,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
М. П. ЛОБАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
В. Д. ПОПОВ,
В. Г. РАСПУТИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
С. А. СЫРНЕВА,
А. Ю. УБОГИЙ,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ

Проза

- Андрей ТИМОФЕЕВ
Медь звенящая. Повесть 11
- Олег КУИМОВ
Крест. Рассказ 52
- Александр АНТОНОВ
Маленький рассказ
про дом на горе. Рассказ 67
- Юрий УБОГИЙ
Время вокзала.
Дневник писателя 79
- Андрей БЕЛОЗЁРОВ
Приднестровские легенды.
Рассказы 134

Поэзия

- Иван ПЕРЕВЕРЗИН
Никогда нас судьба не разлучит
(С предисловием Ст. Куняева) 3
- Олег КОЧЕТКОВ
За эту небесную цель 50
- Новелла МАТВЕЕВА
В огороде бузина 62
- Борис ОРЛОВ
Воспоминания
о девяностых годах 76
- Николай ИВЕНШЕВ
Лейтенант Нарижняк 131

Память

- Александр ОСМОЛОВСКИЙ
Этот новый древний
вид искусства 269

Очерк и публицистика

- Сергей ГЛАЗЬБЕВ
Как не проиграть в войне 147
- Сергей АЛЕКСЕЕВ
Засадный полк 166
- Лидия СЫЧЁВА
Без мужчин народ не народ 172
- Елена ТУЛУШЕВА
Что говорит и о чём
умалчивает Е. Ройзман? 180

Редакция

Приемная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
зам. главного редактора —
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47

С. С. Куняев —
*зав. отделом критики,
отдел поэзии* —
(495) 625-02-81

Отдел публицистики —
(495) 625-30-47

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71,
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —
зав. техническим центром —
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Александр СМОЛКО
Победа — одна на всех 186

Камиль ЗИГАНШИН
Через Огненный пояс 193

Критика

Инна РОСТОВЦЕВА
Лермонтовский элемент 217

Георгий АБСАВА,
Николай БУРЛЯЕВ
Кто убил Лермонтова? 225

Андрей РУМЯНЦЕВ
"Мелькают образы
бездушные людей..." 239

Александр ВОДОЛАГИН
Прирождённый метафизик 253

Альберт ЛИХАНОВ
Солдат незримого полка
*К 90-летию поэта
Овидия Любовикова* 257

Максим ЕРШОВ
Тихая честь 263

Книжный развал

Станислав ЗОТОВ
В сердце Руси — Коломна 267

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов

Операторы: Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, А. А. Ручица

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Подписано в печать 01.10.14. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 3114. Тираж 7500 экз.

Адрес редакции: Москва, 127994, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес электронной почты: n-sovrem@yandex.ru

Рукописи по электронной почте не принимаются)

Адрес сайта в интернете: www.nash-sovremennik.ru

Отпечатано в ОАО "Красная Звезда", 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62 www.redstarph.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

“КТО УСТОИТ В НЕРАВНОМ СПОРЕ...”

Древняя истина гласит: когда гремят пушки, то музы молчат. Это справедливо, в случае если речь идёт о борьбе за место под солнцем многих государств и народов, но только не России, которая всю свою историю подвергалась войнам и нашествиям, накатывавшимся на неё с Запада, с Востока, с Юга... Разве что с Северных льдов никто не нападал. По приблизительным подсчётам историков, Россия за последнее тысячелетие претерпела около ста шестидесяти больших и малых войн, из которых несколько называлось “нашествиями”. Татаро-монгольское нашествие, польско-шведское, наполеоновское, нашествие Антанты, нашествие гитлеровской фашистской Европы... Ни в одном европейском языке, кроме русского, понятия “нашествие” нет. И, наверное, потому у русского народа за многие века естественно выработалось оборонное сознание, отразившееся в великой русской литературе, о чем свидетельствуют “Слово о полку Игореве” и “Задонщина”, пушкинская “Полтава”, толстовские “Война и мир” и “Севастопольские рассказы”, “Тихий Дон”, блоковские “Скифы” и “Василий Тёркин” Твардовского, “В окопах Сталинграда” Некрасова и “Горячий снег” Бондарева... Всего не перечислить. А если пушкинский “вещий Олег” снаряжал свою дружину, чтобы наказать “неразумных хазар”, то это был лишь ответ русичей за “буйный набег” южных соседей на русские земли. А если качели войны забрасывали наших солдат в Париж или Берлин, в Будапешт, в Бухарест, в Прагу, Вену и прочие столицы Европы, то надо помнить, что не мы раскачивали эти качели. Колонизаторами мы никогда не были. Но если нас припирали к стенке так, что дальше некуда – тогда в русских душах рождались бессмертные строки: “Ни шагу назад!”, “Позади Москва!”, “За Волгой для нас земли нет!”, “Убей его!”. Традиция эта глубока, и неудивительно, что именно такими чувствами и мыслями переполнены стихи современных поэтов, отразивших начало Третьей мировой войны, развернувшейся в последние месяцы 2014 года на просторах Новороссии. Стихи Юнны Мориц и Новеллы Матвеевой, Геннадия Иванова и Владимира Скифа, Юрия Тюленева и Владимира Бушина, Александра Боброва и Вадима Негатурова, сгоревшего в одесском аду, продолжили традицию русской “оборонной поэзии”, берущей начало от Пушкина, Жуковского, Дениса Давыдова – певцов “во стане русских воинов”. А недавно в “Наш современник” принёс стихи о русско-украинской трагедии, исполненные отчаяния и веры, горечи и надежды, любви и ненависти, постоянный автор журнала Иван Переверзин, известный поэт, сын солдата Великой Отечественной Ивана Переверзина...

Европа. Славянщина. Россия... Вот уже несколько веков наши вожди, наши пророки, наши философы и поэты пытаются понять сущность и связь этих исторических материков.

Что их объединяет и что их разводит? Как нам жить – врозь или вместе? Во вражде или в единстве?

Одним из первых этот роковой вопрос поставил перед нами Александр Пушкин:

*Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный рос?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? Вот вопрос.*

Но “польский ручей” – тоже славянский, а потому вспомним слова “ополченца” Тараса Бульбы: “Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?”

Фёдор Тютчев на новом историческом рубеже повернул пушкинскую государственную мысль иной гранью – православно-христианской:

*Из переполненной Господним гневом чаши
Кровь льётся через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! —
Славянский мир, сожмись тесней...*

*Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью...
Но мы попробуем спаять его любовью, —
А там увидим, что прочней...*

“Оракул наших дней” у Тютчева – это Бисмарк, предшественник Ангелы Меркель и Петра Порошенко, пытающихся объединить Украину и Малороссию с Западом “железом и кровью”. Но не получается у них такая спайка! Однако даже у России, во все времена возлагавшей на весы истории не только “железо” и “кровь”, но и любовь евангельскую, у России, спасавшей братьев украинцев от немцев и ляхов, а братьев болгар от не менее воинственных турок, не получалась прочная спайка славянского мира. Почему?

А на этот вопрос с бесстрашием истинного пророка ответил Фёдор Достоевский в статье “Одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно хотелось сказать”.

Достоевский понял, что наши западные и восточные славяне, за исключением белорусов, давно уже не достойны тех жертв, которые приносила на алтарь славянского единства Россия. Что же она получает в ответ от спасённых ею меньших братьев? И Достоевский предупреждает:

“Особенно приятно будет для освобождённых славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия – страна варварская, мрачный северный колосс, гонитель и ненавистник европейской цивилизации”.

Как это ни горько, но надо признать, что на “славянское единство” Фёдор Михайлович ещё в “золотом” XIX веке смотрел трезвее и глубже Пушкина с Тютчевым, что было подтверждено и в наше время, когда дважды спасённые от турецкого и от немецкого рабства болгары после гибели Советского Союза с удовлетворением заявили на весь мир, что им “дважды в истории не повезло с освободителями”. А некогда верные России сербы, из-за которых она вступила в роковую войну 1914 года и которых освободила в 1945-м, прогнулись в те же 90-е годы перед Западом и выдали ему на расправу своих героических сыновей – Милошевича, Караджича, Младича... А что уж говорить о вечных раскольниках славянства – о мусульманских боснийцах и окатоличенных хорватах! Или о чехах – дважды топтавших русскую землю – сначала в Первую мировую и в Гражданскую войну, а потом воевавших на Восточном

фронте в танковых экипажах Манштейна и Гудериана. И после этого чехи никак не могут забыть наше вторжение в Прагу летом 1968 года! Тогда нам хватило силы сделать решительный шаг, которого летом 2014 года ждали сыны и дочери Новороссии. Тогда мы не боялись Запада.

После мыслей Пушкина, Тютчева и Достоевского о славянском единстве весьма любопытными были суждения о славянском единстве Иосифа Сталина, которые вспоминает в мемуарной книге соратника Иосифа Броз Тито Милован Джилас:

“Он без подробных обоснований изложил суть своей панславистской политики:

– Если славяне будут объединены и солидарны – никто в будущем пальцем не шевельнёт!

Кто-то высказал мысль, что немцы не оправятся в течение следующих пятидесяти лет. Но Сталин придерживался другого мнения:

– Нет, оправятся они и очень скоро. Это высокоразвитая промышленная страна <...> лет через двенадцать-пятнадцать они снова будут на ногах. И поэтому нужно единство славян. Если славяне будут едины – никто пальцем не шевельнёт!”

Однако великий реалист и великий политик ошибался. Уже в эпоху Хрущёва и Брежнева в славянском единстве появились “югославские” и “чехословацкие трещины”, о чём догадывался Достоевский. А через 70 лет после “сталинского единства славян” для России наступил последний акт славянской драмы, разыгравшейся сегодня на Украине.

* * *

Все поэтические отклики современных вышеназванных поэтов есть нечто большее, нежели просто стихи. Это открытая прямая речь, несогласие с единством, построенным на “железе и крови”, это вера в то, что Бог не в силе, а в правде, это последняя опора на Любовь и Милосердие, благодаря которым мы лечим, кормим и отпускаем к своим семьям украинских горе-воjak, попавших в плен, пытаемся пробудить в них чувства, которыми живём сами, чувства, которые продиктовали Владимиру Путину слова, сказанные им во время встречи с молодёжью на озере Селигер: “Что бы там ни говорили, но я думаю, что русские и украинцы – один народ”. Мысль простая, но не оставляющая камня на камне от убеждений Бандеры и Шухевича, Порошенко и Яроша.

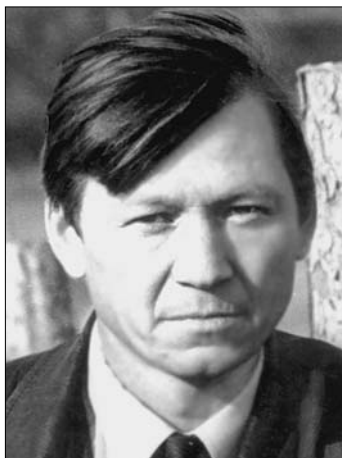
Такой же высокой простотой и верой дышит каждая строчка поэтического дневника Ивана Переверзина, предки которого в начале прошлого века переселились в Сибирь из Украины. Он тоже имеет право сказать: “русские и украинцы – один народ”. А на поэтическом языке добавить:

*Мои далёкие предки родились и жили на Украине,
А я с родителями в вечной святой России.
На чьей стороне я должен стоять отныне,
Подхваченный волной народной стихии?!*

Времена меняются с невиданной быстротой. Ни Пушкин, ни Достоевский, ни Тютчев, ни Сталин не помогут нам сегодня развязать “славянский узел”. Вся надежда на Господа Бога и на нас самих. Как говорится: “на Бога надейся, а сам не плошай”.

Ст. Куняев

ИВАН ПЕРЕВЕРЗИН



НИКОГДА НАС СУДЬБА НЕ РАЗЛУЧИТ...

* * *

Россия много лет — молчала,
порой казалось, что она
себя в метаньях потеряла, —
как кое-кто, слепа, пьяна.

Но хорошо, что только мнилось,
на самом деле по чуть-чуть
она сбиралась с новой силой,
чтоб выйти на рассветный путь.

И вышла, на весь мир об этом,
как прежде, твёрдо заявив,
отринув напрочь все наветы,
враз нападения все отбив.

И слава ей, а вместе с нею
и кормчему, что на глазах
державно рос, храня идею,
храня за совесть, не за страх.

* * *

Война идёт без всяких правил:
свой колошматит своего...
Кого-то это позабавит,
А я немею от того!

И вот что бесконечно грустно —
своё проклятье, свою боль —
народы возвели послушно
в ранг, именуемый — судьбой.

* * *

Расстреливать мечту народа своего —
во имя — денег, славы, власти?
Нет, лучше вы меня убейте самого
в своей безумно дикой страсти!

Я знаю, что у каждого своя
была и, к сожаленью, будет правда.
Но истина одна — её услышал я:
нет у зверья ни Господа, ни Завтра!

* * *

А жизнь продолжается, как продолжается подлая смерть,
и я — не пытаюсь спрашивать, где сегодня страшнее —
везде проливается кровь, от взрывов содрогается твердь,
по которой ползут, как змеи, в грязи и воде, траншеи.

И не хочу рассуждать, кто больше в трагедии виноват, —
сегодня важно как можно скорей прекратить её разрастанье,
в конце концов, мы — люди, должны понимать, что в ад
успеем, но можем спастись от Божьего наказания...

БРАТЬЯМ

Вы стойте! Вы не одни, Русь с вами,
хоть и разделяет нас — граница.
Только если что, — то скажем прямо:
перейдём её, чтобы вместе биться

с нашими заклятыми врагами —
и тогда, скрепляя дружбу кровью,
сможем водрузить победы знамя
над землёй славянской с вечной новью.

Это значит, — говорить по-русски, —
не боясь, что бросят за решётку.
Это значит, — в радости и грусти
жить свободно — по любви и долгу.

ЛЁТЧИКИ-УБИЙЦЫ

Боже мой! Совсем умом рехнулись —
с воздуха — ракетой — по своим!
Только вихри пламени взметнулись,
и застлал всё небо чёрный дым.

Ни сынка, ни дочку в путь последний
в страшном горе не проводит мать, —
пепел-прах их где-то за деревней
оседает, чтоб травую стать...

Лётчики-убийцы, в жизни этой
как, лишившись чести, вам служить?!
Выход есть, он прост — из пистолета
пулю в лоб при всех себе пустить.

СЛАВЯНСКИЙ ДУХ

До крови, как враги, воюем...
А может, мы и впрямь враги?
Да кем бы ни были, взыскуем
мы к Богу — жизни помоги!

Но Бог молчит, не отвечает, —
и друг за другом гибнем мы.
А недруг истинный считает,
что в наших душах мало тьмы.

Добавить бы ещё — и точно,
пусть в одном месте, но славян
не будет... и с кровавой ночью
славянский дух уйдёт в туман...

Какая участь! Неужели
нам не взорвёт она мозги,
чтоб вдруг понять на самом деле:
мы не враги! мы не враги!

СВОИ ВРАГИ

Не изменю душе вовек,
как человеку человек...
Вооружившись, — чем смогу, —
я снова дам отпор врагу.

И что мне смерть, когда кругом
земля объята злым огнём,
когда вчерашние свои —
по локти самые в крови!

В крови братьев и сестёр!
Какая боль! Какой позор!
Но что с предавших душу взять —
неужто нам их убивать?

* * *

Бьют по Луганску так, что горит небосвод...
И кто же? Свои! О, горе какое, — Боже! —
для многих, в ком славянская кровь течёт...
Но духом мы падать не будем всё же.

Поставим в храме по всем убиенным свечи,
они геройски погибли в неравном бою.
А тех своих — не своих, мы запомним навеки,
чтоб по праву судить на самом последнем краю...

* * *

Удалось двух братьев столкнуть...
Молодцы, ничего не скажешь.
Только мы не такую жуть
сдуру знали у зла на страже...

Но ведь выжили! И с каким
вдохновением жизнь стали строить —
и построили третий Рим —
вот такие мы все герои!

И сегодня, пусть через боль,
через кровь, через зло, через горе, —
вновь пройдем — и станем собой —
на святом славянском соборе!

* * *

Воевать с “москалями” — себе дороже.
Но “хохлы” лезут драться, как дураки, —
и славянская, братская кровь, о, мой Боже! —
лётся и лётся, ясному разуму вопреки.

Мои далёкие предки родились и жили на Украине,
а я с родителями — в вечной, святой России.
На чьей стороне должен стоять я отныне,
подхваченный волной народной стихии?!

Ни на чьей! Никогда нас судьба не разлучит —
поскольку известно, что на свете любая война
заканчивается, — как верно история учит, —
переговорами и миром на долгие времена.

К РАЗУМУ ЕВРОПЫ

Семьдесят лет без малого все люди планеты думали,
что с фашизмом справились пусть не сразу, но навсегда,
однако ошиблись, причём, сильно — и стали угрюмыми,
ведь на наших глазах новорожденных нацистов орда,
одетая в униформу чёрную, как смерть поганая,
марширует по улицам, оскверняет памятники и погосты
великой Европы, у которой душа израненная,
но лишь по своей вине — из-за похода “Нах остен!”,
тем не менее, не возмущается, — можно подумать, сама
жаждет и жаждет реванша, — не понимая, что это
обернётся могилой, о которой думать — сходить с ума,
но пока в разуме, пусть призовёт нацистов к ответу,
или вместе с ними, как фюрер — мечтатель побед
всемирных, будет на этот раз разбита непоправимо,
сколько б “зелени” ни дал так называемый Новый Свет,
бомбы которого убивали Нагасаки и Хиросиму...
Мы, внуки и правнуки тех героев, что на Рейхстаге
водрузили Красное знамя, можем чуть-чуть подождать,
если нацисты, заткнувшись в позорной атаке, —
прекратят кровь невинных людей проливать.

БРОШЕННЫЕ

Хоть поздно, но смогли понять,
Что подло брошены — на гибель...
И — сгнули бы, твою мать,
когда бы на крутом изгибе

своей судьбы в моей России
сполна спасенье не нашли,
от тяжких ран — едва живые, —
без веры в свет родной земли...
И что теперь? Вопрос избитый,
но каждый раз встающий так,
что трудно не таить обиды:
а враг на деле-то — не враг!
Всё, что мерзавцы ни пророчат, —
вдруг обращается бедой...
С душой, разорванной в клочья,
нет смысла возвращаться в строй.

* * *

Всё сильней и сильней сжимают нацисты стальное кольцо
вокруг града Славянска, современной Брестской крепости,
чтоб наконец-то его, как в здоровенном кулаке яйцо,
раздавить всмятку, не убоясь ответственности.
Позор, а не заслуга — воевать против стариков и детей, —
для расправы над ними не нужна отвага и смелость.
Ну почему я не в Малороссии, ведь легче от рук палачей
погибнуть, чем смотреть на смерть и ничего не делать!

* * *

Как мир циничен, Боже мой!
И — мучит более всего,
что кровь людей течёт рекой,
горят дома — и ничего!

И ничего! Как будто это
свершается не на глазах!
И нет того, кто бы ответил —
за смерть, за клевету, за страх...

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

Россия, Русь, когда станешь сама собой —
в глаза врагам посмотришь без страха!
Ведь для того, чтоб не жить под подлой пятой,
ты, собрав силы, восстала из праха?!

Гони врагов в шею! Плюнь им в лицо!
Впрочем, в какое лицо? В поганую морду!
И в краю пограничном взойди на крыльцо
Победы, со знаменем — славно и гордо.

АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВ



МЕДЬ ЗВЕНЯЩАЯ

ПОВЕСТЬ

*Если я говорю языками человеческими
и ангельскими, а любви не имею, то я —
медь звенящая или кимвал звучащий...*

Первое Послание к Коринфянам

1

До начала лекции оставалось пять минут. На прошлой неделе профессор пригрозил опоздавшим дополнительной контрольной работой, и потому сегодня студенты уже сидели на местах. Не шелестели конспекты, никто не переговаривался даже шепотом. За колонной, загодя спрятавшись от преподавательского взгляда, сидела девушка и взволнованно рисовала в тетради чей-то суровый профиль. Ей хотелось бежать из аудитории, но она только сильнее сжимала в руке непослушный карандаш.

Наконец раздались тяжёлые шаги на лестнице. Дубов вошёл необычно медленно, поднялся к доске и скрылся за колонной. Глухо опустились на стол книги.

— Прошу извинить меня за опоздание. Не будем отвлекаться, иначе не уложимся в план занятия...

ТИМОФЕЕВ Андрей Николаевич родился в 1985 году. До окончания школы жил в Башкирии. Учился в МФТИ. Окончил Литературный институт им. Горького (семинар М. Лобанова). Участник II Всероссийского некрасовского совещания молодых писателей (семинар А. Казинцева и С. Макаровой). Ведёт авторскую рубрику "Дневник читателя" на сайте "Росписатель". Печатался в журнале "Новый мир", в сборниках "Шесть часов вечера каждый вторник" и "Новые писатели". Победитель III Литературного форума "Золотой Витязь" в номинации "Дебют". Живёт в Москве.

Остановился, громко вздохнул. Можно было представить, как задумчиво крутит он в руках свои очки, держа их за одну дужку, а вторую поминутно поднося к губам.

Голос его сделался равномерным и звучным, как обычно. Этот голос открывал девушке новый мир, не тот грубый, с машинами, банками и вывесками на рекламных щитах, который можно было увидеть, едва выглянув на улицу, а другой, разумный и сильный, где каждая мысль, каждое чувство занимали своё место. Суровый профиль, нарисованный ею на тетрадном листе, постепенно окружали термины и логические заключения. Иногда, когда Пётр Валерьевич надолго останавливался, девушке казалось, что только она одна знает причину его странной рассеянности.

— Настя, Настя, — окликнули сади. Одногруппница Катя Строганова протягивала несколько печатных страниц. Настя взглянула на неё и неожиданно подумала, какие же у Кати тонкие руки.

— Посмотри, пожалуйста, внимательнее! Это очень важное для меня произведение, — просила Катя настойчиво. Настя взяла и торопливо оглянулась, опасаясь быть замеченной, но из-за колонны доносился тот же размеренный голос.

Настя больше не могла писать и, откинув голову назад, слушала своё взволнованное дыхание. Студенты конспектировали лениво, иногда останавливаясь и отдыхая. Кирилл Вязочкин на заднем ряду писал не в такт лекции, и было件нятно, что он не слушает, а сочиняет стихи. Марина Деникина лежала на парте, положив голову на руки. Рядом с Мариной Никита Зверев гнул сильными руками железное кольцо от связки ключей.

Настя торопливо склонилась над партой. Ей стало стыдно за свою рассеянность, и она начала быстро записывать в тетрадь каждое слово.

— Таким образом, мы имеем иерархически выстроенную систему плана выражения и плана содержания художественного текста, — подвёл итог Дубов, отодвигая стул и поднимаясь с места. — Однако венчает это величественное строение именно образ автора. Без личности автора, сконцентрированной внутри текста, на месте произведения остался бы только неорганизованный хаос...

Было слышно, как тяжёлыми шагами двигается он вдоль доски, ни на секунду не прерывая мерного течения речи.

Прозвенел звонок.

— Я прошу исключения задержаться для краткой беседы по результатам последнего контрольного сочинения, — остановил Дубов колыхнувшееся движение. Студенты медленно поднялись со своих мест и обступили профессора.

Настя выскользнула из аудитории и остановилась у лестницы. Стараясь успокоиться, она закрыла глаза. Потом спустилась на один пролёт, где на стене висели высокие зеркала в полный рост, и поправила волосы. На неё смотрела худая девушка с веснушчатым лицом. Съездившись, она отвернулась и поднялась наверх.

Студенты выходили один за другим. Настя заглянула внутрь и заметила, сколько их осталось, а потом считала проходящих мимо. Наконец все вышли. Настя ещё помедлила, будто ожидая, что её позовут, а затем сделала несколько осторожных шагов. Пётр Валерьевич сидел за столом, перебирая бумаги. Заметив девушку, он снял очки, продолжая держать их за дужку.

— Входите, Анастасия, я уже было думал, что вы ушли, — выговорил он устало.

Настя неуверенно приблизилась. Ей казалось, будто предметы вокруг вертятся, переворачиваясь с ног на голову, как на карусели. Пётр Валерьевич вздохнул, отложил очки и несколько раз провёл руками по лицу, словно хотел умыться.

— Анастасия, — повторил он её имя. — Я хотел поговорить с вами. Дело в том, что вчера я был очень расстроен. Говорят, бумага всё стерпит. Но я привык, чтобы слова на бумаге побуждали меня к действию, к самосовершенствованию. Ваши же слова привели меня к выводам, которые я вовсе не хотел делать в отношении своих студентов, и особенно в отношении вас.

Настя от волнения не могла разобрать смысла его слов.

— Вам не понравилось моё сочинение? — удивилась она.

— Мне не понравилось другое ваше сочинение, и вы прекрасно знаете, о чём я говорю, — рассердился Дубов.

— Вы молодая девушка, вы ещё не чувствуете, как быстро уходит определённое вам время, и потому отвлекаетесь на вещи несерьёзные, — продолжал он с силой, увлекаясь напором своей мысли. — Вчера вы предстали передо мной не тем замечательным, вдумчивым человеком, каким я видел вас раньше, а одной из легкомысленных женских особ, выдумывающих для себя эфемерные переживания вместо занятия настоящим делом.

— Конечно, молодость — прекрасное время, — продолжал он, смягчаясь. — Это пора ярких впечатлений и сильных эмоций. Но в любой ситуации вы должны отдавать отчёт в своих действиях и нести ответственность за свои поступки...

Дубов повернулся к девушке, чтобы убедиться, что она всё поняла, но вдруг заметил, что у неё влажные глаза. Профессору показалось, что стройная последовательность его мыслей нарушилась — он всегда чувствовал какое-то особенное раздражение при виде женских слёз.

Дубов подошёл к девушке и усадил на стул. Она же не могла сдержаться и расплакалась навзрыд.

— Ну что же вы так, не нужно, — уговаривал он её, стараясь не показать своего раздражения. Потом достал из сумки маленькую бутылку минеральной воды.

— Возьмите.

Настя кивнула и послушно сделала глоток.

— Тогда скажите мне, что делать, — прошептала она.

Дубов нахмурился.

— То есть что вы имеете в виду, когда спрашиваете, что делать? — переспросил он, а потом продолжал настойчивым монотонным голосом, стараясь не останавливаться: — Работать, конечно, отбросить все эти сиюминутные эмоции и познавать мир, сосредотачиваться на его законах.

Он внимательно посмотрел на неё, и Настя вдруг удивилась тому, какие серьёзные и глубокие у него глаза. Ей стало стыдно, она задышалась. Боясь, что опять расплачется, стала торопливо собираться.

— Спасибо вам... Я всё сделаю, как вы сказали...

Она ещё некоторое время стояла, не двигаясь, будто ожидая, что он снова заговорит, но Дубов молчал.

Тогда Настя больно закусил губу и, обрывисто кивнув, заспешила к выходу.

Оставшись один, Пётр Валерьевич несколько минут стоял неподвижно. Свежий осенний воздух из открытой форточки ударил ему в лицо, и тогда Дубов почувствовал, как прежняя способность логически мыслить возвращается к нему. Из окна была видна проезжая часть Тверского бульвара и длинная берёзовая аллея. Дубов вспомнил, как сам бродил по этой аллее много лет назад, и сердце его сжалось от воспоминаний. Но эти переживания он уже контролировал, так что они не могли уязвить его. Посмотрел на часы, сердито поморщился: нужно было торопиться. Ему предстояла неприятная встреча, которую он, к сожалению, не мог отменить. Спускаясь по лестнице, Дубов нарочно замедлил шаг. Ему показалось вдруг, что он студент, идущий на экзамен, к которому совершенно не готов.

Собрание авторов литературного клуба “Калейдоскоп” в поточной аудитории на первом этаже уже началось. На двери висел плакат, сообщающий, что сегодня в клуб приглашён Евгений Андреевич Шовковский. У Дубова было дело к Шовковскому, он хотел застать того ещё до начала собрания, но опоздал. Стоя у закрытой двери, Дубов слышал громкие звуки оживлённого спора и не знал, входить ему или ждать Шовковского здесь. Наконец сдвинул дверную ручку и решительно вошёл.

В аудитории находилось человек двадцать. Все они были знакомы профессору. Шовковский расположился на месте преподавателя, откинувшись

на спинку стула. Перед ним высился Вениамин Печник, выпускник института и руководитель клуба. Он глядел на Шовковского сквозь чёрные очки, деловито поправляя огрызок карандаша за ухом.

При появлении Дубова все замерли, как в немой сцене у Гоголя. Пётр Валерьевич неловко поздоровался и, задев стулья, прошёл на последний ряд.

— Здравствуйте, Пётр Валерьевич, — громко поприветствовал профессора Шовковский. — Не знал, что вы тоже состоите в клубе... Что ж, это плюс, если в ваших рядах такие уважаемые люди, — обратился он к Печнику, — это добавляет немного весу вашим заносчивым словам.

— Вес моих слов в их смысле, — гордо ответил Печник и сел, положив ногу на ногу.

— С вашего разрешения, я продолжу, — усмехнулся Шовковский. — В конце концов, это я у вас в гостях, а не вы в моей редакции чай попиваете. Если уж меня пригласили, значит, хотели выслушать, а не спорить... Как я уже говорил, есть два измерения в литературе: актуальность и качество текста. Все эти странные рассуждения господина Печника об импульсах, экспериментах и о том, что текст нельзя критиковать, я комментировать больше не буду...

Дубов сел, осторожно достал из сумки книжку Виноградова “О языке художественной прозы”. Стараясь меньше привлекать к себе внимания, пролистал страницы. Нужно было просмотреть материалы для будущей факультативной лекции у третькурсников и составить план занятия. Громкие голоса отвлекали его, но он старался изо всех сил вникнуть в материал.

— Теперь об актуальности. Я считал, считаю и буду считать, что настоящая литература про то, как нам жить. — продолжал Шовковский. — В смутные времена ценность настоящей литературы увеличивается вдесятеро, людям нужна книга, открыв которую они поймут, как жить дальше. Сейчас в России именно такие смутные времена — мы не знаем, зачем существует Российское государство и русский народ. Времена смутные, а книги нет, и её даже никто не пытается написать. Некоторые увлекаются литературной игрой вроде постмодернизма, некоторые указывают на классику, мол, там всё сказано. Но времена меняются. То, что было актуально в девятнадцатом веке, не работает в эпоху глобализма и интернета. Вы должны понимать, что классические произведения — это иконы, на которые сейчас можно только почтительно взирать. К нам, современным писателям, они не имеют никакого отношения...

Шовковский остановился и оглядел студентов. Стало тихо. Было слышно, как на задней парте Дубов перелистывает страницы.

Встала Катя Строганова.

— Вы говорите, качественный текст — некачественный текст. Разве можно так разделять?

— К тому же качество текста основывается исключительно на вашем личном мнении, — заметил неугомонный Печник.

Шовковский усмехнулся и несколько раз качнулся на стуле.

— Будет у вас свой журнал — там качество будет основываться на вашем мнении, — не удержался он. — Ну, что ж, такая враждебность даже интересна... Жаль только, что я наблюдаю её в профессиональной среде, где собраны выпускники и студенты старших курсов. А чтобы не уходить в полемiku, давайте спросим другого взрослого и уважаемого человека. Тонкий стилист, замечательно чувствующий слово, он ответит вам сейчас, что главное в любом художественном произведении.

Дубов не сразу понял, почему все смотрят на него.

— Пётр Валерьевич, скажите! — опять вскочила Катя Строганова.

Дубов поднялся и удивлённо оглядел аудиторию. Ему повторили вопрос. Тогда он нахмурился, сурово взглянул на Шовковского. Кому-то из студентов показалось, что профессор болен и ему тяжело говорить.

— Главное в тексте — стремление к Богу, конечно.

Потом смешался, приложил руку ко лбу. Аудитория затихла, студенты переглядывались и многозначительно кивали в сторону профессора. Все жда-

ли от него чего-то особенного и предвкушали, как он сейчас поставит заносчивого редактора на место.

— Нет, так просто не понять, — продолжал Дубов, — тут нужно построить систему, чтобы объяснить эту мысль... Давайте рассмотрим. Есть земной мир, его категории суть богатство — бедность; почёт — неизвестность; удовольствие — страдание. Первое считается положительным качеством, второе отрицательным. Тут мы всё поняли, так ведь? Хорошо, рассуждаем дальше. Есть мир небесный. Его категории: милосердие, сострадание, аскетизм. Здесь нет отрицательных определений, видите, здесь есть только Бог, который воплощает все категории. Думаете, возможно сразу перескочить из одного мира в другой? Нет, невозможно, потому что эти миры различной, я бы даже сказал, противоположной природы. Нужна промежуточная ступень, это и есть литература.

Он закончил, никто не посмел перебить его. Слегка наклонил голову и хотел было сесть, но не успел.

— Пётр Валерьевич, это, конечно, всё красивые слова, — с досадой заговорил Шовковский, — но, на мой взгляд, студентам нужно говорить, прежде всего, о стилистической обработке, хотя бы из педагогических соображений. Поверьте, я читаю много текстов, приходится по работе, и среди них так много слабых, именно с точки зрения слова.

— Нет, это не красивые слова, — перебил его Дубов, но потом, вдруг вспомнив о чём-то, опять нахмурился и нарочито сильно закашлял. — Извините меня, Евгений Андреевич, я всегда говорю, что думаю, и это часто мешает. Стилистика важна, но если человек любит слово, он познает её естественно. А не сможет познать, внимательно прослушает мой курс и во всём разберётся. Другое дело, вдохнуть в текст настоящую красоту вечности... Но вы, наверное, понимаете меня. Ещё раз извините, — он махнул рукой и вернулся на место.

Собрание подходило к концу. Задали ещё несколько вопросов и решили разойтись. Печник вышел из аудитории первым, он чувствовал себя побеждённым и не хотел смириться с этим. Шовковского задержали студенты, желающие узнать о возможности публикаций своих произведений и правилах оформления рукописей. Шовковский объяснял подробно, благосклонно повторяя по несколько раз тем, кто записывал в блокноты. Дубов ждал его в коридоре.

Наконец Шовковский вышел.

— Вы, очевидно, ждёте меня, Пётр Валерьевич, — начал он приветливо. — И чем же я заслужил такую честь?

Дубов не стал отвечать сразу, а сделал приглашающий жест вперёд. Они вместе спустились по лестнице и оказались на улице. Стоял холодный осенний день.

— Евгений Андреевич, я посылал вам статью, вы читали её? — заговорил Дубов глухим голосом. — Если она запланирована на будущий номер журнала, то можно ли получить за неё аванс? Я не стал бы прибегать к личным связям, вы меня знаете, я люблю, чтобы всё было в установленном порядке. Но у меня семейные проблемы и мне, к сожалению, нужны деньги...

Шовковский посмотрел на него удивлённо.

— Знаете, Пётр Валерьевич, мне иногда кажется, что вы ненавидите нас самой лютой ненавистью, которая только может быть, — внезапно заговорил он. — Всех, кто связан с журналом, и не только с моим... всю нашу, так сказать, публичную братию. Мне кажется, я угадываю это в ваших глазах. Вы порой так люто смотрите. Но иногда я забываю об этом и люблю вас, как друга, и мне кажется, и вы меня так же любите...

Они остановились друг напротив друга и долго молчали. Ветер злился и развевал наспех накинутый профессором плащ, хлестал его по ногам.

— Я скажу вам честно, — продолжал Шовковский, поворачиваясь и вновь двигаясь по дороге к воротам, — я просто не знаю, что вам сказать. Что вы пишете иногда, вы сами отдаёте себе отчёт? Хороший текст, патристический даже, и вдруг — как там у вас, специально запомнил: либерал, как человек обмирщённый, есть тот, кто потерял свою веру. Что это значит,

Пётр Валерьевич? Что это за христианский фундаментализм? Это я в своём, простите, светском журнале должен такое опубликовать? Или вот, например, как-то так, по-моему: неумелая защита либерализмом наследия, в которое он никогда до конца не верил, послужила причиной, вызвавшей в мире явный нигилизм. Ну, я не знаю... — он развёл руками и покачал головой.

— Вы, Пётр Валерьевич, как последний из могижан, — продолжал он возбуждённо, — осколок уходящей эпохи, даже не советской, а какой-то... какой и в реальности-то никогда не существовало! Нет у нас такого патриотизма, нет таких людей, которые этот ультрахристианский патриотизм поддерживали бы... А если и есть, то такие люди уже на обочине исторического процесса, их как будто уже и нет вовсе...

Дубов сосредоточенно слушал, а потом резко кивнул.

— Спасибо вам за откровенность, я очень ценю это. Я всё понял.

— Не расстраивайтесь, Пётр Валерьевич, если бы это было только в моей власти, я бы обязательно напечатал вас, пусть даже с некоторыми купюрами. Но для меня превыше всего мои читатели, демос, ориентацию на который вы так яростно презираете. Я работаю для людей, чтобы удовлетворить их вкусы и требования, и считаю, что для редактора это и есть единственно правильный подход. А по поводу денег, если уж вам так нужна работа... у меня уволился один из сотрудников, и я бы мог дать вам несколько произведений на редактирование, если этим предложением не оскорблю вас...

— Я согласен, — перебил его профессор. — Единственно, моя просьба об авансе остаётся в силе.

— А, ну да, это конечно, конечно... Я распоряджусь, чтобы оставили в кассе.

Они вышли за ворота и, не глядя, пожали друг другу руки.

Когда Дубов вернулся домой, уже почти стемнело. Он жил в каменном московском дворе, огороженном домами с четырёх сторон, куда можно было попасть только через арку. Посреди двора стояло одно живое дерево. Дубов приблизился к своему подъезду, но внутрь не вошёл, а присел на скамейку. Вокруг было пусто, казалось, никого нет в целом мире, а огни в окнах оставлены хозяевами по забывчивости перед уходом.

“Что такое происходит сегодня? Всё через силу, на каждое действие нужно заставлять себя, — подумал он. — Разве хорошо это, что мне так не хочется идти домой. Нет, это недопустимо”, — решил профессор, но всё ещё медлил.

Наконец посмотрел на часы, поднялся. Шагая по лестнице, чувствовал тревогу. Открыв дверь, он прислушался, а потом откашлялся громко, чтобы предупредить о себе. Из комнаты донеслись быстрые хлопки тапочек по полу, и к нему навстречу вышла сухая женщина, лет сорока пяти. Это была Мария Дмитриевна, соседка по этажу.

— Здравствуйте, Пётр Валерьевич, — произнесла она мягко. — Ну, как у вас день? А у нас всё хорошо. Елена Евгеньевна поела бульона в обед, а вечером молока. Сейчас спит. Очень вас ждёт, глазами всё ищет, хочет позвать, но не может...

— Спасибо тебе, Маша, — смутился Дубов. — Я купил некоторые лекарства, остальные будут через пару дней, мне обещали.

— И ещё... У нас там люди, — понизила она голос, будто сообщая тайну.

Дубов кивнул и торопливо прошёл в свою комнату. На диване сидели мужчина и женщина и недовольно переговаривались. Входя, Дубов случайно услышал, что они здесь уже около получаса. Гости поднялись, а мужчина подал профессору руку для приветствия.

— Извините, что задержался, — холодно выговорил Дубов. — Думаю, вы смогли уже всё посмотреть...

— Как вас зовут, простите, пожалуйста, — вмешалась женщина, — Пётр Валерьевич? А меня Наталья Ивановна. Ваша соседка сказала нам, что мебель в этой комнате продаётся, я правильно понимаю?

— Да, кроме кресла-качалки и стола.

— Давайте обсудим подробнее, — предложила она настойчивым монотонным голосом. — Просто у меня была другая информация. То есть вы хотите сказать, что продаются диван, книжный шкаф и тумба. И за это вы просите три тысячи рублей? Но простите, здесь есть несколько нюансов, которые мне хотелось бы обсудить. Во-первых, мы берём мебель для дачи, и нам хотелось бы, чтобы она была выдержана в одном стиле. Где мы возьмём потом такие же стулья? Мне кажется, сюда должны прилагаться стулья.

— Да, хорошо, хорошо, — рассеянно ответил ей Дубов. — У меня есть два стула на кухне, как раз такого же цвета.

— Надеюсь, вы не будете увеличивать цену, ведь эти стулья должны идти в комплекте? — настаивала женщина.

— Не буду.

Покупатели переглянулись, они были довольны, что разговор складывается в их пользу.

— Теперь ещё один вопрос, Пётр Валерьевич, — вновь подступилась женщина. — Нас заинтересовало ваше кресло. Дело в том, что для дачи оно хорошо подходит. Мы вам предлагаем за комплект мебели вместе с креслом четыре тысячи рублей, эта цена очень рациональна, поверьте мне, я разбираюсь в мебели.

— Нет, кресло я не продаю.

Дубов прошёл вглубь комнаты. Ему хотелось, чтобы эти люди ушли.

— Пётр Валерьевич, в таком случае мы вынуждены отказаться. Мы можем подобрать мебель у других хозяев, к тому же у вас она сильно подержана. Я даже предложила бы вам четыре тысячи пятьсот рублей, если бы не видела с вашей стороны такое нежелание идти на компромисс.

— Хорошо, пусть будет четыре пятьсот с креслом, но только завтра, — разозлился Дубов. — Вам это, очевидно, доставляет удовольствие. Если с утра не принесёте деньги, можете вообще не появляться!

— Зря вы так агрессивны настроены, — неожиданно вмешался мужчина. — Мне кажется, вы выходите за рамки вежливости.

В его голосе Дубов почувствовал то удовольствие, которое испытывает обычно человек от произнесения смелых слов, которые уже ничего не решают, и разозлился ещё сильнее. Он и не заметил, как едва только он повернулся и пошёл к дверям, мужчина и женщина взяли за руки и как-то радостно и благодарно посмотрели друг на друга...

После ухода покупателей Пётр Валерьевич никак не мог прийти в себя. Закрыв дверь, он долго ещё стоял в прихожей, о чём-то напряжённо думая.

— И на чём сошлись? — поинтересовалась у него Мария Дмитриевна.

— Нужную сумму получил, — ответил он резко и быстро прошёл на кухню.

— Вы святой человек, — восхищённо повторяла Мария Дмитриевна. — Я так удивляюсь вам...

— Ну-ка, прекрати это, — оборвал её Дубов. — Ты сама-то что-нибудь ела? Я же сказал, есть картошка с рыбой. Так всё и осталось, — он недовольно вытащил из холодильника сковородку и поставил на плиту.

Дубов смотрел на неё так строго, что Мария Дмитриевна теперь только кивала и не говорила больше. Согрев ужин, профессор разложил еду на две тарелки и молча пододвинул ей одну. Они сели за стол.

— А вы, Пётр Валерьевич, побыли бы хоть с ней, вдруг проснётся, — всё-таки решила Мария Дмитриевна. — Большой ведь человек, что ж делать. Как странно — вы привели её в свой дом, ищите деньги из последних сил, продаёте мебель, а просто посидеть с ней рядом по-человечески не хотите.

— Ладно, ладно, Маш, всё, не говори ничего, — вновь перебил её он. — Я обдумываю твои слова...

Когда Мария Дмитриевна ушла, Дубов долго ещё сидел на кухне. Потом медленно встал, подошёл к двери спальни. Сквозь приоткрытую дверь были видны очертания тела на кровати. Он прислушался, дыхание было ровным, лишь иногда прерываемым коротким кашлем. Он осторожно затворил дверь и, стараясь наступать тише, прошёл в свою комнату.

Включил настольную лампу. Он очень любил свой рабочий кабинет и то, как было всё устроено в нём. Вдоль стены стоял книжный шкаф, уходящий ровными рядами полок к потолку. То здесь, то там виднелись картонные закладки с начальными буквами авторов или комментариями мелким почерком, как в библиотеке. С другой стороны располагался тяжёлый диван и его любимое кресло-качалка. У окна — письменный стол, на котором в две аккуратные стопки были сложены бумаги, исписанные и для черновиков. На углу стола — Евангелие в толстом переплёте с позолотой, подарок десятилетней давности, он читал его каждый день по одной главе перед сном. Всё было в полумраке, только яркое кольцо от лампы в центре стола, как сосредоточение мыслительной жизни комнаты.

“Ну, всё к лучшему, и думать нечего, — оборвал он сам себя, — но пусть сегодня всё будет, как обычно”.

Дубов положил себе пятнадцать минут на размышление и опустился в кресло-качалку. Во время таких минут он старался приблизительно наметить план на вечер, чтобы затем, чувствуя определённую, отдохнуть до конца отведённого времени. Но сегодня так не получилось. Сильный сухой кашель из спальни тревожил его. Он взволнованно поднялся, вышел в коридор. Кашель не утихал. Тогда он открыл нараспашку дверь и вошёл-таки внутрь.

На кровати, закутавшись в одеяло, лежала женщина. Растрёпанные волосы растеклись по подушке. Впалые глаза были закрыты, а из груди доносился протяжный свист. Дубов повернул её на бок, и больная, глубоко вздохнув, успокоилась. Дыхание облегчилось. Он расправил одеяло, накрыл женщину ровным слоем, укутав высунувшиеся кончики пальцев на ногах. Потом опять прислушался и вышел.

В тот вечер ему не работалось. Необходимо было сделать редакторскую правку одного текста, но профессор не мог заставить себя даже усилием воли. Ночь за окном чёрная, густая. Вдоль освещённой улицы часовыми строгие ели. В светлых пятнах на асфальте можно различить опадающие листья. Дубов стоял у окна и чувствовал какую-то ещё неведомую ему жизнь.

Наконец обернулся. Когда работать по тем или иным причинам не удавалось, он старался привести в систему свои мысли за день, но, оглядывая последние события, чувствовал только смутное беспокойство. Вдруг он улынулся. Да, конечно, как он мог забыть, была же ведь ещё история с третьекурсницей Настей Шишкиной, вот уж странное происшествие. Дубов подошёл к столу, пролистал бумаги в черновой пачке. Среди листов мелькнул знакомый маленький конверт — он специально положил его подальше, чтобы не возвращаться к нему мыслями. Ему было стыдно читать письмо, но сейчас он не удержался и осторожно отогнул краешек. Письмо представляло собой половинку тетрадного листа мелкого девичьего почерка.

“Милый Пётр Валерьевич, — прочитал он, — знаю, что это письмо очень рассердит Вас, но ничего не могу с собой поделать. Всё, что Вы прочтёте здесь, правда.

Вы единственный человек, которому я могу посвятить свою жизнь. И это не просто слова. Я живу и буду жить только ради любви к Вам. Я знаю, что Вы не можете смотреть на меня серьёзно и, может, даже посмеётесь надо мной. Пусть так, но главное — не отталкивайте меня. Я не осложню Вам жизнь, просто разрешите мне быть рядом. Не подумайте, будто я требую от Вас чего-то. Я буду подчиняться Вам во всём. Всё, что хотите, можете делать со мной, я всё приму и буду счастлива.

Я даже не знаю, есть ли у Вас сейчас семья и как Вы живёте. Всё это не важно... Я в последние дни как в бреду. Любое Ваше слово сейчас или через десять лет!

Ещё раз простите меня за это письмо. Не могу без Вас жить. Ваша Настя”.

Дубов отложил письмо, обхватил голову руками и нахмурился, а потом вдруг расхохотался на всю комнату.

— Прости нас грешных, Господи, — пробормотал он, стараясь сдержать неожиданный смех, но тот вырывался из горла. — Ну, будет, будет... — успокоил он сам себя. Покачал головой, ещё раз улыбнулся.

Потом быстро написал на полях листа: “Дать Насте почитать что-нибудь полезное для подавления дурных мыслей”, спрятал письмо в конверт и решительно приступил к работе.

Когда Настя вышла в тот день из института, она долго не могла понять, что сейчас делать и куда идти. Потом вспомнила, что пары на сегодня закончились, и тогда медленно зашагала к воротам. Казалось, время остановилось. Идти в сторону метро Насте не хотелось, и она свернула на Большую Бронную, чтобы погулять по узким улочкам и прийти в себя. Людей почти не было, только одинокие машины стояли вдоль тротуаров.

Настя вспомнила, как любила раньше гулять по этим улочкам и мечтать. Они очаровали её сразу, ещё когда она только поступала на первый курс и коротала здесь время, ожидая результатов последнего экзамена. Сквозь волнение она пыталась угадать своё будущее. Ей представлялось что-то романтическое: терпкий вкус вина, запах мокко, чарующие звуки музыки — где-то в маленькой писательской кофейне играет Шуберт. Писатели сидят за столом и курят трубки, набитые вишнёвым табаком, обсуждая вечные темы в искусстве. В углу она видит себя, маленькую писательницу. Ей нравится быть незаметной, но в то же время хочется, чтобы её приняли и полюбили...

Но и став студенткой, Настя по-прежнему гуляла здесь, нарочно задерживаясь после занятий. В первое время событий и впечатлений было так много, что, только оставшись одной, она могла разобраться в мыслях и чувствах. Она вспоминала лекции, то улыбаясь, то сердясь. Ей не нравились слишком логичные предметы, не нравилась современная литература, потому что она ничего в ней не понимала, зато она восхищалась старославянским языком и повторяла пропитанные древностью предложения, как чудесные заклинания. Вспоминая о своих одноклассниках, чаще расстраивалась, потому что не могла сблизиться ни с кем из них. Думая о них, повторяла про себя, что люди, мечтающие об известности и богатстве, несчастны и малодушны, что у них не хватает воли, чтобы жить в бедности и трудиться исключительно для совершенства своих творений. И горячо обещала себе, что никогда не будет знаменитой.

Когда Настя уставала гулять, она пробиралась к метро. Ей неприятна была подземная суета, и потому она старалась в воображении ускорить время, чтобы быстрее доехать до нужной станции. Ей казалось, люди в метро смотрят на неё и про себя осуждают. Вернувшись в общежитие, медленно поднималась на седьмой этаж. В коридорах пили водку и декламировали угловатые стихи без смысла и красоты. А потом проходили беспокойные ночные часы, потом сонные лекции — и она опять могла раствориться среди московских переулков, где её никто не видел и не знал, слушать Шопена в плееере, заходить в кофейни и пить по пять чашек кофе подряд...

Первый раз Настя увидела Дубова на втором курсе. Историческая грамматика стояла последней парой, и девушка, отвыкшая от учёбы за летние каникулы, уже мечтала, что будет делать потом. Однокурсницы нетерпеливо ждали появления молодого преподавателя, только окончившего институт, и наперебой спорили, кому из них удастся влюбить его в себя. Но молодой преподаватель достался другому курсу, а вместо него в аудиторию вошёл Дубов. Сначала он показался Насте старым и некрасивым.

Вместе с другими девушками она смеялась над его подчёркнуто-уважительным обращением на “вы”, над тщательностью, с которой он пронумеровывал пункты лекций, и тем, как настойчиво проверял соответствие нумерации в конспектах студентов. “Это странный человек, у которого есть два мнения: его и неправильное”, — записала Настя в дневнике после одного из занятий.

Она помнила, когда произошло для неё первое открытие Петра Валерьевича. В начале зимы в аудитории было влажно и тепло, студенты сидели сонные, а размеренный голос профессора только убаюкивал. Вдруг что-то произошло, голос профессора изменился: “И вот явился не воин, не царь, а филолог. Запомните это, Христос был первый филолог. Сначала было Слово, вот, как начинается мир, и вы должны знать это и быть достойными сво-

ей профессии...” Настя удивлённо глядела на него, и Дубов вдруг показался ей не стариком, а каким-то древним пророком. Под этим сильным впечатлением она провела весь вечер. Она не запомнила логики профессора, но слова “Христос первый филолог” потрясли её неискущённое сознание.

С того дня Пётр Валерьевич предстал перед ней совсем другим человеком. Постепенно её стали восхищать и логичность профессора, и та сила, с которой он приводил в порядок всё, о чём говорил. В его присутствии она начинала смущаться и путаться в словах. Сам Дубов вёл себя с ней серьёзно и уважительно, а на занятиях спрашивал, только когда уже никто не мог ответить. После лекции они могли ещё долго стоять в коридоре у аудитории, рассуждая о монологическом и диалогическом началах в романе или о том, что преподавание литературы в школе должно вестись с нравственной точки зрения.

Настя пыталась представить, что будет, если она признается профессору в своих чувствах. Больше всего боялась, что он засмеётся или нахмурится и молча уйдёт. Вернее, нет, больше всего она боялась взрослого и пошлого, хотя и убеждала себя, что Пётр Валерьевич на такое не способен.

За неделю до летних экзаменов Настя случайно проходила мимо кафедры русского языка и услышала, что Дубов женат. Об этом громко разговаривали две пожилые преподавательницы. Был тяжёлый дождливый день. У Насти не оказалось с собой зонта, и она промокла. В общежитии, закутавшись в одеяло, она сидела на кровати и неподвижно глядела в окно. Открыла дневник, стала писать наобум. “Наконец мои метания закончились, — начала она, — теперь я свободна от влюблённости. У меня словно гора с плеч свалилась. Теперь можно даже не надеяться, но при этом быть счастливой. Счастливой, потому что он счастлив, а еще более счастливой от того, что теперь можно говорить своим голосом, высказывать свои мысли, не рисуясь перед ним...” Она сжала лицо руками, будто боясь, что её кто-то увидит, и расплакалась.

Ей хотелось написать рассказ об одиночестве и обо всех одиноких девушках на свете. А ещё о преображении человеческой души, получившей любовь и свободу. Ей казалось, что любой человек умирает без любви, она физически чувствовала это умирание.

Настя встречала профессора ещё несколько раз на лекциях, но уже не решалась заговорить с ним. На экзамене по исторической грамматике Дубов поставил её отлично, назвав лучшей студенткой. А потом подарил маленькую книжку о жизни Андрея Рублёва и иконку с его изображением.

Она ещё не знала, что на третьем курсе Дубов будет вести у них теоретическую стилистику и с сентября всё начнётся сначала. А два дня назад они разоткровенничались с Мариной Деникиной перед сном. Разговор зашёл о Петре Валерьевиче, и Марина рассказала, что, по слухам, жена уже давно бросила его. Замирая от сладости своей тайны, Настя пыталась выпросить все подробности, но соседка ничего больше не знала.

В тот вечер Марина положила под подушку какую-то монетку, чтобы увидеть во сне своего будущего жениха. Сама она ничего не увидела, зато Насте всю ночь снился Пётр Валерьевич. Всё смешалось у неё в мыслях. Настя то ругала странную женщину, которая могла бросить самого лучшего человека на свете, то жалела Дубова. Утром она написала ему письмо, а потом вложила в тетрадь с домашним сочинением...

На следующий день после объяснения с Петром Валерьевичем Настя проснулась поздно. Ей казалось, она видела страшный сон и сейчас должна проснуться. Но нет, это был не радостное пробуждение, скорее, похмелье. Как случилось, что она написала это глупое письмо. Как могла она после летних мучений, после обещания никогда больше не думать о нём позволить себе такую слабость. В комнате было слишком светло, а Насте хотелось укрыться с головой под одеялом и больше никогда не вылезать наружу. Она медленно поднялась, задернула непослушные шторы и снова легла. В институт она не пошла, пролежав так несколько часов, то засыпая, то вновь просыпаясь. Ей казалось, все чувства умерли, и она наконец-то стала взрослой.

К вечеру Настя проснулась окончательно. Она лежала, глядя в пересечённый серыми линиями потолок, и вдруг почувствовала невероятный при-

лив сил. Ей хотелось немедленно встать, приняться за какое-нибудь дело, не теряя ни секунды. Вскочила, оделась. Мысли были свежие, движения чёткие, взвешенные. Подошла к столу. Там, как обычно, валялись книги, тетради, исписанные клочки бумаги. Настя с жаром принялась раскладывать их по стопкам. На столе нашлись и “Алые паруса” Грина, и “Золотая роза” Паустовского, она решительно убрала их на полку во второй ряд. Иногда какой-нибудь случайный листок увлекал её память, и тогда она останавливалась и подолгу читала его. А когда попадались черновики старых рассказов, Настя ожесточённо бросала их на пол. Как отвратительны были ей эти её старые тексты, полные мишуры и виньеток, эти романтические образы, кофе, Шопен... Казалось, теперь всё будет по-другому, теперь-то она возьмёт себя в руки, и начнётся у неё настоящая жизнь.

Чтобы успокоиться, она решила пойти гулять на улицу. Был ясный вечер, шёл первый снег и сразу же таял на чёрной земле. Настя даже повеселела. Ей давно не хватало хотя бы одного такого вечера, чтобы собраться с мыслями. Она шла медленно, поминутно останавливаясь, чтобы запрокинуть голову и поймать языком маленькую снежинку.

Проходя мимо цветочной лавки, Настя заглянула внутрь и долго простояла, рассматривая хрупкие бутоны. Ей казалось, цветы дышат. Тогда она стала думать о том, что цветы живут какой-то непостижимой, таинственной и очень скоротечной жизнью. Эти мысли захватили её. Купить цветов, придумала она, но сразу одёрнула себя, чтобы не сделать очередную глупость. Ромашки, просто ромашки, решила тогда Настя, ведь никому не придёт в голову сказать что-то предосудительное о ромашках. И тут внутри неё будто перевернули песочные часы, и всё старое вернулось мгновенно. Через минуту она уже покупала букет. Выбежав из лавки, вдруг испугалась своей смелости, но уже не могла повернуть обратно. Сердце стучало яростно, ночной город двигался навстречу. “Больше никакой романтической любви, — думала она про себя, — я просто хочу сделать ему приятное, подбодрить, а самое главное — извиниться за свой нелепый поступок”, — и сама верила этим мыслям.

Адрес Дубова Настя знала ещё с прошлого года. Он жил в центре, в четырёх станциях метро от общежития. Узкий переулок, один из тех, в которых она так любила гулять раньше, запутанные лабиринты домов. Долго пыталась отыскать вход во двор, наконец, прошла под аркой и оказалась внутри. Было темно, тревожно качало ветвями одинокое дерево. Вслед за ней во двор медленно въезжала машина “скорой помощи”. Настя пригляделась, чтобы рассмотреть номера квартир на двери одного из подъездов — это и был нужный.

Откуда-то слышались громкие голоса, будто кто-то спорил, а потом с шумом двинулась тяжёлая коробка лифта. Настя боялась столкнуться со случайными соседями, и потому заторопилась вверх по лестнице. Запыхавшись, она остановилась в пролёте пятого этажа. Где-то внизу опять раздался голос.

Было совсем темно. Настя не разглядела, а скорее угадала номер на заветной двери. Осторожно прикоснулась к ручке, будто это была рука Петра Валерьевича. Дверь обиженно скрипнула и поддалась, разрывая пространство тонким, как нож, лучом света. Она испугалась тому, что дверь была открыта, и сильно постучала. Никто не ответил. Вдруг ей показалось, что откуда-то доносится приглушённый стон, и она сделала шаг вперёд.

Под ногами виднелись размашистые следы, вокруг лежали сваленные в кучу вещи, как бывает при переезде. Сразу направо находилась почти пустая комната с одиноким письменным столом посередине, возле которого неровными стопками высились книги; рядом был вход на кухню, но и там не было никого.

Тогда она решила подойти к последней, дальней двери. С каждым шагом отчаянные стоны усиливались, теперь они слышались повсюду. Настя набрала воздух, будто перед прыжком, и вбежала в комнату. Но там оказался не Дубов — на кровати в углу лежала больная женщина, наклоняясь над огромным железным тазом, стоявшим на полу. Волосы её спадали вниз, закрывая лицо, а из горла, кажется, текла кровь.

Настя попятилась. Женщина отчаянно закашляла и откинулась назад на подушку. Она была ещё молода, и лицо её было красиво. Больная закрыла глаза, не желая видеть эту тёмную комнату, разбросанные вещи, таблетки, колбочки на столе. Настя бросилась назад, но в дверях столкнулась с пожилой соседкой Дубова. Быстро прошептала: “Извините” — и пробежала мимо неё вниз по лестнице, а ромашки выпали из рук, рассыпаясь по ступеням.

Мария Дмитриевна удивлённо смотрела ей вслед. Лязгнули двери лифта, это были Пётр Валерьевич и врач “скорой”, которого он ходил встречать. Они спешно прошли к больной.

Дубов стоял молча. Он напряжённо следил за движениями врача, будто проверяя, правильно ли тот проводит осмотр. Врач прощупал пульс и хотел померить давление, но никак не мог обмотать жгутом руку больной, потому что та инстинктивно дёргалась то в одну, то в другую сторону.

— Что вы там копаетесь, — не выдержал Дубов, схватил тонометр и сам укрепил жгут на руке женщины. Ей было больно, но она боялась пошевелиться, чувствуя знакомое дыхание. Врач аккуратно записал результаты на клочок бумаги. Вдруг женщина вырвалась, хрипло раскашлялась и опять прикинула к тазу, чтобы выплунуть кровавый сгусток.

— Запущенная стадия туберкулёза, — деловито заметил врач. — Требуется срочное лечение...

— У неё рак, — недовольно перебил его Дубов.

— Так зачем же вы нас вызываете? — удивился тот. — Её нужно в онкологию.

— Я знаю, что её нужно в онкологию, у нас уже есть договорённость с больницей на завтра. А сейчас я вас вызвал, чтобы вы хотя бы остановили кровь.

Он отгеснил врача и сам подсел на кровать. Врач отошёл, пожимая плечами. Мария Дмитриевна что-то вопросительно зашептала ему.

Дубов не слышал их. Он смотрел на больную, пытаясь понять, что же нужно сейчас делать: настаивать ли, чтобы “скорая” забрала её немедленно, или же дожидаться завтрашнего дня. Вдруг он понял, что невольно смотрит женщине прямо в глаза. Она отвечала ему мутным невидящим взглядом. Лицо её, искажённое болью, неожиданно показалось профессору насмешливым. Тогда он вздрогнул, вскочил, прошёлся по комнате. Эта страшная язвительная насмешка, которую он так ненавидел и боялся раньше. Силой он заставил себя вернуться к кровати.

— Я больше не нужен? — вызывающе спросил врач.

— Да, можете идти, — выговорил профессор ожесточённо. Врач торопливо попрощался, и Мария Дмитриевна пошла проводить его до двери.

— Можете вообще не появляться, — повторил Дубов про себя. Он всё ещё избегал опять встречаться глазами с женой и потому стал пристально смотреть вслед уходящему врачу.

Когда Дубов повернулся, больная уже прикрыла глаза и медленно тяжело дышала, стараясь не шевелиться, чтобы не чувствовать боли. В комнату вернулась Мария Дмитриевна. Она села на кровать с другой стороны и осторожно погладила женщину по тонкой обессиленной руке.

2

Это случилось десять лет назад. С некоторых пор Пётр почувствовал, что жизнь превратилась для него в прямую линию, в твёрдый стальной прут. Что-то большое и сильное подчинило его тело. И даже если какое-нибудь случайное впечатление увлекало его неожиданной радостью или беззаботной лёгкостью, он точно знал, что рано или поздно это впечатление развеется, и он опять останется наедине с необходимостью делать то, что теперь делал и любил.

Ему было двадцать семь. Раньше он занимался только филологией, и его не интересовали ни политика, ни общественная деятельность. Но недавно он устроился в типографию при одном православном издательстве и пережил сильное увлечение христианской литературой. Христианство привлекло Пет-

ра стройностью грандиозной системы, которая в отличие от других теорий могла объяснить мир. Все годы своей молодости после развала Союза он неосознанно жаждал этой определённости, этой почвы под ногами, и теперь его переполняло желание погрузиться в ещё неизвестную ему, но невероятно притягательную церковную жизнь.

Той весной он первый раз в жизни выдержал пост до конца и почти все эти семь недель чувствовал сухую сосредоточенность мысли, когда кажется, что голова как выметенная комната, и всё разложено чинно — ничто чужое не проникнет внутрь. А на пасху поехал в храм в центре Москвы, чтобы отстоять ночную службу целиком и вернуться домой только утром, когда откроется метро.

Ещё по дороге Пётр почувствовал особенное вдохновение. От метро шёл следом за большой компанией молодых людей и девушек, оживлённо разговаривающих о чём-то. Он вслушивался — те говорили о бездомных, о социальном патруле, бюрократических сложностях для тех, кто потерял паспорт и вынужден жить на вокзале. Он глотал эти слова, как свежий весенний воздух, ему тоже хотелось окунуться в кипучую деятельность, кому-то помогать, кого-то спасать. И уже потом, стоя в храме, ощущая ласковую теплоту чужих тел, сжимающих его со всех сторон, он думал о том, как отныне всю жизнь свою посвятить служению ближним. Так что ему даже тягостно становилось стоять сейчас просто так и ничего не делать, будто вместе с потраченным зря временем безвозвратно уходила из него капля драгоценной силы, отмеренной ему на жизнь.

Храм был светлый, просторный. Стоялось удивительно легко. Он не всегда понимал, что именно происходит сейчас, что именно читается, о чём поётся, но едва память выхватывала из службы знакомые слова, как сразу же начинал повторять их вслед за певчими шёпотом, едва шевеля губами.

Пётр ощущал веру в Бога как уверенность в существовании законов и правил, по которым каждый должен жить. И вместе с тем она была переплетена в нём с любовью ко всему русскому, так что казалось, есть тайная связь между православием в его душе и вековой святостью его Родины. И потому, глядя на молодых людей вокруг, таких же как он сам, радостных, полных сил и желания действовать, он думал о возрождении России, о том, что именно они (и он вместе с ними!) смогут стать основанием будущей святой Руси.

Когда уже подходили к причастию, Пётр заметил девушку маленького роста, которая стояла в очереди немного впереди него. Почему-то она не могла двигаться спокойно, как делали другие, а постоянно переминалась с ноги на ногу, оборачивалась, как бы приглядываясь то к одному, то к другому человеку. Одета она была неопрятно, спутанные волосы блестели, будто обмазанные маслом, но девушка, кажется, не стеснялась этого. Она напоминала Петру его младшую двоюродную сестру. Он видел, что ей нужно поправить воротник клетчатой рубашки, что она зря так легко оделась, и что узкий поток ветра от форточка попадает прямо на неё, шевеля край чёрного платка на голове. Его всегда привлекала такая незащитная неумелость, хотелось прямо сейчас протиснуться сквозь толпу, встать между девушкой и окном и отчитать её, как ребёнка.

Пока последние люди подходили к священнику целовать крест, пока длились последние молитвы и песнопения, он не чувствовал себя чужим здесь. Но когда священник скрылся в алтаре и все вокруг заговорили, стали поздравлять друг друга, оживлённо снова туда-сюда, устраиваться кто на лавках, кто прямо на полу, разворачивать скатёрки, полотенца, пакеты, чтобы поставить на них куличи, он замер на месте и принялся жалобно оглядываться. Какая-то женщина ласково потянула его за рукав: “Христос воскрес, подходите к нам”. Он подсел к небольшой компании, расположившейся у подножья массивного подевечника. Лица у всех были усталые, но светлые. Он стукнулся яйцом с кем-то из сидевших рядом и принялся медленно счищать скорлупу, всё ещё продолжал поглядывать на ту девушку. Ему не нужно было смотреть непрерывно, он чувствовал её и так, контролировал движение внутренне, иногда проверяя, верно ли чувствует, в том ли

месте храма она находится. Девушка подходила то к одним, то к другим, было видно, что её никто не знает, а она так хочет с кем-нибудь познакомиться. Но каждый раз эти новые приветливые люди не оправдывали её надежд, и она спешила к следующим. Девушка слегка прихрамывала, и потому как бы подпрыгивала при ходьбе.

Вдруг она так же быстро отделилась от очередной компании и направилась к выходу. Пётр осторожно поднялся со своего места и, ещё не веря в то, что он на самом деле это делает, двинулся за ней. У него не было осознанного плана, только удивление новизне своего неожиданного поведения.

На улице было по-утреннему холодно, но и здесь во всём чувствовались пасхальное спокойствие и размеренная традиционная деловитость. Девушка стояла на пороге. Она курила, судорожно глотая воздух, как перед погружением в воду. Пётр остановился рядом.

— Никак не могу бросить, — заметила она так решительно и в то же время обыденно, будто продолжая прерванный только что разговор. — Что уж делать, такая страсть! — и резко, отрывисто засмеялась.

— Я надеюсь, вы меня не осуждаете? — добавила дерзко.

Пётр всё ещё смотрел на неё, пытаясь понять, что же значит такое быстрое начало, без необходимого вступления и знакомства. Он мог объяснить это только недостатком общения, но и такое объяснение было неполным и, пожалуй, даже ошибочным, ведь она только что разговаривала со столькими людьми в церкви.

— Значит, осуждаете, — девушка сжала губы, но не обиделась, а опять отчего-то рассмеялась. — Что ж, совершенно тривиальная реакция...

Её нарочитая небрежность понравилась Петру. Он почувствовал в этом ту же слабость, какая виделась ему и во внешнем виде девушки, и ему стало легко с ней.

— Вы меня не так поняли... Идёте до метро? — спросил он, улыбаясь глазами.

— Сейчас, я предупрежу бабушку, и пойдём, — легко согласилась она.

А потом они сидели в маленьком пустом кафе, притаившемся где-то в глубине сонного переулочка. Когда проходили мимо, она сказала, что ей нравятся большие глиняные горшки, стоявшие на подоконнике, а он предложил выпить по чашке кофе. Девушка согласилась поспешно, как будто сама думала об этом, но едва оказались внутри, сразу же потерялась, не знала, куда вешать куртку и что заказать. Пётр бережно взял вещи из её рук и быстро сделал заказ.

— Я долго ем, у меня проблемы с зубами, — объяснила она, склоняясь над тарелкой с пирожным. — Я просто стараюсь сразу говорить людям, чтобы они знали, с кем общаются. Понимаешь, чтобы потом не было ненужных разочарований.

Пётр кивнул, думая о том, что есть на свете такие открытые люди, которые могут не скрывать своих мыслей и эмоций, как это всегда делал он.

— А почему ты всё время молчишь? — как нарочно спросила она. — Я заметила тебя в церкви, ты был такой сосредоточенный. Ничего, что я на ты?

— Ничего, — ответил он по-обычному резко.

Он уже знал, что её зовут Леной и что она живёт на юге Москвы вместе с бабушкой, но продолжать разговор об этом было бы нелепо. И потому он не понимал, о чём говорить, но и молчать уже нельзя было больше.

— Я думал об одной статье, — нахмурился он.

Лена оживилась.

— Где ты её прочитал? Или нет, дай догадаюсь, это твоя статья. Ты журналист? Расскажи, что за статья! Нет, конечно, ты прости, что я навязываюсь, если не хочешь, ты можешь и не говорить, только я не понимаю, в чём тогда смысл разговаривать двум людям...

Ему было как-то неловко так сразу излагать ей что-либо. Маленькое кафе, убаюкивающая музыка — совсем не та атмосфера для серьёзного разговора. Кроме того, он не чувствовал сейчас внутри себя яростного запала, в котором привык рассуждать о важных вещах.

— Статья о целостности характера... — проговорил он осторожно, как бы пробуя на вкус слова, проверяя, можно ли их произносить. — Понимаешь, есть много разных категорий в мире, но главная из них — целостность характера. А основным свойством целостности характера является желание погрузиться во что-то одно, так, чтобы это одно захватило тебя полностью.

Он выразил первую мысль и взглянул на неё. Лена сидела неподвижно, внимательно рассматривая его лицо, пытаясь разгадать, о чём он на самом деле думает. Тогда Пётр утвердительно кивнул и постарался припомнить следующее.

— Если у человека есть Дело, он должен заниматься только им, не отвлекаясь на посторонние вещи. Человек должен сродниться с Делом, не мыслить себя без этого Дела и Дело без себя. Именно оно должно стать итогом его жизни.

Он говорил, но слова его были безжизненными. Он произносил их, восстанавливая по памяти из чернового текста. Впрочем, постепенно голос становился всё ниже, превращаясь в хрип.

— Если у человека есть любимый человек, он должен отдаться ему без остатка. Не может быть ни одной капли его времени, сил, которые он не мог бы отдать любимому. Стать одним целым, одним существом — вот идеал человеческой любви!

Ему показалось, что в какой-то момент внимание её ослабло, она недовольно взглянула в окно, стукнула ложечкой о чашку, помешивая сахар, но на этих словах отложила ложку и опять пристально всмотрелась в его лицо.

— Часто приходится сталкиваться с рассуждениями о работе ради денег или о любви, в которой оба партнёра обладают определённым набором качеств и потому удобны друг для друга, — продолжал Пётр, сильнее и сильнее погружаясь в то особенное восторженное состояние, когда казалось, всё существо его мобилизуется только для одного слова, одной острой мысли, прорывающей тонкую плёнку бытия. — Это и есть разрушение целостности, принятие вторичных моментов за истинную причину, следствие глубокой порочности даже не отдельно взятого человека, а всей философии мира в целом!

Он знал, что в этот момент не нужно говорить так много, что его слова совершенно не подходят для первого разговора с девушкой, но именно то, что с ней, кажется, можно было не обращать внимания на такие условности, пьянило его. Он видел — ей интересны его мысли, у этой девушки такие же убеждения, как у него, и почему бы им в таком случае не поговорить об этих убеждениях!

— Ты очень необычный человек, — сказала она задумчиво. — Мы с тобой похожи, я тоже необычная. Таким людям сложно жить на свете. Я, например, больна, ты, наверно, уже заметил, я хромаю. А люди не любят больных. Люди злы, да, да, Петя, — и она рассмеялась каким-то неестественно заливыстым смехом, будто хотела что-то разрушить в окружающем мире.

— Нет, я всё уже перепробовала с ногой, это на всю жизнь, — добавила она, перебивая вопрос, который он, как ей показалось, хотел задать. — Мне тяжело, тяжело жить в этом мире, где правят деньги и всякие там желания... хм, хм... — опять так же резко рассмеялась. — Ну, ты понимаешь, о чём я... Мужчинам не нравятся некрасивые женщины. Да нет, не переубеждай меня, вот только не надо этой вежливости, я ненавижу вежливость!

Он видел в ней столько злости и странной едкости, но эта едкость не ранила его. Напротив, Петру хотелось мгновенно приняться за исправление всех её недостатков.

— Нет, ты не подумай, я христианка и всё такое, — добавила Лена, опять как бы читая его мысли. — Просто я привыкла высказывать правду в лицо. Это мой недостаток, я знаю, но вот такой я человек...

Когда Пётр шёл в то утро домой, он чувствовал то же самоотречение, что и вечером перед службой, но уже какое-то осязаемое. Ему казалось, вот он, его путь, казалось, что он нужен именно этой девушке, что он может сейчас послужить Богу и ей и что сегодняшний светлый день прошёл не напрасно.

И вот через четыре месяца они входили в маленькую квартиру на севере от Москвы, снятую Петром по дешёвке у родителей одного институтского при-

ятеля. Было душно оттого, что здесь давно не проветривали. Лена сразу же шагнула в комнату, чтобы открыть окно, а Пётр подошёл к балконной двери и стал с силой тянуть вверх неподвижную стальную ручку. Дверь не поддавалась, он огляделся, пытаясь найти какой-нибудь подходящий предмет, чтобы надавить рычагом. Кухонный стол на тонких вычурных ножках, плита с тремя чёрными кругами, холодильник в углу, открытый настежь — всё это было таким странным, что никак нельзя было поверить, что вот здесь им нужно будет теперь жить и что это будет та самая новая жизнь, которую он так ждал.

Пётр не мог ещё до конца осознать, что с ним произошло такое удивительное событие, что он женат и теперь навсегда с ним эта женщина, которая так же возилась сейчас с оконной рамой в другой комнате этой чужой квартиры. Нет, он был уверен, что любит её, что это Бог дал ему её и в этом был Его промысел, но всё равно не мог привыкнуть к такому неожиданному изменению своей простой и понятной жизни.

Воспоминания о последних четырёх месяцах были как прикосновения к мягкой обнажённой коже. Сначала они встречались почти каждый день — Пётр приезжал к ней после работы. Но постепенно их общение становилось всё более и более тягостным для него. Лена отнимала столько времени и сил, что домой он возвращался усталый и подавленный и не мог ничего больше делать. Она звонила ему на работу, а после вечерних встреч звонила домой, чтобы говорить до поздней ночи. Она почти маниакально требовала разделить с ней каждый эмоциональный порыв и обвиняла в чёрствости, если он по своему обыкновению принимался хладнокровно разбирать её проблемы монотонным голосом. Ему было тяжело с ней и казалось, что он уже не справлялся с той ношей, которую звал на себя.

Так продолжалось где-то до конца мая, пока Пётр не перестал отвечать на её звонки. Лена звонила беспрерывно и настойчиво, и ему приходилось выключать телефон. Через несколько дней звонки прекратились, но он всё равно ждал их и боялся.

Наконец через две недели она позвонила ещё раз. Пётр ответил, они немного поговорили, а на следующий вечер он поехал к ней. Было тепло, сгустились молочные сумерки. Лена выглядела притихшей и необыкновенно светлой. Они ни словом не коснулись того, почему не общались эти две недели. Лена рассказывала, как на днях ходила в церковь и исповедовалась у священника со странным греческим именем. Пётр слушал её и был доволен, что она стала такой спокойной, какой он и хотел бы её видеть. Они коротко попрощались, даже не договорившись, когда встретятся в следующий раз.

А когда Пётр шёл к метро, ему вдруг стало так легко и радостно оттого, что он всё-таки приехал к ней. И таким странным казалось теперь, что ещё несколько дней назад он думал, как бы порвать любое общение, и не чувствовал ни жалости, ни теплоты в сердце. Теперь всё было не так, и он никак не мог объяснить себе это изменение, и оттого придавал ему особенное значение. Может, это знак, данный мне Богом для разъяснения сложившейся ситуации, рассуждал он.

Весь следующий день Пётр радостно предвкушал будущий разговор с Леной. Ему так приятно было сказать ей, что он любит её, он уже представлял себе, как она улыбнётся, бросится к нему и как они потом будут целый вечер ходить счастливые.

Они встретились у метро. Лена стояла неподалёку от выхода, держась за фонарный столб. Пётр не сразу заметил её. Навстречу ему текли люди, и он продвигался сквозь них медленно, но не сводил с неё глаз.

— Прости меня, — сказал он сразу же, а потом потерялся на мгновение и опять добавил твёрдо: — Прости.

Лена испуганно взглянула в его напряжённое лицо и, будто боясь, что он сейчас произнесёт что-то страшное, принялась торопливо рассказывать, как прошёл день. Но Пётр резко выставил вперёд ладонь, а потом осторожно и мягко провёл пальцами по её руке.

— Я хотел сказать, мне многое открылось вчера. Всё встало на свои места, и я очень рад этому. Я хотел попросить у тебя прощение за то, что не разобрался в себе раньше.

Он говорил это медленно и даже слишком размеренно, словно заготовил все слова заранее. Лена глядела на него неподвижно.

— Я решил, я всё понял. Выходи за меня замуж, — закончил он и с удивлением заметил, как, будто от ужаса, исказилось её лицо...

А потом, когда Лена уже пришла в себя, когда они постояли несколько минут, обнявшись, когда уже сказаны были все слова, они шли, взявшись за руки. Те же сумерки опустились на город, но что-то уже изменилось, как если бы воздух стал гуще от случившегося.

— Знаешь, меня приглашают со следующего учебного года преподавать в Литературный институт. У Шовковского есть связи, да и меня, оказывается, там ещё помнят, — задумчиво проговорил Пётр. — Ты сможешь мне готовиться к занятиям? Ты ведь тоже филолог!

— Это важно для тебя? — тихо спросила она.

— Да, очень важно, — ответил твёрдо и почувствовал благодарность за то, что она любит его, что она готова разделить с ним его жизненный путь.

— Всё в порядке? — спросил он через минуту, замечая, что она будто замкнулась и думает о чём-то своём.

— Да, да, — мгновенно отозвалась Лена, и ему опять стало легко и радостно.

В следующие два месяца, пока ещё длились необходимые приготовления, пока они жили в предчувствии будущего события, Пётр опять ощущал внутри странное волнение. Они с Леной проводили почти всё время вдвоём, и он сильнее привязывался к ней. В то же время ему казалось, всё в мире стало крупнее, а вместе с тем крупнее и значительнее стали любые его мысли и чувства. Вечером, оставаясь один, Пётр торопливо принимался записывать то, что открылось ему сегодня. Идеи для новых литературных и философских статей переполняли его. Раньше он чувствовал подобное вдохновение только в церкви во время литургии, теперь же вся жизнь его буквально пропиталась этим вдохновением. Он объяснял это тайной любви, удивительным образом вошедшей в его жизнь.

Венчались они в той самой церкви, где и встретились, — Лена очень настаивала на этом. Петру тоже нравилась такая параллель. Он ждал венчания с жадностью. Он знал, что двое должны стать одним, и много думал об этом загадочном моменте. Ему представлялось, что на венчании случится нечто особенное и такое явное, что можно будет испытать даже телом. Он верил: от того, насколько сосредоточенным он будет в момент совершения таинства, зависит то, как сложится их семейная жизнь. Но во время самого венчания у него всё не получалось сконцентрироваться на словах службы. Ему отчего-то было страшно, что Лена, такая слабенькая и худая, может упасть в обморок, и он старался стоять чуть сзади, чтобы контролировать положение её тела. Она была ещё более беззащитна и трогательна в тонком белом платье.

И вот после венчания и короткого обеда в церковной трапезной с несколькими друзьями они оказались в этой новой и чужой для них квартире. Пётр открыл, наконец, неподдающуюся балконную дверь и с наслаждением сидел на корточках, вдыхая свежесть прохладного августовского вечера. Лена вошла на кухню.

— Давай повесим в зале занавеску перед кроватью, так будет уютнее.

— Хорошо, — согласился он, не думая. Эти заботы о быте, обустройстве квартиры, покупке вещей сами по себе не казались ему важными, но несли смысл именно как этапы построения семьи.

Они отчего-то замолчали. Несколько минут стояли так, выжидая, что другой начнёт сейчас говорить.

— Давай расставим вещи, — сказал Пётр, стараясь весело улыбнуться. — Это ведь теперь наша квартира!

Она благодарно кивнула ему, и они вместе занялись расстановкой.

Ночью его удивила её нагота, так что он долго боялся прикоснуться к маленькому болезненному телу. Он не чувствовал ни телесного желания, ни страстного томления, а только острейшую жалость, пронзительное переживание её уязвимости. Это ощущение не прошло даже потом, когда они уже засыпали, оно только немного притупилось, как бы вросло внутрь.

Он чувствовал, что и Лена как-то по-особенному беспокойна — стоило ему немного повернуться, она сразу же принималась лихорадочно хвататься за него, словно боялась, что он сейчас может уйти...

Утром Пётр проснулся рано, ещё только рассвело. Густые облака плыли по небу, и было необыкновенно спокойно на душе. Он прошёл на кухню, осторожно поставил чайник, сел за стол. Казалось, что-то необыкновенное происходило сейчас, будто тонкая плёнка реальности, отделяющая его от тайной сути бытия, вдруг стала совершенно прозрачной, а в голове прояснело. Ему хотелось мгновенно взяться за листок бумаги, но ничего не было под рукой, кроме старых газетных листов, которыми, видимо, ещё с зимы обклеивали окно. Пётр осторожно оторвал один.

“В иерархии современного общества нет Христа, — записал он мелкими неровными буквами на свободном от серых газетных строчек месте. — Максимум, на что мы способны, это более-менее регулярное исполнение обрядовой стороны. По большому счёту жизнь верующих людей сейчас разбивается на две жизни — обычную, полную праздности и суеты, и два часа на литургии в храме по воскресеньям...”

Новая мысль пришла к нему, и он громко ударил кружкой об стол. Прислушался, не доносится ли звуков из комнаты. Опять склонился над листом.

“Каждый бесцельно потраченный час ты ворует у вечности и у своего призвания. Какое право ты имеешь так тратить этот час, ты ли его заработал? Этот час был дан тебе Богом для исполнения Его замысла, а что сделал ты? Цени эти часы, из них складывается тот отчёт, который ты дашь Творцу на Суде...”

Сильные прямые мысли захватили его, но в это время он услышал сонный голос Лены из-за стены и понял, что всё-таки разбудил её тем неосторожным движением. Ещё секунду продолжал писать, а потом торопливо поднялся и шагнул в комнату. Лена, ещё сонная, лениво потягивалась на кровати. Её тело было похоже на несколько веточек, случайно соединённых между собой.

— Что ты делал? — спросила она ревниво, сердясь, что он проснулся, а её не разбудил.

— Писал, — ответил он, отчего-то смутившись.

— О чём?

Он стал поспешно рассказывать ей смысл своей новой статьи, но она прервала его, неожиданно сильно проведя рукой сначала по волосам, а потом по лицу.

— И какое отношение это имеет к нам? — произнесла вдруг тихо.

— Как какое? — удивился он. — Мы находимся внутри этого процесса, мы должны препятствовать ему, насколько это в наших силах!

Ему показалось, что Лена на мгновение насупилась, и он попытался заговорить о чём-то, чтобы развеселить её. Но в этот момент она вдруг прикинула к нему и стала бешено целовать. Поддаваясь её порыву, Пётр ещё подумал, что как бы ему ни хотелось сейчас писать статью на кухне, он не может оставить её в такой момент...

Первые несколько дней они провели дома. Потом Петру нужно было выходить на работу в типографию, откуда он не хотел увольняться, пока вопрос с преподаванием в Литературном институте не решится окончательно. Лена же собиралась заняться репетиторством по английскому, но это лишь в сентябре, а теперь ей приходилось целыми днями сидеть дома, ожидая Петра с работы. Она говорила, что ей тяжело проводить день в одиночестве, но Пётр только качал головой, потому что сам-то он мечтал о свободном времени и о том, сколько мог бы сделать, если бы не нужно было зарабатывать.

Он хотел, чтобы она общалась с подругами и этим как-то развлекала себя, но Лена отвечала, что у неё нет подруг, что они все лживые и самовлюблённые. Пётр удивлялся этой её жестокости.

— А Мила? — спрашивал он о светловолосой высокой девушке с длинной русской косой, которая была на венчании.

— Мила... — задумывалась Лена. — Она так, знакомая. Понимаешь, если человек тебе друг, то он должен звонить тебе каждый день, искренне

интересоваться тобой. Связь должна быть, понимаешь? А не раз в месяц спросить “как дела”.

Его задевали эти слова, а больше всего — та злость, которая в такие моменты прорывалась у неё по отношению к другим людям. И тем более странными казались после этого порывы безумной нежности, которую она выплёскивала на него.

Вечера после работы проходили одинаково радостно и вяло. К приходу мужа Лена готовила ужин, а потом они садились рядом и разговаривали о чём-нибудь. Но иногда острое ощущение потерянного времени вдруг начинало мучить Петра, как будто кто-то внутри тихо шептал, сколько бы он мог сделать за этот вечер и не сделал. Бывало, что он прямо говорил Лене, что хочет сегодня позаниматься литературой, и садился за кухонный стол, надевая наушники, чтобы настроиться на нужный лад. Но она всё равно приходила к нему и начинала ласкаться, будто нарочно отвлекая от дела. А если и оставляла в покое на целый вечер, то потом ходила хмурая и раздражалась по любому поводу.

По выходным он теперь старался вставать раньше, пока Лена ещё спала. Нежно глядел на неё, но боялся укрыть одеялом, чтобы не потревожить сон. Потом медленно, как бы ещё сопротивляясь внутреннему желанию, шёл на кухню. А там уже вываливал на стол свои черновики, поспешно перечитывал их, систематизировал и, поймав мысль, принимался за работу.

В то время Пётр закончил большую статью и послал её в один известный литературный журнал. Шовковский, работавший там младшим редактором, передал, что статья наделала шума, потому что совершенно не вписывалась в общее направление журнала, но всё-таки одобрена к печати. Это ещё больше вдохновило Петра, и теперь он урывал любую свободную минуту, когда Лены не было рядом, чтобы писать.

— Скажи, почему я не чувствую себя красивой рядом с тобой? — жалобно спросила Лена как-то вечером.

Вопрос был совершенно нелепым, но Пётр отчего-то почувствовал себя виноватым.

— Ты для меня самая красивая, — сказал он, присаживаясь рядом и осторожно привлекая её к себе, но слабость его слов была явна даже ему самому. “Будто я вру, — подумал Пётр и поморщился от досады. — Но я ведь не вру!”

— Понимаешь, для меня наша любовь всегда была ребёнком, которого надо растить... Среди пошлости жизни, среди всех этих посредственностей, которые меня всегда окружали, это было настоящим чудом, — заговорила она порывисто. — А для тебя есть только твоя литература и церковь, — закончила жёстко, но не отвернувшись, а ещё продолжала смотреть на него, будто ожидая, что он бросится разубеждать её.

Пётр молчал. Его удивили эти слова, он пытался осмыслить их, встроить в систему своих взглядов, чтобы разобраться, может ли быть правильным то, о чём она говорит. Но в своих лихорадочных рассуждениях постоянно спотыкался о мысль, что Бог и должен быть превыше всего в мире, и потому это хорошо, что для него есть только церковь, а то, что говорит она, плохо и даже недопустимо. “Это заблуждение, пусть, но я её приведу к истине, — убеждал он себя. — В конце концов, важность церкви она когда-нибудь поймёт...”

Но пока он думал об этом, взгляд его становился всё холоднее, а лицо морщилось. Лена испуганно следила за ним в эту минуту.

— Прости, — заговорила она, прижимаясь к нему до боли. — Зверёк просто устал...

— Да, да, и ты прости меня, — рассеянно ответил Пётр. — Я после этой работы сам не свой...

Он был рад такому быстрому примирению, но долго ещё чувствовал непонятное беспокойство, мешавшее ему думать о чём-нибудь другом.

Любовь не сделала их сильнее, наоборот, ослабила, истощила их. По вечерам они всё реже реже разговаривали. Пётр чувствовал усталость после дня в типографии, но желание и невозможность писать выматывали его ещё сильнее. Лена же остро ощущала своё одиночество и особенно в те момен-

ты, когда он был дома. Но она больше не заговаривала ни о чём важном, будто боясь, что после такого разговора он окончательно станет каменным, и подолгу курила, глядя куда-то вдаль, не открывая форточки.

Как-то на выходных они целый день сидели дома. Лене нездоровилось, а Пётр боялся тревожить её. Вечером они вышли гулять. Они ни разу не ходили ещё в другую сторону от дома, не туда, где проходили железнодорожные пути и можно было сесть на электричку и доехать до Москвы, а туда, где из окна виднелась тонкая полоска леса.

Шли медленно и как-то обречённо. Миновали узкое и грязное шоссе, потом зашагали между деревенскими домиками. Улица постепенно сжималась, пока не превратилась в тропинку, уводящую мимо раскоряченного раскидистого дерева куда-то вниз. Начинаясь высокая трава, а за ней — маленькая речушка, преграждавшая путь. Они остановились. Пётр взглянул на Лену вопросительно. Она пожала плечами, и они принялись спускаться к берегу.

Справа виднелся деревянный, будто игрушечный мостик. Через траву пробрались к нему и осторожно перешли по сгнившим брёвнышкам, между которыми виднелась мутная вода, а в ней — чёрно-зелёная тина. И странно было, что здесь, в двадцати минутах езды от огромного города, притаилось такое гиблое место.

Они шли дальше, а Пётр явственно чувствовал, что они всё сильнее уязвляются в молчании, как в болоте. Прошли мимо коттеджей, вальяжно раскинувшихся на другом берегу. Опять началась асфальтовая дорога, но её преграждали то забор, то слагбаум, и им каждый раз приходилось возвращаться. Наконец выбрались на тропинку, ведущую вдоль леса, и остановились. Если оглянуться назад, можно было увидеть их дом, одиноко высившийся среди деревенских улочек и старых пятиэтажек. Вдалеке тонкой зелёной струйкой скользнула электричка.

Сильный ветер остервенело наклонял траву, отделяющую их от первых деревьев. Пётр старался встать спиной к ветру, чтобы закрыть Лену своим телом. Лена же замерла неподвижно, только зябко втягивая маленькие плечи. Становилось всё холоднее.

Вдруг она будто очнулась и наклонила голову к его груди.

— Зверёк хочет в лес, — произнесла тихо, так что едва можно было слышать её слова.

— Наверно, не надо, грязно, пора домой, — поспешно заговорил Пётр, стараясь нежно потрепать её рукой по плечу.

Она слабенько улыбнулась.

И пока шли обратно, пока закрывали руками лица от ударов внезапного проливного дождя, резко хлеставшего то с одной, то с другой стороны, на душе у Петра становилось легче от этой её улыбки. И когда вновь дрогнул под их ногами тонкий деревянный мостик, он уже думал о чём-то своём, не чувствуя прежней тревоги. Он знал, что они придут сейчас домой, обсохнут, и так приятно будет сидеть на кухне, глотая горячий чай и ощущая, что у тебя впереди ещё целый свободный вечер, за который можно столько успеть...

Через несколько дней Пётр пришёл домой и увидел, как Лена с силой бьёт кулаком свою большую ногу.

— Что ты делаешь? — выговорил с придыханием.

— Я калека, урод... Тебе меня просто жаль, — вскочила она.

Пётр почувствовал, как вскипает внутри глухое раздражение, но сказал нарочито ласково:

— Ну что же ты, маленькая моя... Ты очень красивая, — хотел было обнять её, но она вырвалась из его рук.

— Ты не слушаешь меня! Я тебе говорила, как важна для меня наша любовь, что она для меня, как ребёнок, который зреет во мне и которого надо растить, а ты даже не обратил внимания на это...

— Ты ждёшь ребёнка? — переспросил Пётр.

Она закрыла лицо руками и то ли засмеялась, то ли заплакала, сильно вздрагивая всем телом.

— Ты ничего не понял... ничего не понял... — только и повторяла она.

Пётр смотрел на неё, сердце его постепенно смягчалось. Он понял, что ошибся, когда подумал о беременности, но она и сама была как ребёнок, маленькая, нескладная, ему было до боли жаль её.

— Что я не понял? — спросил, будто отчаянно надеясь ухватить то самое недостающее звено в цепи, которую тщетно пытался восстановить.

— Ты так и не понял — мне нужен нормальный человек, а не инопланетянин. Я сама злобная и больная, и мне нужен такой же!

— Я всё равно верю в тебя, верю, что ты станешь другой, — проговорил Пётр растерянно и только потом почувствовал, что в этих словах есть что-то обидное для неё.

— Да ты во всех веришь, — ответила она, не заметив этого обидного. — Ты со всеми такой хороший, для тебя это просто. Но ко мне это никак не относится!

Пётр ощущал, как сердце будто сдавили тисками так, что казалось, никогда ему уже не разжаться. Но он не мог позволить себе проявить слабость, показать свои эмоции и потому продолжал ласково гладить её по руке.

— Всё будет хорошо... это такой период...

Но она отёрнула руку, и он продолжал гладить мягкую поверхность шерстяного покрывала на кровати. Ему хотелось выразить свои чувства — как он любит её, сколько нежности чувствует к ней сейчас, но слова не находились. Текли минуты, а он всё сильнее склонял голову к этому покрывалу, а Лена становилась всё холоднее.

— Я тебя люблю... — выговорил он глухо.

— Ну что мне сказать тебе, чтобы ты меня разлюбил, — со странным злорадством проговорила она, — что я тебе изменила? Вот, говорю!

Пётр отпрянул от неё.

— Нет, это неправда, — сказал чётко, не глядя в глаза.

— Всё равно. Значит, потом изменю...

Он попытался дотронуться до неё, но Лена резко вздрогнула.

— Уйди!

Пётр послушно поднялся и медленно прошёл на кухню. Эти странные слова об измене волновали его, он им не верил, но всё равно чувствовал внутри изматывающую ноющую боль. Монотонно принялся мыть посуду, потом отложил губку, оделся и вышел из квартиры.

На улице лил всё тот же дождь. Какое-то время Пётр ещё стоял под козырьком, не решаясь ступить в грязную тёмную кашу. Наконец шагнул вперёд и стремительно двинулся по залитым улицам. Вокруг не было ни души, только редкие огни горели в окнах домов. Где-то залаяла, но сразу же захлебнулась собака. В темноте Пётр никак не мог найти тропинку и потому наугад двинулся к раскоряченному дереву, но неожиданно поскользнулся и рухнул в мокрую липкую траву.

Мгновение он лежал, прислушиваясь. Удивительно сильно шелестели вокруг примятые стебли под ударами дождя, и Петру казалось, что им так же больно, как ему. Он знал, что эта боль не сломит его, наоборот, может, выкристаллизуется потом страшной уверенностью в своих силах, но сейчас ему не хотелось даже подниматься на ноги.

До встречи с Леной он знал своё предназначение — в мире не существовало для него ничего кроме языка. Он жадно исследовал язык, раскладывал по ячейкам каждый элемент знания, желая получить цельную структуру. А видя несовершенство чужих исследований, раздражался, отмечая разрывы логических цепочек. Но в один счастливый момент он понял, что во всём в мире царит тот же порядок и та же структура, что всё, созданное Богом, устроено так разумно, что достаточно лишь найти эти тайные закономерности, а потом следовать им, чтобы никогда в жизни не ошибаться. А если что-то случалось не так, то уж конечно, это было свидетельство не просчёта в устройстве мироздания, а его собственной ошибки, которую нужно было во что бы то ни стало найти и устранить.

И теперь он лихорадочно спрашивал себя, почему всё так случилось, с какой целью Бог дал ему это, но не находил ответа. Он знал, что всё сде-

дал правильно, что в последних событиях его жизни была та строгая обусловленность, которую он всегда считал признаком безошибочности. Они с Леной встретились, понравились друг другу, он долго не решался сделать главный шаг, и тогда Бог дал ему знак — ту неожиданную теплоту в сердце, которая побудила его сделать ей предложение. Потом они с Леной обвенчались. Пётр знал, что таинство венчания превращает двух людей в одно целое и что здесь не могло быть ошибки. Все эти действия он понимал и признавал правильными. Пожалуй, только одно он не мог объяснить — нервную эмоциональность влюблённой женщины, он не мог контролировать её своей волей, не мог управлять ею. Пётр поднялся с земли, его охватило желание немедленно бежать к ней, сказать всё, о чём он думал сейчас, и особенно об этой нервной эмоциональности, которую нужно было немедленно побороть, потому что она разрушала мир между ними.

Но когда он вернулся, квартира была пуста. На тумбе возле двери лежало нарочно оставленное на виду обручальное кольцо. Пётр схватил его, будто желая проверить, точно ли оно принадлежит Лене, и минуту теребил в руках. Тогда неожиданное раздражение поднялось в нём, он стоял, сжимая руки в кулаки, а потом бросил кольцо назад на тумбу и опять выскочил из квартиры. И пока он бежал от дома до станции электрички, ему казалось, что если он сейчас догонит Лену, то накинется на неё, схватит за плечи и будет трясти изо всех сил.

На станции было пусто, электричка недавно ушла. Пётр опять стал звонить на Ленин номер. Звонок сбросили, а затем телефон оказался недоступен. Но он звонил ещё и ещё, уже понимая, что это бессмысленно. А потом в бешенстве набросился на решётку, отгораживающую станцию от проезжей части, и стал колотить по равнодушным железным прутьям. Решётка не гнулась под ударами, только срывались вниз набухающие капли воды с перил.

Пётр вернулся обессиленный, не стал проходить в комнату, а сел прямо в коридоре среди обуви. Ему было тошно от пустоты этой квартиры. Руками он машинально нащупывал Ленины осенние сапоги и белые крошечные туфельки. Иногда к его горлу опять подступало бешеное раздражение, и тогда он ожесточённо сжимал пальцами её туфельки. Но потом, будто опомнившись, поспешно прижимал их то к губам, то к глазам.

Уже за полночь ему позвонила та самая светловолосая Мила и сообщила, что Лена у неё, но разговаривать с ним не хочет.

Они встретились ещё раз через несколько дней неподалёку от дома Лены. Пока Пётр ехал в метро, он чувствовал необыкновенное волнение, которое предшествовало каждому важному моменту в его жизни. И он готов был к этому важному моменту — за последнее время он всё обдумал, и устройство мира казалось ему теперь простым и ясным.

Пётр увидел Лену издали. Они медленно сошлись и остановились друг напротив друга.

— Наверно, если бы люди помнили всё, что они говорят, то жить на земле было бы невозможно, — тихо заметил он.

Лена осторожно кивнула. Шёл мелкий морозящий дождь, но они не стали прятаться от него, а медленно пошли вперёд. Оба ощущали сейчас особенную зыбкость, какая бывает, когда ничего ещё не сказано и пока всё хорошо, но первого слова всё равно ждёшь с тревогой.

— Я много думал последние дни... О нас и вообще о всей своей жизни, — сказал Пётр.

— Интересно было бы узнать, что же ты надумал, — ответила Лена едко, но беззлобно, так что стало понятно, что она злится уже не всерьёз.

— Да уж, я бы мог много такого надумать... — добавил Пётр ей в тон.

Она усмехнулась, как бы показывая — ну что с тобой делать, если ты такой, и обоим им стало легче.

Неподалёку от метро находился парк, где они любили проводить время раньше. И теперь, когда вошли в распахнутые настежь ажурные чёрные ворота и медленно зашагали по узким дорожкам, Лене на мгновение показалось, что сейчас не осень, а весна, и они ещё не поженились, а просто гуля-

ют здесь. Она уже не ждала никаких Петиных слов и только слышала неясную музыку внутри себя. Ей было радостно, от того, что он приехал, что всё, о чём она думала, изнуряя себя, оказалось неправдой — он здесь, и даже обида, которую она всё ещё чувствовала, не могла заглушить её счастья. Пётр же сначала заробел, но потом успокоился, и тогда ему захотелось выговориться.

— Знаешь, мне было так тяжело в тот вечер, когда ты уехала, — начал он твёрдо, и её улыбка придала ему бодрости говорить дальше. — Но потом я вдруг понял, что человек может вытерпеть гораздо больше того, что случилось с нами, и что на самом деле всё к лучшему...

Дорогу им перегородили ветки недавно срубленных деревьев, и они принялись осторожно перешагивать их. Попытались сесть на сваленный ствол, но он был мокрый, они поднялись и двинулись назад. Пётр всё говорил, но Лена почти не слушала его, лишь иногда выхватывая из его слов те, которые были важны для неё.

— Понимаешь, страдания даются нам свыше для того, чтобы вывести из спокойной страстной жизни, в которую мы погружены. Если бы моя душа была чиста, если бы я вёл праведную жизнь, то не было бы страдания, потому что не надо было бы Богу направлять меня к Себе. Конечно, бывает страдание — наказание за какой-то поступок, — оговорился он поспешно, — страдание-искушение, попускаемое Богом для укрепления веры, но общая суть страданий в том, что они являются следствием греховности нашей души. Поэтому так страшно понять простую истину: если бы я был лучше, если бы не погряз в грехе, то и страдания бы не было...

Постепенно Лена стала терять терпение. Ей казалось, можно было сказать только одно, то самое главное, что чувствовала она и хотела, чтобы чувствовал он. Они уже обошли парк по кругу и вернулись к метро и теперь опять стояли друг напротив друга. Вокруг ходили люди, гудели машины, под ногами было слякотно. На руки, на лицо, на одежду лилась холодная осенняя вода, так что Лене хотелось стряхнуть её с себя, сжаться в комок.

— Так зачем ты мне всё это рассказываешь? К чему это всё? — перебила она его.

— К тому, что я понял — мы должны восстановить прерванную связь с Богом через молитвы, исповедь, причастие, мы должны терпеть и становиться лучше, — сказал Пётр, но сразу же пожалел, потому что это прозвучало не так весомо, как он предполагал.

— Ты всё время говоришь, я понял, я хочу... А ты спросил, чего хочу я? — выговорила она тихо.

Пётр удивлённо смотрел на неё. Лена стояла у того же фонарного столба, что и в день, когда он сделал ей предложение, и так же держалась за него, обессиленная, но ещё готовая биться до конца.

— И чего хочешь ты? — спросил мягко.

— Я хочу... я хочу нормального мужика, который любил бы меня. А не маниакально одержимого проповедника... хе-хе... — рассмеялась она обычным раскатистым смехом.

У Петра внутри что-то сжалось, и опять стало неожиданно больно. А Лена, будто почувствовав, что сильно обидела его, виновато поморщилась и произнесла проникновенно, как бы цепляясь за эту обиду, как за последнюю спасительную соломинку:

— Так ты хочешь жить вместе?

— Да, мы же с тобой муж и жена, — машинально ответил Пётр.

Ему на мгновение показалось, что что-то между ними ослабло, перестало быть таким напряжённым. Взгляд её стал теплее, словно его последние слова обладали магическим действием. Но в нём ещё билась злость от её прошлых слов, и он, уже не думая, добавил:

— Мы с тобой муж и жена. Ты можешь даже не уважать меня, но главное — не нарушать клятву, которую мы дали. В любом случае нам надлежит исполнить высшую правду и жить вместе...

Она захохотала ему в лицо. Петру почудилось, будто сотни бесов разом вселились в неё.

— Когда ты начинаешь свои рассуждения и притчи, меня просто тошнит... Я же говорила, ты никогда не изменишься! И если даже начнёшь меняться, у тебя всё равно ничего не получится...

А потом Пётр вошёл в метро и ехал домой, сидя неподвижно, не облокачиваясь на спинку сиденья. Ему казалось, что он смертельно раненный солдат, который уже не может больше воевать, и ему нужно только бесцельно идти куда-то, чтобы потом упасть и умереть. В электричке стоял в тамбуре, напряжённо вглядываясь в грязное овальное стёклышко. А выйдя на своей станции, удивлённо огляделся вокруг. Столько раз они вот так же выходили из вагона и поднимались по длинному, как труба, переходу на другую сторону. Справа виднелось оконце билетной кассы, в которой они никогда не покупали билеты. Где-то в глубине большого привокзального магазина продавали дорогие, но вкусные шоколадные пирожные, которые она так любила... Но Пётр ничего уже не чувствовал и сам удивлялся своему глухому равнодушию. Он шагнул на ступеньки, и всё шире и шире распахивался перед ним маленький грязный городок, с нелепыми деревенскими улочками, прямыми линиями железной дороги и мрачным лесом вдали.

Квартира была пуста, как если бы здесь не жили несколько месяцев. Пётр прошёл на кухню, поставил чай и опустился на диван. Было холодно. Хотелось снять промокшую одежду. Но вместо этого он принялся жадно перебирать свои старые записи, достал листок чистой бумаги и набросился на него.

Он писал и писал, с каким-то особенным остервенением, желая не оставить на листе ни одного миллиметра свободного пространства. А потом встал и почувствовал своё тело каменным. И тогда он заходил по кухне большими резкими шагами, сжимая кулаки, опьянённый этим своим состоянием. Это опьянение смешивалось внутри с прорывавшейся дикой болью, и оттого иногда он принимался истошно рычать, сжимая перед лицом кулаки со страшными набухшими венами.

А потом Дубов долго пил чай короткими глотками, ощущая, как тяжёлое мутное спокойствие постепенно скрепляет разбитое тело.

3

У жены Петра Валерьевича был рак лёгких. Денег хватало только на один курс химиотерапии, однако для продления жизни врачи рекомендовали три. Кафедра русского языка просила студентов и преподавателей оказать помощь. Об этом Настя узнала из короткого объявления на стенде у расписания.

Последние три недели после того вечера, когда она побывала у профессора дома, прошли по-разному. Иногда Настя просыпалась ночью и долго не могла уснуть, оглядывая тёмную комнату, ожидая увидеть призрак страшной женщины. Затем мрачные мысли отступали, и она опять превращалась во взволнованную девочку, и тогда погружалась в мечты о профессоре, переживания о своём глупом письме, о том, видел ли он её в тот вечер у себя в квартире, о том, что ей нужно извиниться...

Объявление на стенде поразило Настю. Весь день она провела в подавленном состоянии, как бы в предчувствии чего-то. Как раз в то время родители прислали ей десять тысяч на еду на будущий месяц. Она придумала отдать их Дубову поздним вечером, когда засыпала, а утром встала в волнении. Казалось, если не исполнит это сейчас же, кто-то может помешать ей. Первой лекцией была теоретическая стилистика, но Настя решила пропустить её, чтобы сходить в банк.

И пока она стояла в очереди к банкомату, ёжась от холода, изредка согревая руки дыханием, ей всё представлялось, что происходит что-то совершенно необыкновенное. Люди в очереди спешили, поглядывали друг на друга недовольно и хмуро. Она старалась не смотреть в их лица, чтобы не подумать про них ничего плохого. А потом ехала в трамвае, чувствуя невероятную радость в душе и желание отныне все свои деньги отдавать тем, кто нуждается, не заботясь о том, как жить самой.

У двери кафедры Настя долго топталась, не решаясь войти. Пётр Валерьевич был у себя. Он сидел в отдельной маленькой комнате, в которую можно было попасть через кафедру, и ждал, пока закипит чайник. Увидев Настю, устало улыбнулся.

— Здравствуйте, Анастасия, входите. Что случилось?

Настя взволнованно теребила пальцы, не зная, с чего начать.

— Я хотела извиниться перед вами...

— Вы хотели извиниться, что не были сегодня на лекции? Да, я внимательно слушаю. Надеюсь, у вас найдутся веские причины.

Настя зажмурилась и неловко рассмеялась, закусывая губу.

— Мне хочется плакать, — вдруг сказала она.

Дубов сокрушённо покачал головой.

— Вы, Анастасия, видимо, твёрдо решили довести меня до инфаркта. Просто эмоциональная атака с вашей стороны, — он усмехнулся и осторожно провёл рукой по лбу. — То смеётесь, то плачете... и всё всерьёз. Это очень подкупает. Но прошу вас, если возможно, будьте спокойнее. Я старый человек, волнение мне полезно лишь в ограниченных дозах... Садитесь, будем пить чай.

В комнате стало уютно, запахло свежим цветочным настоем. Настя опустилась на стул и осторожно наблюдала за тем, как Пётр Валерьевич медленно разливал кипяток по чашкам, думая про себя, как много скрыто в этом сильном и мудром человеке и как ей хотелось бы узнать о нём больше.

Дубову же было очень спокойно. Он ценил людей, с которыми можно было молчать и не чувствовать неловкости.

— Расскажите мне, Настя, о чём вы сейчас пишете? — спросил он, едва заметно улыбаясь.

Настино лицо просветлело.

— Я вам говорила как-то... я пишу рассказ о монахе, о его пути в монастырь...

— О монахе? Да, помню. Видите, о каких важных вещах вам нужно сейчас думать. Это очень сложная тема! Здесь вы не обойдётесь одной описательностью и каким-нибудь внешним психологизмом. Вам нужно будет показать идеал, принять этот идеал всем своим добрым и чутким сердцем...

Настя смущённо улыбнулась. Было так просто и так необыкновенно сидеть здесь и слушать его правильные веские слова, видеть его размеренные движения, как будто ничего не случилось, и не было того вечера, той больной женщины — как будто не было у него никакого прошлого.

— Мне очень приятно беседовать с таким умным и чистым человеком, как вы, Анастасия, — закончил вдруг Дубов. — Заходите ко мне всегда, когда захотите...

А она ещё не успела обрадоваться, что он назвал её умной, как уже растерялась, что это всё и теперь нужно уходить. Машинально поднялась, сделала шаг к двери. Но потом порывисто обернулась и, уже не думая, заговорила ломким неестественно высоким голосом:

— Пётр Валерьевич, я не знаю, как это будет звучать, но если вам что-то необходимо... то есть я хочу сказать, что у вас теперь много хлопот в больнице и каких-то других... я прочитала объявление... я могла бы помочь, посидеть с вашей женой...

Дубов слушал её внимательно и даже как-то слишком спокойно.

— Вы очень искренняя девушка, Анастасия, — заговорил он. — Позвольте и мне сказать вам искренне. Видите ли, Елена Евгеньевна не тот человек, с которым вам было бы полезно общаться. Вам это не нужно.

Он остановился и взглянул на девушку, а она стояла, опустив глаза и напряжённо глядя в пол. Дубов вспомнил, как несколько дней назад она начала плакать прямо в кабинете, и почувствовал внезапное раздражение от самой возможности повторения той ситуации.

— Знаете, я тоже раньше был таким, мне всё хотелось попробовать, всем помочь, — продолжал он нарочито мягко, давя в себе настоящие чувства. — Но потом я понял, единственное, что я должен делать — то Дело, к которому призван. Остальное нужно отбросить. Если вы выбрали труд писателя, то нужно сконцентрироваться на этом.

Он на секунду остановился, раздумывая о чём-то. Настя громко шмыгнула носом.

— Ну, хорошо, хорошо, — неожиданно легко согласился Дубов, не желая больше спорить. — В конце концов, это ваше дело. Пойдёмте, здесь не очень далеко. У Елены Евгеньевны сильный ожог горла после химиотерапии, её нужно часто поить оливковым маслом. Медсёстры не занимаются этим, что ж, их можно понять. А у меня как назло лекция днём. У вас нет больше занятий на сегодня?

— Нет, — торопливо ответила она.

— Или вы так хотите мне помочь, что обманываете? В любом случае хорошо, что я не умею понимать людей по глазам, иначе я мог бы расстроиться за вас...

— Что это? — удивился он, видя, как Настя вытаскивает из кармана смятые купюры. — Ну-ка уберите быстро! Уберите, я сказал!

Настя молча положила деньги в карман и покраснела. Не глядя на неё, Дубов ополоснул стаканы в раковине, сложил в сумку несколько листов со стола, и они вышли в коридор.

Первый онкологический диспансер располагался на Бауманской. Пока они добирались от института сюда, между ними чувствовалась натянутость, и они совсем не разговаривали. Дубов стремился доехать скорее. Настя же ощущала замирание сердца, что вот сейчас она увидит его жену ещё раз, услышит её голос. Казалось, одного слова этой женщины достаточно, чтобы понять что-то важное и про Петра Валерьевича, и про неё.

В коридоре нависали серые низкие потолки, а по краям то здесь, то там стояли одинокие лавки. Им с профессором выдали по белому халату, и они поднялись по крутой лестнице на второй этаж. Настя испуганно смотрела по сторонам. Дубов шёл, не останавливаясь.

У одной из больничных дверей свернул направо, и Настя нерешительно шагнула за ним. Они оказались в маленькой палате с двумя кроватями и огромным окном. Лица человека на ближней кровати не было видно из-за сбившейся на груди простыни. А на дальней лежала женщина без волос с глубокими пятнами под глазами и восковым лицом — жена Дубова. Настя робко остановилась у двери, так непохоже было это лицо на то, которое она видела три недели назад в квартире профессора.

— Здравствуйте, Елена Евгеньевна, — приблизился Дубов к кровати. — Вот и мы. Это Настя, моя ученица, сегодня она посидит с вами.

— Плечо, плечо, зачем мне проткнули плечо, — яростно зашептала больная, пытаясь оттянуть ворот больничной пижамы.

Дубов настойчиво убрал её руку и расстегнул верхнюю пуговицу.

— Тебе это просто кажется, — мягко сказал он, поправил одеяло и посмотрел на часы над кроватью. — Ничего, сейчас дадут обезболивающее. Уже половина двенадцатого, как раз пора.

В палату, будто услышав его слова, вошла медсестра. Они с профессором обступили Елену Евгеньевну и что-то говорили друг другу. Настя по-прежнему стояла у двери, боясь пошевелиться, чтобы не привлечь к себе нервное внимание больной.

— Не смущайтесь, подойдите ближе, — наконец вспомнил про неё профессор. Настя сделала несколько неуверенных шагов.

— Эта девушка сегодня подменяет меня. Если будет что-то нужно, скажите, она справится, — указал на Настю Дубов, обращаясь к медсестре. — Понадобится, можете загрузить её работой.

Медсестра кивнула и вышла, а Дубов усадил Настю на стул рядом с кроватью.

— Вот масло, — показывал он медленно, будто объясняя непонятный материал на лекции, — вот ложечка. Нужно давать по одной каждый час. Первый раз — в двенадцать. Если будут трудности, всегда можно позвать кого-нибудь из персонала. Вы в порядке?

— Да, да, всё хорошо, я всё поняла, — слабым голосом ответила Настя. — Это ведь несложно...

Дубов улыбнулся, пытаясь подбодрить её.

Когда он ушёл, Настя напряжённо вгляделась в лицо Елены Евгеньевны, опасаясь, что она опять начнёт стонать, но та прикрыла глаза и, кажется, заснула. Теперь Настя могла разглядеть её лицо до каждой чёрточки. Через полуоткрытые губы виднелось несколько жёлтых зубов. Щёки были белыми и распухшими, а огромный отёк на шее не давал двигаться. На пижаме в нескольких местах запеклась кровь. Настя уже не могла понять, почему же она так хотела оказаться здесь — больше всего ей хотелось в этот момент, чтобы женщина проспала до возвращения Дубова.

В палате было тихо. Под потолком медленно гудел вентилятор, так что казалось, это он неведомым механизмом поддерживает жизнь пациентов. На больничных стенах застыли неподвижные солнечные зайчики. Медленно двигались стрелки на часах.

Когда время приблизилось к двенадцати, Насте стало неудобно. Не получалось думать ни о чём больше, а приходилось только напряжённо ждать. Наконец время наступило. Она осторожно открыла баночку с маслом, положила рядом ложку. Потом дотронулась до руки больной, но та не двигалась.

— Елена Евгеньевна, — произнесла она тихо.

Больная только сильнее вдохнула. Бледные круги под её глазами вблизи казались ещё страшнее.

— Уже двенадцать часов, — сказала Настя громче.

Наклонилась и стала сильно тереть простыню у её лица. Елена Евгеньевна вздрогнула.

— Надо принять, — запинаясь, повторяла Настя, стараясь торопливо набрать в ложку масла. — Вам надо принять...

Елена Евгеньевна задрожала бессильными губами и глотнула. Настя деловито отвернулась к подносу с лекарствами, чтобы закрыть баночку с маслом. Села на свой стул. Больная лежала с открытыми глазами и осмысленно глядела на неё.

— Ты кто? — спросила она хриплым голосом.

— Я студентка Петра Валерьевича, — смутилась она. — На кафедре повесили объявление, что нужна помощь... И я вызвалась...

Она старалась произносить эти слова равнодушно, чтобы больная не догадалась ни о чём. Но в то же время боялась, что дрожавший голос выдаст её с головой.

— А ты ничего, — заметила вдруг Елена Евгеньевна, дотрагиваясь рукой до Настинных волос, так что та испугалась ещё сильнее. — Я спросила врача, вырастут ли мои волосы, он говорит, что, может быть, вырастут...

Насте стало жутко, оттого что, говоря это, Елена Евгеньевна продолжала перебирать слабыми пальцами её волосы, прядь за прядью, как проверяют на оцупь качество ткани. Настя терпела, боясь пошевелиться, чтобы не показать, что ей неприятно. А когда Елена Евгеньевна опять положила руку на простыню, поднялась, как бы для того, чтобы переставить поднос с лекарствами на тумбу.

— А теперь в кого я превратилась, — выдохнула больная, — скорее, скорее бы стать такой, как раньше... Ты не видела мои старые фотографии? Нет, я тебе потом покажу...

Настя кивнула, стараясь не выдать своего страха.

— А хотя лучше не смотреть... Слушай, — заговорщицки понизила она голос, — ты случайно не куришь? Может, можно будет устроить покурить, хоть как-нибудь...

— У меня нет сигарет, — испуганно ответила Настя. — Вам нужен покой, вы лучше засыпайте...

— А, брось, — злобно усмехнулась та. — Тут такая скука, даже поговорить не с кем... — но прикрыла глаза и как будто задремала.

— Ну, хоть какую-нибудь... нет, да? Ну, тогда в следующий раз, хорошо? — переспрашивала, по-прежнему не открывая глаз. — Принесёшь парочку, мы откроем окно... Такая милая красивая девочка...

Она сделала ещё несколько глубоких вдохов и успокоилась. Заснула, подумала Настя и заметила, что дыхание Елены Евгеньевны, действительно, вы-

ровнялось. Настя расслабленно откинулась на спинку стула и снова осталась наедине с неведомым механизмом вентилятора. Только бы дотерпеть до прихода Петра Валерьевича, думала она, только бы никаких разговоров больше...

Но больная вдруг опять пробудилась и сильно сжала Настину руку своими длинными белыми пальцами.

— Ну, давай поговорим, — попросила капризно. — Ну побудь со мной, мне так одиноко здесь... Как тебя зовут?

Настя назвалась.

— Настя, Настя, — повторила Елена Евгеньевна, словно привыкая к её имени. — И что ты думаешь о Пете? Как он тебе кажется?

Настя удивилась не столько её острым словам, сколько своему неожиданному спокойствию.

— Я очень уважаю Петра Валерьевича, — сказала громко и почти что с вызовом. — Я чувствую к нему какое-то безумное благоговение...

— Ой, какая же ты хорошая девочка... — восторженно вскрикнула Елена Евгеньевна. — Давно не видела такой доброй наивной девочки!

Настя не могла понять, искренна ли эта женщина и искренна ли она сама с ней. Ей было жаль больную. Настя чувствовала, что не должна отвечать ей грубо, но внутри у неё всё горело. Она видела — эта женщина всё знает, неизвестно откуда, но знает...

— Ты не обращай на меня внимания, я очень эмоциональный человек, — продолжала Елена Евгеньевна, но уже без прошлого азарта. — Да, Петенька как раз создан, чтобы дурить головы таким девочкам. Он и меня когда-то так задурил... Но ты знай, он не может любить женщину, как мужчина любить... ему нужно, чтобы им восхищались, ему нужна такая девочка, как ты... чтобы смотреть ему в лицо и говорить — какой ты, какие у тебя умные мысли... а я так не могу...

Настя поспешно замотала головой, будто желая спорить с ней, что насколько не влюблена в Дубова и вообще случайно оказалась здесь, но больная не замечала её сопротивления и продолжала говорить, скорее даже для самой себя, чем для неё.

— А вообще не верь ему, Настя, это у него христианство с чашечкой чая... Представляешь, он мне сделал предложение, а через полчаса стал рассказывать, как любит своих студентов. А потом, как поженились, так сразу начались у него эти посты и воздержания, хе-хе... Ну скажи мне, какой мужчина будет воздерживаться, когда рядом с ним молодая жена? Он не мужчина, а столб. За этим столбом, конечно, спокойнее, он же почти каменный, но, знаешь, всё-таки хочется чего-то более живого, да? Хотя бы сделанного из кожи и мяса, да? — она страшно раскашлялась.

— Но я всё равно теперь Петеньку не отпущу, — добавила жестоко. — Мне теперь нужны силы, чтобы бороться с болезнью. А силы можно найти только где? Правильно, Настенька, в мужчине. Хотя бы в таком... Он мне постоянно говорит: ты должна покаяться, ты должна готовиться к другой жизни. А я ему отвечаю: нет, я умирать не собираюсь... Нет, зверёк ещё держится... — добавила она с отчаянной злостью и опять начала кашлять, содрогааясь всем телом.

— Вам, наверно, нельзя так много говорить... отдохайте, — растерянно шептала Настя, но та никак не могла остановиться.

Она кашляла всё сильнее, заваливаясь набок, отчаянно хватая руками простыню, спинку стула, рукав Настинной кофты. А потом перегнулась через край кровати и выплонула чёрный кровавый сгусток в большой эмалированный таз, стоявший рядом. И опять упала на подушку и горько засмеялась, глядя Насте в лицо. Настя же стояла, закусив губу. Руки у неё дрожали.

Больная неожиданно улыбнулась.

— Прости, если тебе неинтересно... — добавила, ласково потянувшись к Настинной руке. — И почему тебе может быть интересно... Но мне так хочется поговорить о нём. Вся жизнь мне так нравилось разговаривать о нём. Бывало, сажу с кем-нибудь и начну рассказывать, говорю о нём, как о последней скотине, а самой так приятно. А если этот кто-то ещё и начинает его защищать, так приятно вдвойне.

В её глазах Настя увидела слёзы и испугалась ещё сильнее.

— Знаешь, всё-таки хочется человека рядом, — тихо добавила Елена Евгеньевна. — Потому что зверёк боится, очень боится, Настенька...

Настя робко улыбнулась ей в ответ и присела на краешек кровати. Глаза большой загорелись. Настя подумала, что это в маленьких, почти уже высохших лужах, залитых грязью по краям, мелькнуло яркое полуденное солнышко. Ей было жаль Елену Евгеньевну, она ощущала какое-то отчаянное самопожертвование, так что скажи сейчас та — откажись от Петра Валерьевича навсегда, и Настя пообещала бы ей со всей искренностью и больше никогда-никогда уже не подумала бы о нём.

Ещё минуту они смотрели друг на друга, а потом одновременно засмеялись.

— Ну, хорошо, ну вот и хорошо, — закивала Елена Евгеньевна, довольная, что Настя, кажется, не держит на неё зла. — Вот и хорошо, моя добрая, милая девочка...

Они больше почти не разговаривали, но ощущали какую-то особенную приветливость друг к другу. Так что когда перед вторым приёмом масла в палату торопливо вошла пожилая соседка Дубова, им обоим стало неудобно от появления лишнего чужого человека.

— Ты студентка, да? — стараясь отдышаться, проговорила Мария Дмитриевна. — А я уж тут бегу, бегу... Пётр Валерьевич сказал, что у него пара, так я и засуетилась. Масло принимали, да? А, час назад, ну, хорошо, тогда сейчас...

Настя не чувствовала радости от её прихода. Ей было жаль, что они с Еленой Евгеньевной не договорили о чём-то важном. Но теперь уже нельзя было ничего сказать. Настя отошла к окну и стала смотреть, как ветер кружит опавшую листву по широкому двору больницы. Мария Дмитриевна тем временем приблизилась к больной и принялась осторожно поить её маслом. Елена Евгеньевна недовольно усмехалась и долго не хотела глотать.

— Ой, какая вы, Лена, непослушная, — приговаривала Мария Дмитриевна, а та отвечала презрительным взглядом. А потом, стоило Марии Дмитриевне отвернуться, весело подмигнула Насте. Настя неловко улыбнулась в ответ.

Несколько раз приходили медсёстры, но к другой пациентке, унесли капельницу. А однажды нужно было позвать врача, и Настя пошла по длинному больничному коридору мимо открытых дверей, из которых пахло хлоркой и раздавались то чьи-то разговоры, то стоны...

Дубов вернулся через несколько часов, неся огромную связку бананов. Он был возбуждён и разговорчив не по-обычному.

— У меня сегодня на спецкурсе был настоящий цирк, — заговорил он неестественно громко. — Это не тебе, Елена Евгеньевна, это другим женщинам, — добавил, кладя бананы на тумбочку. — Ну, что, как вы тут справлялись без меня? Всё в порядке? Так вот! Они же все сейчас в революционеры готовы податься, ходят на Болотную площадь. А я им говорю — вам надо не на площади ходить, а сидеть дома и готовиться к экзаменам. Потом окончить институт, найти работу, которую вы будете любить. И так послужить своей стране, а не драться с милицией. А они не согласны, у них ещё кровь в жилах кипит...

С ним в палату пришло радостное оживление. Мария Дмитриевна быстрее захопотада вокруг больной, а Елена Евгеньевна раскашлялась и чуть выше поднялась на подушках. Но Настя чувствовала, как вместе с тем исчезло что-то важное из больничного воздуха.

Дубов подсел к жене и потрогал лоб. Но долго смотреть на неё не мог, неуклюже поднялся и опять повернулся к Насте.

— Это начинается новая фаза в истории нашей страны, вам полезно будет знать, Анастасия, — весело посмотрел он на девушку, стоящую у окна. — Если уж вы собираетесь стать писателем, а тем более говорить о христианстве и монашестве. У вас в голове должна быть система! Я писал об этом, могу дать вам ссылку. После либерализма и вульгарного реализма наступит в мире фаза витализма, торжества релятивистских ценностей, эдако-

го постмодернизма. А после него уже — нигилизм разрушения. Вот и мы постепенно становимся свидетелями этого. А что после нигилизма разрушения, как вы считаете? Не задумывались над этим? Формирование нового человека, вот что!

Марья Дмитриевна одобрительно качала головой и молчала, как всегда, когда Пётр Валерьевич заговаривал о чём-нибудь для неё непонятном. Настя же по-прежнему стояла у окна и робко улыбалась. И только Елена Евгеньевна смотрела на профессора насмешливым грустным взглядом. Настя заметила этот взгляд, и ей отчего-то тоже стало грустно.

— Но я верю в будущую сильную и великую Россию, — добавил Дубов, уже тише и как-то особенно проникновенно. — Но только в православии, в близости к корням, к почве. В этом моя самая святая и дорогая надежда...

А потом будто смутился своей сентиментальности, резко прокашлялся и большими шагами прошёл в другой конец палаты.

Через несколько минут в палату вошла медсестра, и все обрадовались, что закончилось, наконец, натянутое молчание. Марья Дмитриевна засобиралась домой, потому что у неё были ещё дела.

Когда Дубов с Настей вышли из больницы, на улице уже стемнело. Настя всё ещё находилась под впечатлением прошедшего дня и думала о том, что произошло в больнице.

— Мы часто живём и даже не подозреваем, что кому-то может быть хуже, чем нам, — задумчиво произнесла она. — А здесь, в больнице, это ощущаешь явно. Я бы хотела прийти сюда ещё раз... помогать...

— Только если позволяет учёба, Настя, и творчество, — ответил ей Дубов. — Потому что для вас главное — это творчество. Посмотрите сами, распределите своё время и увидите.

— Да, да... — восторженно отвечала она.

Настя смотрела на Дубова, вспоминала те слова Елены Евгеньевны о “христианстве с чашечкой чая” и удивлялась, как же та могла сказать такое. Это было совершенно не про Петра Валерьевича, совсем наоборот, он был самым мужественным и верующим человеком из тех, кого Настя знала. И тогда она так сильно устыдилась своих сомнений, что ей неожиданно захотелось возместить свою вину перед ним, рассказать сейчас профессору что-то сокровенное, что она никогда никому не открыла бы. Внутреннее женское чувство подсказывало Насте, что это сокровенное понравилось бы ему, и на душе у неё вдруг стало невероятно весело.

— Знаете, я недавно подумала, что писатель не может не верить в Бога. Вот я сижу, пишу, но вижу, какой безжизненный получается текст. Но потом вдруг, как по мановению волшебной палочки, сюжет начинается сходитьсь, сочиняются невероятные вещи! Я поняла, что я свечка, которую нужно поджигать, потому что сама она не может дать огня, а огонь может дать только Бог...

Ей показалось, что это прозвучало даже слишком возвышенно, но Дубов добродушно засмеялся, тронутый её искренностью и наивностью.

— Думаю, вы правы, — ответил он, стараясь казаться серьёзным. — Знаете, я порой удивляюсь вам. У вас в голове нет стройной системы, вы почти не рассуждаете, но как-то интуитивно приходите к правильным выводам. Но не играйте с этим, Настя, в ваших словах я замечаю необычное любование собой. Будьте скромнее.

Она растерянно кивнула, но внутри ей стало нестерпимо обидно, что ему можно говорить о важных вещах, а ей нет. Будто всё, что скажет она, заранее обречено быть нелепыми словами маленькой девочки.

— Вы очень её любите? — спросила Настя неожиданно дерзко.

Дубов взглянул удивлённо, но не заметил странного состояния девушки, а заговорил медленно и сосредоточенно:

— Я отвечаю вам честно, Настя. Жизнь приучила меня ко всему относиться стойчески. Это было дано Богом, это надо принять.

Настя опять внимательно посмотрела на Дубова. Вот он стоял перед ней, негибамый человек со страшной волей, способный вынести любое горе.

Как же можно было сомневаться в нём, как можно было его не любить. Но вместе с тем от обиды ей уже казалось, что, может быть, Елена Евгеньевна в чём-то права...

— Что говорят врачи? Елена Евгеньевна скоро выйдет из больницы? — спросила она рассеянно, чтобы что-нибудь спросить.

— Елена Евгеньевна умрёт, у неё рак лёгких четвёртой степени, — ответил Дубов.

По дороге домой Настя думала о том, что её творчество не имеет смысла. Ни больной женщине, ни врачам, которые её лечили, зная, что она скоро умрёт, ни даже заботливой Марии Дмитриевне — никому не было дела до мелкого копошения, оттачивания предложений, в общем, всего того, что считалось среди писателей важным, благородным. Всё было лживо.

Но и в другом мире, мире Дубова и Бога, творчеству не было места. Там все были твёрдые, как скала, там необходимо было от кого-то зачем-то спастись, а для этого соблюдать заповеди, творить добро, но уж никак не писать. И даже слова Дубова о творчестве были какими-то искусственными. Она не могла принять его жестокой необходимости делать своё Дело, до смерти служить своему предназначению и больше ничему. И она не знала, как ей, слабой и нерешительной, жить в его мире.

С того дня Настя стала иногда приходить в больницу к Елене Евгеньевне. Сначала она ощущала вдохновенное самоотречение, будто ни тело, ни её жизнь ей уже не принадлежали. Каждое действие в больнице — позвать врача, принести подставку для капельницы, закапать масла в горло больной — казались ей жизненно важными. С Еленой Евгеньевной они больше не разговаривали о Дубове. Настя читала ей книги, а больная слушала, закрыв глаза, и изредка улыбалась.

Потом Елена Евгеньевна взяла номер Настиного телефона и стала звонить по ночам. Первые такие разговоры были для Насти откровением, ей казалось, она столько узнавала и даже начинала смотреть на жизнь как бы глазами Елены Евгеньевны. Но постепенно всё это стало таким тягостным для неё, что она не сразу брала трубку, а выдерживала полчаса, собиралась с силами и говорила Елене Евгеньевне, что просто не слышала звонка.

Иногда они оставались втроем с Дубовым. И тогда Елена Евгеньевна оживлялась.

— Вот, Петенька, моя новая любовь. Моя добрая светлая Настенька! — говорила она, раскачиваясь на кровати то в одну, то в другую сторону.

А Настя стояла рядом и кусала губу от смущения и непонятого стыда.

Елену Евгеньевну выписали — как говорил Пётр Валерьевич, она была уже безнадежна. Но через месяц ей стало ещё хуже, и Дубов опять договорился о диспансере. А потом раздался тот звонок, ранним утром в конце января. Звонила Мария Дмитриевна, сказала, что Елена Евгеньевна было плохо всю ночь и нужно сменить Петра Валерьевича хоть на несколько часов. Настя поехала в больницу. Фонари не горели. На улице у выхода из Баумановской почти не было людей. Переходя дорогу, Настя привычно взглянула налево, где сквозь снежное облако виднелся храм, и почему-то запомнила это мгновение.

Дубова она нашла в коридоре второго этажа на лавке возле поста медсестры.

— Нет, нет, зря Маша так волнуется за меня... Езжайте домой, Настя, я буду здесь, — сказал он, и никак невозможно было возражать его строгому уверенному тону. — Пойдёмте, я провожу вас до метро.

Настя только рассеянно закивала, жалея о своей мягкости.

Они вышли на крыльцо. Стояла мутная белая ночь. Дул отчаянный ветер. Они шли медленно, каждый погружившись в свои мысли. Где-то далеко то ли зазвонил колокол, то ли сильнее завывла вьюга.

— Знаете, Настя, я очень корю себя, — заговорил вдруг Дубов тихим глухим голосом, так что его почти не было слышно от ветра. — Дело в том, что Бог дал мне женщину, пусть неглубокую, со многими недостатками, но он мне её дал, и я был за неё в ответе. А я за полгода нашего знакомства

так и не смог привести её к осознанной вере. Нет, она не отрицала, но соглашалась как бы сверху, не пуская Бога внутрь. А я не смог объяснить ей, как жить правильно, я много уступал и, наконец, уступил в самом главном. Не знаю, как она провела эти десять лет без меня, может, стала лучше, а может, наоборот...

Он не надел шапку и нёс её в руках, Настя видела, какие сухие с редкой проседью у него были волосы. На волосы падал снег, и оттого Дубов выглядел почти как старик. Отзвуки колокольного звона ещё дрожали в воздухе.

— Но знаете, я очень благодарен Богу, что она так страдает перед смертью, — добавил он в конце. — И я не знаю, даст ли Он мне такую возможность. У меня нет плана на будущее, впереди всё темно...

Насте стало страшно. Она никак не могла понять, почему же он так спокойно говорит о смерти жены. Дубов шёл рядом, и на его суровом лице в тот момент она не видела ни боли, ни сожаления. А когда проходили мимо Елоховского собора, видневшегося вдаль, он медленно переложил шапку из одной руки в другую и перекрестился. Страшный человек, подумала Настя, страшная вера. Страшный Бог, который создал этот мир. Она испугалась, что Дубов вдруг буднично повернётся к ней и спросит что-нибудь про рассказ о монахе. Ей хотелось убежать от него, остаться одной. Не было уже никакого монаха, невозможно было писать в этом мире. Ещё она вдруг испугалась, что опять зазвонят в колокол, потому что этот звон так подходил трагичности момента, и казалось, если бы она стала описывать сейчас вот эту минуту своей жизни, обязательно вставила бы сюда этот дурацкий звон. Но колокол молчал. Только медленно прошёл рядом трамвай, слышались обрывки разговоров людей. Обыденный шум утреннего города.

Не глядя друг на друга, они попрощались у входа в метро.

Пока Дубов возвращался в больницу, ветер стал ещё сильнее. Снежные ошметки, как снаряды, попадали в громадную фигуру профессора, но он всё равно не сбавлял шаг, будто их не было вовсе. Его пальто вымокло насквозь. Он вошёл в приёмный покой и с силой принялся отряхиваться, так что хлопья снега разлетались, падали на пол, превращаясь в грязную воду. А потом поднялся на второй этаж и сел на ту же самую лавку, где провёл ночь до прихода Насти.

В больничном коридоре было тихо. Он чувствовал страшную усталость, переходящую в равнодушие — последние месяцы вымотали его совершенно. Он надеялся, что прогулка до метро взбодрит его, но теперь не мог даже пошевелиться. Дубов знал, что скоро всё кончится, он даже ждал этого конца, но ни за что не признался бы себе в этом. И пока этот конец не наступил, он уже не мог ни спать, ни делать ничего, а только напряжённо ждать.

Дубову захотелось выпить горячего чая, чтобы согреться. Он поднялся и прошёл в ординаторскую. Здесь, в диспансере, работал его хороший знакомый, так что Петру Валерьевичу разрешили по ночам пользоваться чайником. Дубов открыл тонкую дверцу больничного шкафчика, чтобы достать чашку и заварочный пакетик. На нижней полке блеснул позолоченный корешок его собственного Евангелия, которое он принёс сюда, чтобы читать Елене Евгеньевне. Он надеялся, что врачи будут давать его ещё кому-нибудь, но, кажется, кроме него, книгу отсюда никто не брал.

У Дубова не было сил сейчас читать, и потому он открыл наугад и скользнул глазами по нескольким строкам.

“Вот, Иуда, один из двенадцати, пришёл, и с ним множество народа с мечами и копьями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. И тотчас подошёл к Иисусу, сказал: Радуйся, Равви! И поцеловал Его. Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришёл? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли Его...”

Дубов отложил книгу, налил в чашку кипяток и осторожно глотнул. Глаза у него слипались, он сел на стул возле шкафчика и опустил голову, подбородком упершись в грудь. Но смутное беспокойство не давало ему покоя. Дубов открыл глаза, поднялся, прошёл до двери ординаторской и вернулся

обратно. Неожиданно он понял, что внутри у него бьётся то самое могучее вдохновение, которое всегда предшествовало возникновению какой-нибудь важной мысли. Секунду поколебавшись, дрожащими руками он вытащил из кармана ручку и маленький потрёпанный блокнот.

“Самое страшное — то, что даже Бог не может перейти ту черту, связанную со свободой воли, которую Он дал человеку, доверяя ему, — записал поспешно. — Вот подходит предающий Иуда, и Христос говорит ему самые сильные слова, которые только могут быть сказаны в этот момент: “Друг, для чего ты пришёл?” Но Иуда не слышит и не понимает их. А ведь в каждый момент времени Бог говорит каждому из нас те самые сильные слова, но почему-то мы не воспринимаем их...”

Удовлетворённый, он закрыл блокнот и опять попытался заснуть, но беспокойство только усиливалось. “А если Иуда это я?” — вдруг подумал Дубов, и эта странная мысль отчего-то поразила его. Он попытался рассуждать, стараясь объяснить себе, что же это может означать. “Эта женщина была дана мне Богом, и я должен был привести её к Нему, — повторил то, что уже обдумал раньше и что сказал полчаса назад Насте, — да, я виноват... Она умрёт без причастия, как же страшно, что мы не слышим голос Бога, который зовёт нас к Себе...”

Но и это было не совсем то, будто в его рассуждениях всё ещё оставалась какая-то ошибка. “Я Иуда”, — подумал он опять, и сердце сжалось от тоски. Дубов снова раскрыл книгу, отчаянно пытаясь найти то самое место, словно это могло помочь ему разобраться, но страницы путались. “Всё во мне лживо, — пронеслось тогда в его голове, — нет ничего правдивого... всё ложь, внутри только ложь...”

Дубов вскочил, ему стало страшно. Глубокая чёрная пропасть собственной вины внезапно разверзлась перед ним. Ему захотелось бежать к ней, прижаться к её рукам, просить прощения, ещё даже не понимая за что. Мысли его смешались, он повторял что-то о счастье, о длинной жизни, радости, детях, и о том, что именно он всё исковеркал и во всём виноват...

Как пьяный, Дубов вышел в коридор и двинулся к её палате, но в это время ему навстречу вышел человек в белом халате.

— Вы Пётр Валерьевич? — спросил он спокойно. — Ваша жена умерла... крепнитесь...

Дубов почувствовал, что задыхается, будто ему ударили в спину. Он схватился за голову, шагнул вперёд, не разбирая дороги, ввалился к ней в палату. Не успел, не успел, это конец, билось в нём.

Елена Евгеньевна лежала на кровати, такая же бледная и худая. Но чем больше Дубов вглядывался в её неподвижное лицо, тем более светлым и одухотворённым казалось ему оно. Это было лицо, не искажённое судорогами, не замершее в ужасе при виде бесов, которые должны были тащить её в ад. Необъяснимое умиротворение и едва уловимое дыхание вечности отпечатались на нём.

Дубов стоял, поражённый, и не мог отвести от него взгляд.

“У него сердце, сейчас принесу корвалол”, — услышал он тонкий женский голосок где-то рядом. Его вывели из палаты и посадили на лавку.

А потом рядом скрипнула дверь, и уже через минуту в коридор выкатили носилки, накрытые белой простыней.

4

Елену Евгеньевну хоронили в сильный мороз. На похоронах было много людей, но все из института и никого из родственников. Долго шли по тропинкам мимо могил, останавливаясь перед каждым поворотом. Сначала пытались петь, но вскоре охрипли и перестали. Под ногами пересекались замёрзшие следы машин. Помню, как долго опускали вниз гроб и как сматывали длинные грязные полотенца.

Но самое страшное началось, когда стали говорить. Все говорили, а ты стоял неподвижно в распахнутом пальто. И при виде тебя все как будто тоже боялись двигаться. Наконец стали бросать вниз по куску земли. Я зачем-то

бросила два, может, чтобы извиниться перед Еленой Евгеньевной. Удары земляных комков о дерево были такими громкими, что мне показалось, я стою под мостом, а сверху проезжает тяжёлый поезд.

Я чувствовала, что всем вокруг неловко и хочется разойтись, но отчего-то, как нарочно, никто не уходил, и опять начали говорить. Помню, было очень холодно. Я куталась в тонкую куртку и не могла согреться. Для меня уже не существовало ничего: ни чувства вины, ни переживаний за тебя, один только жуткий холод. Тогда я пошла к выходу. Я хотела сама добраться до метро, но у ворот кладбища стоял автобус, на котором нас сюда привезли, и я малодушно залезла в него. До сих пор жалею о том, что ушла раньше, возможно, тебе нужна была моя помощь или хотя бы просто знать, что я рядом.

Потом я увидела, как ты выходишь из ворот кладбища, а рядом — Марья Дмитриевна. Помню, в тот момент так сильно разозлилась, не знаю даже на кого больше, на неё или на себя, что ей хватило сил выстоять с тобой на этом кладбище, а у меня вот нет. Ты поехал в машине с незнакомыми людьми, так что мы больше не увиделись. А я пришла домой, упала на кровать и пролежала так до утра...

Все следующие дни были очень печальными. Часто плакала, столько мыслей самых разных, что стыдно даже в дневнике о них писать. Я не любила ее. Не ненавидела, но и не любила. Представляю, что мы встретимся после смерти, там, в другом мире, она подойдёт ко мне, а я даже не знаю, что сказать.

За эти три месяца я всего шесть раз приходила в больницу и даже в минуты наших самых ярких и интересных разговоров чувствовала какую-то враждебность. Я не могла быть искренней с ней до конца. Помню, читала вслух “Записки Пиквикского клуба”, и она иногда так сильно смеялась, что я про себя называла этот смех демоническим. А в последний раз, когда она попросила меня налить ей воду, а потом сказала, что она слишком горячая, а когда я охладила — что слишком холодная, — я готова была накричать на неё. Сейчас всё это так стыдно вспоминать.

Помню, в тот же день, когда я собралась уходить, хотела позвать медсестру, чтобы сделать ей обезболивающий укол, а она стала уговаривать, чтобы я этого не делала. Как будто вместе с болью выходит из меня всё плохое, сказала она, и это было так удивительно и ужасно.

Опять плачу. Страшно жить, а потом умереть. И всё, точка. Конец. Опикиваю свою будущую смерть.

Я городской парниковый фрукт. У меня не было таких скорбей, чтобы перевернули всё моё существо, я не знала вообще никаких глубоких чувств. Помню, там, в больнице, мы как-то разговорились с Марией Дмитриевной. Она рассказала мне, как вы жили с Еленой Евгеньевной, когда были женами. По её словам, Елена Евгеньевна очень виновата перед тобой, но мне показалось, что Мария Дмитриевна смотрит на всё это как бы с одной стороны. А в конце она высказала такую мысль. В настоящей любви, сказал она, нет бури в стакане воды, а есть только тихое глубокое дыхание океана. Записала эту мысль на обороте рецепта, а потом подумала, что я со всей своей литературой не стою одной мысли этой простой женщины. И всё моё писательство показалось мне таким мелким.

На первую лекцию после зимних каникул ты опять опоздал. Мы не виделись уже две недели с самих похорон, и я думала, что ты изменился. Но ты выглядел обычно и, кажется, только чуть сильнее поседел. У нас все знали, что произошло, и потому всю лекцию сидели смирно. А я пыталась поймать твой взгляд, но ты был по-обычному строг и монотонным голосом излагал материал.

Я не подошла к тебе и после лекции, почему-то мне казалось, что своим присутствием я могу осквернить память Елены Евгеньевны. Мне казалось, должно пройти время, чтобы всё стало прежним, хотя сейчас я понимаю, что прежним быть уже ничего не могло. Всё повторилось и в следующий раз, и снова, и снова... Как так получилось, что мы перестали общаться, сама не понимаю. Мне всё мечталось, что вот сегодня, вот после этой лекции,

но каждый раз что-то не складывалось, не хватало решимости, мешали другие ребята.

А потом ты как-то остановил меня в коридоре и коротко спросил, как у меня дела. Я не знала, что ответить тебе. Всё по-разному: то душа болит, и, кажется, нет никакой надежды, а то становится так радостно и легко, что не знаешь, правда ли это или только сон. Но я только пожала плечами.

Ты спросил, пишу ли я. Да, почти сразу после смерти Елены Евгеньевны я опять начала писать. Это произошло случайно, как-то само собой. Вдруг пришло время, спокойно открыла тетрадь и написала целый эпизод. Мой монах живёт своей жизнью рядом со мной. А иногда мне кажется, что я только камера, наблюдающая за ним, а он, настоящий, существует в этом мире, ходит между нами, страдает и радуется вместо меня. Но иногда мне кажется, что он слишком слаб и похож на меня. Он так сильно желает двигаться и так беспомощен перед настоящей жизнью. И тогда я разом зачёркиваю несколько страниц, возвращаясь к первоначальному суровому и решительному герою. Герою, который напоминает мне тебя...

Недавно стояли с Никитой Зверевым у аудитории. Никита много шутил, пытаюсь меня развеселить. Наверное, я произвожу уж слишком жалкое впечатление, потому что он сильно старался. Помню, засмеялась и вдруг увидела тебя. Ты был хмурый, и я испугалась твоего странного свирепого взгляда.

— Зверев, зайдите ко мне, пожалуйста, у вас неудовлетворительные результаты за последнюю контрольную, — резко сказал ты, так что мне даже показалось на миг такое, о чём и заговорить страшно. Нет, я ошиблась, этого быть не могло, но всё равно продумала об этом целый день. А на утро решилась поговорить с тобой.

Помнишь, как вошла в твою маленькую комнатку на кафедре? Ты сидел за столом, перебирая бумаги.

— Здравствуйте, Анастасия, — выговорил ты устало, и я поняла, что тебе не до меня, и опять стало обидно до слёз.

Кажется, я сказала что-то нелепое и обидное, потому что ты посмотрел на меня с грустью.

— Нет, Настя, вы не правы, — ответил ты тихо. — Я вас очень уважаю и ценю... Более того, — ты неожиданно остановился, словно не мог подобрать правильные слова, — я не буду вас обманывать. Вы видите меня насквозь, я весь перед вами, как на ладони. Не хочу даже хитрить, переубеждать вас с вашим чутким сердцем... Но сам я, Настя, очень немудрый человек, я плохо понимаю и принимаю всякое изменение в окружающем мире. Поэтому мне сложно видеть своё предназначение. Только не спрашивайте больше никаких подробностей. Лучше просто помолитесь за меня...

У меня перехватило дыхание, уж не знаю, сколько времени я глядела на тебя сумасшедшими глазами, а потом выбежала из комнаты.

Я ехала домой, думая, что сейчас умру от волнения. У меня в голове всё смешалось, я ничего не видела и не понимала, и только слышала твой слабый голос. Но не тот, которым ты так равнодушно говорил о смерти жены, грубый и мужественный, вызывавший у меня раньше восхищение, а этот глубокий и грустный, от которого до боли щемило сердце. Как редко приходилось мне слышать его таким, и тем более дорог он был для меня. Помолитесь за меня, сказал ты.

Когда человек попадает в беду, сострадание очищает сердце любящих его людей. Я вернулась в общежитие, Марины не было в комнате, и я обрадовалась, что смогу побыть одна. Помню, как торопливо подошла к маленькой иконе на полке в углу, той самой, которую ты подарил мне в конце прошлого учебного года. Я хотела помолиться, чтобы исполнить твою просьбу. Этот момент неожиданно показался мне величественным и трагичным. Ну что за ерунда, перебила я себя, у меня всегда такие вот нелепые мысли, это всё так глупо. Расстроилась. Когда нет надежды на взаимность, тогда какая польза рисоваться, ругала я себя. Тогда остаётся только человек, который дорог, человек, который в беде, и должна проснуться искренняя любовь. Воодушевлённая, опять встала перед иконой. Постаралась подумать о тебе, как о постороннем несчастном человеке. Но мне всё равно как-то стыдно было молиться, я никак не могла полностью открыться лицу на иконе.

В этот момент я вдруг вспомнила, что у меня нет денег на весь следующий месяц — знаешь, я ведь всё-таки послала тебе те десять тысяч на счёт, который вывесили на стенде рядом с кафедрой. И теперь мне стало так легко от ощущения своей совершенной нищеты, и будто смутная надежда появилась. Я легла на кровать, стараясь представить своё будущее, но не могла зацепиться ни за что, кроме этой надежды. Пусть хоть это будет испытанием для меня, повторяла я себе, настоящим, имеющим цель и смысл.

Следующие месяцы были странными. Я всё думала о чём-то, но даже не могу сказать сейчас точно о чём. Конечно, я не смогла жить совсем без денег, пришлось занимать у Марины. Но я решила тратить совсем немного, старалась жить на пятьдесят рублей в день, ходила пешком до метро. Но помню, где-то в конце апреля завалила контрольную по философии и так расстроилась, что купила на последние деньги коробку дорогих конфет. Как назло, они оказались просроченными и твёрдыми, и я целый вечер провела в унынии. Мне казалось, это Бог наказывает меня за слабость. Но наутро было такое ясное небо, что грустить больше не хотелось. Сейчас удивляюсь, как остро я воспринимала тогда любую мелочь, впрочем, это моё обычное качество. И, может, это даже неплохо, например, тебе бы, наверное, это понравилось, и ты бы даже засмеялся моей наивности...

На Пасху я пошла на ночную службу в церковь и, представляешь, увидела там тебя. Ты стоял впереди, и мне так удивительно было, что ты рядом. Я смотрела на твою спину и на сухие с проседью волосы. Впервые я молилась вместе с тобой. Значит, Бог мне доверяет, раз дал такую радость и такое искушение одновременно, значит, верит, что я справлюсь... Не знаю, заметил ли ты меня, я старалась, чтобы нет. А потом возвращалась домой, и мне казалось, что радость въелась в мою кожу, просочилась в мою кровь. И теперь эту радость уже никто не отнимет у меня.

Кажется, я выросла. Я уже не подросток со своими ужимками и прыжками. Я девушка, да, девушка, которая пусть и ходит в джинсах, но уже не притворяется. И очень мечтает о платье.

Теперь я знаю, мне достаточно просто быть собой. Быть не кем-то, а собой. Спокойно и глубоко дышать. Не притворяться. Говорить своим голосом, высказывать свои мысли, выражать свои эмоции. Не рисоваться. Не подозревать, не бояться. Идти, распрямив плечи. Мне еще придется этому научиться, но уроки уже начались. И как приятно мне. Как спокойно. Как радостно дышать. Как радостно разговаривать с любимым человеком, не стесняясь его. Как радостно ощущать присутствие Бога рядом.

Семестр заканчивается, а что потом? Опять лето, осень, а там новый предмет, который ты будешь вести или уже не будешь. Не знаю, что и думать, не знаю, правильно ли то, что я чувствую. Надеюсь, Бог мне подскажет... Как там говорила Мария Дмитриевна? В любви нет бури в стакане воды. А есть только тихое глубокое дыхание океана. Как же я хочу этого тихого глубокого дыхания, только где оно?

Но оставим Настю и вернёмся к герою нашей повести... В пустой квартире Дубова было прохладно. Профессор ещё с утра настежь открыл окна и теперь наслаждался тем, как ходит по просторным комнатам свежий, уже летний воздух. Весь вечер он был занят сборами. В своей комнате он не оставял ничего: письменный стол отдал Марии Дмитриевне, а книги упаковал в ровные большие стопки и ещё на прошлой неделе унёс в библиотеку института. В комнате жены оставил только мебель, а её одежду и обувь заботливо сложил на дальнюю полку в кладовке.

А потом он сидел на табуретке на кухне и чувствовал, как спокойно было у него внутри. Ему не нужно было сейчас ни к чему стремиться, не нужно было больше писать. И оттого, может быть, впервые за много лет он ощущал настоящую жизнь, которая медленно течёт сквозь него. За окном совсем стемнело, но вдалеке ярким светом горел фонарь, и профессору было приятно, что в крошечной темноте есть этот свет.

Он поднялся, опять принялся собираться. Просматривая накопившиеся за последние годы черновики, подолгу сидел над обрывками бумаги и улы-

бался. “Любовь в особом смысле есть взаимное чувство между мужчиной и женщиной, состоящими в браке, вытекающее из любви в обобщённом смысле и выражающееся в стремлении к слиянию двух людей в одно целое”, — прочитал он на одном из листов. С грустью покачал головой. Да, он по-прежнему видел, что есть нестыковка между абсолютной истинностью сформулированной мысли и тем, что было дано ему жизнью. Но теперь он мог жить с этим противоречием, теперь оно уже не казалось ему непреодолимым, а в груди он слышал только отзвук прошлой боли.

В этом противоречии была тайна, которую он не мог и больше не пытался разгадать. Объяснение выходило даже за рамки очевидного признания — я виноват. Конечно, он знал, что виноват, что нет ничего чудовищнее его самого, его чёрстного сердца, но это было ещё не всё. Было что-то важнее, тот самый скрытый план — какая-то закономерная необходимость пронизывала всю его жизнь. Эту необходимость нельзя было понять целиком, её можно было только принять с благодарностью и радостно отдаться ей.

А когда наутро он шёл по коридорам института, из окон бил яркий свет. У двери аудитории профессор задержался и немного постоял, а потом медленно поднялся к доске. Студенты сидели на местах, готовясь к предстоящему зачёту. Читали жадно, надеясь ещё что-то выучить за последние минуты. Дубов довольно усмехнулся про себя.

— Сегодня я должен проставить вам оценки за курс стилистики, — проговорил он. — Я обещал устный экзамен по билетам, но решил изменить план. Оценки я проставлю по результатам последней обзорной контрольной работы, а те, кто хочет повысить свой балл, могут подойти позже для устной беседы.

Аудитория выдохнула, кто-то захлопал.

— Не надо реагировать так бурно, — прервал он радость студентов, — иначе я могу подумать, что вы не готовились к устному ответу. Ну, да ладно, оставим шутки... Сегодня у нас с вами последняя встреча, и потому я хотел бы сказать вам что-нибудь такое, что вы запомнили бы на всю жизнь.

Он ещё раз оглядел всех. Ему хотелось сказать им нечто важное о связи литературы и жизни, о таинственном предназначении литературы, но горло его будто заковали. И невозможным казалось сейчас говорить эти правдивые и выстраданные слова.

— Я смотрю на вас сейчас, — начал Дубов машинально. — Мне радостно видеть таких молодых горячих ребят, я очень привязался к вам за последние два года. Но всё-таки мне больно за вас... как за детей, которые делают ещё столько ошибок...

Он остановился, не зная, как же выразить им то, что было у него на сердце. Заметил, что Настя Шишкина сидит в последнем ряду, но всё же не прячется от него за колонной, как обычно. Улыбнулся. Стал говорить твёрже, будто почувствовал опору.

— Многие из вас сейчас похожи на меня в молодости, они хотят изменить мир или хотя бы жизнь своей страны. Но за этими благородными порывами часто можно не заметить главного. Борьба оправдана, только если она пронизана любовью. Сильный духом без любви превращается в чудовище. Запомните, важен каждый человек, который находится в настоящий момент рядом с вами, а вовсе не лозунги и не мёртвые слова на бумаге...

Он остановился, подумал ещё немного, а потом махнул рукой. На один миг стало тихо, так что было слышно, как кто-то перелистывал страницу. Но уже в следующую секунду раздались аплодисменты — студенты вставали и хлопали, теперь уже долго и громко, пока смущённый Дубов не успокоил их сам.

— Ну, всё, хватит, хватит, — поспешно произнёс он. — Тут не театр, хотя вам этого, наверное, и хотелось бы! Подходите с зачётками...

Перед Дубовым потянулись лица, кого-то он хорошо знал, кто-то так и остался для него загадкой. Но профессор старался каждому взглянуть в глаза и каждому улыбнуться. Подошла Катя Строганова, вручила профессору огромный букет цветов от всего курса. Это было приятно. За ней подошёл Кирилл Вязочкин, рассудительный и не признающий никаких авторите-

тов. Потом легкомысленная, но жизнерадостная Марина Деникина. Прямой и честный, хоть и нерадивый в учёбе Никита Зверев...

Студентов оставалось мало. Дубов начал проставлять оценки быстрее. Готовился к важному мгновению.

Милая, добрая Настя, она подошла одной из последних, отдала стопку напечатанных страниц, законченный рассказ. Профессор отложил ведомость в сторону. Я посмотрю, вышлю вам рецензию. Потом сказал приготовленные слова о том, что она была самым светлым человеком за время его работы в институте. Она взяла зачётку, вышла.

Профессор снял очки и долго ещё держал их за дужку, глядя перед собой, морща лоб, проводя ладонью по усталым глазам...

А Настя бежала по лестнице мимо зеркал, мимо расписания. И только в пустынном институтском дворе остановилась и вдруг почувствовала безвозвратно ушедшее время, будто текущее сквозь неё. Всё осталось позади, теперь она не будет даже слышать его отдалённый голос за дверью аудитории. Впереди летние каникулы и вся жизнь, долгая, невероятно долгая. Ей казалось, что она ещё видит и бледное лицо Елены Евгеньевны, и Дубова, стоявшего у могилы в распахнутом пальто, по-прежнему чувствует и жуткий мороз на кладбище. Но всё уже закончилось.

Ей хотелось вернуться, вбежать обратно в корпус, подняться по лестнице, но так невозможно было представить, что же она скажет ему. Настя села на скамейку и заплакала.

ЭПИЛОГ

Лето Настя провела в родном городе. Это было тихое место со старыми районами, низкими домами, уютными двориками, мальвами, потрескавшимся асфальтом на дорогах. Весь август стояла пасмурная погода. Тёмные тени ходили по земле, вечера были тревожные. В один из таких вечеров Настя вернулась домой после прогулки по городскому парку и обнаружила на столе большой конверт, пришедший по почте. Осторожно открыла и нашла там рукопись своего рассказа, исписанную на полях знакомым ровным почерком, и письмо. Но она не могла читать письмо дома, ей казалось, что родители и сестра смотрят на неё любопытными взглядами, и она бросилась на улицу.

Недавно закончился сильный ливень, и в усталых спокойных лужах отражалось небо. В соседнем дворе Настя нашла маленькую беседку, вступила под крышу и села на промокшие перила. Ей вдруг показалось, будто она уже заранее знала, что письмо придёт, и даже знала, что внутри.

“Милая Настя, — писал Дубов, и её сердце содрогнулось от нежности. — Начинаю это письмо и представляю себя Онегиным, пишущим Татьяне. Аналогия, конечно, не полная, но всё-таки. Рад, что вы подарили мне эти моменты, я и не думал в сорок лет оказаться героем пушкинского романа. Впрочем, шучу, вы это знаете. Мне кажется, я даже вижу вашу улыбку.

Коротко расскажу о себе. Ещё весной решил отправиться на послушание в Свято-Введенский монастырь близ Козельска, о котором рассказывал вам как-то. В конце июня решился, даже собрал вещи. Но наместник монастыря, выслушав меня, сказал, что я дурак и мне нужно оставаться в миру. Что на таком, как я, ножницы сломаются. Так я и не стал монахом! Впрочем, я решил всё-таки оставить преподавание в институте хотя бы на год. Буду писать учебник по русской стилистике. Давно уже хотел заняться этим. Мой знакомый из редакции журнала обещал помочь с изданием, и если даже мало смыслящий в литературе журналист признаёт, что дело это полезное, значит, правда нужно заняться.

Пока был в монастыре, много передумал обо всём, что произошло со мной за последние годы. Знаете, это в молодости кажется, что стоит лишь раскаяться, и жизнь начнётся заново, будто никаких грехов и ошибок не было вовсе. Но теперь, в сорок лет, понимаешь, что это не так. Да, конечно, Бог прощает грехи, если раскаяние искренне, но ведь Он не возвращает время назад. И всё, что ты совершил, и поломанная жизнь человека, которого

ты любил, а главное — твоё чудовищное чёрствое сердце — всё это остаётся с тобой. И ничего уже не исправить, сколько ни бей себя в грудь. Что толку знать о том, что ты не имел любви, что нужно было жить иначе, если ничего не начать сначала...

Что же меня спасает в такие минуты, знаете? Как ни странно, ваши слова, которые вы обронили как-то невзначай. Помните, после одной из лекций вы признались мне, что всю жизнь ждёте чуда. Я обдумал эту мысль — конечно, вы правы. Только главное чудо в жизни человека — промысел Божий о нём. Это не те тайны и чудеса, которые открывались великим подвижникам, нет, но это ясное понимание, что ничто в мире не случайно и всё будет так, как нужно. Так что, если желаете чего-то, — молитесь, и, будь это в воле Божьей, обязательно произойдёт...”

Настя закончила читать, отложила конверт. Она знала, о чём ей хочется кричать на весь город, о чём хочется молиться страстно, и, как никогда, её охватила отчаянная уверенность, что нет на свете ничего невозможного. Темнело, мир густел. Повсюду разлилось пронзительное ощущение страдания и Бога. И тогда Насте показалось, что она только песчинка в огромном мире, но вместе с тем и эта песчинка не забыта и не потеряна. Как будто кто-то неведомый думал о ней, любил её и вёл к тому, чего она и сама ещё лишь смутно чувствовала.

ОЛЕГ КОЧЕТКОВ



ЗА ЭТУ НЕБЕСНУЮ ЦЕЛЬ

КИЕВСКИЙ ВАЛЬС

“Снова цветут каштаны,
Слышится плеск Днепра”, —
Словно небесной я манны
Ждал... Это было вчера!
Необратимым укором,
Только я трону баян,
Ныне стоит перед взором
Ваш закопчённый майдан!
Братя, что ж вы сотворили,
Выстыдились на весь свет?
Гукнется вам и в могиле,
Впредь до скончания лет!
Тронул баян, но ни в ноту
Я ни в одну не попал...
Навык свой весь растерял.
Как же я раньше-то с лёту
Пуговки смело терзал?
Вольно, свободно играл...

КОЧЕТКОВ Олег Владимирович родился в 1947 году в Коломне. Работал слесарем, бетонщиком, служил в армии. Окончил Литературный институт. Автор стихотворных сборников: “Время настало”, “Травяная дорога”, “Родное лицо”, “Надеждою ранят”, “Покатилась подкова” и др. Член Союза писателей России. Лауреат Есенинской премии и премии “Традиция”. Живёт в Москве.

* * *

Назовите его “Сталинград”,
Этот город в степях Волго-Дона,
Да устройте всемирный парад
С торжеством колокольного звона!
Да с салютным сияньем огня
И с неслышанным песнопеньем,
Чтобы солнце от этого дня
Рассиялось по всем поколениям!
Чтобы возликовала земля,
Как ещё не бывало от века:
От вершины священной Кремля —
До последнего человека...

* * *

Туман неподвижен, в низине,
Роса на траве, будто град,
И дух невозможный полыни —
Подошвы босые горят!
И воздух густой чуть клубится,
Душистый, бескрайний покой...
И мнится: здесь что-то таится,
И что-то такое случится
Над чуткой, недвижной рекой...
Какое-то в сердце томленье,
Мерцание в смутной душе,
Родное, на грани моленья,
Всего-то одно лишь мгновенье —
И нет тебя в мире уже...

ЦЕЛЬ

Читаю Платона, Софокла.
(Но как же без этого быть?)
В колодце водица прогоркла,
Теперь из него не испить!
Скорее берись за лопату
И новый в сторонке копай
За нищенскую зарплату,
Глядишь — и пригрезится рай!
Глядишь — и пласты обнажатся,
Которых не видел досель,
И самое время сражаться
За целостность русских земель,
За эту небесную цель...

ОЛЕГ КУИМОВ



КРЕСТ

РАССКАЗ

Роман грустил. Послезавтра у дочки последний звонок, который, похуже, пройдет без него. А ведь ещё три недели назад, приехав в Подмоскovie на строительство храма, он не сомневался, что успеет вернуться и разделить с женой и дочкой радость этого праздника. Он был уверен в этом, и когда вдруг оказалось, что к сроку дело не завершить, расстроился. Работа не кипела в руках, а двигалась как-то машинально, безрадостно. Роман задумывался, полностью забывая о высоте и в рассеянности два раза ошибся в разметке шашечек, отчего пришлось их переделывать. А всё потому, что мысленно был дома, словно в последний раз смотрел на дочку в школьном платье, с бантом в таких же смолянисто-черных густых волосах, как и у него. Столько лет Роман мечтал о том, чтобы увидеть этот ее последний шаг по территории детства, столько мечтал! Дело невозможно было бросить, но душа уже летела домой, на Украину. Такой вот разлад случился в Ромane и не давал ни минуты покоя. “Домой! — сигнализировала душа, и ничего с этим поделать было нельзя. — Домой!”

Тем не менее к ночи четверга он всё же успел покрыть купол. И если бы отправился в понедельник с самого утра на Киевский вокзал, еще бы успел, что называется, с поезда на бал. Оставалось главное — поставить крест. Но батюшка, которому позвонил загодя с просьбой, чтобы крест установили без него, отказал:

КУИМОВ Олег Владимирович — выпускник Томского государственного университета и Литературного института им. Горького. В прошлом — редактор журнала “Неопалимая купина”, ныне — автор журналов “Луч”, “Север”, “Южное сияние” и других. Лауреат литературных конкурсов “Славянские традиции”, “Буревестник”, “Армянские мотивы”, “Большой финал”. Живёт в Московской области.

— Нет, Роман, ты уж доведи дело до конца и поезжай себе спокойно.

— Да ведь я и так уже все сделал, а крест с помощью крана любой мужик поставит. Главное-то я сделал, — повторил Роман и, уповая на общеизвестную доброту отца Алексея и хорошие личные отношения, проникновенно добавил: — Батюшка, последний звонок у дочки, это же единственный раз в жизни, больше не повторится никогда. Ну отпусти, Христа ради. Работа в основном сделана, а кран когда ещё будет? И что мне, сидеть ждать?

— Я все понимаю, — так же мягко ответил батюшка, — последний звонок — это, конечно, причина значимая, но и ты меня пойми: с кем я буду крест ставить? Мужиков-то нормальных в деревне нет, где мне их искать? Ты уж доделай, Христа ради, а потом и езжай со спокойной душой.

В общем, никакие уговоры не помогли. Да Роман особо и не надеялся: сам чувствовал батюшкину правоту, к тому же провести такую большую работу — покрыть церковь медью — и не завершить последний, технически самый простой, но самый значимый этап — не то! Нет конца — нет и делу венца: не будет удовлетворения, и, как червячок яблоко, станет грызть раскаяние в собственной слабости.

Всё бы ничего, однако в пятницу, как было обещано, кран не пришёл. Хуже всего была неопределённость с этим злополучным краном, потому что найти машину с достаточным выносом стрелы оказалось непросто. У строителей, с которыми была договоренность, случился какой-то аврал, а там два дня выходных, и ещё неясно, получится ли даже в понедельник.

Роман грустил, душа рвалась домой. А вместо этого следовало томиться от скуки в чужой деревне, неизвестно сколько. И тут очень кстати прихожанин церкви Аркадий Иванович пригласил вечером в баню. В прошлый приезд Роман парился у него каждую неделю, а в этот раз обходился обычным мытьем из ковшика прямо на улице.

В баню он взял с собой Андрея. Тот был москвичом, мотаться каждый день домой за девяносто километров, понятное дело, не имело смысла, и потому четвертую неделю обитал там же, где и работал, в новом церковном доме, выбираясь к семье на субботу-воскресенье.

Парилка не остыла, еще парься да парься. Роман довольно покряхтывал на полке, пока Андрей на совесть охаживал его березовым веником. Переведя дух, попросил:

— Андрюшка, плескани-ка еще ковшичек, только не залей, а то камни уже остывают.

Тот шутливо рассмеялся, поддавая парку:

— Есть, товалися командила!

Белые клубы потяжелевшего пара медленно поднялись над каменкой.

— Ух, хорошо! — оба принялись растираться, стяхивая побежавший по телу пот.

После второго захода, уставшие, развалились на мягких стульях.

— Эх, завтра с утра домой. Закончил я, Рома, свою работу. Получу деньги — и свободен. По детям за неделю соскучился, — лениво растягивая слова от приятного утомления, проговорил Андрей. — Ну а у тебя как с краном?

— Да как! — Роман не смог скрыть раздражения и рассказал всё, как есть.

Между ними как-то сами собой установились дружеские отношения, оба любили пошутить, посмеяться. Роман радовался про себя, что кацап, то есть Андрей, по-украински шепутовой, а Андрей, в свою очередь, удивлялся, что встретился ему такой же простой и бесхитростный, как русские, хохол. И оба радовались, что нет никакой разницы между кацапом и хохлом, будто всю жизнь провели вместе, подхватывая с полуслова шутки друг друга.

— В общем, так, Рома, — Андрей зачем-то взял веник, ударил себя по ногам и снова положил, — не боги горшки обжигают. Завтра что-нибудь придумаем. Деньги на кран батюшка дает?

— Да.

— Тогда найдем завтра тебе кран. Не верю я, чтобы в наше время да с деньгами нельзя было чего-то найти. Завтра с утра поедем в райцентр.

— Так завтра же суббота, и тебе домой надо ехать.

Несмотря на предвкушение скорой встречи с семьей, Андрей не сомневался: он обязан помочь другу. Обязан — и точка!

— Ничего, что суббота. Найдём! До вечера можешь на меня рассчитывать, — уверенно сказал он, заметив, как радостно загорелись глаза Романа.

Когда они возвращались домой, деревня уже спала — ни единого звука, ни проблеска света. Не спалось, наверное, одному лишь Шкиперу, слышавшему местным философом. Терзала душу прилипшая баннным листом мысль, зачем она, вся эта жизнь, и есть ли вообще на самом деле Бог. В короткие промежутки, когда мысль эта отставала, вспоминались далёкие детские и молодые годы, и становилось тоскливо от того, что лучше уже никогда не будет и что впереди теперь только унылый спуск к черной финишной ленточке. Он вытер испарину со лба. Показалось, что даже стены вроде как сдвинулись, а потолок навис над головой. Душно! Шкипер поспешно набросил куртку и вышел на улицу.

Он стоял, прислушивался к монотонному стрекотанию сверчков. Вдруг неприятное открытие: а ведь перестало его затрагивать это самое стрекотание, как бывало когда-то, и ничем новым удивить его уже невозможно, да, впрочем, и незачем. “Жизнь такая скука, что хоть ложись да помирай”, — услышал он свой собственный приглушенный голос и оглянулся: не слышит ли кто из соседей, как он разговаривает сам с собой. Все спали. Да вот хоть прямо сейчас помирай, если бы только не было страшно. Есть ли там что-то или совсем ничегошеньки — вот он, извечный вопрос, на который никто не может дать точного ответа. А с другой стороны, как объяснить, что весь этот мир (Шкипер огляделся вокруг) сам появился, без Бога. Вот и получается теперь у меня, что и в Бога не могу поверить до конца, и вовсе не верить — тоже не складывается. “Вот она, дилемма”, — скривился он в ироничной усмешке.

В соседней деревне громко лаяли потревоженные собаки. Шкипер долго смотрел в ту сторону, словно мог в крошечной тьме высмотреть причину их лая. Так ничего и не высмотрев, запрокинул голову: непривычно низко висел в эту ночь хрупкий серпик новой, совсем не дававшей света луны. Пусто и одиноко. И вдруг, словно какой-то тумблер переключился у него в голове и обрубил надоевшие думы: в фокусе его зрения возникло небо. Оно и прежде никуда не исчезало и висело над ним, но как-то само по себе, без его участия, а тут вдруг явилось совсем иначе — зримее, роднее; и стало ему оттого легко, как давно уже не случалось.

Множество мерцающих звездных точек оживляло иссиня-черную мглу. Небо звало, звучало по всему небесному простору, словно невидимые ангелы слегка касались леденистых звездных струн теплыми руками. Шкипер знал, что именно для него звучит, спускаясь сверху на спящую землю, вечная космическая песня, полноценно воспринимаемая одной лишь беззаботной юностью.

В наступившем его внезапном, но счастливом оцепенении острее воспринимался каждый звук — и стрекочущего сверчка, и шуршащего неподалеку неосторожного крота, и даже писк бодрствовавшего в столь поздний час бестолкового комара. Только теперь заметил он, что даже темнота кажется мягкой, теплой. Хорошо!

Вдруг со стороны трассы послышались голоса. Редкостно благодушное настроение было разрушено. Правда, несмотря на их досадную несвоевременность, голоса показались ему как никогда родными, потому что вернули его в привычный мир, где всё было простым и понятным, без этой дрожи в душе и изнуряющих, сложных мыслей.

В это время могли идти только свои, и Шкипер спокойно повернулся навстречу. Спустя минуту он пожалел, что не ушел раньше, оказавшись перед возвращавшимися из бани приятелями.

Ни тот, ни другой Шкиперу не нравились — не вписывались в его рамки толковости, мужицкой обстоятельности: слишком шумные, по любому пустяку смеются — одним словом, взрослые дети. Да и вера их казалась ему показной. Зачем ходить в церковь, когда главное — вера в душе, в ней и заключается истинный храм, а не в этих свечах и умиленных взорах. В цер-

ковь ходят, а грешат не меньше других. Здравовался он при встрече натянуто, общался лишь по необходимости, причем Романа не замечал особенно демонстративно.

Роман был физико-техником по образованию, но работать по специальности как-то не сложилось. Порой он поражал Шкипера неожиданной, глубокой мыслью. На самом доньшике шкиперской души, там, куда он не хотел заглядывать, ёкало: “А ведь я никогда бы до этого не додумался”. Но тут же другая мысль ожесточала его: “А-а, выпендривается, себя хочет показать — мол, не лыком шит, кровельщик по случаю, а по уму выше. Ну-ну...” Усмехаясь про себя, Шкипер с показной пронизательностью, доставшейся ему в наследство от предков-крестьян, прищуривался: мол, мели, Емеля, нас не проведешь!

Вот и недавно Роман корчил из себя мудреца: человека, понимаете ли, не стоит торопиться осуждать, потому что он порой и сам не рад своим недостаткам и слабостям и хотел бы вовсе их не иметь, да вот в том-то и загвоздка, что не может. Алгоритм поступков и действий, заложенный в него генетически и воспитанием, изменить самостоятельно не под силу, и только Бог может освободить от бесконечного бега по кругу. Алгоритм... потом еще припелл какой-то интеграл, линейную систему, матрицу. “Выпендривается, демагог хренов”, — выругался про себя Шкипер и стал цепляться к словам. Роман же увлекся, загорелся, отбивая наскоки, пытаясь доказать свою правоту. Заспорили, наговорили друг другу колкостей и разбежались с саднящей душу обидой.

Неделю не виделись, поостыли. Как-то Шкипер, зайдя в церковный дом в поисках завхоза Михалыча — надо было выпросить ненадолго сварочный аппарат, — повстречался с Андреем и Романом, допивавшими послеобеденный чай. Заговорили как ни в чем не бывало. Но как ни старался Шкипер, не смог удержаться от раздражения. Стоило ему обмолвиться, что миллиардер Прохоров — выскочка, что наверх подняться ему помог лишь удачно подвернувшийся случай, как Роман опять в пику ему заспорил, заговорил, будто лектор со студентом.

— Понятное дело, что случай. Между прочим, вся жизнь — череда случаев. Однако кто-то приближает свой счастливый момент, идет к нему, а кто-то нет. Ничего в этом мире не происходит просто так, у каждого свой шанс появляется, но не все умеют им воспользоваться: то мимо пройдут, то назад отступят из-за недостатка ума и сил, то просто не дойдут — от человека многое зависит. Так что не всё так случайно в этом самом случае.

Шкипер не соглашался, но Роман упрямо зацепился за свою правоту и не хотел отступать. “Упрямый, как бык”, — опустил глаза Шкипер и решил больше не разговаривать с ним. Сухо попрощавшись, поспешил восвояси. Да и что тут говорить, если у человека горе от ума — вечно раздувает из мухи слона. Конечно, Роман лишь в противовес ему мог такое выдумать: “История представляет собой процесс самопознания человечества, в котором оно должно пройти определенный этап ради главного знания — в какую бездну ведет всякая индивидуальность без Бога. Только он, Творец, может удерживать человека от падения. Не будь первого пришествия Христа, мир уже скрежетал бы зубами от ненависти”. Умник! Что тут сочинять всякие теории, пустым словоблудием заниматься?

Опять заспорили крепко, и разошлись со скрытой обидой, и лишь хмуро здоровались при встрече. Да и с Андреем тоже холодок в отношениях появился, потому что тот всегда поддакивал Роману.

Понятно, что и они тоже относились к Шкиперу без особой любви. Да ведь и не случайно того так прозвали — Шкипер! К прозвищу располагал и сам облик бывшего цехового мастера кондитерской фабрики: аккуратная, коротко стриженная бородка, пронизательный взгляд из-под кустистых бровей и степенная важность в движениях. К тому же, самое главное, все знали, что в прошлом Шкипер служил на флоте.

... Столкнулись в темноте лоб в лоб, и Шкиперу пришлось поздороваться. Те ответили. Ради приличия обмолвились несколькими общими фразами и разошлись. Причем Шкипер, как обычно, обращался при разговоре только к Андрею.

— И чего он так тебя не любит? — недоумевал Андрей, обращаясь к Роману.

— Да я и сам не пойму.

— Да чего тут понимать, завидует он тебе.

Роман потер глаза ладонью и громко зевнул:

— А чему завидовать-то?

— Ну, Шкипер себя самым умным считает — первый мудрец на деревне, а у тебя и язык лучше подвешен, и вообще... Между прочим, дед у него в этой церкви священником служил, репрессировали его, расстреляли.

Андрей долго не мог уснуть: все думал, как изловчиться, чтобы поднять крест вовсе без крана. Так и уснул. Ночью приснилось, как вместе с Романом устанавливает крест вручную — без техники. Тут же открыв глаза, он не смог вспомнить устройство конструкции. В общих чертах, конечно, помнил, но то, что во сне виделось инженерной удачей, теперь таковой уже не казалось. И все же главное запомнилось. В половине восьмого утра Андрей с торжествующим видом разбудил Романа:

— Вставай! Хватит дрыхнуть! Поставим сегодня крест. Точно поставим. Я придумал как.

Воодушевленным обнадеживающим известием, Роман вскочил, оделся. Но, услышав, как Андрей предлагает закрепить саморезами на настиле конструкцию из одной высокой, вертикально стоящей доски с широким выпилом в верхней части, посмурнел.

— Нет, не получится. А вдруг крест набок пойдет? Завалится сразу — не успеешь ничего сделать: двести килограммов не шутка. Если поведёт, сразу рухнет.

— Так мы подопрём с четырёх сторон.

— Нет, Андрюха, я же тебе говорю: двести килограммов. Настил маленький, опоры не хватит — подпорки-то ведь некуда ставить.

Андрей сдаваться не собирался: был уверен, что не может не получиться, потому как дело-то правое. Впрочем, и Роман готов был хвататься за любое предложение, дающее хоть какую-то надежду поскорее разрубить этот гордиев узел и рвануть домой к своим. В итоге решили идти благословляться к батюшке. Тот, с присущей ему открытой, располагающей улыбкой выслушав предложение Андрея, подумал и уже серьезно сказал:

— А что? Идея правильная. Всё до мелочей продумайте — может, стоит попробовать.

Присев на лавочке у дома, они стали обсуждать детали. Через некоторое время Роман в расстройстве заключил:

— Нет, Андрюшка, ты уж меня извини — без крана никак. Придется ждать понедельника.

Вид удрученного Романа побуждал Андрея приводить всё новые и новые аргументы:

— Да послушай же, главное — перекладина, через которую будем поднимать. А что, если её на лесах закрепить из труб?

Роман сосредоточенно потер лоб.

— Нет, ничего не выйдет. Во-первых, у нас труб почти не осталось, а, во-вторых, самих крепежей с болтами нет. А хотя... стой!.. — Роман задумался и неожиданно смягчился. — Может, и правда попробуем. Трубы снимем с лесов на колокольне, а еще возле гаража есть. Пойдём поглядим.

Нашлись и доски, и крепежи с болтами. И всё же сомнения у Романа оставались:

— Все равно кран понадобится, лебёдка не выдержит.

— Типун тебе на язык. Глаза боятся, а руки делают, — оставался непоколебимым Андрей. Постепенно его уверенность передалась и Роману.

Шел уже четвертый час, когда всё, наконец, было готово к подъему креста. Теперь при виде получившейся необычно высокой перекладины они сами удивлялись своим опасениям — конструкция-то совсем простая!

— Ну что, пошли людей искать?

— Пошли! — Роман поспешил к калитке, по пути продолжая старую песню: — Если только найдем кого-нибудь сейчас.

— Не бойсь!

Андрей метался по деревне: не было мужиков, хоть тресни — одни деды. Убежали молодые в Москву, а оставшиеся жить в деревне находились, видимо, на работе в той же столице. И вдруг двое крепких парней на велосипедах. Душа у Романа буквально вознеслась воспрянувшей надеждой, но так же разом и опустилась: отказались парни — мол, высоты боимся. Оно и понятно: у самого в первый раз поджилки тряслись, особенно на вершине купола: леса ходят при каждом шаге, и кажется, что весь купол раскачивается, вот-вот обломится у основания и рухнет всей тяжестью. Страшно! А еще и потому, что нет здесь, в отличие от нижних ярусов, никакого ограждения. Оступишься — и полетишь вниз, на верную смерть.

Но с опытом он уже пообвыкся, стал посмелее.

— Слушай, Ромка, — вспомнил, воодушевившись, Андрей. — Давай узбеков позовем. Они внизу тянуть будут за веревку — там безопасно.

Узбеки согласились без лишних разговоров. Шерзот уже давно стал в округе своим, почти русским, многие его звали просто Шуриком. И даже приехавший к нему на подмогу отец Халмурат, хотя и смотрел на высокий купол с явным страхом, но не спасовал, поплелся вслед за сыном.

— Халмурат, ты не бойся, — успокаивал его Андрей, — я тебе пояс монтажный дам. Прицепим тебя к лесам — безопасно будет.

Услышав о страховке, пожилой узбек немного распрямился, пошел уверенней.

Роман, шедший сзади, догнал Андрея.

— Слушай, Андрюха, — голос его прозвучал как-то надтреснуто. — Надо еще кого-то на подмогу взять, покрепче. — Роман замолчал, внимательно озираясь по сторонам. Весь его вид — и ссутулившаяся фигура, и глубокая складка от переносицы, и сосредоточенное лицо — выдавал сильное переживание.

— Не бойсь, Ромыч, поставим мы твой крест! Ой, что я говорю, наш крест, — поправился Андрей.

Роман, заметив, как неестественно радостно блестят его глаза, как он с трудом сдерживает шаг, размахивая длинными руками, болтающимися в большой не по размеру фуфайке, отвернулся в сторону: пацан, сорокалетний пацан! Счастливый, однако...

А “пацан” продолжал твердить как заклинание:

— Не бойсь, поставим!

— Ага, легко сказать. А двести килограммов! А если перекладыны согнутся? Хотя нет, не могут согнуться, выдержат, — боролся с сомнениями Роман.

Он вдруг перестал изнурять себя мысленным прокручиванием всей картины: как станут они разворачивать тяжеленный крест на шатающихся подмостях, медленно и осторожно поднимать его, заводить на сверкающий на солнце оранжево-красный купол. “Бог не оставит”, — разрешились разом сомнения.

Возле церкви стоял, заглядывая внутрь, Шкипер — рослый, сильный. Андрей с Романом знали, что он в деревне, но обращаться за помощью к нему не стали. И уж никак не ожидали, что могут столкнуться с ним возле храма. И вдруг Андрей, не предполагая этого секунду назад, воскликнул:

— Шкипер, можешь крест поставить?

— Пошли! — так же неожиданно и без привычных расспросов ответил тот.

Андрей с Романом переглянулись — ничего себе! Три дня тому назад, когда Роман хотел очистить крест от старой краски, Шкипер отказался помогать им перекладывать его с помоста на два тонких козлика. Сказал, что он мужик серьезный и без крана на авантюры подписываться не станет.

А теперь крест почему-то показался ощутимо легче. Спокойно, без прошлой слабости в коленках, сняли его с козлов, развернули лицом к перекладине и аккуратно положили на доски. От сознания того, что в жизни происходит событие, которого у большинства никогда не случится, наступала какая-то эйфория, словно на плечо нежданно-негаданно села синяя птица. Они

забыли о раскачивающемся из стороны в сторону куполе, пропал парализующий страх пустоты, горизонт не гипнотизировал, побуждая шагнуть вниз. Всё исчезло, как и не бывало. Всё. И в целом мире остались только они трое возле креста. Да еще помнилось о присутствии на нижнем, сравнительно безопасном ярусе двух узбеков, стоявших в ожидании долгожданной команды: тянуть!

— Вира! — поднял руку Роман.

Веревка заскользила по перекладине, и, разрушая опасения Романа, крест спокойно приподнялся над настилом. Андрей и Роман, не веря собственным глазам, восторженно переглянулись, гася улыбки, словно преждевременной радостью боялись спугнуть осторожную удачу.

Крест поднимался (наводившие ужас двести неподъемных килограммов), медленно восходил в небо — величественный и строгий. Шкипер внизу возбужденно восклицал:

— Еще?

— Давай, давай! — Роман с Андреем натужно кряхтели, поддавая снизу плечом, когда крест оторвался от настила.

Наконец он поднялся на нужную высоту, и они стали направлять остов в паз. Крест вошел.

— Майна! Майна помалу! — закричали Андрей с Романом, раскачивая крест в разные стороны, чтобы тот вошел в гнездо до конца. Крест садился туго, недовольно скрипя в ответ на такое бесцеремонное обращение. Но все равно опускался. И вдруг замер. На две трети осевший в гнезде, более не поддавался.

— Все, придется кран ждать, — упавшим голосом прошептал Роман.

— Неужели и в самом деле? — первое за день сомнение настигло Андрея. Он с ожесточением стал трясти массивный крест. — Да не может такого быть! Все равно поставим! — стиснул зубы Андрей и крикнул вниз: — Ослабьте веревку!

Роман глядел недоверчиво и молчал. Андрей изо всех сил, какие остались, продолжал раскачивать крест и одновременно надавливать на нижнюю перекладину. Из-под медной обивки посыпалась сухая ржавчина.

— Не даст, — вымолвил, наконец, Роман, пытаясь прикрыть боковые бороздки паза.

Андрей не желал верить, что столько труда потрачено напрасно и что его уверенность оказалась обычной самоуверенностью. Не желал и, шепча “Господи, помоги!”, продолжал попытки, выдыхаясь от перенапряжения. И вдруг, словно сжалившись над ним, крест стал медленно, сантиметр за сантиметром проседать.

Глаза Романа снова загорелись надеждой.

— Пошел... пошел... — кинулся он помогать Андрею.

Наконец крест полностью оказался в пазу, встал надёжно и прочно. Роман не мог поверить своему счастью. И не только он. Все были счастливы, даже узбеки, и пока Андрей снимал с Халмурата монтажный пояс, радостно смеялись, осознавая, что приняли участие в таком важном деле.

— А говорили — кран! Без крана никуда! — благодарно хлопал по плечам узбеков Андрей. — А у нас свой кран — “Ташкент”. — И даже обычно сдержанный Шкипер рассмеялся вместе со всеми.

Сверху упала какая-то тень. Андрей поднял голову: наверху, возле креста, возился Роман. Что он делал, было непонятно — закрывали леса. Затем Роман подошел к краю и позвал:

— Шкипер, Андрюха, давайте наверх, самое главное надо сделать. Халмурат, Шерзотик, а вы можете спускаться. Я потом подойду к вам, с меня магарыч.

— Да ты что, — замахали руками узбеки, — мы тебе так помогли. У тебя свой Бог, у нас свой, а помогать надо.

Андрей недоумевал, что же ещё самое важное они не сделали, и поразился, когда услышал.

— Самое главное, — серьёзно сказал Роман, — приложиться ко кресту. Таков обычай и честь великая. А другого раза может не быть.

Шкипер как-то неуверенно заметил, что хоть и крещен в детстве, всё равно обряд для него не столь важен, да и вообще церковь дело вовсе необязательное, вот внутренний храм — совсем другой разговор. В общем, стал отговариваться. Но вдруг его обычная непреклонность куда-то пропала, и он уступил настоянию Романа.

Подмости стояли с той стороны креста, куда никто не становился. Места было мало — полметра хлипкой на вид доски. Андрею казалось, что весь мир вокруг качается, грозя ему падением. Шкипер, тот вообще стоял на полусогнутых, но стоял, боясь обмишуриться. Он медленно осенил себя крестом, поклонился в пояс.

— Ты чего? Это же главный крест церкви. Земные поклоны. В землю кланяйся! — строго прозвучал голос Романа.

Не терпевший обычно никаких команд, Шкипер вдруг почувствовал, что сейчас не время спорить. Андрей спокойно совершил земной поклон. Следующий поклон они со Шкипером совершили синхронно.

В ожидании своей очереди Андрей, преодолевая внезапно возникшее смущение, взглянул на вершину креста и обомлел, словно впервые увидел его. В то же мгновение он забыл о нетвердо стоящем верстачке, о качавшихся вокруг купола лесах — словом, исчезли все его страхи. В странном, никогда прежде не испытанном забытии стоял перед крестом — он и крест. И ничего больше не существовало на свете. Мир вокруг исчез, тот самый мир, что тревожил и досаждал, радовал и печалил, расплывал силу мысли на пустое. И только высокий, ослепительно сиявший в лучах заходящего солнца крест, опираясь на маковку, плыл над ним. Плыл, соединяя небо с землей. И он, Андрей, принял посильное участие в этом свершившемся единении. Теперь он знал, что оно останется с ним навсегда, перейдет детям, внукам, правнукам.

— За что мне такая милость? — недоумевал он.

Внизу уже толпился народ.

— Как он сверкает! — возбужденно переговаривались люди, запрокинув головы и любуясь установленным крестом.

И в самом деле, казалось, он горит, приняв на себя жар уходящего на покой светила.

— Парни, а когда будет следующая служба? — спросил Шкипер.

— Что? — не поверив своим ушам, переглянулись Роман и Андрей.

— А... завтра, утром.

— Хорошо, я приду.

— Приходи, — расплылся в улыбке Роман.

Подшел батюшка со словами “с меня причитается”. Быстренько распили на троих, закусывая бутербродами. Роман нервничал, торопясь выехать. И тут здорово повезло: прибыл водитель епископа и согласился отвезти Романа с Андреем на автовокзал.

Шкипер тоже вдруг решил проводить Романа на поезд. Везение продолжилось и на автовокзале: успели приехать за пять минут до отправления автобуса, очереди не оказалось. В полупустом автобусе сели на последние места. Разговорились и, конечно, опять заспорили. О чём? О судьбе. Шкипер высказался за предопределенность, а Андрей с Романом настаивали на том, что судьба человека преимущественно сосредоточена в его собственных руках. Хотя Бог может при желании направить жизнь каждого в определенное русло, но рассчитывать на это никто не должен.

Шкипер, привстав с места, загорячился, заговорил громко, торопливо, словно боясь, чтобы не перебили. Сидевший неподалеку лысый мужчина, похоже полицейский, обернулся, окинул их внимательным взглядом и, не обнаружив ничего предосудительного, снова стал смотреть в окно.

— Тогда почему Бог не ведет меня по жизни? — говорил Шкипер. — Я бы с удовольствием. Меньше бы спотыкался.

— А зачем? — недоуменно развел руками Роман. — Да нет большей любви, чем уважение нашей воли — твоей, моей, любого. Понимаешь, в чем соль-то? В процессе! Веди тебя! Разве так интересно? Самому же хочется что-то построить, скроить, сотворить. Пусть не всегда удачно, но за-

то ты же сам этого добиваешься. Сам! Даже дети обижаются, когда им не позволяют самостоятельно что-то делать. Господь знает, что тебе лучше, но надо, чтобы ты сам спотыкался, поднимался, сам вверх шел, смысл жизни постигал.

— Сам, сам... а что сам-то? — скривился в усмешке Шкипер. — Если б я знал, что мне лучше. А так столько напраслины получается в жизни.

— Ну, хорошо! Давай тогда так. Предположим следующую ситуацию. Ты заново начнешь жить, допустим, с семнадцати лет, а нынешняя твоя жизнь исчезнет — вся, полностью. Согласен, что у тебя будет другая жена, другие дети, друзья?

Шкипер сосредоточенно нахмурился. С одной стороны, можно будет жизнь по-другому устроить, с другой... Страшнее всего представить себе иных близких людей, среди которых как раз этих, родных, к которым прикипел душой, не окажется! И отказаться от них — всё равно что предать и их, и себя самого. Нет, не нужна ему никакая иная дочь и никакая иная жизнь, пусть во сто крат и лучше.

— Ну вот! О том и говорю, — подытожил Роман, верно истолковав молчание Шкипера.

И хотя в очередной раз победило не его мнение, Шкипер не испытывал обиды или досады. В такой день всё казалось мелочью.

Затем всю дорогу счастливые, как именинники, бежали: от автобуса к метро, от метро к железнодорожному вокзалу.

— Не успеем, — сетовал Роман.

— Успеем! — дружный ответ.

— Ну вот, теперь точно не успеем, — остановился Роман перед сетью длинных очередей к кассам.

Андрей со Шкипером молчали рядом, глядя на уставшие лица пассажиров. Заминка длилась несколько секунд, Вдруг Шкипер, поразившись самому себе, решительно вошел в толпу.

— Я по благословию епископа! По благословию епископа!

Он прошел к окошку кассы мимо разом расступившихся очередей.

— Какого владыки? — спросила приятного вида старушка.

— Этого... э-э... Сергия.

— ..вского? — громкое объявление дежурного по вокзалу заглушило ее слова.

— Да, — кивнул Шкипер.

Лицо старушки осветилось благоговейным трепетом.

— Помогай вам Бог.

— Все, технический перерыв. Обслуживаю последнего покупателя, — объявила строгая кассирша со стальным взглядом вершителя чужих судеб.

Ближайший очереди уже открыл было рот, протягивая паспорт. Шкипер испугался, что Роман не успеет купить билет. До отправления поезда оставалось всего семнадцать минут, а в другой кассе может не повезти. Так хотелось, чтобы сегодняшняя сказка не оборвалась внезапно, как лента на киносеансе в самый интересный момент.

— Я по благословию владыки! — уверенно повторил Шкипер. Он быстро сунул паспорт в окошечко и сделал заказ. Кассир набрала в компьютере станцию назначения и подняла голову.

— Нет билетов! — ушатом ледяной воды вылился на него ответ.

— Как нет?! Не может быть! — Шкипер опешил: пленка замедляла движение, грозя порваться.

— Ну вот так! — она смотрела на него твердо, демонстрируя независимость от чьего-либо влияния.

— Я по благословию епископа, — не в состоянии поверить, что могучая сила его заклинания может не подействовать, проговорил Шкипер.

И, о чудо! Заклинание сработало. Ухоженные пальчики вновь пробежали по клавиатуре компьютера, и каменное лицо кассирши оживила легкая улыбка:

— Пойдите! Только что сдали один билет в купейный вагон.

— Давайте скорее, а то через пятнадцать минут отправление!

Размахивая билетом, как знаменем победы, Шкипер выскочил из толпы, не обращая внимания на недовольные взгляды очереди.

Снова бежали.

— Я с вами в пионера превращаюсь, — шутливо ворчал Шкипер, тяжело сопя и всё же радуясь непривычному молодецкому настрою. — Никакой солидности.

— Ничего-ничего, посадим Романа в поезд, станешь опять солидным, — хохотнул Андрей.

Проводник, плотно сбитый, с перебитым боксерским носом, проверил билет и, заметив, как Роман достает из пакета непечатую бутылку, решительно шагнул навстречу.

— Вы что, совсем офонарели? Сейчас сдам ментам!

— Ромыч, ну, правда, люди же кругом. Ладно тебе, в другой раз, — смущенно оглянулся по сторонам Андрей и обратился уже к проводнику: — Слушай, друг, не обращай внимания: у нас сегодня такой день!

— Понимаешь, крест на церковь поставили, — вмешался Шкипер.

— Без крана, сами! — в один голос.

— Ладно, понимаю, тоже человек, — смягчился проводник. — Коли такое дело, зайдите лучше ко мне. Даю вам на всё про всё три минуты. Вполне успеете, а то отправление уже (поглядел на часы) через семь минут.

— А знаешь, Рома, давай-ка и вправду в другой раз вышьем. Посидим по-человечески, не спеша. А сегодня нам и так здорово, — сказал Шкипер.

Глядя на медленно тронувшийся поезд, Шкипер вспомнил недавний спор с Романом о судьбе и подумал: “Интересно, а почему я сегодня в церкви оказался? Предопределенность или случай? А, впрочем, мне что так хорошо, что так: не каждый день кресты ставятся”.

В это время Андрей набирал чей-то номер по телефону.

— Давай приезжай скорее, а то нам, кацапам, уже скучно без одного хохла, — сказал он своему собеседнику.

— Да-да, скучно, — крикнул сбоку в трубку Шкипер.

— Обязательно приеду, — прозвучало в ответ.

НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА



В ОГОРОДЕ БУЗИНА

ПРУТИКИ

Не просите старенькую бабку
Угадать: куда хитрец попёр
Карликовых прутиков охапку
И... топор?

Под предлогом “насаждений новых”
Мы дубрав лишаемся кондовых!
Ради символических ростков —
Остаёмся без березняков!

Чересчур надеяться на прутики
Это — как в Сахаре — сеять лютики!
Да и как ты их приноровишь
К почвам, неподатливым для роста?
Им и зацепиться-то непросто
Там, где **СТОЛЬКО СТАРЫХ**

КОРНЕВИЩ!

Усмехаясь (дескать, “или—или”),
Высадили жёлудь, дуб — спилили!
Высадили худенький росток, —
Вырубили рощу и лесок!..

МАТВЕЕВА Новелла Николаевна родилась в городе Пушкине (Царское Село) Ленинградской области в 1934 году. Окончила Высшие литературные курсы. Автор книг “Кораблик”, “Ласточкина школа”, “Река”, “Страна прибой”, “Хвала работе”, “Избранное”, “Жасмин”, “Мяч, оставшийся в небе”, “Кассета снов”.

Алчного и опытного гада
К хозработам поощрять не надо;
Он и так обманет новизну;
Под предлогом “новых насаждений”
Негодяй — без долгих рассуждений
Вырубит последнюю сосну!

Февраль 2014 г.

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

*99 процентов лесных пожаров
происходит от “человеческого фактора.”
“Радио России”, программа
“Зелёный патруль”*

Откровенно в руку прыская,
Смотрит контра зубоскальская,
Как горит тайга сибирская,
Польхает забайкальская...
Поджигатель нынче — силища!
Это им на ус намотано;
Угодит ли он в узилище,
Если даже... в суд не подано?
Репортёр замнёт подробности...
Общество не взбаламучено...
А за выжженные области
Даже... в морду не получено!
Кто искал газету к завтраку?
Тех вестей никто не ведаёт,
Чтобы **ПОЙМАННОГО ЗА РУКУ**
Хоть побили бы как следует!
Сверхзлорадного, паршивого —
Отпустив без нарекания, —
Никогда его за шиворот
Не подтащат к телекамере!
Ибо монстра (с его яростным
Тайным “менэ-тэкел-фарес”-ом),
Олигархова опричника
Можно выдать — за... шашлычника!
О Фемида! Лишь галантные
Вижу рожницы коллег твоих...
До чего ж мы толерантные!
До чего политкорректные!
А в пожарищах горючих
Слух гуляет сивым мерином:
“Полтора миллиона случаев, —
Ни один — не злонамеренный”!
Разговаривайте с йогами.
Пейте чай. Читайте Тацита.
А про заговор с поджогами
Вам нельзя и заикаться-то!
— Пли! — пишат детишки трудные;
В школах дым и залпы дружные...

Ходят по лесу патрульные:
Вот кто вправду — **БЕЗОРУЖНЫЕ!**

7 июня 2014 г.

В ОГОРОДЕ БУЗИНА...

Со всех существующих радиостанций
Для нас оглашается множество санкций!
А склока-то вся началась *на майдане*.
За что же с Московии требуют дани?

Решили какие-то типы во Львове,
Что русский язык — диалект львовской
мови!
Сама же Московия — только частица
Майдана! За что и должна расплатиться!

Верней — поплатиться. За то и за это.
За все преступления Нового Света;
За “Бурю в пустыне”. За ту Кондолизу,
Что съела Багдад — сообразно капризу.

За гибель Саддама. И Сербии кряду.
За Ливию, — с глобуса стёртую к ляду.
За то, что погромщикам нечем гордиться.
А также — Россия должна поплатиться

За то, что майдановцы бьют безоружных.
(И дальше бегут в направленьях ненужных —
Куда их несёт ненормальности
вспышка).
За то, что для них референдум —
пустышка.

А если в Техасе исчезли ковбои,
И если обойщик испортил обои,
И если в компьютере хлеб не родится,
То мы и за это должны поплатиться!

А ежели где-нибудь там на Ямайке
Не в моде штаны, а в Антарктике —
майки,
И если в Канаде дожди не косые,
То — кто виноват? Ну, конечно, Россия!

А если на звёздах созвездия Вега
К субботе совсем не окажется снега,
А Брэм нам докажет, что курица — птица,
То мы и за это должны поплатиться!

А если растёт бузина в огороде,
А в Киеве дядька сидит на подводе
И в пекло шагает Безумная Грета*, —
Россия, учти: ты ответишь за это!

С нас требуют злыдни за то и за это;
За то, что их “совесть” — не белого цвета.
За то, что акула и спрут не пушисты.
За то, что бандеровцы — это фашисты!

18 июня 2014 г.

* Существует картина Брейгеля “Безумная Грета”. Мифологическая домохозяйка устремляется в ад, чтобы спасти там свою посуду.

ЮНГА

По всей руке — татуировка;
Русалка, шхуна, якорь, сердце и подковка,
Драчливый кортик,
Бульдог Фиордик...
Зачем ты, юнга, себе ручонки портишь?

На что тебе твоя русалка
И твой пират, лиловый, как фиалка?
Не трогай кортик!
Не гни подковку!
Зачем таскать с собой
всю эту обстановку?

А якорь счастья не приносит;
Он одинок, его бросают одного;
Причальят к суше —
И сразу бросят!
И устремятся к берегам...
А если в море ураган, —
Уж обязательно бросят его!

Когда бросали этот якорь
(Незаменимый для бросания в беде),
Никто не видел,
Как якорь плакал!
Да он и сам не замечал,
Какую горечь источал,
Поскольку плакал — в солёной воде.

Вот подрастёшь. И всё, что любишь,
С годами быстрыми, наверно, позабудешь.
Всё те же снасти
Ценя до страсти,
Пирата спросишь: “А вы откуда?
Здрате!”

И не найдёшь такой тропинки,
Чтобы удрать от каверзной картинки;
Хоть помереть ведь —
А не стереть ведь!
Носи с собою
И в Лиссабоне
И на Гавайях носи, и на Мартинике...

Изображённая подковка
Прочней подковы настоящего коня!
...Но если эта
Татуировка —
Не на руке,
Не на ноге,
А прямо в сердце вот здесь у меня?

Тогда и вовсе — всё! Тогда и вовсе —
Прости-прощай, надежда, счастье и покой
С воспоминаньем
О том удобстве,
Том барыше,
Когда в душе
Не красовался портрет никакой.

По всей руке татуировка.
А память моря за тобой
шагает вслед..
Останься юнгой, старик;
Тебе картинок твоих
Не отвести и за тысячу лет!

1960—61 гг.

Позёмка-снеговой и музыка Люлли
Из-под ночных огней по площади текли.
И сказки Гофмана их родственному чуду
Многозначительно подмигивали всюду...
А мы, прозябшие без шуб и рукавиц,
В морозном воздухе ловили Синих Птиц
И, зачарованные, верили обычно,
Что фея-крёстная и к нам небезразлична,
И ночью каждому из нас в башмак худой
Отсыплет горсть конфет в обёртке золотой!

Март, 2014

АЛЕКСАНДР АНТОНОВ



МАЛЕНЬКИЙ РАССКАЗ ПРО ДОМ НА ГОРЕ

Этот дом никогда не был моим. И теперь уже никогда не будет. И я даже рад за него, за этот дом, не за себя, разумеется. У меня даже ключей, кажется, от него никогда не было в кармане. И называть дом своим в том или ином смысле я не имею никакого права.

Он и вправду стоял на горе. Вся деревня была на горе, возвышалась над долинами двух сливающихся рек, а этот дом стоял еще и на пригорочке, наверное, самый высокий. Он стоял в самом конце, так что возле него была изгородь для скотины, а дальше — пастбище и сенокосы. В деревне, как и раньше, было около десятка домов. Но заборы стояли только у некоторых, где жили круглый год. У остальных домов лишь крашенные наличники да занавески в окнах свидетельствовали о том, что они не брошены.

Я немало жил и на съемных дачах, и в общежитиях, и в палатках. И обычно их называл домом. Но ни одно из этих жилищ не вспоминается так, как этот дом.

Это была изба северного типа, когда всё под одной крышей — и жилье, и хлев, и сеновал, и амбар. Такие избы приходилось мне видеть, когда я работал в Архангельской области. Я изучил его весь, даже заглянул в клетки хлева — там были большие стойла коров и маленькие закутки, наверное, для коз или овец. Пожалуй, только в подпол — амбар я не спускался ни разу.

Каждый раз я волновался, как там дом, как он нас примет. И каждый раз он принимал нас отлично. Входя, я понимал, что пришел домой. Не к себе, нет, но я пришел домой.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ (АНТОНОВ) Александр Алексеевич родился в 1978 году. Окончил геологический факультет СПбГУ. Публиковался в журналах "Нева", "Арт-город", "Вокзал", "Другие люди" и в альманахе "Абзац". Участник девятого и тринадцатого форумов молодых писателей России в Липках.

— Ну, вот мы и дома, — любил я посидеть с дороги, подобно тому, как люди делают это обычно на дорожку.

И порой мне начинает казаться, когда я погружаюсь в воспоминания, что это мой родной дом. Я не могу это вам как-то объяснить, не в прямом смысле слова, меня не прописывали туда после рождения, но это действительно мой родной дом. Только там я могу себя чувствовать так спокойно. Ну, если хотите, то порой мне начинает казаться, что я ходил в школу не в Ленинграде, а в Ярославичах — это соседняя большая деревня. Разумеется, никогда я не ходил в школу три с половиной километра, не переходил через подвесной мост над Оятью, это ложная память.

В первый раз нас привез на “дачу к Валере” Тарас. Сам же Валера с Димой и Вовой уже были там. Помню, как мы заехали на пригорок, и я впервые увидел этот дом. Нет, он мне не показался чем-то особенным, каким-то родным. Просто дом и все.

Помню, мы выпивали по случаю нашего приезда — как без того. Миша порывался идти на рыбалку, хотя уже стемнело — вот одержимый. Я не пустил его, но и сам в пьяном угаре говорил:

— Мы будем читать Белова и плакать.

И дом в тот первый приезд еще не успел стать родным. Это была просто чужая дача и все. А таким не моим, но все-таки родным он станет позднее, когда мы уезжали оттуда. И когда мы приезжаем туда с Мишей вдвоем.

Как же я все-таки ненавижу водку! Мы ведь всегда ездили на рыбалку (не сюда, в разные места) без спиртного. Это была разгрузка, отдых от наших бетонных пещер. А возвращались мы обычно без лишнего рубля в кармане. Помню, как мы наскребали на четвертушку буханки. Более вкусного хлеба, чем тот, я не ел. Когда же мы приехали сюда, то застали совсем другую картину — с собой на рыбалку ребята брали бутылку водки. Так же поступил и Миша — взял на нас двоих бутылку.

— Слушай, — сказал я ему, — это дурная традиция. Ну ладно эти олухи, алкоголики, они сюда пить приехали, но ты-то зачем водку с собой взял? Можно еще один раз вечером выпить, но здесь, в лесу, на реке, это абсолютно лишнее.

— Да ладно, погода, холодно, то, сё, — ответил мне Миша, — мы так, по стошечке, чисто символически.

— Ну, если только чисто символически, — сказал я и налил себе чуть на доньшке.

— Ну, это ты вообще ничего не налил, — сказал Миша и выпил свои сто граммов.

Мы шли вверх по Тянуксу и кидали спиннинги. Была глубокая осень, был октябрь — один из не любимых моих месяцев. Трава, которая в августе стояла в рост человека, пожухла и валялась под ногами. Миша шел по левому берегу, а я по правому. Порой мы забрасывали прямо напротив друг друга в один омут, порой скрывались из виду, кто-то уходил вперед.

Я был Мишиным учеником, именно он меня научил кидать спиннинг. До этого, конечно, я хвастал, что мы с топографами ловили щук, но это было так: я греб, а топограф проверял сети. Это называлось, я ловил щук! Просто говорить смешно!

Мы пошли с Мишей на Ояць — большую реку, по сравнению с заросшей Тянуксой, и там я тренировался забрасывать прямо, направо или налево. Забрасывать подальше и забрасывать поближе.

Свою первую щуку я вытянул на Тянуксе через день. Было осеннее пасмурное утро. Такие утра у меня почему-то ассоциируются со школой. Наверное, потому, что школа начиналась осенью. В тот раз Миша шел по правому берегу, а я по левому, и двигались мы против течения. С моей стороны была заводь. Я забросил спиннинг раз и два, но ничего не было, как и раньше. В третий раз леска вдруг натянулась, и я, не смея верить в свою удачу, подумал, что это зацеп. Но вот показалась щучья голова. Я подвел рыбку к берегу, и, вместо того, чтобы вытащить ее, сам зачем-то прыгнул в воду, схватил ее за жабры и руками выкинул на берег. Миша улыбался:

— Я вспомнил свою первую щуку. Забрось еще.

— Ты думаешь, после такого может клонуть другая?

И я сделал еще пару забросов и вытащил из того же омута еще одну щуку. Но больше я не прыгал в воду, эту уже вытаскивал спиннингом на берег. Больше за всю рыбалку я так ничего и не поймал, но я был горд и этими двумя щуками.

Один раз я почувствовал, что кто-то есть на том конце, и начал вытаскивать.

— Взяла, — сказал Миша со знанием дела и пошел дальше. Но только он отвернулся, как щука отпустила, и я вытащил одну блесну. Я бросил еще раз, хотя это было бесполезно — сошедшая щука не брала второй раз. Я бросился нагонять Мишу и рухнул в воду, зачерпнув сапогом. Я вылил воду из сапога, оставил рюкзак и спиннинг и бросился за Мишей.

— Большая? — спросил он.

— Не знаю, — ответил я, — не видел, но судя по тому, как шла, большая.

— Да ты что, не вытащил что ли?

— Нет. И я ногу промочил, кинь бутылку, пожалуйста.

— Ты что, за щукой нырял что ли?

— Нет, я потом в реку свалился.

Он подумал, не вышить ли ему, но потом решил, что не стоит, и бросил мне бутылку через реку.

— Я пойду сушиться и пообедаю заодно. Ты иди медленно, и я тебя нагоню.

Когда в конце рыбалки я отдал бутылку, то в ней оставалось совсем чуть-чуть.

— Ничего себе, — сказал Миша.

Затем он взял бутылку, вылил остатки к себе в стакан и, крикнув, выпил. Он закусил хлебом, однако это было лишнее — он и так ничего не почувствовал — ему было мало.

— Что-то ты то вообще не пьешь, то все выжираешь.

Впоследствии он скажет, что это я виноват в том, что он нарезался. Если бы он выпил побольше, то не пошел бы в тот день в Ярославичи за добавкой. Мы пошли домой, другие ребята — Дима, Вова и сын хозяина дачи — Валера, уже были там.

Валера плохо себя чувствовал, пробежка вдоль Тянукусы доконала его. А все остальные решили, что раз сегодня суббота, то нужно обязательно сходить на дискотеку в Ярославичи. Они и меня приглашали, но я ответил:

— Я сюда приехал не для того, чтобы на дискотеки ходить. Я хочу отдохнуть от всего этого, еще мне не хватало туда перебраться. Нажраться можно и в городе преспокойно, для этого не нужно сюда ехать.

Но у них на этот счет было диаметрально противоположное мнение — раз приехали, значит нужно нажраться. И они втроем ушли, одевшись по-городскому, — Дима, Вова и Миша. Обычно мы носили Валерины ватники. У меня хранится ватник, который я приобрел на работе. Я думал, что буду носить его в своем доме, но дома у меня так и нет. И он висит у меня бесполезный в квартире. Между тем минула полночь, потом и час. Валера нервничал, он ведь был за хозяина и беспокоился о гостях.

Наконец, пришел один Дима с довольной рожей кота, сожравшего сметану.

— Где остальные? — спросил его Валера.

— Не знаю, — отвечал тот, — я думал, что они дома давным-давно.

Когда они втроем пришли в деревню, то первое, что им сказали мужики, увидевшие пьяных ребят, было:

— Девки в деревне нет.

На что Дима, Вова и Миша спросили:

— А где можно спирт купить?

Им указали двор, в котором кто-то из местных продавал спирт.

Как оказалось, клуб был закрыт. На ступеньках клуба сидело несколько человек местной молодежи с кассетным магнитофоном. Дима увидел, что Вовочка собирается целоваться с местной бабой. Тогда Дима взял щупленького в доску пьяного Вовочку за шиворот и, отодвинув его, стал сам с ней лизаться. Что у них было дальше, я не могу, да и не хочу писать. Но все-таки придется.

Потом Дима пошел ее провожать. Девушка познакомила его со своими родителями, после чего они уединились в протопленной бане (как раз была суббота). Дима даже по пьяному делу оставил зачем-то ей свой телефон. И вот после этих приключений он вернулся раньше всех.

А Вовочка продолжал бухать местный спирт и, что было дальше, вообще не помнил. Миша же потерял его, он решил возвращаться один. Куда нужно идти, он понимал плохо, но, к счастью, с ними увязалась лайка из нашей (ну вот я и назвал ее нашей) деревни. И Миша просто шел за собакой. Перейдя через подвесной мост и выйдя из Ярославичей, собака его привела к Вова, который тоже, видимо, перешел мост и упал прямо в кустах. Вова спал на земле, несмотря на позднюю осень. Миша разбудил его, и дальше они пошли вместе. Как дошли — не могу описать — дорога была темная, тропинка скользкая, грязная и очень крутая — она вела в гору, и они часто падали и ползли за собакой прямо на карачках. Эта собака спасла их.

Первым вошел Вовочка, он каким-то чудом держался на ногах.

— А где Миша? — спросил я у него.

— Сейчас, идет, — ответил он. В это время в сених раздался грохот — это рухнул Миша. Я бросился его поднимать:

— Как же ты по крыльцу поднялся, если на ровном месте падаешь? — удивился я.

— Умыться надо, я весь в дерьме.

Я подтащил его к умывальнику, а Валера — грозный хозяин давал разгон всем троицам.

В день отъезда я подметал пол.

— Саша, — сказал мне Миша, — прекрати ходить туда-сюда, а то меня укачивает.

— Укачивает его! — возмутился я. — Ты сам должен со шваброй ходить, а не валяться на диване!

Миша часто вспоминал одну историю, которая произошла с ними в детстве, здесь, на даче. Они рыбачили на вечерней зорьке и поймали немаленького хариуса — кило триста. В двенадцать ночи Миша сказал Валере:

— Уже двенадцать, нас ведь только до полуночи отпустили.

— Ерунда, — ответил Валера, — за такого хариуса нам все простят.

И они рыбачили в белую июньскую ночь, а домой пришли в четыре утра. Но у матери был другой взгляд на вещи, и поэтому Валера получил этой рыбиной по лицу. Той самой рыбой, которую он предъявлял в качестве оправдания.

А еще к нам ночью приходила соседская серая кошка. Она забиралась в подпол, а из подпола пролезала через кошачий лаз — специально выпиленную отдушину. И когда она к нам приходила, то начинали сниться яркие сны. Сны цветные, как мультипликационные фильмы, какие сняты иногда, если у тебя температура. Мы с Мишей думали, что это от кошки. Обычной серой невзрачной кошки. А еще нам снились в такие ночи коты. Мне снились рыжие и пушистые, освещенные солнцем. А Мише приснился его кот, и что они тепленически общаются друг с другом, а остальные коты не понимают.

В комодке шуршала мышь, она там чем-то гремела и мешала мне спать. Но когда приходила кошка, то она затихала. Когда кошка уходила, то начинала возиться снова. Мне это надоело, и я решительно открыл ящик комода. Мышь испугалась и прыгнула за ящики в глубину комода. Я грязно обругал ее.

Ну, вот я стал писать всякую ерунду, а дом-то совсем оставил. Итак, первым делом человек попадал на крытое крыльцо, ступеней в семь или десять, потом в сени, откуда можно было подняться на чердак, если пойти по лестнице, на сеновал, если повернуть направо, и в жилую избу, если повер-

нуть налево. В жилой избе было две смежных комнаты. В первой была русская печка сразу слева, как войдешь. Она стояла вдоль комнаты так, что устье было расположено со стороны обеденного стола, стоявшего в глубине комнаты. Здесь же был и диван. Во второй комнате была еще одна печка с лежанкой, пара кроватей, небольшой стол и комод. Сколько раз я себя спрашивал, как здесь жили, но так и не мог найти ответа. Иногда казалось, что старшие жили в большой комнате с русской печью, а дети в смежной, иногда — наоборот. Дом упорно хранил тайну — кто и для кого его построил, кто здесь жил с самого начала. Валерины родители купили его, уже когда он был дачей.

И я часто думаю, кто же были те люди, что жили здесь постоянно, кто были те, что построил дом. Однажды среди ненужных бумаг мы обнаружили страховку на корову, квиточки за несколько лет. Платилось что-то около трех рублей. Еще в русской печи было круглое отверстие, куда можно было вставлять трубу от самовара, то есть у них был самовар. На чугунке, который мы сажали в русскую печь, было написано: Артель “Труд” 1927 г. По словам Валеры, звали хозяйку Дарья Чистякова, и жила она с сыном. Вот, пожалуй, и все следы, вся информация, по которой можно было восстановить прежнюю жизнь.

А мы однажды не пустили одного человека, как я теперь понимаю, этого самого сына. И теперь я понимаю, каково ему было. Вот как это вышло.

Появились как-то двое местных мужиков, а Валеры дома не было, были я и Миша. Один из этих мужиков нес два полных пакета с чем-то, а второй нес себя, хотя и с трудом. Мужики подошли, поздоровались, представились. Оказалось, что один из них нес пакеты с пивом — из мешков торчали горлышки полторалитровых пластиковых бутылок. Шли, судя по всему, уже километра три, из Ярославичей, где был магазин.

— Давайте выпьем, — сказал один из них, тот, что был с пакетами, и хотел пройти в дом.

Но Миша загородил ему дорогу. Тот остановился. Он не понял, почему его не пускают в дом.

— Хозяина дома нет, — пояснил он гостю.

— А где же Саша?

Мы с Мишей переглянулись. Эти мужики нравились нам все меньше и меньше. За те десять лет, что мы употребляли алкоголь, пожалуй, еще никто не предлагал выпить на халяву. Налить просили, но наоборот...

— Какой Саша? — спросили мы оба разом.

— Как какой? Ну, хозяин-то.

— Здесь Валера хозяин.

— А Саша где?

— Не знаем такого, — сказал Миша.

А я добавил:

— Может, вы, мужики, дом перепутали?

Тот, который нес себя, возмутился:

— Да он здесь вырос, как может такое быть?! И я точно помню — тот дом.

Миша шепнул мне:

— Валера говорил, здесь тетка раньше жила одна, у нее корова была еще, — я только плечами пожал.

— Ладно, давайте тут выпьем, — предложил тот, что с пакетами, — я, понимаешь, столько здесь не был. Раньше здесь жил. С кем? Да с матушкой, с братом. Зимы морозные помню. Волки вон к изгороди подходили.

— А много их было? — спросил я и тут же пожалел, потому что рассказчик подумал, что над ним издеваются и не верят, и решил назло соврать:

— Штук пятнадцать...

Но тут вмешался второй прохожий:

— Да давайте выпьем, пиво у нас есть, здесь прямо... — он показал во круг себя.

— Чего? Может, здесь-то ничего? — спросил я.

Но Миша отказался пить с ними подчистую и сказал:

— Вы можете пить, но мы не будем, у нас дела.
— Да давайте, по маленькой бутылочке пива вместе с нами, — и он полез в пакет, искать пол-литровые бутылки с пивом.
— Да чего, пойдём, — сказал другой, — Саша нету, чего мы тут будем...
— Нет, вы пейте, но мы не будем, — и Миша остановил достающего бутылки жестом.

Тот выпрямился и недоуменно посмотрел на этого дачника, даже руками развел:

— Да чего вы, давайте выпьем, я ж не прошу — угощаю.
— Нет, вы пейте, но мы не будем.

Тут он все понял — не хотим мы с ним пить, не хотим, в дом его бывший тоже не хотим пускать, и нет у нас никаких дел на самом деле — какие дела у дачников, смешно даже.

— Ладно, пошли, — бросил он своему другу, развернулся и столкнулся с Валерой, который спешил к себе во весь опор и тяжело дышал.

— О, здорово, Саша! Мы пошли.

— Я не Саша, я Валера.

— Саша, выпьешь с нами? — встрял второй, который нес себя.

— Я не Саша, я — Саньч. Саша — это отец мой, а я Валера.

— Ну, Саша... То есть, Саньч, давай выпьем...

— Давайте, — сказал Валера и распахнул дверь.

— Давай, пошли к себе, — сказал мужик с пакетами, уже подняв их и стоя на отдалении, там, где когда-то в детстве у Валеры была калитка.

— Пойдем, выпьем, — сказал мужик своему другу с пакетами и мотнул головой в сторону открытой двери дома.

— Всё, пошли отсюда, — ответил тот.

И тут даже Миша, который отказывался пить подчистую, попросил их:

— Да давайте, по сто грамм-то можно, и всё!

— Да чего вы... — Валера недоуменно помычал.

— Пойдем давай, хватит!

Тот, который с трудом принес себя, недоуменно пожал плечами:

— Ну, вы извините, мы пойдём... Такое дело, не хочет, — и помотал головой в сторону товарища.

— Да чего, это у всех бывает, — ответил я, намекая на нашего Мишу.

Когда он пожал всем руки и унес себя вслед за первым, то Валера спросил:

— Чего приходили-то?

— Да выпить хотели. А кто это?

— Один — сын бывшей хозяйки. Живет теперь в соседней деревне километрах в двух отсюда.

— А второй его брат?

— Нет, не родной. Ну, может, старший троюродный брат или дядя, я точно не знаю, они тут почти все родственники... Чего ушли-то?

— Да... обидели мы их, — махнул рукой я.

Ну и раз уж я вспомнил эту историю, то как нам не вспомнить дядю Федю. Дядя Федя жил через два дома, если так можно выразиться, потому что дома в этой деревне стояли зачастую вразнобой, в шахматном порядке.

Всегда, когда приезжали мы в деревню, он приходил в гости. На улице поздняя осень — грязь непролазная. А он приезжает на мотоцикле (это за два дома-то!), в начищенных кирзовых сапогах и стареньком галифе. Было ему тогда лет семьдесят, служил он еще при Сталине. От водки дядя Федя отказывался, а чаю у нас тогда не было. Он вел чинный неторопливый разговор о родственниках Валеры, о ситуации в стране.

Обычно мы приезжали в октябре — Мише казалось, что в это время должна идти рыба. Красная идёт на нерест вверх по Тянуксе, а у щуки должна быть в это время осенний жор. А однажды, это было в 2005 году, мы приехали в августе. Это безумно красивые места даже в мое самое нелюбимое время года — поздней осенью, почти зимой. Когда идешь старыми — уже все убрано — сенокосами по этой горе к большой реке Ояти, какие-то

неведомые самому чувства охватывают тебя. Какое-то странное спокойствие, чувство, что ты дома, хотя косили здесь не мы и даже не наш сосед Вася. Странное это чувство и спокойное, и заунывное, особенно если увидишь улетающих журавлей или треугольник гусей, кричащих в осенней тишине. И все это в пасмурную погоду, когда все так уныло! Что уж говорить о летней поре, когда стоит полноценный август, деревья еще так зелены, лишь кое-где желтый лист, когда уже пошли белые.

Как-то мы ездили смотреть другую дачу с женой, и она поставила меня в тупик вопросом, как я себе представляю, что там делать на даче. Ведь, когда мы были в деревне с Мишей, у нас не было свободных и пяти минут, мы все время что-то делали. Мы каждый день ходили на рыбалку, потом готовили рыбу, проверяли сетки на лосося, топили печь, занимались хозяйством, убирались в доме. Мы все время чем-то занимались, что-то делали. А в свободные вечера, когда темнело и ни за грибами, ни со спиннингом было не выйти, я писал. Я даже кое-что помню из того, что я писал. Я писал школьные воспоминания — как я оторвал случайно в драке рукав однокласснику, как я с параллельным классом ездил в Пушкин и был поражен — у них в классе были не такие отношения, как у нас, не было какой-то звериной ненависти. А может быть, я просто встретил другое отношение к себе.

И так мы проводили время с Мишей. Часов в восемь утра мы ходили к соседу Васе за молоком. Потом готовили на дровяной плите какую-нибудь кашу — геркулес или манку. После завтрака шли в поход или на висячие (то есть находящиеся отдельно) озера за налимами, которые обитали там на глубине. Или просто со спиннингами по Тянуксе, пытаюсь урвать там щучку-другую. Или за белыми вдоль дороги, что идет в свою очередь вдоль Тянуксы. Возвращались мы уже под вечер с грибами, которые надо было чистить, или рыбой, которую мы чистили прямо на реке, чтобы не возиться дома. Миша потрясающе делал лосося в лимонном соке и уксусе, а я жарил его. Свежий, он просто таял во рту. Мы готовили ужин, ужинали, Миша приводил в порядок снасти, а я писал — во второй комнатке был небольшой стол. И у нас не было и пяти минут простоя или безделья.

Однажды я заметил, что на коньке крыши доски новые.

— Ну вот, а ты говоришь, что Валера совсем не приезжает, — сказал я Мише, но он только фыркнул.

— Это я Васе деньги оставлял, чтобы он новые доски на крыше прибил, — и я вспомнил. Действительно, Миша меня спрашивал, стоит ли заморочиться. Я сказал, что стоит, если вода будет попадать на чердак, то потолок сгниет, и изба просто протечет. И еще сказал, что это нормально — потратить деньги, мы же ведь здесь живем, и это будет плата этому дому. Даже не хозяевам, а самому дому.

В один из последних разов, когда мы собирались туда, я был уже женат. Я собирался поехать на рыбалку вместе с женой, а она хотела взять с собой племянника, который вообще не умел ловить рыбу. Конечно, при таких обстоятельствах ни о какой нормальной рыбалке не могло быть и речи, но мы бы съездили, хорошо отдохнули.

Мы уже давным-давно не ездили туда. Миша хотел подшиться, но не мог выдержать пяти дней. И тогда-то я и предложил:

— Знаешь, Миша, поехали к Валере в деревню. Проживем там эти пять дней.

Но Миша был согласен только пьяный, трезвый он отказывался туда ехать — такой заколдованный круг.

А потом случилось это — мы узнали, что дом продан. Продан людям, которые там отдыхали в последний год, и им нравилось. Продан. Продан! Продан...

А ведь я просил Мишу, чтобы Валера сразу сказал, если дом будут продавать. Но Валера стоял твердо на своем — дом он продавать не будет, хотя и не ездил туда уже лет пять, все в городе бухал. А теперь родители сами взялись за это дело и решили продать дом в обход него.

Я взял у Миши телефон Валериной матери.

— Только не говори, что это я его тебе дал, скажи, что был там и взял у соседа Васи.

Пришлось мне пуститься на этот бесхитрый обман.

— Здравствуйте! — сказал я. — Мне Василий сказал, что вы продаете дом.

— Нет, мы уже договорились. Люди отдыхали там летом, им понравилось, и они согласились купить этот дом.

“Мы тоже, тоже там отдыхали, и нам понравилось”, — чуть не крикнул я, но сдержался — ведь по легенде я был посторонним человеком.

— Я видел ваш дом, и он мне очень понравился. Скажите, за сколько вы его продаете?

— Об этом конкретном доме разговора быть не может. Потому что это наши хорошие знакомые. И мы продаём за свою цену его, но вообще-то он стоит дороже. А вас интересует именно дом на горе?

“Да, меня интересует именно этот дом на горе”, — захотелось воскликнуть мне, но вместо этого я сказал:

— Да нет, почему же, не только.

— Я могу вам дать телефон агента в райцентре...

Но где тот агент, который бы продал нам именно этот дом...

Уже после этого, после того, как дом продали, я почувствовал острое желание туда приехать, увидеть его. Посмотреть на него хотя бы издалека, а может быть, и подойти поближе, постоять возле него, если будет возможность. Когда я, Тарас и Миша пили вино, я предложил Мише поехать туда:

— Давай съездим на бывшую Валерину дачу.

— Нет, — ответил он, — это больно. В смысле неприятно, — поправился он тут же.

— Да, Миша, это именно больно, ты всё правильно говоришь.

— Понимаешь, я хотел туда с дочкой съездить. А теперь что?

— Да, я тоже хотел туда съездить с женой и племянником...

— Нет, я туда ни за что не поеду, — решительно заявил Миша, — Приедешь, а там коттедж вместо дома.

— Почему коттедж, — возмутился я, — с чего это ты взял? Я понимаю, мне тоже больно его увидеть. Это же ведь наша родина.

— В каком-то смысле да, согласен, — сказал Миша.

— А там не продаётся больше домов? — спросил Тарас.

— Сколько угодно, — ответил Миша.

— Не в этом дело, ты не понимаешь, — сказал я. — Нам нужен именно этот дом. Знаешь, я ведь пишу рассказ про этот дом, и он никак не получается. Я не могу выразить с сотой долей того, что мы к нему чувствуем.

Миша, приоткрыв окно и прикурив, спросил:

— Зачем ты пишешь об этом? Я просто постарался забыть и всё. Всё это очень больно.

— Миша, мне тоже больно, и поэтому я пишу рассказ.

Мы собирали яблоки на даче Миши. Яблоки были на деревьях, яблоки лежали под ними, гнилые яблоки свалили в компостную кучу. Посмотрев на все это, я сказал:

— Знаешь, Миша, я читал всякие истории про то, как дети яблоки воровали, а их за это крапивой пороли. Глядя на твой сад, не понимаешь, в чем сущность проблемы...

— Да я только счастлив был бы, если бы у меня кто-то воровал яблоки...

— Чего, Миша, поедем в Феньково?

Миша задумался, почесал большим пальцем шею и неуверенно сказал:

— А на рыбалку на Ладогу на пару дней ты не хочешь поехать?

Я подумал и ответил:

— Нет, не хочу. Хочу поехать в Феньково посмотреть этот дом.

Выехали мы поздно, хотя Миша и ранний человек, просто у него было суточное дежурство, и сменился он только в девять утра. По дороге Миша сказал:

— Если Вася подойдет и будет спрашивать, скажем, ехали из Петрозаводска по делам и вот решили заехать. Про дом ничего не говори, а то он смеяться будет, просто со смеху лопнет.

— Ладно, хорошо, — согласился я, взяв грех на душу, — не буду про дом говорить.

По дороге мы проскочили указатель на Никольский скит Введено-Оятского женского монастыря. Миша сказал:

— Вот бы на обратном пути заехать!

— На обратном пути мы поедем затемно, там уже все закрыто будет.

Мы развернулись и поехали в скит. Походили по двору, посмотрели строящиеся кельи, зашли в деревянную церковь.

— А знаешь, — сказал Миша, когда мы поехали дальше, — я не хотел ехать, а теперь ничего, настроение даже появилось.

— Ты не хотел ехать?! — расстроился я, для меня эта поездка была чем-то особенным, чем-то святым.

Остановились в нарушение правил прямо на мосту через Оять.

— Осень, а воды нет — вон камни голые, — сказал Миша.

А мне думалось, каким будет дом, как он нас встретит?

И вот, наконец, мы оказались у дома. У дома, который никогда не был нашим. Но сейчас это был просто чужой дом. Участок огорожен рабицей, к березе приделаны детские качели, двор выкошен. И только там, в окне, было что-то от старого дома. Несмотря на выкрашенные наличники, казалось, что стоит зайти в него, и он снова будет прежним.

Было холодно, дул осенний ветер.

— Ну что, поехали, посмотрели? — спросил Миша.

— Нет, подожди, — ответил я. Просто уехать я не мог, я должен был запечатлеть дом на память.

В это время на тропинке из-под горы показался человек. Он был в черном ватнике, грязных штанах и кирзовых сапогах.

— Здравствуйте, — не то просипел, не то прошамкал он.

— Здравствуйте, — поздоровались мы.

— У вас сигаретки не будет?

Миша дал ему сигарету.

— А я вот за клюквой ходил.

— Куда, за Борисову Гриву? — спросил Миша, знавший эти места.

— Нет, — и он начал охотно объяснять, куда ходил, меняя выражения на своем щетинистом лице.

Потом он попросил еще одну сигаретку. Я потихоньку сфотографировал дом с крыльца, с торца и с обратной стороны, где был вход в хлев, для чего мне пришлось немного пройти по этой тропинке.

“Вот он дом, — думал я, — который мы не уберегли, который не сумели сохранить. Пробухали вместе с Валерой, разбазарили нашу малую родину”.

— Здесь нетронутые дьяволом люди, — сказал Миша, когда мы ехали обратно.

Ну вот, я и написал маленький рассказ про дом на горе, про не мой дом. Но мне не хватило таланта, чтобы выразить то, что я переживал. Выразить ту радость, которая охватывала меня, когда мы приезжали. То спокойствие, которое я чувствовал, когда жил там. Ту легкую грусть, которая приходила ко мне, когда мы уезжали. Выразить отношение к чужому дому, как к своему. Обрисовать весь этот дом, начиная от клетей хлева и заканчивая разъехавшимися досками на коньке крыши.

БОРИС ОРЛОВ



ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕВЯНОСТЫХ ГОДАХ

* * *

Контр-адмиралу Льву Чернавину

Не сыпалась на нас спасительная манна,
Мы не брели в песках к неведомой стране,
Холодная война — просторы океана.
Холодная война — тараны в глубине.

Мы укрощали нрав торпедам и ракетам:
Холодная война, как топка, горяча.
Все сведенья о нас хранились под запретом,
Секретным был приказ, но он карал сплеча.

Холодная война — и подвиги, и горе...
На боевом посту характер обрели.
В нейтральных водах нет ничейных территорий,
Надгробьями на дне ржавеют корабли.

ОРЛОВ Борис Александрович родился в 1955 году в деревне Живетьево Ярославской обл. Окончил Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского (1977) и Литературный институт имени М. Горького (1985). Капитан 1 ранга. Автор 17 книг стихов. Лауреат Большой литературной премии России, Всероссийской премии имени Николая Гумилёва, Международной премии имени Сергея Михалкова и др.

И хрипы ревуна, и задымленье пульта,
Как взрывы донных мин, срывали с коек нас.
Холодная война — инфаркты и инсульты:
Уходим в небеса, когда ушли в запас.

* * *

Константину Мунтяну

Мы научились умирать достойно,
Но из беды не извлекли урок.
Мою подлодку, как на скотобойню,
Ведут утилизировать в плавдок.

Она б еще народу послужила,
Ведь до сих пор её боялся враг.
Но тянут кабеля, как будто жилы.
Распушен экипаж и спущен флаг.

Оркестра нет. В трюмах ржавеют трубы
Систем, но не сыграть на них аврал.
Торпеды, словно выбитые зубы,
Отвезены в подземный арсенал.

Она перед врагами виновата —
Что не дала страну отправить в плен.
Как блюдо на обед, разделана для НАТО,
Чтоб не поднялся русский флот с колен.

* * *

Моя страна, как русская изба,
разграбленная пришлыми...
Выломав двери, разбив окна
и украв иконы,
они в красном углу
распяли хозяев.

Но солнце зажгло вербу
около крыльца,
а ветер подмёл полы...
Завтра Пасха.

* * *

Теряют благочестье города,
Власть, словно мяч, летает в клан из клана.
В мою страну нахлынула орда —
Голодные потомки Тамерлана.

Примчались из пустынь, спустились с гор
Хозяевами к нам, а не гостями,
И принесли беспамятства позор,
Расталкивая праведных локтями.

У небосвода — тысячи свобод,
Но все они из атеизма родом.
А мы пойдём, объединив народ,
Навстречу им, как войском, крестным ходом.

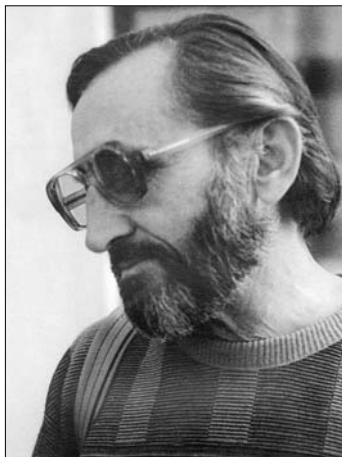
КРЕСТНЫЙ ХОД

Паломники идут за рядом ряд,
И радостно щебечут птицы в кронах.
А солнечные лучики горят
Торжественно на поднятых иконах.

Уходим от наветов и невзгод
Мы с памятью о подвигах державных.
Иисус Христос приветствует народ
Колоколами храмов православных.

И стук сердец, и светлых душ полёт...
Мы верим в то, что Бог и правда — с нами.
Святая Русь по Невскому идёт —
Над ней молитвы реют, словно знамя.

ЮРИЙ УБОГИЙ



ВРЕМЯ ВОКЗАЛА

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

В руках у меня насос, из толстостенного колена дудника сделанный.

Все тут на месте: и труба-стебель, и поршень — палочка с намотанной на самый конец пенькой, и маленькая дырочка в глухом торце стебля. Тянешь палочку на себя — воду набираешь хоть из ведра, хоть из лужи, от себя давишь — струя бьет сильная и длинная. Особенно вверх я любил ее пускать и всегда укол сожаления чувствовал, когда она обрывалась. Какая-то тайна в ней была, которую хотелось разгадать. И потом, через много лет, застывал не раз перед фонтанной вертикальной струей все с тем же ощущением ее тайны. Вот идет она вверх-вверх, такая тугая, цельная, сильная, и вдруг ломается резко в высоту, разваливаясь, раскрываясь, цветок водяной напоминая чем-то — и вниз рушится, разбитая, разорванная на куски, переставшая быть собой. Но ведь на самой верхушке цветок водяной все держится, каждый миг исчезая и рождаясь каждый миг. Все это, наверное, и зачаровывает, какая-то тут суть жизни самой есть. Исчезнуть, едва появившись, и тут же возникнуть вновь. И взрослое мое ощущение, переживание совершенно равно тому детскому, когда я из “ссыкалки” самодельной струю вверх пускал. Сердце щемит, замирает, словно не только цветок водяной в вышине исчезающе зыбок, но и твоя собственная жизнь...

УБОГИЙ Юрий Васильевич родился в 1940 году в селе Красная Поляна Курской области. Окончил Воронежский медицинский институт и Высшие литературные курсы. Более 20 лет работал психиатром и психотерапевтом. В “Нашем современнике” публикуется с 1978 г. Автор 12 книг прозы. Член Союза писателей России. Живёт в Калуге.

* * *

Осенняя Калужка, быстрая, витая вода переката между камней, листья, густо в ней плывущие — желтые, багряные, бурые... Они то скапливаются в узких местах кучкой, плотинкой такой зыбкой, то, прорвавшись, плывут-летят веером. Движение воды и листьев и разнообразно, но и монотонно тоже. То одно замечаешь, то другое, а то вдруг это сливается, не различить. И с шумом-плеском воды так — и слитный он, и затягивающе пестрый, дробный бесконечно...

Сажу на камне в неудобной позе, которую почему-то не хочется менять, и смотрю-смотрю на воду и листья. И вдруг неуловимо ускользаю от самого себя, исчезаю совершенно. Очнувшись, не могу понять, как долго меня не было. Секунду, минуту, час? И где я в это время был? Смотрю на часы — все там же, примерно, стрелки, оборачиваюсь, вижу маленького своего сына и жену — и они там же, где стояли, и даже в позах чуть ли не прежних. Секунды, значит, и прошли или одно лишь мгновение. Так откуда ж чувство очевидное, что я ушел из самого себя надолго-надолго, на вечность целую? И куда ушел? А вот в нее и ушел, в вечность, словно бы говорит мне кто-то. Ушел и вернулся с ее привкусом на губах. Он еще, этот привкус, в воспоминаниях есть. Кажется порой даже, что вот ты когда-нибудь из этого мира навсегда уйдешь, а воспоминания твои останутся каким-то чудом. Потому что к вечности они поближе, к ней как-то прикреплены. Вот этими, может, проколами из мгновения в вечность, один из которых мне и вспомнился сейчас. Больше всего проколов этих в начале и в конце жизни бывает, потому что в эту пору человек ближе к вечности и стоит.

* * *

Вскоре после войны гостили с матушкой в Пятигорске, у родных моего погибшего отца. Долго гостили, не меньше месяца. Вот тогда я, восьмилетний, заметил, что отношения между хозяевами и нами, гостями, начали теплеть перед нашим отъездом. Были они и до этого достаточно теплы, но все-таки усталость взаимная друг от друга давала себя знать, а потом и раздражение подавляемое. В последние же дни все стало теплеть и теплеть, напоминая дни первые. А в день отъезда уже и до нежностей дело дошло — то бабушка приобнимет неожиданно, то сестра, то дядя. И я, сам удивляясь, не отстранялся, не ершился, как при приезде. А на вокзале, на перроне особенно, совсем уж разгул нежностей пошел с обеих сторон.

Много раз потом пришлось нечто похожее переживать и гостем будучи, и хозяином. Вспомнилось все это вдруг, да и подумалось — оно ведь и по отношению ко всей жизни примерно так. Чем ближе уход, тем она дороже и милей. И сетовать на нее, и раздражаться-злиться уже и нельзя, не по карману такая роскошь. Время вокзала наступило исподволь, и тут одно только не ясно — в зале ожидания ты сидишь еще или уже на перроне стоишь с узелком в руках...

* * *

Находясь неизбежно внутри настоящего, сиюминутного, человек летит стремительно по жизни, и многое мелькает мимо, плохо различаемое, смазанное, не позволяющее толком себя разглядеть. И лишь потом, вспоминая, можно этот полет притормозить и даже остановить. И порассматривать внимательно все вокруг и внутри себя. В этом именно и смысл, и ценность, и интерес воспоминаний — увидеть подробно и, может быть, понять, что же это такое было, твоя жизнь? Вот вторая жизнь, сопутствующая первой, реальной, и получается и кажется иногда даже, что она весомее, внятнее, важнее первой. И доля этой жизни с возрастом все растет, невольно смещаясь к молодости и детству. Прямо по Пушкину: “Невидимо склоняясь и хладея, мы движемся к началу своему”.

Разговаривал как-то наедине со старым другом перед самой у него операцией. Серьезной, с общим наркозом, и потому опасной, да еще в его, весь-

ма почтенном, возрасте. И он, человек очень высокой социальной активности и публичной деятельности, имевший позади сложную, богатую, полную трудов и превратностей судьбы жизнь, говорил лишь о своем детстве, попавшем на годы войны. С азартом, подробностями, именами друзей-приятелей, затеях рискованных. Например, о том, как камеры из колес американских “студебеккеров” добывали однажды ночью и огорчились тем, что они оказались красными. Цвет ценность их существенно снижал — галоши клеили из этих камер... А у Твардовского лежит солдат ничком под артобстрелом, вот-вот конец: “Ты прижал к вискам ладони, ты забыл, забыл, забыл, как траву щипали кони, что в ночное ты водил”. В том смысле, конечно, что если уж это забыл, то об остальном и говорить нечего...

* * *

Узнал, что древесное гнилье, гнилушки, или, как у нас на Курщине говорили, курушки, светятся в темноте. Вот и сижу в углу, с головой тряпьем каким-то накрывшись, держу эти курушки и напряженно, не видя их, а лишь в руках чувствуя, в темноту всматриваюсь. И понемногу видеть начинаю туманное, размазанное, светящееся пятнышко — одно, второе... Их все больше, и все они яснее, и я слово бы лечу с непонятным восторгом и легким даже страхом туда-туда, в их таинственную глубину...

А вспомнились они, гнилушки-курушки эти, во время байдарочного похода по Угре, вечером темным, звездным, когда я увидел на крутом береговом склоне россыпь светлячков. Светились реденько, чуть голубовато, а над головой звезды светились, и как-то они повторяли друг друга — только одни были на земле, а другие на небе. Но ведь и во мне самом в этот момент воспоминания все двоилось — и там, в деревне своей давней и дальней, я был, летел в глубину гнилушек светящихся, и здесь, под небом звездным, перед россыпью светлячков, которые словно отражением звезд на земле казались.

Да они и всегда, воспоминания, чувство двойственности приносят — и тогдашний ты, но и теперешний, и между вами, такими разными и такими вдруг одинаковыми, мгновенный, соединяющий прокол-стежок...

* * *

Есть места, виды в природе, которые зачаровывают — остановишься, смотришь, смотришь и не можешь оторваться. Помню в студенчестве городишко районный Кантемировку, улочки его затрапезные и дворик, освещенный заходящим солнцем: тропинка наискосок, телега с бочкой на ней, травка вокруг мелкая, очень зеленая, домик с крылечком низеньким, кривеньким... Долго стоял, смотрел, уйти никак не мог. Что-то тут было совсем особенное, вот именно, что м о е. А много лет спустя случилась дорога на почту из дома через овраг — опять тропинка, склон оврага с осыпью небольшой песчаной, репейник, татарник, клеверок и похилившийся над всем этим серый, раздрыганный забор. Часто тут ходил и почти всегда приостанавливался, тоже м о е было место с гармонией какой-то особенной, душе близкой. Век бы, казалось, стоял и смотрел. И с лицами человеческими что-то похожее бывает — смотришь и не оторваться. Вот бы и жизнь среди подобного набора мест и лиц прожить, да не выходит как-то...

* * *

При полном отсутствии способностей к рисованию, помню дикий азарт, с которым встретил первую в жизни коробку цветных карандашей. Малевал — за уши не оттащить. И чувство было при этом небывалое, поразительное — восторга, полета какого-то до замирания сердца. А это, наверное, переживание творчества было, первый, так сказать, творческий акт. Вот чистый лист, а вот уже и дерево на нем растопыренное, а под ним дуг зеленый, а за ним речка синяя, а на самом верху солнца красное с лучами длинными. Творение мира! С таким же чувством, возможно, наскальные изображения

первобытными людьми создавались. И еще помню хорошо недоумение от белого карандаша, которым “забелить”, уничтожить то есть, уже нарисованное можно было. Что-то таинственное даже в этом чудилось, похожее на таинственность нуля. Ведь цифра, а в ней ничего...

* * *

Есть вещи, в которых чувствуется что-то предельное, конечное — песок, дым... Дым пожарищ войны, и дым из трубы родного дома, и дымок садового или рыбацкого костра. Какая разница громадная, а все — дым. И жизнь человеческая у Тютчева — дым. Или даже “тьень, бегущая от дыма”. Бренности предел. Есть он, предел, и в выражении силы любви. У Мачадо, испанского поэта: “Я буду прах, но прах влюбленный”.

* * *

Есть космогоническая теория о том, что вселенная произошла в результате “большого взрыва” из “ничего”, а кончится она “черной дырой”, в которую и провалится. То есть “ничем”. Когда узнал, то вспомнился старик из рассказа Хемингуэя “Там, где чисто и светло”, который сидел в кафе хмельной и бормотал время от времени: “Ничто и только ничто”. Вот связь души человеческой с самыми важными событиями во вселенной, угадывание хода их, потому что человек тоже космос, микрокосм. Казалось бы, “ничто” — это должно удалять от Бога, от веры, а для меня как раз наоборот. Бог все создал, Бог все и уничтожит. И начнет сначала.

У Мандельштама есть строчка: “Художник нам изобразил глубокий обморок сирени”. И впрямь чувствуется обморочное что-то в сирени Врубеля, Ван Гога и во многих других сиренях, не только картинных, но и живых. Вот и физики назвали одно из состояний материи “обмороком”. Опять совпадение удивительное. Какая разница между материальным и духовным, но и какая близость!

* * *

Есть у Твардовского описание крика молодых петушков — в нем и “надрыв цыплячий”, и “детский плач”, и “удаль лихая”, и “сдавленная печаль”, и “хрипотца истовая”. Как много всего и как снайперски точно, а всего-то петушиный крик. Соловьиное пение куда как сложнее, музыкальнее, но вот этого соответствия судьбе человеческой, отмеченной Твардовским в пении петушином, как-то и нет. Поэта, может, не нашлось, чтобы это услышать и в слове выразить...

Любопытно соотношение пения и внешнего вида. У взрослого, зрелого петуха совпадение полное: бравый молодец во всех смыслах. А соловей уж такой маленький, уж такой серенький, невидимкою в кустах ютящийся! Поет же как могучий красавец с высоты, со сцены — не для кустов, зарослей своих, а для мира всего. Есть этому и противоположность — цесарки. Вид такой трогательно-милый, женственный даже, на голове что-то корону напоминающее, а пенье, как напильником по железу, с монотонностью бесконечной...

* * *

Повальное в теперешнее, “новое” время увлечение камнями — тащат их на дачи, а то и самосвалами везут, раскладывают потом затейливо. Помню, я камень большой, мне тогда по пояс, под тимской горой лежавший, любил, сам того не понимая. Подходил часто, трогал, похлопывал, сидел на нем. Что в этих камнях? Красота? Возможно, но не это главное. Главное покой, который и человеку как-то передается. Смотришь на какой-нибудь валунчик сиренево-розовый, который лежит себе, неизменный всегда, и ничего ему не надо. И не подумаешь, а почувствуешь — вот бы и тебе так. Странное чувство с привкусом покоя вечного... А к камням теперь особенно потянулись,

возможно, из-за суетности страшной, из-за напряжения тяжкого и часто пустого. Как к лекарству...

* * *

Говорят про самых известных людей: человек — легенда. То есть к правде о нем много придуманного примешано. И самого, скорей всего, яркого. Любопытно, что и со знаменитыми драгоценными камнями нечто похожее бывает. Легендарность некая с похищениями и убийствами. И реальными, и придуманными. А нет такой легенды, то не быть скорей всего камню знаменитым, и даже цена его будет намного меньше. Чувствуется в этом что-то и трогательное и одновременно жалкое. Накручивание на прекрасное творение природы человеческих страстей. Футляр такой греховный.

Самые милые камни сердолик и янтарь, капли солнца на землю упавшие. Кстати, перстень — талисман, подаренный Пушкину Елизаветой Воронцовой, был с сердоликом. И не только сам камень хорош, но и название его тоже.

* * *

Жирнющий кот на лавочке сквера рядом со старушкой. Он сидит с видом ожидания, а она достает что-то из сумки. Он лакает долго с двумя перерывами-отдыхами. Потом что-то ест, тоже с отдыхом. После всего этого они сидят довольно долго парочкой такой дружной, и она шею ему снизу оглаживает. Потом она уходит с трудом, на костыль опираясь, и садится на другую, далекую лавочку. Кот смотрит вслед и в конце концов перебегает к ней. И опять они сидят и сидят рядом. Такое вот свидание, пожалуй, что и любовное. И богословские споры о том, будут ли животные, любимые человеком, с ним в раю, в это время не кажутся мне странными и даже смешными. Может и будут. Ведь тут любовь, самое для Бога и человека главное. Бердяев где-то пишет о предсмертном крике своего любимого кота Мура и своей тогда мысли, что они еще встретятся...

* * *

Когда видишь красоту земную, то чувствуешь и веришь, что это не может возникнуть и существовать просто так, само по себе, без Творца. Сердце об этом говорит вполне уверенно. А еще и в человеческой жизни бывают такие моменты пронзительно прекрасные, что и о них думается — никак они не случайное стечение обстоятельств, были, да и прошли, — а высшей какой-то силой посланы-подарены. И исчезают не бесследно, а где-то остаются в мире, в копилке некоей таинственной. А что в них, моментах этих? Радость, чувство приобщенности к высокому и вечному. К божественному. И случается такое иногда среди самой-самой бытовухи. Вспоминаю очередь в овощном магазине, покупку картошки и вдруг трогание осторожное за рукав. Оглянулся — старушка древняя, согбенная картофелину протягивает со словами: “Батюшка, уронили”. Смотрит ласково и кротко снизу, глаза цвета небесного, поблекшего за долгую жизнь...

* * *

Услышал пословицу: “Крестов много, а почета нет” и никак не мог понять, что тут в виду имеется. Оказалось — лапти. Плели их крестом. Какая великая прямо-таки была вещь, лапти, и встречались они в первые послевоенные годы не так уж и редко, в наших, курских, краях во всяком случае. Плели их у нас из пеньковых веревок, и носились они довольно долго, не то, что лыковые на Севере. А в семидесятых годах появились вдруг они в магазинах и на рынках, как вещь декоративная, на стены их вешали любители русской старины. Потом понемногу исчезли, а жаль. Они не то, что вешанья на гвоздь, они памятника достойны, как и ватник, и кирзачи. Может,

где-то и поставят, догадаются. А пока у нас здоровенный мешок в самом центре города поставили, как памятник. То ли с золотом мешок этот, то ли с деньгами, не понять. И толкуются люди вокруг него, трогают, трут, богатство приманить к себе пытаются. Такое вот идолопоклонство новейшее. Идол деньги, а банки храмы для них. И уходит это к временам Моисея, к золотому тельцу. Замкнулся круг...

* * *

Велосипед одно из чудес детства. Было их у нас в Тиму среди пацанов моего, примерно, возраста три — у сына главврача больницы Вовки Пеарунского, у Шурика Хорошилова и у моего дружка Генки. Ездить я научился на Генкином, быстро сообразив, что рулить надо в ту сторону, куда ушасть тянет. Такая была смесь восторга с недоверчивостью — еду!

Когда велосипед появился, наконец, и у меня, то я даже засыпал в первые дни с трудом, все думал, как-то он там, в коридорчике стоит-поживает? И ухаживал за ним поначалу тщательно до смешного, даже шины вечерами мыл.

Есть в велосипеде нечто таинственное, сверхбытовое. Свобода такая особенная, что-то даже от крыльев, вечной человеческой мечты. И не случайно так любил велосипед Набоков и так чудесно и многократно описывал. Что-то общее тут есть с его любовью к бабочкам и даже к шахматам. Та же свобода. Полета велосипедиста, полета бабочки, полета чистой мысли в шахматной игре.

И Толстой полюбил велосипед на старости уже лет и сам этому удивлялся. Записал в дневнике: “Увлёкся велосипедом. Странно”. Памятников Циолковскому в Калуге два — на одном, большом, он ракеты рукой касается, а на другом стоит на мостовой, держа велосипед “Дукс”, и в небо смотрит. А буквально рядом с великим ученым и, одновременно, бедным, обремененным многодетной семьей учителем этот самый денежный мешок. И смешно, и грустно...

* * *

Из всех месяцев года самое сложное, особенное чувство август вызывает. В нем и надежность устоявшейся погоды, и роскошь природы в полной своей силе, и изобилие плодов земных, и, одновременно, светлая печаль сбывшейся надежды, цели достигнутой. Печаль достижения, да. Словно поднимался ты неторопливо и упорно на некую вершину, достиг ее и впереди уже только спуск...

* * *

Лет до тридцати, пожалуй, казалось, что я всю прошлую свою жизнь помню, а уж самое в ней существенное всегда при желании вспомнить могу явственно, в деталях. Я и делал это время от времени, как бы смотр, проверку некую жизни делал — вся ли она со мной? И убеждался — кажется, вся. А потом понемногу выпадения стали случаться, пустоты, путаница невнятная. Словно нес я жизнь, держа ее в охалке, и вдруг падать из нее кое-что стало в непроглядную тьму. А держать и проверять целостность ноши своей продолжал и продолжаю, несмотря на все большие потери. И правильно! Неси, если даже ноша оскудеет в самом-самом конце до нескольких всего картинок из детства. Неси и потери терпи, как неизбежность...

* * *

Есть у позднего Толстого удивительная запись. Не дословно, но по смыслу так: вдруг хорошо подумалось о прелести зарождающейся любви, это как возникновение лунного света на скамье, вот еще нет его, а вот уже есть. Именно, что тут скачок какой-то качественный, словно быстрое, едва уловимое закипание воды. И в романах Толстого возникновение любви у героев тоже трудно уловимо, если даже по тексту внимательно следить. Вот нет еще, а вот уже и есть. Да оно и в жизни так, если и не всегда, то очень часто. Люди вдруг узнают друг друга: по облику, схваченному мгновенно,

по глазам, по запаху... Недаром о любви с первого взгляда говорится и пишется. Да она, может, и всегда с первого, влюбленность во всяком случае. Так же быстро узнается и невозможность влюбленности-любви: нет, не то, хотя все нормально вроде бы и даже хорошо.

А к родине любовь? Если к “большой”, к стране, народу, к языку и культуре, то это с возрастом возникает постепенно, а если к “малой”, к своему родовому месту, то с молоком матери, с первых впечатлений, с первого, в сущности, взгляда. Тесноту ли уютную леса полюбил, простор ли степи, реку, море... Нарезка такая в душе первая, которая и остается на всю жизнь.

* * *

Попалась случайно книга, дневник врача Калужской психиатрической больницы, который он вел во время войны. Особенно подробно написано о двух месяцах оккупации Калуги немцами. Житейская, рабочая конкретика без посягательства на художественность. Просто, ясно, точно и поэтому хорошо. Писал человек, наверное, чтобы самого себя как-то писанием этим поддержать-укрепить, а через семьдесят (!) лет записи его, в ученических тетрадках сделанные, вышли книгой, отлично к тому же изданной. Как было тетрадкам этим уцелеть, да еще и изданными быть?! Вот уж вспомнишь Булгакова: “Рукописи не горят”.

* * *

От лжи человека удерживает нечто очень глубокое. Страх разрушить самого себя, границы своего “я” размыть, перестать понимать, кто ты и какой ты на самом деле. Стремление спасти себя, в конце концов. Зато умеющий часто и ловко лгать приспосабливается к жизни лучше, так, вроде бы. Да, но лишь по социально-бытовым, внешним обстоятельствам, а душе своей вредит непоправимо.

Дьявол много прозвищ имеет и одно из них “отец лжи”. Потому что ложь не просто грех, но отдаление от веры. Сказано Христом: “Я есть путь, истина и жизнь”. А ложь именно отказ, отход от этого к дьяволу. Важно различать, и душа различает, ложь и вранье. Вранье — это нечто поверхностное, игровое, суть души не затрагивающее. Как Василий Теркин говорил: “Я, бывало, врал для смеха, никогда не врал для лжи”. Да и Хлестаков, пожалуй, не лгал, а врал. Такой поэт вранья, который и сам в него начинал верить. Сюда же относятся и детское вранье, с фантазией перемешанное.

* * *

Как-то в разговоре услышал, что у истинно верующего человека в глазах радость должна быть. Вполне понимаю, нутром правду этого чувствую. Нашел такой человек самое главное в жизни и обрадовался — уже навсегда. А если у человека хронически злые глаза, то вера его весьма сомнительна, пусть он даже все обряды церковные неукоснительно выполняет и в церкви каждый день.

Бог, вера в него — причал для человека необходимый, и хорошо тому, кто наконец-то причалил. Без этого сиротство, угрюмство, тоска. Вот именно — Богооставленность.

* * *

Удивительно действует природа — погода самой поздней осени, предзимья. Три-четыре краски всего и есть — серая, черная, бурая, коричневая с зеленой. И графика деревьев, и небо у самой земли. Хорошо, спокойно очень все вокруг в эту пору видеть. Вся игра сыграна, и вот в этом-то и покой. Но и надежда на самом дне души все-таки теплится на что-то совсем иное, новое. На весну, на детей и внуков, на новый виток, пусть уже и без тебя...

Хорошо, что пустили в этот мир: видеть, слышать, думать, чувствовать. Любить. Испытывать постоянно некую теплоту самобытия. А плохое, ненавистное, ужасное? Что ж, и это. В конечном же счете перевес хорошего, радостного над плохим, мучительным для меня лично совершенно очевиден. Решительный перевес. Да и за плохое вполне можно и нужно Бога и судьбу благодарить, потому что тогда бы хорошего не понимал и не ценил. Без теней картину не напишешь, все свет зальет, объемность мира исчезнет. Будет уже не жизнь человеческая, а нечто райское, неземное...

* * *

Толстой, по дневникам это видно, понимал возрастные изменения (болезни, убыль сил, ослабление памяти и т. д.) не как естественный биологический процесс, а как путь, по которому Бог ведет и его и каждого человека. И ведет в конечном счете к благу. Ко все большему растворению личности в других людях, вообще в мире, к уменьшению “самости” и увеличению любви. Много раз, страдая в болезни физически, радовался ей душевно — духовно, как чему-то, приближающему человека к Богу, к миру иному, Божественному. И насколько такое отношение к болезням, вообще к старению благотворно и душеполезно! Получается не набор неприятностей и несчастий, а некая, определенная свыше, дорога. Переход из этого падшего мира в мир иной, в царство Божие. Много раз такое встречается в толстовских дневниках: и в рассуждениях напряженно-глубоких и в словечках бытовых: “Готовлюсь к переезду”. А когда едва не умер, то записал с некоторым даже разочарованием, что переезжал-переезжал на ту сторону, а вывезли опять на эту.

* * *

Чувство благодарности за то, что живешь на свете, есть один из главных и верных признаков веры. Не к материи же с вечным ее коловращением, из которого ты случайно произошел, благодарность? К Богу только, Отцу и Творцу, благодарность может быть обращена. Именно к такому, с которым у тебя существует личная связь, и это-то и есть в христианстве. Бог всеблагой благое тебе всегда посылает, даже если это переживается тяжело и мучительно. Если же такого ты увидеть и уразуметь не можешь, то помни: “Пути мои выше путей ваших и мысли мои выше мыслей ваших”. Вот в этой-то высоте и существует смысл, тебе пока невидимый и непонятный.

Даже в житейских, межличностных отношениях неблагодарность есть признак неверия. Через некоего конкретного человека тебе благо дано, а ты толком и внимания не обратил, и забыл тут же. А ведь это благо происхождения Божественного в конечном-то счете...

Даже к вещам, служившим тебе многие годы, бывает чувство благодарности за верную службу. К столу, например, вот к этому письменному, который у меня чуть ли не всю, кажется, жизнь. Столешница из единой доски, и удивляешься толщине дерева, из которого ее выпилили. Лак стерся во многих местах, особенно там, где руки при работе прилегают, и фактура древесины ясно видна. И как-то она мила, душу греет... Носил все девяностые годы рабочие ботинки сталеварские. Тяжеленные такие, несокрушимые, к которым был благодарно привязан. Идешь по любой дороге, как на вездеходе едешь. Лопнула в конце концов кожа на носке одного ботинка, а под ней белая жесь. Вот и тайна тяжести их прояснилась очень просто: чтобы капля металла до живой ноги не достала, жесь нужна...

Если все в мире создано Богом, то ведь и вещи, человеком сделанные, тоже в конечном счете Его творенья. У Пастернака есть об этом как раз: “О господи, как совершенны дела твои, — думал больной, — постели, и люди, и стены, ночь смерти и город ночной”. Когда чувствуешь так, то вопрос о смысле жизни теряет остроту и насущность — ответ на него в этом чувстве уже есть.

Часто содержание, суть меняет восприятие формы, внешности. Если, к примеру, книга очень хороша, то очевидные недостатки издательские — плохая печать, плохая бумага, обложка — не то, что перестают восприниматься негативно, но едва ли не в достоинства превращаются чудесным каким-то образом. И, кажется, что именно такой она и должна быть, книга, именно такой. А если вдруг эту же книгу в другом, качественном вполне, издании в руки возьмешь, то даже некое странное, мгновенное разочарование испытаешь. Померещится, что это подделка.

С людьми же перевертыши настоящие бывают. Некрасив явно человек, уродлив почти, но если хорош по душе и близок, то и внешность его, непостижимо как-то, на приятную, милую словно бы переделывается. Ну, и наоборот, конечно, бывает. И в этом случае даже особенное раздражение, оскорбленность почти испытаешь — стоило ли такую роскошь телесную на ничтожную душонку тратить...

Иногда видишь во сне человека не в его внешности, а в глубинной душевной сути и именно поэтому знаешь уверенно, что это именно он. Оценка же его сути во сне иногда сильно не совпадает с оценкой обычной, наяву. Далекий, чужой человек во сне вдруг ощущается, как родной и близкий, и наоборот. Когда же, проснувшись, подумаешь об этом смещении, то иногда понимаешь, что есть в нем глубокая, тобой раньше не осознаваемая, правда. И в дальнейших с этим человеком отношениях такая “поправка” из сна начинает на них исподволь влиять. Недаром, кстати, и зарождающаяся только, неосознанная еще любовь проявляется впервые во сне или сразу после пробуждения. Открытие вдруг делается такое. Похожее и с неприязнью, и даже с ненавистью бывает. Все покровы, прикрытия внешние, искусственные снимаются, и истина является в голой наготе своей. И как бы изменились отношения между людьми, если бы они оценивались только по этой глубинной сути. Огромная получилась бы перетасовка! Как если бы мы не словесно между собой общались, а мысли друг друга читали. Какой бы начался ералаш! До невозможности совместной жизни никого ни с кем...

Приходилось видеть редких злодеев с совершенно благообразными, ангелоподобными прямо-таки лицами. И наоборот, встречались люди с лицами угрюмо-злыми, а по душе были они нежнейшие и добрейшие. Возможно, что первые маскируют свою злую сущность, скорей всего бессознательно, а вторые, бессознательно тоже, прикрывают, защищают свою ранимость и доброту. Это крайние варианты, а между ними огромное число переходов и оттенков.

Посмотрел недавно полуторачасовой документальный фильм “Шахта №8”. Середина девяностых годов прошлого века, маленький шахтерский поселок у закрывшейся из-за нерентабельности шахты. Люди разъехались, а оставшиеся добывают уголь на продажу кустарно, дико, докапываясь, кто как может, до очень поверхностного здесь угольного пласта. Называется это — “иметь дырку”. В “дырках” весь поселок — и во дворах они, и на улицах, и за поселком, в поле, в лесу.

Главный герой фильма пятнадцатилетний паренек — крепкий, улыбчивый, добродушный, спокойный. Он и работает в одной из этих “дырок”, кормит этим и себя и двух сестер, восьми и восемнадцати лет. Живут они в своем домике втроем. Отец недавно умер от “наркоты”, мать-алкоголичка обитает где-то неподалеку с дружкой. Ее, кстати, так и не показали.

Ужасная, если судить по обстоятельствам, у паренька и его сестренки жизнь. Но ведь нет! Дружно живут, а порой и весело, с любовью и заботой друг о друге. Работа у паренька тяжелейшая, конечно, но и ее он делает как-то уверенно, спокойно, по принципу — надо, значит, надо. И такой свет идет от него и сестренки поразительный! И даже от “дырки”, в которой паренек вырубает уголь огромным каким-то зубилом. Мерещится порой, что прямо-

таки видишь его, этот свет, физически, в буквальном смысле. По слову апостола: “И свет во тьме светит, и тьма не объяла его”. Но если уж из “дырки” этот свет, то где же тьма? А тьма в самом ярко освещенном в наши дни месте — на эстраде, где вопят, прыгают, дергаются и кривляются так называемые “исполнители”. Исполнители дьявольской какой-то воли...

* * *

Стоим с дружкой Женькой Савинковым, и мимо девчонка наша, школьная проходит в юбке клетчатой, курточке спортивной с белыми узенькими полосками. Волосы у нее какие-то полосатые, пестрые — то посветлей, то потемней, лицо потупленное, с румянцем темным, смущенное чуть. Покосился на Женьку вопросительно. “Ирка Попова, — говорит. — Из 8-го “В”.

...Проводил только что Ирину на работу и прикинул — пятьдесят семь лет назад встреча та была. А сегодня день свадьбы золотой, и розы белые уже на столе стоят. Сказочное что-то во всем этом сквозит, будто не со мной, не с нами и было. А самое удивительное, что та Ирка Попова с пестрыми волосами не только не забывается, но с годами проступает все явственнее в теперешней моей Ирине. Да и не только в ней — вся жизнь прошедшая, детство и юность особенно, все ясней и настойчивей протискиваются прямо-таки сквозь реальность настоящего. Выходит, что утренняя заря начала жизни встречается с вечерней зарей ее окончания. И есть в этом что-то чудесное, волшебное — от Бога, от тайны, от судьбы. То ли награда, то ли утешение...

* * *

С удовлетворением вижу сближение цен на апельсины-мандарины с картошкой. А не так и давно такое представлялось совершенно немислимым: какая-то картошка, среди которой мы буквально жили (и на огороде она, и в погребе, и в доме, и на столе ежедневно), и такой заморский, райский, сказочный фрукт. Громадная разница, а вот сошлись же почти хотя бы в цене. И с хлебом нечто похожее, и подорожание его не вызывает у меня протеста, словно ему по значению, по чину должное наконец-то воздается. Хлеб! Хлеб наш насущный... На нем одном, черном именно, жить можно, а попробуй-ка на апельсинах-мандаринах поживи! Кстати, покупают их отчасти из-за цвета, очень уж приятного, праздничного, как и ананасы за форму редкостную, экзотическую...

* * *

Перечитал “Неупиваемую Чашу” Ивана Шмелева с новым восторгом. Чудо! А потом узнал, что его прозой восхищались Томас Манн и Радьярд Киплинг. Удивительно. На разных полосках, кажется, они стоят, особенно с Киплингом, а вот сошлись же. Пример, как именно крайности вдруг и сходятся.

“Чаша” писалась в Крыму, в восемнадцатом году, в голоде и холоде, при свечном огарке. И писал ее Шмелев для спасения души от последнего отчаяния, как за спасательный круг за эту работу держался. Получилось по стилю коряво и криво как-то, но он, скорей всего, не стал править повесть перед публикацией уже в Париже, оставил так, как писалось. И правильно сделал — в этой непосредственности корявой текста такая жизнь, такое чудо!

* * *

Часто лежал в детстве на траве, на спине и в небо смотрел. И так хорошо, спокойно, безмятежно мне было. И не скучно ничуть: лежи себе да лежи и в небо потихоньку, для самого себя незаметно, улетай. А прошлым летом ехал по полю на велосипеде и вдруг подумал — почему это я такого многие десятки уже лет не делал. Зашел в траву в стороне от тропинки и лег. И почувствовал скоро — нет, не то. Коловращение какое-то мыслей из всей прожитой долгой жизни мешает. Чистоты той давней-давней, равной чисто-

те самого неба, нет. Тогда с небом душа попросту, без всякой натуги совпала, а потом перестала совпадать мало-помалу. Совпадет ли когда-нибудь снова? Перед самым уходом если, только будет тогда перед глазами не небо, а потолок скорей всего...

* * *

В размышлениях о жизни, и человеческой вообще, и собственной в частности, есть моменты равновесия, полноты некоей, вдруг найденной. И чудится — вот она, суть, тут и остановись, не иди дальше и глубже. Иначе все перекашиваться, разваливаться станет, новый пойдет цикл до новой остановки — равновесия. Так это если достигнешь его, равновесия, не останешься в хаосе непонятности. Напоминает такое погружение ученых в глубину материи: вот атом, строение его с ядром и электронами, летящими вокруг ядра. Очень хорошо и мило, устройство Солнечной системы напоминает. Вот так бы все и оставить. Но идут неизбежно дальше, а там начинается физика элементарных частиц, из которых состоит ядро и которых великое множество. А электроны вообще почти исчезают, превращаясь в волновой сгусток с неопределенным местом нахождения. Вот и делай с этим, что хочешь, новую, потерянную ясность и гармонию ищи.

Что-то похожее и с поисками Бога и веры в него происходит: то он есть для тебя очевидно, а то вдруг и нет. И вечные колебания между этими “есть” и “нет”, и общая возрастная подвижка в сторону того, что, скорей всего, есть. Именно скорей всего, а не просто — есть! Для меня, во всяком случае. Веру же абсолютную, без сомнений малейших, не представляю. Думаю, что если и бывает она, то лишь у святых. Да и то не сплошь, а с моментами колебаний внезапных и их преодоления.

* * *

Была в 90-е годы лавчонка антикварная неподалеку от дома, и я в нее иногда заходил. На удивление много было там предметов из детства и юности, совершенно для меня обыденных и вдруг в антиквариат попавших: ручки деревянные, школьные со вставкой для перьев, сами перья таких знакомых мне, “обжитых” видов, стаканы граненые, подстаканники, вилки и ложки алюминиевые, иногда даже гнутые, какими они часто в тогдешнее время и бывали. Тарелки с орнаментом знакомым, миски алюминиевые, чернильницы-непроливайки пластиковые и керамические. А еще и коврики настенные с рисунками лебедей и оленей, яркими до ядовитости. Глядя на них, вспомнил, что Пабло Неруда, поэт чилийский, лауреат нобелевский, гостивший у нас, купил вдруг на рынке подобный коврик. И на удивление спутников сказал, что тот, кто боится пошлости, обречен на холод. Глубокая, между прочим, мысль. А еще и наборы слоников, мал мала меньше, в той лавке были, в моем детстве-юности именно символом пошлости и считавшиеся. Да почему, думал, их разглядывая. Чудесные слоники, хоть покупай. Для них и им подобных штучек полочки маленькие на массивных дерматиновых диванах бывали приделаны наверху спинки. Если резко, на диване будучи, подвигаться, как при занятиях любовью, например, то они вниз порой и сыпались...

Смотрел я на все это, как на друзей старых, оттуда ведь был — из той жизни, из той страны, из той утвари... А современная утварь, конечно, сделана лучше, удобнее. Функциональнее, но душу никак не греет. Потом кому-нибудь согреет лет через пятьдесят, через тот самый срок, когда вещь антикварной начинает считаться. Но и это сомнительно, слишком быстро она, утварь, меняется, не успеешь привыкнуть и полюбить.

А в антикварных тогдашних магазинчиках, узнал случайно, часто бывали в ту пору места сходок криминальных, штабы такие бандитские. Антиквариат же прикрытием был, вроде “Рогов и копыт” из “Двенадцати стульев”, всем известным.

* * *

Попалась фотография, на которой я с автоматом на груди присягу воинскую принимаю. Под Наро-Фоминском, в лагере военном после 5-го курса мединститута. Всерьез это как-то и не воспринималось — игра, в которую взрослые люди почему-то играют. Даже неловко, стыдновато по этой причине было. Да что там наша присяга, когда и вступление в должность президентов тоже, в сущности, игра, условность. Ну, положил руку на конституцию или Библию, ну, сказал какие-то слова... Можно и забыть их тотчас. А вот клятвы в детстве бывали куда как серьезные. У нас, в стае нашей уличной, главной была: к. с. м. (кэ, сэ, мэ, так по звучанию), что означало: “клянусь смертью матери”. Вот даже написать такое нелегко, но и сказать не легче. Если же надо было особенную, дополнительную важность клятве придать, то говорилось: “землю ешь”! И ели, и я помню сухость ее острую на зубах. Вот тут-то никакой игрой и условностью не пахло...

* * *

Если прожить достаточно долго, то прошлое начинает приобретать все более сказочный оттенок. И лучше оно делается, чем в реальности было, дымкой какой-то чудесной покрываясь, и сомнения рождает — да со мной ли все это было и было ли? Может, рассказано кем-то, как сказка, и так вьедливо, до малейших подробностей, запомнилось?

Возникает это чувство все чаще, и вызывают его ситуации совершенно пустяковые. Вот надевал на днях утром штаны и, чтобы просунуть ногу в штанину, бедром к столу для устойчивости прислонился. И вдруг вспыхнуло — мальчонка на берегу пруда, штаны надевающий и прыгающий на одной ноге, чтобы вторую побыстренько в штанину сунуть. Неужели тот мальчонка это я, теперешний, то же самое действие старающийся совершить? И говоришь себе с нажимом утверждения — да, тот, только способ надевания штанов другой.

Уверен почему-то, что у людей, в старости умирающих и знающих это, должно именно детство вспоминаться часто. Нечто здесь важное, принципиальное, всей жизни целиком касающееся, есть. Слово конец и начало жизни в некий круг магический свести надо. Совместить себя старика с собой ребенком и тем жизненный круг замкнуть, защелкнуть...

* * *

Лет уж сорок назад иду в морозную, ветреную, злую погоду и вдруг чувствую, что мне странно приятно, хорошо, удобно. И сообразил в конце концов, что я, впервые, может быть, в жизни при такой погоде не мерзну, не ежусь ни телом, ни душой: пальто по-настоящему теплое, на меховой цигейковой подстежке купил недавно и вот надел. Непривычное, барское какое-то чувство, будто я разбогател в одночасье и все теперь погоды морозно-злые мне нишечем. Вот и уютно так на душе стало, покойно, надежно. Или другой случай, недавний и чем-то похожий. Тоже иду, но летом, и тоже вдруг непонятное чувство удобства, комфорта неожиданного испытываю. И тут же догадываюсь — по тротуару, плиткой только что выложенному, иду, вот в чем дело. Под ноги нет необходимости смотреть, а это на нашей окраине, да и вообще во всей прошлой жизни, немалая редкость. С детства начиная, когда по великой нашей черноземной, тимской грязи пройти было, словно минное поле преодолеть. И как хорошо теперь пальто меховое иметь, и плитку под ногами! А чуть подумаешь и чего-то жаль. Того и жаль, что теперь не мерзнешь, не терпишь мороз и ветер, а потом блаженно наконец-то не согреваешься. Того, что площадь нашу тимскую преодолевать не надо, а можно пройти через нее, заасфальтированную, спокойно. Того напряжения мускульного, и ловкости телесной, и сообразительности мгновенной, куда держать и куда ногу ставить, и радости преодоленного наконец-то препятствия, когда на нее, площадь, оглядываешься, жаль. А третье в этом же, пример-

но, ряду езда на поездах, на автобусах из одного города в другой. Событие было немалое, целая маленькая жизнь с ее трудностями, горестями и радостями. Сколько очередей, сколько тревог билетных, сколько ожиданий, надежд и разочарований! Сколько, главное, людей, с которыми свела судьба то на часы, то на дни целые в вагонных купе! Сколько хороших людей, было и сколько не очень! А теперь, если хочешь, перелетел из пункта “А” в пункт “В” за три, скажем, часа, вместо двухсуточной езды на поезде — и вся недолга. Ведь и заманчиво так поступить (большинство и поступает), но и как жаль двухсуточной езды с ее томлением, чтением, разговорами, смотрением в окно, за которым земля, такая близкая, рукой подать, плывет-разворачивается. Что-то в этой смене поезда на самолет от шагреновой бальзаковской кожи есть. Какая-то важная часть жизни вырезается-выбрасывается. Пожелал — получил тут же. А между этим пустота, ничто на месте прежней, выброшенной словно бы, жизни.

* * *

Сидел утром за столом, надеясь поработать — угрюмый, вялый, сырой, тяжелый, старый. Какая уж там работа, ясно так представлялось. Вставай и другим чем-нибудь займись, житейским, простым и очевидно нужным. А что, если про себя такого вот написать — угрюмого, вялого, старого и т. д. Можно, да нельзя, потому что для такого описания, чтобы оно хорошо получилось, нужно быть собранным, ясным, бодрым, зорким, а откуда же все это взять?

Вдруг за окном в палисаднике снегирь на ветку сел, такой громадный, какого я за сорок с лишним лет наблюдений и не видывал. Царь — снегирь, со скворца величиной, примерно. Смотрю и не верю, не может же быть такого! Вздрагивает, головой поводит, с ветки на ветку перепархивает. И по свист его не слышится, а мерещится: нежно-грустный, флейтовый, слезный почти. А за другим окном заря утренняя видна была, и так она по цвету совпала с грудью снегиря, словно он в ней побыл и ею окрасился. Вот вниз прыгнул, на землю, на снег, и я встаю, на подоконник облакачиваюсь, чтобы не упустить его из вида. Нет, исчез, но кое-что во мне и оставил. Чувство чуда, только что произошедшего. И оно растет, это чувство, распространяясь совершенно произвольно на палисадник, на сад за ним, на серо-голубое, словно припотевшее с утра, небо, а потом и на комнату, на стол рабочий, на меня самого. Все есть чудо: жизнь, человек, небо, солнце, снегирь... В детстве эта чудесность мира постоянна, и потому незаметна и не осознанна. Потом слабеет, уходит почти и понемногу, проблесками краткими, начинает возвращаться к старости. И все чаще, все очевидней и настойчивей. А вот когда станет сплошным и постоянным, как в детстве, тогда, считай, что ты и нужной мудрости достиг, и времени ухода. Который тоже чудо, может быть...

* * *

Вороны в густо-синем небе кружатся вдвоем, сталкиваются почти, разлетаются и сближаются вновь. Не то купаются в небесной синеве, не то танец некий замысловатый танцуют. А называется это по-ученому: “брачные игры воронов”, первый фенологический признак весны, в январе еще. Потом, в феврале, начнутся собачьи свадьбы, а в марте кошачьи свидания с сидением долгим напротив друг друга, с перебежками с места на место, а по ночам с криками страшными. И так они сложны, раздирающе противоречивы, эти крики, словно вся суть жизни и любви в них выражена с причудливой, ошеломляющей какой-то смесью наслаждения и муки. То ли убивают, загрызают друг друга, то ли совсем наоборот. Любят, то есть. И невольно к человеческой любви крики эти начинаешь примерять и с ужасом узнаешь в ней нечто похожее. Неужели так? В сексуальной части любви так именно. Даже Гете, мудрец просветленно-уравновешенный, это отметил: “Жестокость один из главных ингредиентов любви”. Ну, уж если Гете, то можно принять и успокоиться...

Жизнь есть чудо, а внутри жизни главное чудо любовь. И как же она светла и темна одновременно! Словно бы из соединения темного, ужасного даже, через некую реакцию глубочайшую, божественно-интимную рождается вдруг свет.

Но ведь и просто свет в физическом смысле, среди которого, внутри которого мы живем, представляющийся таким единым, монолитным, легко разлагается на семь цветов спектра, а их соединение вновь дает белый свет. Есть тут что-то общее с простотой и, одновременно, сложностью любви. Так и с желаниями, и даже жестами противоположными, но в самой глубине неразрывно связанными: “взять и отдать”...

По-разному и именно противоположно говорит о любви Пушкин. Тут и “чудное мгновенье” и “болезнь души”, и ревность грозная, и самоотдача самозабвенная. А ближайший друг его Дельвиг, человек добродушно-спокойный, едва ли не превзошел Пушкина в одной из крайностей при определении любви: “Но слова страшного “люблю” не говорите ей”. И думаешь, как же мог такой человек такое слово, небывалое прямо-таки, по отношению к любви употребить? То глубина тут некая смутная, метафизическая мерещится, а то вдруг простое самое — страх покоя свой привычный, житейский потерять...

* * *

Костры детства, юности, зрелости... Много их было в начале и все меньше и меньше к концу. И тоскуешь по ним все сильнее, по огню живому, в сущности, по созерцанию огня. По пламени, такому разному, по углям, то накаленным до прозрачности, то чуть подернутым пеплом, мерно меняющим яркость, дышащим словно бы. И есть в этой тоске по огню что-то, тоску по родине напоминающее. Так оно и есть — по первой самой родине своей тоскуем. Из звездного вещества, в момент “большого взрыва” возникшего, мы созданы, из огня в сущности, вот об этом тоска и говорит. И с водой так же. Необходимо хоть время от времени, а всего лучше ежедневно, ее, текущую, бегущую, видеть, иначе тоска. Следующая она после огня родина — прародина наша, и состоим мы в основном из нее. Есть у Достоевского мысль о том, что Бог взял семена в мирах иных и перенес на Землю и с тех пор мы по той далекой своей родине тоскуем. Очень близко это к тоске по огню и воде. Тут даже и Лермонтов вспоминается: “По небу полночи ангел летел...” И принес он, ангел, душу живую, человеческую из иного мира на Землю. И томилась она, тосковала по тому миру, и “звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли”.

* * *

Хорошо помню, как в детстве на руку свою, кисть, вдруг особенное, удивленное внимание обратил — м о я рука, надо же! Порасматривал ее, покрутил перед глазами. Моя рука, да, но ведь это все-таки еще не я, часть лишь окраинная, отдаленная... А где же я главный, самый-самый я? И раздвоился как-то в усилии понять — то ли в груди, то ли в голове? Оно так и осталось, это раздвоение, настолько привычное, что его и не замечаешь никогда.

Рука, вот она, возрастом резко измененная, со следами травм, остатками мозолей. Та ли она, что и в детстве? И да, и нет. А сам я весь, с душой и телом? И тот же в стержне каком-то главном, и совсем иной.

Когда же жизнь вспоминаешь, тоже все начинает похожим образом двоиться: со мной ли все это, такое многое и разнообразное было? Со мной, да, но и с другим кем-то, очень мне близким и родным. То очень даже хорошим, то очень даже плохим.

А вся жизнь целиком, единым взглядом как-то охваченная, представляется порой не реальностью минувшей, а громадным сном. Да в восточных мудростях — философиях такой взгляд на жизнь человеческую и существует: когда живем, то видим сон, а когда умрем, то проснемся и в настоящую реальность выйдем.

Вот пишу, и вдруг мелькает в который уже раз — праздномыслие все это. Сначала смущаешься, почти виноватым себя чувствуешь, потом невольно оправдываться начинаешь — ну, и праздномыслие, ну, и что за беда? Из праздномыслия, когда древний человек время и возможность для него получил, самые главные, судьбу его определяющие, мысли, может, и возникали. Именно из свободной, произвольной игры ума и воображения. У Пушкина есть строчка: “И праздно мыслить было мне отрада”. Прочитал и как оправдание некое наконец-то получил...

* * *

Могучая, роскошная, небывалая в этом году зима по снегам глубоким, в которых все окружающее тонет и тонет бесконечно, по метелям разгонистым и вихревым, по нескончаемым снегопадам, по морозам пылким, по солнечным дням, сияющим, по вечерам, тоже сияющим то звездами, то луной. И особенно долгой кажется зима, и вот именно, что глубокой. Вот в глубине зимы и живем-поживаем, именно так. Лишь в детстве такое ощущалось — и глубина зимы, и ее, казалось, бесконечность. В этом и тяжесть, тягота некая была, но и уют тоже. Вот так все и будет, и будет идти со снегами, морозами, лыжами, коньками — и ладно, и хорошо... И древность некая в таких зимах мерещилась, и чудилось, что тогда, давно, были они еще снежней, еще морозней. А теплая зима называлась сиротской. Легче, стало быть, сиротам несчастным такую было перетерпеть-перемочь. И поговорки на разный лад вспоминаются. То “марток, наденешь трое порток”, то “февраль — цыган шубу продал”.

Лето же в детстве воспринималось, как изобилие, щедрость, роскошь природы, погоды, свободы. А теперь, в последние годы, как испытание жарой, засухой, тревогой какой-то геной, древней. Смотришь на маленькое, багровое, в сухую горячую мглу садящееся солнце, на Оку с песчаными островами от мелководья небывалого, и невольно, навязчиво слова стародавние всплывают — и глад, и мор, и трус...

* * *

Стоял у магазинного окна и, вижу, подошла дама с собачкой. Привязала собачку за деревце и вошла в магазин. Собачка маленькая, короткошерстная, а мороз за двадцать. Худо собачке, дрожит, поджимает лапы по очереди. А потом прямо-таки приплясывать начала так, словно под ней не асфальт, а раскаленная сковорода. Дама же с продавщицей, знакомой, похоже, о чем-то мирно так беседует. Подошел к ним в конце концов. “Как бы ваша собачка не околела на морозе”, — говорю даме. “Какая еще собачка? А, эта дрянь! Вам-то какое дело?!” — возмущенно и напористо отвечает. “Жалко собачку”, — говорю. “Вы себя лучше пожалейте!” — и отвернулась. Через пару минут, однако, вышла из магазина, забрала собачку и скрылась быстро. Хорошо, подумал, если у нее только эта собачка есть...

* * *

“И, может, к старости тебе настанет срок пять-шесть произнести как бы случайных строк...”. Из Георгия Адамовича. Прожил он долго, жил интересами литературы, писал о ней много, мудро и глубоко, а сам издал лишь две маленьких книжечки стихов и три (три только!) рассказа. Последний и, по моему, самый лучший, как раз в старости.

Трудно в литературе и, особенно, в среде читательской удержаться, но ведь и удается порой даже фразой единственной. “О память сердца, ты сильнее рассудка памяти печальной”. Поэта Батюшкова, Пушкина знакомого, фраза, которая до сих пор живет и будет жить. “Если хочешь быть счастливым — будь им”. Козьма Прутков, а какая тут глубина и правда! И утешительно как! Достоевский потом ту же мысль повторил-разрабатывал, только выразив ее по-своему: “Золотой век у нас в кармане”. Кажется порой,

это вспомнив: вот и стань счастливым, и даже не завтра, а прямо сейчас, золотой век из кармана достань...

* * *

Михаил Кузькин-Воронецкий, друг покойный, поэт истинный, сказал как-то, что больше всего, умирая, будет луну жалеть, которую так, может, уже не увидишь. Вот написал и подумал — а почему, собственно, вполне может быть и там луна, даже и скорей всего. Куда же ей деваться? Хотя, “новая земля, новое небо...”. Много в природе таких, вроде луны, вещей и явлений, которые покидать жалко. Идущий снег, например, вот как теперь за окном. Редкие снежинки, которые не просто падают, а выют, кружатся, в стороны и даже вверх летят. Словно не хочется им на землю ложиться, а хочется в воздухе, на воле побыть подольше. Можно бы и описать все, примерно, виды снегопадов, которые бывают. Снег крупнющий, хлопьями, в полкулака почти; снег средненормальный, “вроде пятачков” — по-есенински; снег мельчайший, сверкающий, как разноцветная пыль; снег, валом валяющийся вниз; снег, скошенный ветром и даже горизонтальный почти в сильную метель...

А ведь по экватору и вокруг не только снега, но и смены времен года нет. Странно и даже страшновато такое представить. Кажется, что тогда само время в таком однообразии остановиться должно. И живут в таких местах племена дикие в райском каком — то безвременьи, словно ни прошлого у них нет, ни будущего, а одно бесконечное настоящее. Может, поэтому они райски-дикими и остались? Ни к чему не стремятся, а живут себе поживают и все тут.

* * *

Вспоминая прошлое, всегда хочется поточнее все вспомнить, мучительно даже как-то хочется, словно в ней, точности, вся суть воспоминаний и есть. Особенно это имен-фамилий людей вспоминаемых касается. Вспомнил — и как живой человек перед тобой.

Важнейшее значение есть у имен, на судьбу человека влияет, так мне кажется. Не был бы Юрием, а был бы, скажем, Виталием или Иваном, то вся жизнь чуть по-иному сложилась бы. А может, и не чуть, а существенно, словно в имени некий код судьбы уже зашифрован.

Иногда имя не сливается с человеком и воспринимается, как табличка, на него навешенная, а некоторые спаяны с ним так, что иного и представить нельзя.

Женщины легко, а то и с удовлетворением девичью фамилию на мужчину меняют, а если наоборот — совсем другое дело. Нельзя, изменой самому себе это будет. Потому и делается это редко (хотя закон и позволяет), и мужчины особенного склада для того нужны. И ведь сколько диких, пугающих фамилий, с моей собственной начиная. Казалось бы, поменяй, простое дело, но ведь терпят, несут бремя, судьбой наложенное. Был, помнится, в хрущевские времена, отставной майор Дураков, известный каким-то новаторским методом выращивания свиней. Один чуть не тысячу выращивал, в газетах часто мелькая. Молодец майор! А ведь мог в Разумникова каково-нибудь быстренько переделаться.

А о своей фамилии Убогий что сказать? Все время до раздачи аттестатов зрелости была моя фамилия Убогих. Так я и знал, и не подозревал даже, что я Убогий. Почему так, неведомо. Может, потому, что сама собой, незаметно она чуть переделалась, смысл свой страшноватый смягчив. Одно дело Убогих, а совсем другое Убогий. Тут уж все точки над “и” поставлены, тут уж ты определен окончательно, с ног до головы — Убогий. Уродец, значит. И когда вызвали меня при вручении аттестата, и сказали Убогий, то как по голове ударили. И зал школьный зашумел удивленно и смешливо. Заглянул в аттестат — да, Убогий. Это меня ошарашило. Почувствовал вдруг ясно, что жить мне теперь будет тяжелее, чем раньше. Так и оказалось: мучительно неловко, стыдно было в той или иной ситуации новым, незнакомым

людям свою фамилию называть. Разная бывала на это реакция: удивление, насмешливость, сочувствие, жалость. Так и тянул я груз фамилии своей годы многие, никогда даже мысли не допустив о ее смене, хотя и советовали не раз. Вот именно, что изменой судьбе, в высшем каком-то смысле, такое представлялось. А еще, попроще, отцу погибшему изменой.

Помню, перед первой публикацией в толстом журнале (рассказ “Возвращение с войны” в “Неве”) получил телеграмму из Ленинграда: “Убогий фамилия или псевдоним? Ответил: “К сожалению, фамилия”. А отправив ее, пожалел, не надо было писать “к сожалению”. Впрочем, тут некий юморной подразумевался, хотя кто бы его там уловил...

В общем, не только свыкся я с годами со своей фамилией, но даже в конце-концов ее полюбил. Значительность есть в ней особенная, глубинная. А смысл уродства — юродства, что ж, и он есть, и нечего его стесняться. И всех людей он так или иначе касается, и в Евангелие об этом сказано. “Сирые и убогие”, так. В дневниках Бориса Шергина некоторые записи на молитвы истовые похожи. В одной из них и сказано: “О, человеце убогий!”

* * *

Время и место... Где оно, самое подходящее для прощания и ухода, это время и место? Лежал как-то на пригорке над прудом, на жесткой траве конца лета, той самой, казалось, по которой бегал босиком лет пятьдесят назад, видел сына взрослого внизу с удочкой, щетинку травы с голубыми цветками цикория на фоне такого же голубого неба. И небо было то же, давнее, и цикорий тот же, казалось, самый. В тот момент чувство завершенности круга и достало меня. И больно, но и как-то приятно. Пора, пора, так подумалось — ощутилось.

А вот все другое, дома сижу с внуком Димкой, приболевшим, и он вдруг начинает бегать возбужденно с криком: “Футбол в жару, футбол в жару!” Наконец догадываюсь, что это он название главы из моей, им недавно прочитанной повести “Мальчик издалека” выкрикивает. И то же, что и на пригорке над прудом, чувство возникает во мне, чувство наступившей уже поры ухода с сознанием заикленности, а, значит, некоей законченности жизни, да. А что же место? А место родина, дом родной. И в широком смысле, и в очень-очень узком. Это где уходить, а лечь куда? В нее же, в землю родную, теперь даже пальцем показать можно. Такое всегда дорогого стоило, а в нынешнюю пору великих переселений особенно. Недавно друг студенческих лет навестил, из-за океана приехал с большой грустью-тоской в глазах. И одна из ее причин, конечно, что в чужую, дальнюю — дальнюю от родной, землю лечь ему когда-нибудь придется.

Твое время и место... Ну, это когда поразмышлять об этом есть возможность. Случай ведь всегда может вмешаться и решить все мгновенно по-своему.

Шел семнадцатилетним на работу на завод в Воронеже и потом вспомнил лишь, как калитку, уходя, закрыл. Очнулся в больничной палате через несколько часов. Оказалось, товарняком был сбит и прохожими людьми подобран. Года через три, тоже в Воронеже, выпрыгнул из трамвая на полном ходу, и шедшая следом “Волга” по боку чиркнула. Вот тут хорошо все помню — солнце яркое, серый цвет машины, трамвай красный, удаляющийся. И полное спокойствие собственное в течение нескольких секунд. А потом резко, вдруг, словно в горячую воду окунули, липкую какую-то, вязкую, сил лишнюю. Похожее недавно совсем случилось, только не на трамвае я ехал, а на велосипеде. Реакция была такой же, но намного слабее. Возраст другой и жизни поэтому, видать, не так жалко. Общее же ощущение — то ли ветерком пахнуло каким-то нездешним, то ли тень некая, тоже нездешняя, промелькнула мимо. А лет пятьдесят почти назад ехал на лыжах и то же самое, в сущности, произошло, только во времени растянутое на час, примерно. Заблудился в очень сильный мороз в ранних сумерках у военного городка. Тогда главным чувством было, пожалуй, какое-то неверие в происходящее. Только что была квартира, жена и сын, свет и тепло — и вот тайга глухая кругом, бурелом, тьма густящая и жуткое несоответствие давяще-

го, жгучего мороза и легонькой одежды. Да еще и рассказ вспомнился, как нашли недавно офицера из нашей дивизии под елкой замерзшим в этом же, примерно, месте.

В полной почти темноте лыжня под ноги мне была вдруг брошена, а там и огни городка впереди забрезжили.

Случай, “мгновенное орудие провидения”, по слову Пушкина. А провидение что такое? Бог, орудие Бога? Для верующих так. А для неверующих? Судьба? А она что? Сцепление случайностей случайное? Одни вопросы, и ответ твердый и окончательный можно только в вере получить. Вот и верь, что при всех опасностях смертельных должен ты был еще и еще зачем-то на белом свете пожить. И вспомнилось толстовское: “Для приближения к Богу и увеличения любви”.

* * *

“Из обрез и жести” — стихотворная подборка Марины Улыбышевой в “Сибирских огнях”. Удивительное название! Такой за ним видится конус из сухого осадка жизни, из боли, и отваги, безжалостности к себе и беспощадной зоркости к миру. Кажется, что и читать саму подборку не надо, все ясно и так. Повторяй лишь заголовки про себя, а за ним тут же стихи встают в зябком таком тумане. Заголовок узнал со слов сына, а стихи прочитать никак случая нет. Прочитаю, конечно, а пока уверен, что они и впечатление от заголовка совпадут более или менее.

А сама Марина очень мила, женственна, привлекательна, интеллигентна. Лишь во взгляде и голосе изредка мелькает и обречь, и жечь.

Пишет она мало, публикуется редко, но ее присутствие в поэзии чувствуется постоянно. Слово она знает некую главную, голую правду о жизни и нам ее то той, то другой стороной показывает. Если читает на поэтическом вечере в очередь с другими, то при ее появлении подбираешься, напрягаешься даже внутренне — готовишься ту самую правду-матку про жизнь услышать. Про обречь и жечь.

Трагический она поэт, как бывают трагические актеры. Нелегко ее стихи и слушать, и читать, но всегда душеполезно. Чистят они душу, словно теркой жесткой, а если так, то терпи. Нам-то, читателям и слушателям, терпеть недолго, а вот каково ей со всем этим жить?

Знакомы мы четверть века и всегда рядом с ней хорошо быть. Кажется, что знает она не только правду о жизни, но и некую важную тайну о ней, и надо бы ее тоже узнать. Странное по наивности чувство, которое держится так долго! И ведь понимаешь, что если и есть тайна, то она во всех ее стихах существует — вот сам ищи и разгадывай...

Прочитал, наконец, подборку, и она вполне совпала с заголовком, как я его понимаю. Одного только в нем, заголовке, нет — громадности ее родной Сибири, в которой теряется, тонет и человек, и жечь его, и обречь...

А стихи прекрасные, даже прозу пушкинскую напоминают — нагой прямоотой высказывания. Отпечаток души непосредственный, как отпечаток пальца, который у каждого человека неповторим. И еще чувствуется в них некая, едва уловимая, неуравновешенность, делающая их, физически прямотаки, живыми. Покачиваются, дышат, живут...

Все у нее, Марины, есть — семья, дом, работа по душе, а все равно тянет от нее какой-то неизбывной, вечной бездомностью и неприкаянностью. Слово она была и до сих пор осталась странником, бродягой с котомкой за спиной, все ищущей чего-то, ей самой пока неведомого. И думаешь — вот как найдет, так и стихи писать перестанет. Это, впрочем, о многих настоящих поэтах можно сказать...

* * *

Пытаюсь во второй уже раз прочитать “Аду” Набокова. И опять вязну в многословии, фокусах литературно-филологических, в атмосфере какой-то тяжелой, душной, оранжерейной, с благовонным, но и тонко-ядовитым за-

пахом. И любовь героев, и обстоятельства житейские близки к райскому идеалу, а ощущения рая нет как нет. А вот ощущение распада, гниения медленного, пусть и блаженного, есть.

Похоже, он большую ставку на роман сделал, весь опыт свой, все мастерство редчайшее в него вложил — и не получилось. А “Лолита”, десятью годами раньше написанная и чем-то близкая “Аде”, истинный набоковский шедевр. Потому, может, что в ней жизнь живая, особенно в конце, а в “Аде” попытка создать рай для двоих, которого принципиально быть не может. Сладкая тюрьма может лишь получиться, она и получилась.

А рассказ о рае у Набокова есть, в двадцать четыре всего года написанный: “Порт”. Одинокий парень-бродяга там показан, бездомный, с пятью всего франками в кармане, которые он и отдает в конце концов случайной женщине. Вот там рай, в который веришь. И суть его, рая, в любви этого парня ко всему, что есть вокруг — к людям, природе, вещам, краскам, звукам. Да это и есть единственная возможность рая — в любви ко всему...

В оценках других писателей Набоков был очень суров и даже зол. И несправедлив чаще всего. В старости эта черта характера усилилась до нелепости, патологичности почти. Едва ли не всех подряд хулил — бранил: и Фолкнера, и Хемингуэя, и Шолохова, и Томаса Манна, и Борхеса. Крайняя необъективность и ошибочность такой оценки уже в наборе жертв его видна — не могут же писатели, таки разные, одинаково никчемными быть.

Бунин по мере старения тоже все строже и ядовитее к коллегам своим относился, удерживаясь все-таки в пределах здравого смысла. Да и понимал и, похоже, трезво оценивал эту свою особенность, написав Телешову, что он стар, сед, сух, но еще ядовит. Ядовит! А может, хотел этим сказать, что не стал еще змеей, пережившей свой яд?

Ужасна злобная старость, хотя и вполне понятна — убыль сил, сознание нарастающей беспомощности, зависть к молодым, успешным, сильным. Она же, злобность эта, и наказанием тяжким является. За то, что жизнь в чем-то важном была прожита неправильно. И это важное в конечном счете тот же недостаток любви.

* * *

В документальном фильме Герца Франка “Флесибек” долго показывает лицо трехлетнего, примерно, мальчика, смотрящего постановку в кукольном театре. Зал темный, лицо подсвечено снизу. И какая же в нем, лице детском, жизнь! Смех, слезы, восторг, ужас, замороженность, отчаяние, блаженство... И вспоминаются слова кого-то из философов — богословов: если есть человек, значит, есть и Бог. Вот и лицо мальчика в его игре чувств-выражений совершенно Божественно.

А потом лицо того же мальчика лет через тридцать (так по виду). Первенство мира по бриджу, игре карточной, и он в нем участвует. Вполне неплохое лицо, приятное даже, но от того света Божественности, который в нем был когда-то, ни малейшего нет следа. Оцепеневшее лицо, лишь глаза и складка губ напряжение внутреннее выдают. Лицо человека среднего возраста с необходимостью его “делать” и “держат”. И таким оно останется на многие годы, пока не начнет оживать, оттаивать в старости, когда нет уже нужды большой его контролировать. Вот поэтому отчасти и смотреть на детей и стариков всего интереснее, и фотографии их любят снимать.

Накрашенность женских лиц, пусть и самая искусная, всегда вызывает во мне некий глухой, полусознанный протест. Кукольное что-то появляется, а зачем мужику кукла? Пришлось недавно увидеть “телевизионную” даму в домашней обстановке. Съемка была неожиданной, и дама поэтому оказалась без подкраски. Постарела она лет на двадцать, но зато какая в лице появилась жизнь! Со всеми следами, отметинами, бременем ее. С радостью и горем. Вот на это все и отзывается душа, а не на личико крашенное.

Французская актриса Ани Жирардо не пользовалась косметикой вне работы и как же она была удивительна со своим ошеломляюще старым, изношенным и прекрасным лицом! Как бриллиант чистой воды среди стекляшек.

И еще удивительно, что она прожила-проработала у нас в Магнитогорске (!) несколько лет. Представить даже такое трудно, а ведь было! Не деньги, не карьера же ее там удерживали, а что-то поглубже и поважнее, так мне кажется. Все та же, наверное, жизнь...

* * *

Много лет назад видел кинохронику: Москва, немцы на ее пороге, раздача оружия ополченцам. Были там кадры, которые до сих пор стоят в памяти: шеренга мужиков в домашней одежде с винтовками-трехлинейками в руках. Даже стоят не по росту, а как пришлось. Показали их всех, а потом по лицам, на каждом подолгу задерживаясь, кинокамера прошла. Поразительное было впечатление: какие все похожие вместе и какие совершенно особенные по отдельности. Целый мир в каждом лице, который вот-вот, через дни немногие, исчезнет, скорей всего...

Гете писал, что один вид человеческого лица способен развеять его меланхолию. Пантеист был, а выразился совершенно по-христиански. А вот мы, христиане, в последнее время особенно, избегаем на лица друг друга смотреть. Защищаемся словно бы от них, завесу некую натренированной слепоты перед собой опускаем. И чем больше город, тем завеса эта плотней. Плохой признак, грозный даже в чем-то. Если веришь, что человек образ и подобие Божье, то и не отворачивайся от него.

Новый папа римский Франциск показал вдруг на первых выходах к людям нечто обратное: с толпой смешивается, руки пожимает, больных, беспомощно лежащих, целует. И охраны при нем нет. Дай ему Бог силу и возможность быть таким и дальше для примера и образца.

* * *

Воспоминания давние и недавние равны в самой своей сути — в возможности видеть все (и себя самого прежде всего) со стороны. В отсутствии занятости, замороченности участием в сиюминутном, настоящем. В иной, большей способности оценивать и понимать. И в некоем налете поэтичности, художественности, которая почти неизбежно присутствует в воспоминаниях. В одном том, что это не есть, а было и прошло, уже существует ностальгическая художественность. Некий как бы плач над тем, что было и прошло. Такой, кстати, и жанр в старину был: “плач”. И еще в воспоминаниях мы как бы склоняемся над всей жизнью своей, как над омутом глубоким, почти бездонным, и ждем, что же оттуда поднимется, выплывет, обозначится. И что-то выплывает, явственным становится до озноба, до яви почти. Вот-вот, кажется, реальностью станет. И никогда не знаешь, что именно всплывет и почему. Почему именно это, а не другое? Тайна.

* * *

За окном снег сейчас идет, густой, мелкий, быстрый. Вот такой же примерно за окном цеха заводского шел пятьдесят один год назад. Станок мой токарный у самого окна, и я то на деталь, яростно передо мной крутящуюся и блестящую яростно, поглядываю, то на снег за окном. И такая вдруг в душе вспыхивает радость и надежда. Зима идет-проходит, а там и весна, а там и праздники майские и поездка домой, в Тим, и встреча с Ириной... Готовясь к поездке, я вскоре и рюкзак куплю, и рубашку вискозную, синюю в белую полоску, и туфли черные, и кепку желтую, восьмиклинку, как тогда говорили, и брюки темно-синие. И такой буду во всем этом фронт! Особенно рюкзак был хорош, из толстой зеленой парусины, с ремнями тугими, толстыми, с заклепками из нержавеющей стали. Мужская вещь! Много-много лет он прослужил и цел до сих пор, висит себе где-то в сарае и годен к использованию... А снег тогдашний, законный даже цех с его шумом, запахом, освещением смешанным, электрическим и дневным, вдруг изменил. Все из тяжелого, грубого, давящего, тюремного какого-то сделалось привычным, близким, милым почти...

А через шесть лет, в вечер отъезда из Воронежа в Харьков, чтобы там на Ирине жениться, впервые заметил, что падающие снежинки тень под уличными фонарями дают. И удивился, как раньше этого не замечал, и смотрел долго. Странная такая, сложная, запутанная игра света и тени. Белье снежинки вспыхивают искристо, гаснут в полете, а внизу, на снегу притоптанном, такое шевеление, такая возня муравьиная их теней. Не то чтобы подумал, а почувствовал, предугадал связь какую-то всего этого с жизнью семейной, сложное в ней сплетение света и теней...

И еще был снег, меленький, сухонький, пустынный какой-то. Повел молодую жену (с неделю всего дома и прожили) в лесок недалеко от Тима, елочку срезать. И нож тупой кухонный, идиот, для этого захватил. Жена на дороге, чуть наезженной, осталась, а сам к леску побрел-полез, по пояс почти в снег проваливаясь. Стал елочку резать — дело дохлое. Стал ломать — не лучше. В конце концов удалось лишь ветку от елки отломить-отодрать. С ней и вернулся, криво улыбаясь: мужчина, муж, добытчик! Жена тоже улыбочкой встретила, тревожно-испуганной...

Сегодня сорок шесть лет нашей с Ириной совместной жизни. Вчера сбегал в лес, срезал полуметровую елочку (острым уже ножом), пристроил в вазу. И между той отодранной с трудом веткой и этой елочкой целая жизнь лежит. То крохотной она кажется и почти нереальной, как сон, то огромной, вырастающей при пристальном на нее взгляде почти до бесконечности.

Первое знобко и страшновато даже (была ли?), а второе некую странную надежду дает на то, что никогда она, жизнь, не исчезнет, если уже теперь так велика.

* * *

Небывалая по мощи в этом году зима. Разве что в детстве подобное бывало по морозам, снегопадам, метелям, сугробам. Но это особенные совсем, первозданные такие воспоминания-впечатления, а теперь это объективно так. Не пройти, не проехать не только в наших местах, но и во всей почти Европе. И начинаешь думать, что это уже не погодные дела, а климатические, что, может, малый ледниковый период начинается. А почему нет? Много их в прошлом было — вот и еще один...

И странно, что под слоем усталости от затянувшейся, тяжелой зимы, тревоги невольной за будущее (не свое, конечно) что-то совсем иное, противоположное в душе живет-шевелится. Желание потаенное, стыдливое даже, чтобы еще сильнее и морозы, и снегопады, и метели были. И разочарование странное, если все это идет на спад. Откуда, почему? Может, по мысли Пушкина: “Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья, бессмертья, может быть, залог”... Очень возможно. А еще, может, потому, что в условиях особенных, в чем-то экстремальных, надоевшая, скучная повседневность отодвигается, прорехи, разрывы дает и в них человеку мерещится нечто иное, интересней гораздо? Что ж, и это не исключено, но только, когда ты в безопасности относительной, а не внутри бедствия со всеми его неизбежными трудностями и муками.

Вообще, в показывании по ТВ всяческих катастроф с людскими жертвами многочисленными есть что-то аморальное, антихристианское. И не только в показывании, но и в смотреии. В чувстве, которое при этом смотрящий испытывает. Тут ведь и ужас, и сочувствие, конечно, но и некое, неизбежное почти, удовлетворение от того, что где-то там, далеко, людям очень плохо, а ты вот в кресле благополучно сидишь-посиживаешь. Уверен, что многие, если не большинство, это, пусть и полубессознательно, испытывают, иначе б не смотрели так охотно и не был бы рейтинг подобных передач высок, что и заставляет их упорно выставлять и держать на экране. Так что же, не показывать? Показывать, конечно, но как-то иначе — посдержанней, покороче, без подробностей жутких, которыми порой прямо-таки тычут в глаза. И еще привыкают люди к подобным ужасам и перестают ужасаться, как часть обыденности неизбежную их воспринимают. Что ж, случается-де такое, куда денешься? Жизнь такова. Удобно так считать, глядя со сто-

роны... Созерцание чужой беды регулярное отупляет и развращает душу неизбежно...

* * *

Помню, вскоре после пятидесяти нашло-наехало чувство, что жизнь, в сущности, прожита и пора уходить. Да такое упорное, неотвязное. Стал даже к ровесникам приблизительным приставать — думают ли они о скором неизбежном уходе и боятся ли его? Порой так прямо, в лоб, ни с того ни с чего, спрашивал: “Смерти боишься?” Уже и шарахаться от меня стали, как от зачумленного. У самого, кстати, настоящего страха и не было, а словно бы твердил кто-то на ухо: пора, пора! Казалось, что незачем больше жить, да и нечем. Потом, понемногу, это отошло, почти исчезло. И занятия многие нашлись-таки: работа, внуки, морока по выживанию в начале 90-х...

Когда же разменял восьмой десяток, то повторилось то же самое, примерно, но вопросов дурацких больше окружающим не задавал. Слишком они актуальны стали для сверстников, и задавать их было бы просто хамством. Чего спрашивать, когда и так мрут люди вокруг один за другим. Потом, понемногу, острота “наезда” этого, второго уже в жизни, смягчилась, и я понял, наконец, почему они вообще были. Потому что циклы биологические завершались. В пятьдесят у людей в основном взрослые уже дети и внуки появившееся, вот сама жизнь как бы и говорит им: все, дружок, ты свое сделал, можешь быть свободен, то есть уходить. И в семьдесят похожая картина. Время правнуков наступает и следующее напоминание, уже, пожалуй, и последнее: пора, пора... И если после первого много еще находится и дел, и интересов, и привязей к жизни, то после второго остается этого гораздо меньше. Но остается все-таки. Что-то еще доделать, чем-то еще хоть немного близким помочь. А еще и с давними-давними, “детскими” вопросами попытаться разобраться хоть напоследок: откуда, что, зачем, почему, как? Бог, жизнь, смерть, любовь... Хорошо помнится начало этих мыслей и разговоров, лет с шестнадцати начиная. Такой был азарт, пожар прямо-таки мозговой и душевный. Потом поутихло все это, практической жизнью потесненное, а теперь вновь возникло. Тоже цикл, охватывающий целую уже жизнь.

Зачем эти вопросы и поиск ответов? Потребность, только и всего. У кого ее нет, тот и не спрашивает, и не пытается ответить. И это совсем иная жизнь, как еда непосоленная. А еду, пишут порой об этом, и не надо солить, для здоровья вредно...

* * *

У всех, наверное, бывают то моменты, то полосы целые, когда жизнь представляется пустой, бессмысленной суетой, да еще и тяжелой, маятной, противной. И люди, окружающие такому взгляду, вполне соответствующий и, особенно, ты сам. Бегаем, “трясем животишками”, по выражению Розанова.

И вот в одну из таких полос, довольно уже давно, натолкнулся у Достоевского на слова: “человек есть тайна”. Не впервые скорей всего, но раньше проскакивало это, не задевая, а тут вдруг проняло-достало. И все изменило. Какая-то глубина, объемность, значительность в жизни и даже в самом себе появилась, смысл некий, пусть и неясный, но глубокий забрезжил...

Так оно и осталось, закрепилось. Обмелеет, обесцветится все в тебе самом и вокруг, вспомнишь про “тайну”, и все оживать, углубляться, краски получать начинается.

Узнав кое-что новое о современных научных взглядах на вселенную, жизнь и человека, подумал, что к слову “тайна” надо еще и слово “чудо” прибавить. Из тайны и чуда возник мир, жизнь, человек и уйдет в тайну и чудо. И вот именно при таком представлении — понимании все в тебе и вокруг оживает, можно и жить, и дышать. И спокойно, и интересно, и мило, и дорого. Будто ты из чужой стороны наконец-то домой вернулся. Может, это и есть чувство присутствия Бога в мире, веры в него? Или хотя бы приближение к этому? В каждом действии, мысли, желании вот именно, что

смысл начинает брезжить, хоть и неясный, но очевидно существующий. Словно ты раньше жил — болтался “просто так”, а теперь в руки какие-то надежные попал.

Еще и некоторые люди, пусть и очень редкие, и поступки их, и проявления души, и результаты труда творческого говорят вполне убедительно, что не может мир существовать на одной лишь материальной основе. Несомненно высшее, Божественное, не от мира сего есть.

Чувство же “тайны и чуда”, возникшее однажды и крепнущее потом, особенно к старости, было и в детстве, только не осознавалось. Все тогда виделось “тайной и чудом”, но осознать это оказывалось невозможно, потому что ты внутри этого был и жил. Тогда ты просто получил это в пору детства Божественную, а теперь к этому возвращаешься, насколько хватает сил и возможностей твоих. А если сможешь вернуться вполне, то и начнется жизнь в вере и в Боге. В его руках...

Вера же в церковном ее смысле может быть разной. Нам по рождению и обстоятельствам христианско-православная дана, и это, на мой взгляд, счастье. На главное в христианстве душа мгновенно отзывается: “Бог есть любовь”, “Заповедь новую даю вам: да любите друг друга”, “Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог”.

* * *

Когда вспоминается собственная жизнь, пусть и кусками, перепутанными по времени, случайными, произвольными совершенно, то странное при этом возникает чувство из смеси покоя, ожидания заинтересованного и легкой даже тревоги. Словно сидишь над каким-то и прозрачным и темным из-за глубины потоком жизни-времени и из него поднимается и резко, вдруг, и медленно совсем то одно, то другое, то третье... То связанное между собой, а то и вразбой, из разных совсем сторон, возрастов, ситуаций житейских... Вот пять тебе лет, а вот и семьдесят, и ничего общего между этими людьми вспоминаемыми нет, и, одновременно, один и тот же это человек, настолько один, что в существовании возраста вообще начинаешь сомневаться. И еще противоречие постоянное: воспоминание то настолько въедливо конкретно, детально до мелочей, что, кажется, вот-вот, через мгновение, реальностью станет, а то чудится, что не вспоминаешь ты собственную жизнь, а кто-то ее тебе, как сказку, рассказывает-показывает. Да, именно сказку, а не быть...

А еще ведь и мысли возникают по поводу вспоминаемого, параллельно ему идущие, или с отставанием небольшим. Так сейчас, например, вдруг подумалось, что детские воспоминания чаще всего или суровости зимы касаются, или роскоши лета. Противоположные такие состояния: зимой ты наиболее отделен от окружающего, сильнее всего самость, индивидуальность свою чувствуешь, а летом растворен в нем блаженно. И сдвоенность (или раздвоенность) порой воспоминания сопровождает — и тогдашний ты, но и теперешний и между этими двумя то согласие, то разлад. Оценка же вспоминаемого от состояния-настроения зависит и от того, что вспоминается, конечно. Какая разная она до противоположности у Пушкина. “И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и прокливаю...” Это одно, а вот “что наши лучшие желанья, что наши свежие мечтанья исчезли быстрой чередой, как листья осени гнилой” — совсем другое.

Уильям Фолкнер утверждал: “Прошлое есть”. И не в том, думается, смысле, что оно в нашей памяти есть, а в том, что оно неосязаемо, но все-таки реально, объективно каким-то образом существует. Удивительно, что современная квантовая физика нечто подобное предполагает: есть оно, прошлое, то ли в информации, в квантовом мире записанное, то ли в ином, кроме наших известных трех, измерений. Оно и непредставимо почти, оно, если все-таки допустить, принять такое, чем-то и хорошо, и приятно. Для материалистов-атеистов во всяком случае, потому что религиозные люди верят в бессмертие души и без этой гипотезы научной.

* * *

Вот Державин, верующий он человек или атеист? Если не по жизни, по фактам ее судить, а лишь по стихам? По оде “Бог” — конечно, верующий. Какая мощь, какая органичность, искренность, естественность! Какая глубина в понимании и чувствовании и Бога, и человека, в связи их неразрывной! Что-то чуть ли не от современной квантовой физики есть: “Я крайняя степень вещества”. Двести лет назад сказано!

А по последнему его стихотворению, написанному за два дня до смерти, похоже, что атеист: “А если что и остается чрез звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы”. Кажется, что Богу при таком взгляде на мироздание и места нет. Но это только кажется, а вникнешь и увидишь, что есть. За вечностью он стоит, Бог, он и ей хозяин. Да и стихотворение гениальное, что тоже является доказательством веры. Боговдохновенное оно, именно так. Да и не только гениальное, но и просто талантливое стихотворение настоящий атеист написать не может, потому что всякий талант от Бога. Сам поэт вполне может считать себя атеистом, даже Богоборцем, но если он талантлив, то все равно вера в нем живет, пусть и неосознанно. В слово поэтическое, а значит, в Слово, которое Бог. Кстати, в некоторых переводах Библии “творец” переводится как “поэт”.

* * *

Апрель на всем ходу, а снега все еще лежат великие. Лыжные палки просовываются в снег на метр, примерно, в поле и еще глубже в лесу. Хмуро, ветрено, то снежок идет, то дождик, то дождь. Ни одной проталины нигде не чернеет и прилетевшие было птицы исчезли — есть нечего. Выматывает душу такая погода и прежде всего тем, что она не по времени. Такое чувство, будто тебя обманули и продолжают на этом обмане настаивать упорно. Чувство из общего закона души человеческой — все должно вовремя приходиться. Более или менее. Любовь первая, женитьба-замужество, дети, внуки. Любовь последняя. Смерть.

Сын уехал в Среднюю Азию. Один, с такой одежкой в рюкзаке, чтобы там, переодевшись, походить на дервиша. Насколько могу судить о тамошней жизни, как бы он не затерялся среди множества таких же. Да и у нас их хватает, только называются они бомжами.

Перечитал по такому случаю среднеазиатские повести Андрея Платонова “Джан” и “Такыр”. Пустыня, то песчаная, то глинистая, то род по ней бродит, то народец крохотный. Бродят люди на грани смерти, в усилиях предельных по выживанию. Кажется, что ничего трудней и хуже быть не может, но какая при этом показана глубокая, цепкая, первичная, вот именно, что настоящая жизнь! И так она поражает по сравнению с нашей условной, призрачной, вторичной. Не настоящей, вот именно. Виртуальной какой-то.

Как слаба, хрупка жизнь людей в пустыне, вот-вот, кажется, исчезнет, словно огонек, ветром задутый, песком засыпанный. А наша теперешняя, с ее мощью научно-технической? Не человеческой как бы уже по ее возможностям, а то ли Божественной, то ли дьявольской. Обе жизни уязвимы крайне и хрупки, только первая, пустынная, по причинам внешним, силам природным, а наша по внутренним, собственным, самоубийством грозимым. То ли медленным, не очень-то и заметным даже, то ли быстрым и мучительным.

* * *

Можно очень дальнюю поездку туристическую совершить и останется она просто поездкой, а можно по незнакомому району своего же города денек побродить, на людей тамошних посмотреть, а то и поговорить с кем-то, и будет это путешествие, пусть и совсем крошечное. Вот у сына так, по-моему. То разные страны он, как турист, посещает, то по Индии, по Центральной Азии, по Крыму, по земле калужской одиноко бродит, и вот это, последнее, и есть путешествия.

Живет в нашем доме старушка древняя, которую изредка можно увидеть в ближний магазин тихо-тихо идущей. Но это для меня он ближний, а для нее очень даже дальний. Сколько на пути до него опасностей, трудностей, неожиданностей! Но ведь и интересного, нового, наверно, немало, начиная с самого магазина с его многолюдьем, товарами, очередями. А какие сборы перед выходом из дома, какая радость после возвращения благополучного! Целое путешествие получается со всеми его основными признаками.

Встретил недавно на очень скользкой, льдистой тропинке грузного старца с палкой. По походке можно было отдаленные последствия инсульта предположить, как оно потом в разговоре и оказалось. И еще оказалось, что идет он в такой, опасной явно, дорожной обстановке без всякой житейской необходимости, просто для прогулки. Когда же маршрут ее примерно объяснил, то я ушам не поверил — километра три! Ну, и выразил ему свое удивление и предостеречь его попытался, но он только рукой махнул: “Надо...” И поковылял себе дальше... Вот это поход высшей категории сложности!

* * *

Первое самое воспоминание мое — солнце, зной, дорога... И в последующие очень его много, солнца, словно оно тебе верным другом было, вечером уходящим за горизонт, до мой, и вновь приходящим утром. А теперь понимаешь, что еще и близким, кровным, так сказать, родственником, потому что из одного в конечном счете мы с ним сделаны вещества.

Если не появлялся этот друг-родственник утром, то было грустно, а если проникал до самой постели, то радостно и хотелось выбежать поскорее к нему во двор, да с ним тепло и обняться.

Особенно на речке, во время купания, родственная необходимость солнца остро ощущалась. Уйдет за тучку, мы и сидим, посиневшие, на берегу, дрожим, в небо посматриваем, возвращения солнышка ожидаем. Солнышка, так и говорилось всегда. Дождались, отогрелись блаженно — и в воду...

Три вещи, которые с собой можно было носить, ценились в ту пору больше всего — складной ножик, фонарик электрический и лупа. Первые две были понятны и по устройству, и по действию, а в лупе представлялось некое чудо и тайна. Стеклашка ведь всего-навсего, пусть и выпуклая, а повернул боком к солнцу, фокус, точку слепяще яркую, поймал — и деревяшка сухая начинала понемногу темнеть, дымиться, а там и язычок пламени бледный, едва заметный, возникал. И казалось, что это капелька солнца крошечная на деревяшку капнула через лупу. Прижигали и кожу собственную, и первое пощипывание солнечное было приятно, мгновенно превращаясь в резкую боль...

Чувство присутствия постоянного солнца, такое острое в детстве, начало нарастать и в старости. Восторга, правда, былого нет, а тихая удовлетворенность, умиротворенность и благодарность к нему есть. Как у Твардовского: “На дне моей жизни, на самом доньшке, захочется мне посидеть на солнышке, на теплом пенушке”. Вот и мне хочется посидеть, и уже сижу все чаще...

Самое величественное зрелище, которое наблюдать приходилось, осенние закаты. Особенную мощь и красочность они имеют, да еще и чувство осени усиливает впечатление от них. Совпадает в душе как-то: закат дня, закат года. А можно, возраста почтенного достигнув, добавить — и жизни закат.

У Юрия Олеши есть запись, что, если бы не существовало закатов, то судьба человечества могла бы быть иной. На первый взгляд странная мысль, но если поразмыслишь, то не такая уж и странная. Зрелище-то поразительное, божественное прямо-таки порой, и дается людям регулярно, едва ли не ежедневно. Не может оно на душу человеческую не влиять и влияет, конечно. Кого-то печалит, кого-то бодрит, но во всяком случае приподнимает над обыденностью мелкой, житейской. Не можешь ты быть ничтожеством, если такое тебе видеть дано. И не случайно в мире оказался, а по чьей-то воле высшей, которой подвластен и ты, и этот вот закат перед тобой.

Поэтов, да и вообще художников можно и по отношению к солнцу разделять. Пушкин, к примеру, очевидно “солнечный”, дневной, а Лермонтов так и нет. Ночной, пожалуй, “лунный”.

Написал о “солнечности” Пушкина и “лунности” Лермонтова и подумал, что и всех людей так же, примерно, можно разделить и это будет соответствовать экстравертам и интровертам. А еще ведь и половое соответствие такому разделению есть, “солнечность” чаще черта мужская, а “лунность” женская.

Солнце надежно, а луна таинственна и изменчива. Вот она облачко крохотное на предвечернем небе, если бы не форма, то от других крошек облаков и не отличить. А потом понемногу, незаметно для глаз, светом, силой, словно кровью живой, начинает наливаться. Есть и еще удивительное — выйдешь из дома точно в то же время, как и вчера, а луны на прежнем месте нет. И вообще нет нигде. Когда впервые такое заметил, то вспомнил народное: “Черт луну украл”.

В пору, когда нечто существенное в жизни происходит-решается, рассматривают люди на луну: что она предскажет? Цвет тут важен-то просто белая она, отстраненно-равнодушная, а то вдруг такая страшная, угрожающая, кроваво-мутная. К беде, или к твоей личной, или всеобщей. На белой луне можно и рисунок разглядеть-вообразить: то ли рожицу забавную, то ли череп человеческий — по настроению смотрящего.

Таинственность и загадочность главное для человека в луне, потому и гадают при ней и колдуют. И чувство сказочности окружающего она дает, особенно в зимнем ночном лесу, заснеженном или мощным инеем покрытом. Сомневаться начинаешь — в земном, обыденном ты мире или в каком-то ином...

Видел во время байдарочного похода по Болве затмение полное лунное и разочарован был не им даже, а своей на него реакцией. Сухо было в душе, спокойно, почти равнодушно. Задвинули полную луну черной заслонкой медленно и тут же, так же медленно, открыли, только и всего. Возраст ли роль сыграл, а может, еще и то, что люди на ней, луне, побывали. Расколдовали ее этим как-то.

Застраивают нашу окраину с ошеломляющей какой-то быстротой высокими, до неба, домами. Оно и исчезает с одной стороны, стеной дырчатой — оконной заменяясь. И сторона-то западная, в которой за десятки лет я закаты привык наблюдать. Потеря существенная и для чувства неволи и тоски причина. Раньше ходил вдоль заката, а теперь вдоль стены сплошной, высоченной...

Пришлось давненько уже пару лет в Москве прожить в условиях вполне комфортных, но что-то меня там исподволь тяготило, мучило, словно вздохнуть свободно и глубоко никак почему-то не мог. Наконец, догадался-таки о причине и был удивлен и простотой ее и, одновременно, весомостью. Неба там не было видно, а без неба жизнь тюремный какой-то оттенок получает, вот именно, что без вдоха свободного и глубокого.

Михаил Кузькин-Воронецкий, поэт и мой друг, написал: “Со мной идет моя природа, верней жены на свете нет”. Хорошо написал. А если выбрать то, что из проявлений природы приятней, важнее, прекраснее всего? Для меня небо, потом поле холмистое, потом река... Ну, а потом уж, и море, и горы. Набор, в общем-то, не очень и велик и тут очередность именно человека характеризует. Родное чаще всего на первых местах. Даже и тундра, и пустыня, приходилось слышать.

В небе значимость прежде всего душевная и зрелищная, а уж потом житейская в смысле дождя, снега, ветра, мороза или жары. Оно всегда над тобой и даже с тобой, если ничто его не заслоняет, разумеется. И бесконечно разнообразное в облаках и тучах, и вечно одинаковое почти в чистоте синевы днем и пестроте звезд ночью. И тянет туда, в него. Не просто взлететь (хотя и это), но и уйти совсем. По слову Пушкина: “Туда б, в заоблачную келью, в соседство Бога скрыться мне”.

Одно из самых ранних воспоминаний — крона осокоря огромная, листва его мелкая, тускло-зеленая с серебристым отливом, а сквозь нее то

пятнышками, то прогалами целыми плотное, накаленно-синее небо. Лежишь на спине, в него зачарованно смотришь и тянет улететь туда к чему-то непонятному, но важному, манящему, сладкому. И даже лететь начинаешь чуть-чуть, оставаясь на месте. А потом, через много лет, через жизнь целую, стоишь на берегу Калужки на мартовском снегу и видишь над собой сосны матерые с зеленой хвоей темной-темной, а сквозь нее кусками то же самое плотное, светящееся густой синевою небо. Глаз не оторвать, но чувства полета начинающегося все нет и нет...

Закливание жаворонков — тоже из воспоминаний ранних. Жаворонок, только что испеченный, на ладони, а к нему должны настоящие, живые жаворонки с неба спуститься, как к товарищу своему. Тянешь ладонь вверх, к небу поближе, а их, живых, не видно, хоть и смотришь до тумана влажного в глазах. Жаворонок так никогда и не удалось завлечь-дождаться, а вот голубей в небе случается наблюдать много уже лет. Есть две голубятни в ближней нашей округе и одна дальняя, над Окой, куда на велосипеде только ехать. Вот на дальней зрелище и бывает главное, долгое, бередящее душу.

Стая взлетает неохотно, норовит в голубятню вернуться и раз, и другой, и третий, но мужик-голубятник упорно машет шестом с белой тряпкой на конце, гонит и гонит голубей из дома в небо. Небо безоблачное, огромное, голубое и чуть серым припорошенное от зноя. Берег высокие, Ока внизу то слепящими солнечными пятнами горит, то мелкой, серебряной рябью дрожит-сверкает.

Вот голуби пошли наконец-то в небо, кругами, сначала широкими и медленными, а потом все уже, все туже до вертикального почти, столбом, взлетают. И ты за ними вслед взлетаешь словно бы, теряясь, растворяясь понемногу в солнечном небе. В детстве жаворонков с неба не удалось спустить, а вот с голубями взлететь в небо, душой одной хотя бы, вдруг и получалось. Может, потому, что голубь птица особенная, Богом отмеченная, Благоую весть нам когда-то принесшая. И думается мне, что и мужик-голубятник испытывает что-то похожее, да и не только он, но и все они, страстные любители голубей. Вот именно полет душой вместе с голубями в небо, в глубину его и высоту, к Богу поближе...

* * *

Ни на что небесное не накручено так много земного, суетного, экранного, как на звездах. Слои, кокон целый, суть их космическую закрывающий. И то у нас звезды, и это, и здесь они, и там...

Но есть и прекрасная с ними связь. У Бунина, например, в рассказе “Поздний час”. Сидел юный герой рассказа с возлюбленной своей юной и видел одинокую зеленую звезду, теплившуюся выжидательно и что-то беззвучно говорившую им. А через много лет, через жизнь целую, стоял у ее могилы и видел ту же зеленую звезду, но уже немую...

Или у Иннокентия Анненского про звезду. Или, может быть, про женщину одновременно. Как-то и непонятно, и таинственно, и волшебю: “...не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света”.

А еще и “Гори, гори моя звезда”, — романс, и даже куплеты: “С неба звездочку достану и на память подарю”. Очень мило.

Вскоре после войны ходили по рукам у ребятни жестяные звездочки с пилоток солдатских и эмалированные с офицерских фуражек. Офицерские были тяжеленькие такие, густого, темно-вишневого цвета и казались едва ли не красивей, значительней медалями и орденов. И на кладбищах над пирамидками могильными сплошные возвышались звезды фанерные и жестяные.

Была и книга “Кавалер Золотой Звезды” и фильм с таким же названием, и всегдашний после прочтения-просмотра вопрос — где же тот край, то место, где такие люди прекрасные живут прекрасной своей жизнью?

Помню, как привезли тело нашего земляка, Героя Советского Союза Черникова, чтобы на родине похоронить. Прощание с ним было в районном доме культуры, и всех гроб удивил — вот и слово не подберешь... Красотой? Роскошью? Нет, не то. Необычностью, так скажем. Помню даже, как му-

жик какой-то сказал рядом: “Я б в такой хоть сейчас лег”. Было в этом что-то и остроумно-забавное, и нехорошее, неправильное, потому, может, и запомнилось. И еще запомнилось, что мать героя была точно такая же, как и все прочие наши старушки, только в черном платке. А на подушечке красной у гроба Звезда Героя лежала...

Смотреть на звездное небо и притягательно, и интересно, и утешительно даже. Успокаивает это и при передрягах житейских, и при горестях серьезных. Когда у Циолковского умер старый друг, то он сказал его взрослому сыну, отчасти даже и своему ученику — приходите, будем смотреть на звезды. Успокоить, утешить хоть как-то этим человека хотел и сам, может быть, утешиться. Очень даже понятно.

Летом звезды не очень замечаешь, а вот зимой они ежевечернее почти зрелище. Прекрасное и утешительное. Не по конкретному какому-нибудь поводу утешительное, а вообще, по жизни всей целиком. Посмотришь на Орион, на Гончих Псов, на обе Медведицы и поспокойней тебе станет, и полегче.

Шел на днях в ранних сумерках, остановился на нашем футбольном поле, первую звезду поискал. И нашел — и первую, и вторую, и третью... Слабенькие, едва заметные — ростки проклонувшиеся. А если полчаса подождать, то все поле небесное будет ими усеяно. И не ростками уже, а зрелыми вполне звездами... Живут они с нами, над нами, по кругу идут едва уловимо, являясь вечерами и уходя по утрам. И долго их не видя, тосковать по ним начинаешь, как по солнцу, луне, живому огню костра...

* * *

Жил я в раннем детстве в деревушке Красный Камыш — она и воспринималась, как вся моя родина. Переехал в поселок Тим и к чувству родины он прибавился. А потом, лет в восемь, поехал с дядей Мишей на велосипеде (на раме сидя) из Камыша в Тим по холмистым полям и поля эти ощутились не просто тоже родиной, но какой-то основой ее, на которой и Камыш, и Тим стоят, и село Становое, в котором мы задержались отдохнуть на высоком берегу пруда. Сидели в тени под березой, внизу огромный пруд сверкал на солнце, на другом берегу хаты виднелись — и это тоже была родина. А когда поехали дальше, то вновь потянулись поля холмистые, та самая основа, на которой все-все родное держится-стоит. И я не то, что думал, а чувствовал, что построить что хочешь можно, но стоять то оно будет все равно только на этих холмах-полях, а вот их построить нельзя, они просто есть навсегда.

Впервые заметилось и запомнилось при этой велосипедной езде чередование низин и взгорков — то суживается все до одних зеленых склонов вокруг, то расширяется до дальней, зеленой и синей, дали... Холмы — волны неподвижные, так потом всю жизнь чувствовалось. Разные очень по окраске в разную пору и разных местах — то чернота пахоты свежей, то зелень хлебов, то их же желтизна, то белесость проступающего сквозь чернозем мела, то снежная белизна мягкая или сверкающая слодянисто на солнце...

Помню солнечный день в конце лета, который мы провели с сыном, взрослым уже парнем — студентом, расхаживая по своим холмам-волнам. Такое было чувство, словно ходим не по земле, а по Земле, как планете, что она вся целиком такая, состоящая из желтой, скользко-блестящей стерни полей вокруг; огромных, редких, соломенных ометов на них; пустынного, синего с васильковым отливом неба и сильнейшего, горячего, ветра. Взобрались в конце концов на один из ометов отдохнуть-подремать, и там почудилось, что ветер вот-вот может оторвать и понести куда-то и омет, и нас заодно. И тоже не над землей, а над Землей...

Горы дают похожее, но еще более острое ощущение, и на нем, может быть, замешана и любовь к ним и страсть альпинистов на них подниматься. Но там грозность, опасность кругом, необходимость быть в напряжении, настороже, а в наших холмах такой уют, такой покой! И кормят они собой человека, как груди с сосцами млечными, надо лишь поработать, “надавить” на них...

Почти полвека живу в каких-нибудь пятистах километрах к северу от родных моих курских мест. Природа здесь изумительная и редкая по сохранности — леса и реки, реки и леса. Поллюбил все здесь сильно и нежно, а все равно чуть-чуть постоянно чего-то не хватает. А вот этих самых волн-холмов, с верхушек которых видна на десятки километров синяя, призывная, душу до боли сосущая, даль. Бывает она и здесь, но иная, будто обрезанная наполовину, без сладкой той боли и тоски.

* * *

Сильная привязанность к “малой” родине отнюдь для человека не обязательна, но довольно-таки часта. Тут и Фолкнер, всю жизнь писавший “о клочке земли величиной с почтовую марку”, и Шолохов с Доном и хутором Татарским, и Маркес с селением Макондо... Мировые писатели, изображавшие, в своем главном и лучшем, все тот же “клочок земли”. А получалось человечество и весь мир. Сплошь, подряд, этого не изобразить никому и никогда, а вот в капле воды родной отразить можно.

Не исключено, что и ген любви к кровно-родному существует. У кого-то он есть, а у кого-то и нет. И им, вторым, жить, наверное, легче. Где удобно, денежно, безопасно, здорово полезно, там, можешь считать, и родина. И спорить тут не о чем, такие люди никаких возражений не примут и даже их не поймут. И будут для себя совершенно правы. А если самому таким вдруг стать? Дикое предположение, потому что тогда это уже не ты, а совсем уже другой человек будет. Беспощадно ограбленный...

* * *

Трудно, невозможно даже представить себе человека, который бы рек не любил. И не польза от них тут главное, хотя и она велика, а то, что они живые, на нас самих чем-то похожие. Всегда одни и те же и всегда разные в каждый миг. В романе Мелвилла “Моби Дик” матрос кричит капитану Ахаву: “Пекод течет, сэр!”. А капитан отвечает: “Все течет, и я теку!” Вот именно. Все течет и прежде всего реки. Этим и завораживают, и влекут, и держат — не отпускают.

Много рек в жизни человеческой случается, а главных чаще всего две: река детства, конечно, и река старости. Иногда это одна и та же река и такое, по-моему, большая удача — всю жизнь при одной и той же, своей реке прожить...

У меня река детства Тим и помню я ее лет с трех: бережок зеленый, ровный, обрывчик низенький, потом вода серая, гладкая и вдруг (заметил!) текущая. Знал-то раньше стоячую воду в кружке, в ведре, в луже, а тут вот она, большая такая, вся движется, течет! Тогда, может, чувство, что река живая, впервые и шевельнулось.

Странно, что ни одного купанья в речушке этой совершенно не помню, да, может, их и не было. Купались в “копанях” рядом, ямах таких больших, длинных, оставшихся от добычи торфа. Удобней, наверное, было: вода теплей, глубина в самый раз, берег всегда рядом. А река дело неизведанное, опасное, живое, текучее. Видел потом, как туристы в приморских отелях не в море, а в бассейнах купаются, и “копани” наши вспоминал, которые нам вроде этих бассейнов и были.

Потом мы с матушкой переехали из деревни в райцентр, на той же речке стоявший, вот тут-то она и явилась во всей силе и красе с начала мая по сентябрь за годом год. Часть жизни важнейшая, не будь ее, мы бы другими людьми стали хоть немного. Думаю, что похуже. Летним утром солнечным проснешься, и радостно тебе и совершенно ясно, что делать — на речку!

Странно, что голыми мы не купались, хотя чего уж там было стесняться — своя компания и никого вокруг. Целомудрие, стыдливость какая-то была великая, уже и непонятная теперь. Помню, сидел я одиноко в ранних сумерках на берегу пруда, только что искупавшись, а к другому берегу, совершенно пустынному, трактор подъехал. Тракторист, озираясь, догола раз-

делся и побрел в воду, прикрывая “стыдное” место. Даже я удивился — кого стыдиться, если ни души вокруг? Он и после купанья так же, прикрываясь, к трактору шел...И вот теперь думаю — хороша ли такая стыдливость? Хочется ответить — конечно, хороша! Но что-то удерживает, не вполне и самому понятное. Кажется, что тут не одна стыдливость-целомудренность, но и еще что-то не очень-то уже и хорошее. Зажатость какая-то чрезмерная, тревожность и даже страх. Неопределенный страх, витавший над людьми в те далекие годы. Вдруг ты правило какое-то, тебе неведомое, нарушаешь, и придется за это отвечать. С опаской постоянной жили, и опять твердо не скажешь, плохо такое было или хорошо...

* * *

Рыбу свою первую я в речке нашей и поймал. Рыбку, конечно, плотвичку, в мою тогдашнюю ладонь величиной. И осталась она в памяти самой чудесной из всех, вообще пойманных...

Река Тим. Странновато даже и на мой привычный слух. Мужское, даже мальчишеское что-то: Тим, Тима, Тимофей. И с детством река-речка эта моя хорошо совпадает по размерам, по силам, “по плечу” как раз. У самого истока ее и собственная жизнь начиналась.

А вот Ока, у которой жизнь кончается, совсем другое дело. Тоже три буквы всего, но какая разница! Ока! Какой простор, свобода, полнота! И женственность какая, и какой-то даже оклик, призыв, обещание... И даль, и эхо, и уход, и встреча...

Большая уже она у нас в Калуге, во много-много раз Тима моего детского больше. Тоже с жизнью теперешней некое соответствие, с длиной ее, объемом, опытом. Словно это одна и та же жизнь — река, растущая от истока к устью.

Последние лет десять езжу на велосипеде к Оке очень часто, и чувствуется в этом некий знак возвращения и к велосипеду детства, и к почти ежедневной тогда летней реке. В купании, в сидении-лежании на берегу тогда и теперь есть общность в воде текущей, завораживающей, зовущей с собой, и разница в цели. Тогда словно вливался в расширяющуюся жизнь, а теперь из нее потихоньку выплываешь.

Всегда хотелось на самом-самом берегу реки жить, чтобы она и со двора, и из окон дома была видна и в любую минуту доступна. Не пришлось, а вот кладбище наше, где матушка похоронена, прямо над прекрасной и давно уж родной речкой Калужкой расположено, перед ее впадением в Оку...

* * *

Лес... Люблю, конечно, но как-то странно, с прохладцей как бы, с расстояния некоторого. С детства это повелось да так на всю жизнь и осталось, недаром он аж на четвертом месте среди самого любимого оказался.

Было у нас в Тиму три леса, больших в степи перелеска, в сущности. Тимской, Липовый и Шеламовский. Первый, самый близкий и самый посещаемый, километрах в трех находился, и идти к нему надо было через село Выгорное, примыкавшее почти вплотную к Тиму. Опасное для нас было место по вечной вражде с тамошней ребятней. Драчки случались, ягоды они у нас норовили отнимать, а мы их дразнили “хамками”. То ли за грабеж этот бесстыдный, то ли из некоего городского высокомерия. Даже стишок им при случае выкрикивали-дразнили: “Хамы, хамы, хамотрёсы, не подмазаны колёсы...” Дальше непристойно, но и остроумно тоже. Помню случай забавный: идем втроем с полными банками земляники и вдруг они, “хамы”, в большом, намного нас превосходящем, числе. Тут нам старшой по авторитету и силе, Шурка Чупахин, и крикнул: “Высыпайте ягоды, пусть с земли подбирают!” Высыпали и идти-уходить продолжаем. А они и в самом деле за нами не погнались для драки, у ягод застряли. До сих пор помню чувство, что мы поступили лучше, правильной, чем они...

Липовый лес был подальше, побольше, потаинственнее и славился родником, в котором и прохладиться и, главное, напиться можно было. И еще дремучесть в нем некая особенная была из-за множества елей. Мы в глубь его избегали заходить, опасаясь заблудиться. А потом, студентом уже, проехал я его на велосипеде насквозь за несколько минут, увидел за ним деревушку уютную и даже разочарование некоторое испытал, будто некую дорожку, заветную тайну детства вдруг неосторожно разрушил.

Шеламовский лес, Шеламовка, был самым дальним, километрах в шести по грейдерной дороге. Ходили туда всегда к осени, за орехами, и поход этот считался делом серьезным и по отдаленности и потому, что на опушке леса, рядом с дорогой жили совершенно одиноко две тетки нищенского даже по тогдашнему времени, странного вида. Колдуньи, как у нас считалось...

Это все леса-перелески детства и юности, а теперь много лет вокруг леса вековые, дремучие, калужские, переходящие на юго-западе в знаменитые брянские, "брынские" по-старинному. Через них сам Илья Муромец в Киев когда-то ехал, с самим Соловьем-разбойником у нашей реки Ресеты сражался...

Но как ни хорош порой бывает лес, чувствую, что не лесной я человек, душу он исподволь как-то угнетает. Когда увидел впервые деревни, поселки дачные, внутри леса расположенные, то удивлен был неприятно: тесно, тяжело, как в зеленой тюрьме. Даже кладбища лесные не милы, унылы — ни вида здесь, ни вдоха!

И все-таки из самого-самого любимого в природе есть и с лесом именно связанное: сосна могучая с золотистым стволом и солнечная синева сквозь ее крону...

* * *

Дорога к Богу, дорога в ад, дорога домой, дороги войны, любви, жизни... Кажется, что ко всему важному, основному это слово можно приставить и будет оно в самый раз. Дорога победы и поражения, славы и позора, праведности и греха...

Но начинается-то все и в истории человечества, и в судьбе каждого человека с дороги, как таковой, по которой сначала ходили (и человечество и человек), а уж потом стали ездить — сначала на животных, а потом на всяких устройствах самодельных.

Первые дороги — тропинки под босыми ногами, теплые, горячие даже на солнце и прохладно-влажные в тени. И казалось, что не только ты сам, своей силой по тропинке идешь-бежишь, но и она чудесным каким-то образом тебя на себе несет вперед и вперед. Тропинке нет конца, а ты все-таки останавливаешься, потому что незнакомым и оттого страшноватым становится все вокруг. Твое кончилось и начинается чужое, которое с каждым разом удается отодвигать все дальше. Осваивать мир, расширять свое в нем присутствие.

Теперь же, на склоне дней, замечаешь, что ежедневные прогулки медленно, незаметно почти, год от года становятся короче — обратный пошел процесс — в самого себя возвращение...

* * *

Не забывается первая любовь, не забывается и к ней, любимой, дорога. И эта память, как и смерть, уравнивает всех — президента страны и пастуха, маршала и солдата. Читал в чьих-то воспоминаниях, что маршал Жуков в войну, в редкие спокойные минуты, на баяне играл. И не что-нибудь, а "Позарастали стежки-дорожки, где проходили милого ножки"... Играл и напевал тихонько. Возможно, и было, тоже ведь человек, хоть и маршал Жуков, и война кругом...

Лучше всех, по-моему, дороги войны показал Твардовский в книге "Родина и чужбина". Идут солдаты колонной в осенний холод, в дождь ледяной по грязи непролазной час за часом, а впереди не отдых, не просушка и обо-

грев, а окопы с тем же холодом, дождем и грязью. И действует это описание не многим слабее, чем описание боя — до мурашек по спине...

Была и у меня не фронтовая, конечно, а армейская дорога — межконтинентальную ракету с ядерной боеголовкой сопровождал на санитарной машине. Пять километров ехали часа два и все время торец ракеты перед глазами торчал. Скучно, маятно и неловко от непонятности, нелепости даже своего тут присутствия — я-то, врач, зачем? Помощь, что ли, медицинскую оказывать в случае взрыва?

* * *

Есть песня фронтовая, очень грустная, трагическая даже: “Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок в бурьяне неживой лежит...” А начинается с двух слов, вполне определяющих и тогдашнее и даже теперешнее, житейское наше отношение к дорогам: “Эх, дороги...” Лучше и короче не скажешь. А если вспомнить, что на дорогах теперешних гибнет ежегодно около 30 тысяч человек, то покажутся эти слова слишком уж лирически мягкими, кощунственно мягкими, так даже можно сказать.

Тут и Пушкин вспоминается, как почти по любому, серьезному и глубокому, поводу, его “Дорожные жалобы”: “На большой мне, знать, дороге, умереть Господь судил. На камнях под копытом, на горе под колесом, иль во рву, водой размытом, под разобранным мостом”. Он же и предполагал, что хорошие дороги появятся в России лет через 200. Пошутил, похоже, с некоей язвительностью, дав срок до нелепого и смешного большой, а оказалось, что и он мал.

* * *

Уход и возвращение, дорога из дома и дорога домой... Что-то тут есть вечное, глубинное, от воли человека мало и зависящее. Что-то первичное, религиозное даже. Уйти и вернуться — чувствуется в этом цельность жизни, цикл ее, где сводятся наконец-то начала и концы.

Из земли вышел, в землю и уйдешь, так сказано. Первую свою книжку я назвал “Долгая дорога” и жалел потом — уж очень обыденно, затерто. А теперь, на старости лет, думаю — хорошее название, про жизнь, которая как раз и есть дорога, у кого покороче, у кого подлинней. И опять Пушкин вспоминается: “И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлеть, все ж ближе к милому пределу мне бы хотелось почивать”. А где он, предел, что он такое? Место, где родился и рос, где счастлив был, так, наверно.

* * *

Холод, ветер сильный, перехожу дорогу, по которой машины на большой скорости шныряют. Старушка ветхая, издалека даже видно, стоит, ждет в потоке их просвета, в магазин ей, видать, по ту сторону надо. Подошел.

— Давайте переведу!

Посмотрела остро, оценивающе, пакет, со стороны которого я оказался, в другую руку, подальше, переложила и сказала твердо:

— Пойдем!

Передохнуть на другой стороне остановилась и резко:

— Как зовут?

— Юрий.

— Но не Гагарин?

— К сожалению, нет...

— Ничего, не жалей. Обойдешься.

И в магазин ее пришлось заводить — ступеньки, две двери неуклюжие с порогами, сумрак... Кивнул ей, повернулся уходить.

— Юра, ты куда? А обратно кто меня поведет? — И засмеялась так, что на миг стало ей не восемьдесят, а восемнадцать.

Пишешь, потому что чувство долга некоего непонятого перед кем-то или чем-то к перу и бумаге толкает. Надо писать, а почему, Бог весть. Есть и варианты в исполнении этого долга. Или сила, внутри, в груди, в душе набухающая до мурашек по коже, выхода ищет, или, наоборот, тоска настолько едкая, непереносимая, что впору от нее лекарство принимать поспешно. И лекарство это, знаешь уже по опыту — написать что-нибудь, неважно даже что, просто какие-нибудь слова, фразы. Да, вот именно — слова, слово... Держаться за них, за него, как за последнюю твою опору и надежду. Так и приходилось делать в конкретные часы и минуты и, удивительно, помогало! А если вообще жизнь впереди представлялась беспросветно мрачной и тяжелой, то на вопрос, как же ее, такую, жить, ответ один был — писать буду, вот и все.

Подумал об этом и вдруг прекрасного человека и писателя Алексея Ивановича Шеметова, давно уже покойного, вспомнил. Сидели однажды, ночь целую проговорив, и уже на рассвете он маленький эпизод из лагерного своего опыта вспомнил — о том, как литература ему выжить в лагере помогала. Пилили бревно двуручной пилой, опилки ему на штаны ватные ровненько так, дорожкой, ложились, а он представлял, как и это тоже опишет когда-нибудь...

И выжил, отсидев около десяти лет по 58-й статье, и много хороших книг написал потом. О лагере же писал напоследок, в конце долгой своей жизни, и замысел тут у него был совершенно особенный и, по-моему, прекрасный: не о плохом, ужасном написать, об этом уж много-много написано, а о хорошем. Ведь случалось же оно, бывало и у него, и у других. Не могло не бывать, потому что не адом же был ГУЛаг, а жизнью все-таки, пусть и самой страшной, но в которой все-таки случается всякое. Способность же увидеть и запомнить свет среди сплошной почти тьмы есть признак души сильной и высокой.

Высота и сила его души, кстати, и во внешности чудом каким-то проявлялась. Лицо простое, народное с цыганской или чалдонской особенкой, морщины крупные, кожа, изношенная усилиями всей жизни — лицо земледельца, геолога, матроса, одежда небрежная до крайности, заношенная... И с таким внешним видом, не раз наблюдал, его во всяких разных местах, где пропуск или документ, чтобы пройти, был нужен, его просто так, свободно пропускали. Чутьем, видать, угадывали — особенный, значительный человек, которого останавливать неловко и не надо.

Был он очень худым, но каким-то закаленным-прокаленным, прочным и прожил бы, скорей всего, далеко за восемьдесят, если б в гололедицу не поскользнулся, не упал, сильно поломавшись. Хоронили его поздней осенью при холодном мелком дожде, но головы у всех так и остались непокрытыми до конца...

Очень хороши, на мой взгляд, даже одни названия его книг: “Вальдшнепы над тюрьмой”, “Сумка дервиша”, “Крик вещей птицы”. Хоть и тюрьма тут присутствует, но и какая душевная свобода и воля!

А совсем недавно прочитал дневниковую запись большого, великого, может быть, поэта Николая Клюева, бывшего в конце тридцатых годов прошлого века в Томске, о том, что навестил его молоденький рабфаковец Алексей Шеметов — и как привет от Алексея Ивановича получил...

Пришлось видеть, как ведут себя люди в тяжелой, долгой и, в конечном счете, безнадежной болезни при лечении, которое переносить едва ли не труднее, чем саму болезнь. Творческие, что называется, были люди — два поэта и театральный режиссер. Поражала энергия, с которой они продолжали, несмотря на болезнь, заниматься своим делом, и результаты его были едва ли не лучше, чем при полном здоровье. Откуда, думалось изумленно, такая сила духа, сила воли, такое мужество и выносливость? К себе ситуация

неизбежно примерялась и становилось как-то виновато — нет, самому так, если случится, не потянуть...

А потом понимание постепенно пришло, что именно дело творческое, в котором самая суть жизни их была заключена, на такой высоте их и держала. Особенного волевого самопреодоления им, возможно, и не требовалось — дело жизни их не только вело, но и помогало держаться не просто на плаву, но и на редкой высоте. Было у них что сказать людям, они и говорили с энергией ограниченного жестко времени, стараясь успеть. Тут, похоже, и есть тайна такого достойного, завидного ухода или хотя бы часть ее существенная, когда дело, которым человек занимается, соразмерно жизни самой.

Очень уже давно друг хирург рассказывал, как в их отделении делали тяжелую и опасную операцию главному конструктору одного из калужских заводов. И первые слова, которые он, конструктор, сказал, были: “Работать я смогу?” И фамилия запомнилась — Кирюхин, лауреат Ленинской премии. Тоже, конечно, творец истинный был, для которого дело жизни ей самой соразмерно.

Ну, а как же Бог, люди самые близкие, любовь в конце концов? А это все в творчестве, пусть и в скрытом, свернутом виде, заключено. Бог — творец, и человек сотворец Богу. Бог есть любовь, но и в сути самой творчества тоже любовь к тому, что человек сотворяет для людей. Вот и сходятся, похоже, здесь концы с концами...

* * *

Вообще, начало творческое, пусть и в самом слабом, крошечном проявлении, можно в любое, ну, почти в любое дело внести. Помню, мастерили мы в детстве лодочки деревянные с бумажными парусами, самолетики из бумаги. Порой получалось особенно удачно, красиво как-то, и красивые эти изделия и летали-плавали лучше других. Запустишь красивый самолетик и так он далеко и высоко летит, такие виражи лихие закладывает! Смотришь и даже сердце замирает, словно ты не на земле стоишь, а там, в самолетике своем сидишь, и им управляешь.

Пришлось видеть даже и забор, вполне творчески построенный — в Юрмале, в месте впадения реки Лиелупе в море. Бетонный, с изгибами гармонически-плавными, как волны морские, в одном месте даже в реку чуть заходящий и образующий нечто вроде беседки. И стеклянные квадраты, и прямоугольники были там и там в бетон вмазаны, и на них роспись тончайшая — пейзажи, люди, звери... Узнал у жильца дома, стоящего у забора, простецкой восьми квартирной двухэтажки, что забор строит в одиночку архитектор, который в этом доме и живет. Всю жизнь строит, десятки лет. В последнее время, правда, помогать стали, бетон дают — привозят. Уверен, что забор этот городской достопримечательностью, туробъектом стал в конце концов.

В тульском музее оружия есть фотография конца XIX века: “Мастер Севастьянов со своим изделием”. На ней мужчина средних лет, сидящий на стуле особенно как-то прямо, усы в стрелку, взгляд прямой и пронзительный. Правой рукой мастер держит ружье, упертое прикладом в пол, левая лежит на левом колене. Поразительно величественный вид, будто он и не заводской рабочий, а царь-государь или полководец. А потому что опора у него самая надежная, которая только вообще может быть у человека — его изделие...

* * *

Прочитал где-то, что главной исторической удачей Швеции было поражение в Северной войне с Россией. Вполне понятно — ушла она с авансцены истории в Скандинавскую свою тихую заводь. На авансцене схватки страшные одна за другой не на жизнь, а на смерть, революции кровавые у главных стран-игроков, разор, голод, трус и мор, а шведы жили себе поживали да добра наживали. И сами, может, того не желая, для самих себя незаметно, шведский свой социализм и построили. Уж если не с полным ра-

венством, то с максимальной разницей в зарплате всего в семь раз. А в России она, разница эта, теперь, после моря пролитой крови в борьбе за равенство, в сто раз, примерно. Тут и вспомнишь мысль Пушкина о том, что наилучшие и прочнейшие изменения суть те, которые совершаются не насильственными переворотами, но путем улучшения нравов. “Постепеновцем”, выходит, был Пушкин. Со студенчества помню, что в российской социал-демократии были они, “постепеновцы”, и говорилось о них в учебниках весьма пренебрежительно. То ли дело баррикады!

Очень уж и человек, и жизнь его противоречивы, порой до безвыходности, и тут хороша и глубока мысль Пастернака: “...Но поражений от победы ты сам не должен отличать”. Потому что это в самой-самой сущности своей и неотличимо. В победе таится всегда зерно, возможность последующего поражения, а в поражении зерно победы. Делай, что должно, пусть будет, как будет — вот одна из мыслей самых мудрейших, на ней сердце и успокаивается, потому что результатов дальних от действий наших все равно никогда не просчитать.

* * *

Шли мы в детстве с дружкой Генкой ко мне домой в шахматы поиграть и пристал к нам по дороге Валька Ключин, наш поселковый бродяжка — оборванец по странному прозвищу У Ну — был тогда такой деятель в ООН, чуть ли не Генсек, вспоминали о нем часто по репродукторам на столбах. Вот Валька однажды и выдал: “Да ну, сказал У Ну”. Тут-то прозвище к нему и пристало, по имени его и не звали почти.

Дошли до дома, и я калитку перед носом этого У Ну и захлопнул, и ожог стыда тут же ощутил, который до сих пор помню. Помню и резоны свои оправдательные: прилипала, рахитик грязнее грязи, придурок... Да и что бы он с нами делал, не умея в шахматы играть? Смотрел бы, как баран на ворота? Резоны существенными были, но стыд так и не смогли унять, приглушили разве...

А вспомнил я эту историю вчера в соседнем сквере. Сажу на лавке, открыл банку пива и слышу от мужика бомжовского, пропойного вида, сидящего рядом: “Дашь глотнуть?” Покачал я головой отрицательно, а он тут же встал и пошел быстро. И стало мне так, что хоть следом иди и банку эту ему всучивай. И опять же оправдание мелькнуло — не пить же с ним, таким, из одной посуды? Ну, так и отдал бы банку, а себе бы другую купил! И не пустяк это совсем, а грех истинный — в глотке человеку жаждущему отказать...

Характерно, что “достаёт” подобное именно в детстве и старости, а в так называемые зрелые годы, пожалуй, и внимания бы не обратил. Поэтому, может, что общность братская людей в начале и конце жизни острее чувствуется. В начале не выделился еще вполне в эту самую индивидуальность, границы ее не обозначил и не укрепил, а в конце размываться они стали. И правильно, и хорошо.

* * *

Вспомнил Вальку Ключина, и вся семья его вспомнилась: мать хворающая, нигде не работающая, брат старший Колька, настоящий Маугли по силе и ловкости, и старшая сестра Верка, красавица писаная. Кормила всех она, работавшая в райпотребсоюзе, а жили они в подвале с буржуйкой, из бочки сделанной. Крайняя, конечно, нищета, но и какая бодрость, веселость у всех, кроме матери! Верка была так хороша, что глазам не верилось. Жемчужина какая-то среди мусора, так, примерно.

И вдруг Верка исчезла — разглядел ее какой-то мужичок случайный из Подмосковья и с собой увез. Да это-то понятно вполне, но ведь она вернулась вскоре и мать с братьями с собой забрала! Это именно всех поразило — куда, к кому выйти орду такую? По слухам, устроились они как-то, а братья даже в школу стали ходить, чего в Тиму не дельвали...

Прямо под горой, на которой их дом (подвал) находился, была хатенка, в которой жил парень старше меня года на три, в нашем педучилище учился, а потом адмиралом в конце концов стал. Ну, ладно бы, генералом, а уж адмиралом — и совсем чудо-чудное.

А через дорогу и чуть в сторону от нашего дома в многодетной и очень бедной семье девица тихонькая росла. Имени ее не помню, а у ее брата прозвище было “Муза”, у такого вялого, белобрысого толстяка! Так вот сестра его знаменитый физтех, что в подмосковном Долгопрудном, закончила, карьеру научную сделала и тоже, как Верка, родных к себе перетащила.

У моего же свояка (впоследствии, конечно), тоже нашего, тимского, было три брата и две сестры. И мать — кормилица единственная, и хата метров в двадцать пять квадратных. Свояк, лет на десять меня старше, строительным начальником стал союзного масштаба, и все его братья-сестры в люди, что называется, вышли. И еще можно рассказывать о многих с похожей судьбой. В том похожей, что они все вверх-вверх шли по всем социальным и житейским понятиям. Потому что, думаю теперь, несмотря на тяжелейшую жизнь в смысле материальном, дух народа был тогда крепок и высок, как никогда, может быть, раньше. Позади такая война и такая Победа, а впереди будущее — светлое непременно. Вот и шли к нему все вверх и вверх...

А сейчас сижу и думаю о людях, о семьях, которые хорошо знаю и с которыми прожил рядом последние два десятка лет. Кто-то устоял, продержался, но многие пошли по наклонной вниз. Особенно молодые — в безделье хроническое, в пьянство, в наркоманию. А потому, что дух народа никогда, возможно, не был так слаб и унижен, как в это время. Хотя материально все было несравненно благополучнее, чем тогда, в конце сороковых и начале пятидесятых. И предела этому движению вниз пока не видно, мне, по крайней мере...

И еще о похожей перемене. Были у нас в детстве-отрочестве-юности правила, никогда почти не нарушавшиеся: двое одного не бьют, лежачего не бить, драка до первой крови. Теперь же, и из личных наблюдений, и из информации СМИ как раз наоборот стало: бьют одного именно группой, лежачего особенно яростно, ногами; а уж до крови, понятно, до второй, третьей и последней в конце концов. Большой пройден путь “вниз” от нашего послевоенного рыцарства самодельного до теперешней подлой беспощадности. И не “самодельной” уже, а с большой подсказкой извне, с экранов и книжных страниц.

* * *

С раннего детства всегда влекли потаенные уголки в кустах, травах высоких, бурьянах. Хотелось туда забраться, да и приходилось порой. То от обиды с уверенностью, что искать будут, беспокоиться, жалеть, а то и просто так, посидеть в уютомности таинственной с чувством, что что-то волшебное тут с тобой может произойти.

А к старости увидишь потаенное, приятное место, да и подумаешь — вот бы где прилечь, да так и не встать, навсегда тут остаться. Есть у Пришвина подобная запись в дневниках, не предположительно-мечтательная, а вполне серьезная, как реальная возможность, план, выход на самый крайний случай: уйти подальше, лечь в пустынном, уютомном месте и умереть. Привлекательный вариант ухода, потому что рук на себя в таком случае человек не накладывает, греха этого на себя как бы и не берет. Только уж очень трудно: голодно, холодно с соблазном постоянным все это прекратить. Тогда уж мороз настоящий нужен, чтобы просто-напросто замерзнуть.

Известно, что и животные для умирания в места тайные, уютомные иногда уходят и самоубийства у них тоже случаются. Поразительное сближение! А если учесть, что геномный набор у человека и человекообразных обезьян различается минимально, на несколько всего процентов, то можно подумать, что эти проценты как раз и есть та именно душа человеческая, которую Господь Бог в нас и вдохнул когда-то...

* * *

Все чаще приходится на похоронах бывать, что и понятно — поколение уходит. То одно кладбище, то второе, то третье. И осматриваешься с затаенным интересом, и сравниваешь, и к себе, конечно, примеряешь. Есть у Твардовского стихотворение о матери, попавшей на Северный Урал в годы коллективизации и раскулачивания: “как не хотелось ей там помирать — уж очень было кладбище немилое”... Да, именно так и смотришь: милое — немилое...

Только что побывал на нашем городском, самом большом, активно действующем, и ткнулся взглядом в нечто новое: за одной из сторон и оград огромное поле, все уставленное рядами немецких машин, сделанных на расположенном рядом заводе “Фольксваген”. Как-то не по себе даже стало. И без того от них, машин, спасения нет, а вот уже и сюда добрались! Жестяная чума, распространяющаяся с эпидемической прямо-таки быстротой. Вот было кладбище это довольно милым, да немилым вдруг сделалось... Еще ужасны были венки из пластика, которые год от года становятся все огромнее, все ярче и пестрей. Просто шалаша какие-то выстраиваются над свежими могилами двухметровой высоты. Ужасна мертвенность этой пластиковой роскоши, потому что, кажется, она самих мертвецов мертвее и вне природы словно бы уже существует...

В детстве и юности кладбища были очень милы, хотя и страшноваты далеким, потусторонним каким-то, страхом. И имели они к тебе отношение, и, одновременно как-то, нет...

С Ириной пятьдесят пять лет назад приходилось посидеть вечерами у кладбища над нашей речкой. Чудесное было место, и кладбище не только его не портило, но даже улучшало, пожалуй. Чувство жизни, ценности ее увеличивало подсознательно. Опять без Пушкина не обойтись: “И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть, и равнодушная природа краскою вечною сиять”. Так все, примерно, и было тогда: и с жизнью молодой и природой равнодушной...

В Воронеже в годы студенчества был парк в центре города с танцплощадкой популярной, и называли его “Жим”, “Живых и мертвых”, так расшифровывалось, потому что на месте снесенного кладбища он был сделан. Вспомнишь об этом, топчась на танцплощадке, и станет тебе и мутно и стыдно...

Но была ведь и стоянка походная под Воронежем на берегу Усманки, поздний закат, кладбище сельское через речку, кресты его, хорошо видные на фоне остывающего неба. И почудилось тогда, что ничего прекраснее, печальнее и значительней не приходилось видеть в жизни...

Философ Николай Федоров сто с лишним лет назад высказал идею, которую и разрабатывал всю жизнь: воскрешение мертвых во плоти самым материальным, научно-практическим образом. Главную задачу всего человечества в этом видел, выполнение священного долга перед предками. Ничего величественнее, но и фантастичнее, неосуществимее никогда, наверное, и не выдвигалось. А через сотню всего лет возможность воплощения этой идеи стала вдруг просматриваться: если прах сохранился, то сохранились и клетки с их генным набором. Так почему бы, имея гены, человека из них не взрастить? Перспектива поразительная, ни с чем несравнимая. И восхищает, и ужасает одновременно. Что люди, естественно живущие, будут с воскрешенными делать, и как те, из смерти возвращенные, себя в мире будут чувствовать? Какой-то поворот жизни вспять получится, что противоречит всей сути ее...

* * *

Отпечатки пальцев совершенно особенные у каждого человека, а нас ведь семь уже миллиардов. Непредставимо, как эта особенность в каких-то пятнышках на бумаге обозначается. Чудо, в сущности! А если души человеческие представить с их сложностью бесконечной? Тут уж и разница, и отдаленность друг от друга поистине космически неизмеримыми быть должны.

Как сблизаться, как понимать друг друга, как договариваться?! А два центра, два полюса сближения теснейшего есть. Высшее в человеке, к Богу устремленное, и низшее, биологическое, животное. Жажда, голод, влечение половое можно простейшими жестами показать и тут каждый поймет каждого. И на другом, противоположном, полюсе так же. И выражение лица у молящихся людей самых разных вер очень похожее, и движения, жесты, тоже. Увидел как-то в Ленинграде, в мечети огромной, распростерты спины мусульман и подумал, что это ведь наш христианский, земной поклон, в сущности, только зафиксированный и задержанный. А давняя приятельница татарка, очень эмоциональная, воскликнула как-то в разговоре: “Господи, аллах святой!” И перекрестилась. Оно и нелепо, смешно, но и вполне понятно. Чувство обращения к Богу искреннее и горячее тут вполне выразилось, а пуганица обрядовая, пожалуй, не так и важна. Да и Христа мусульмане не отвергают, хоть он у них не Бог, а пророк. И еще в этом полюсе сближения высокоом, Божественном, искусство истинное действует, людей сближает. Недаром говорят: Божественный Рафаэль, Моцарт, Пушкин... Они и понятны всем.

* * *

Входят в моду брюки, бывшие модными лет шестьдесят назад: очень узкие в самом низу и короткие, выше щиколоток. Странно и мило их видеть, словно в молодость вдруг вернулся. Словечко тогда еще было емкое и точное по адресу человека, брюки такие надевшего: “Как подстреленный”. Очень хорошо и даже художественно.

Разнообразие моды кажется бесконечной, но ведь повторяется она рано или поздно, вновь и вновь демонстрируя вечную истину — ничто не ново под луной. Дома моды, модельеры знаменитые в этом деле заправляют, но случается вдруг и индивидуальный чей-нибудь вклад, как “толстовки” Толстого или “хрущевки” Хрущева.

Давным-давно видел, как встречали знаменитого английского режиссера Питера Брука, и кого-то он мне мучительно напомнил по своей одежде. И вдруг понял: мужики наши, времени начала продажи спиртного в магазинах ожидающие, очень похоже бывают одеты. Совпал с ними Питер Брук то ли случайно, то ли по глубинному, таинственному какому-то родству. А, может, несколько иначе: они по необходимости так одеваются просто-напросто, а он по вкусу своему артистическому. Как режиссера я его не знал совершенно, но симпатию к нему вдруг ощутил вот за это самое совпадение...

Удивителен контраст между мощью человека научной, технической, художественной и подверженностью, покорностью моде, какая-то даже перед ней беззащитность. И детское тут что-то есть, игра какая-то бесконечная. Смотришь на подиум: нелепо, смешно, но ведь и забавно, и мило, и тепло повест вдруг. Детскостью какой-то милой, простодушной. “Будьте как дети”, из Библии слова. Трудно это, но в чем-то порой и получается. В моде, например.

Смена одежды иногда не по моде, а по иным, более серьезным причинам происходит. Фронтовики, с войны вернувшиеся, сами армейскую свою одежду донашивали, а потом демобилизованные в мирное время парни стали этого стесняться, отцам и, главное, дедам ее отдавать. И замелькали в деревнях и селах мужики пожилые и старые в зеленых гимнастерках и галифе. А с начала 90-х началось переодевание стариков и старушек в молодежные одежды от внуков и детей, которое длится и до сих пор. Особенно старушки выглядят удивительно, а порой и чудесно — от карнавала тут что-то, от маскарада. А бывает так, что и от горькой, скудной слезы...

* * *

Читаю Бабеля, “Конармию” и “Одесские рассказы”. Очень талантливо — ярко, сочно, зримо, энергично, плотно. Некоторые места воспринимаются почти как стихи. Что-то, однако, упорно мешает все это принять, слов-

но заноза колющая. И в конце концов понимаю, что автор не просто показывает гражданскую войну, но словно бы ее и воспевает, как высшее проявление жизни, прелести ее и накала. Какие страсти, какие характеры! И, одновременно, что-то бутафорское, опереточное есть, некое стремление упорно поразить читателя и очаровать. Кровь и смерть показаны, конечно, но тоже как-то условно и приукрашено, что ли. Вспомнился Томас Манн: “Фашизм есть романтизированное варварство”. Люблю, в общем-то, Бабеля, перечитываю даже изредка, но не могу не признать, что манновское высказывание некое отношение к “Конармии” имеет. Да и к “Одесским рассказам” тоже. И в них романтизация, но уже не войны, а бандитизма. Не случайно рассказ о самом ярком герое “Рассказов” Бене Крике называется “Король”. И ведь хорош этот Бене: и смел, и умен, и честен по-своему, благороден даже. Одно в нем плохо — бандит махровый, а в остальном лучшего и желать нельзя. Пример для подражания прямо-таки.

Кстати, эту самую “романтизацию” уголовщины и на собственном опыте помню с конца пятидесятых годов. Упоенно мы, студенты, распевали за выпивкой блатные песни. Тут и про Мурку знаменитую было, и про курьерский Воркута — Ленинград, и про Ванинский порт и много еще про что. И мода на уголовные песни и фольклор только ширилась с годами, проникая и в художественную интеллигенцию, и в научно-техническую. Так что и мы, многие, к той волне преступности, что захлестнула сейчас Россию, свою руку, пусть и невольно, а приложили.

Опаснейшая вещь эта “романтизация”, вербовка настоящая молодежи в преступный мир. Слышал как-то рассказ писателя Юза Алешковского, автора знаменитой песни “Окурочек”, о своей жизни. Так о начале дел своих уголовных он с какой-то сладкой ностальгической грустью говорил. Жалел словно, что прошли, такие милые и дорогие. И невольно поддаешься этому тону, и сочувствуешь ему.

А уж в революцию бандиты входили, как рука в перчатку. Да и Бене Крик в ней бы, скорей всего, вполне пригодился.

* * *

Жара, зной, дни один в один, как штампованные. Кто-то мучается, а для меня нет лучше погоды, гены южные, видать, отзываются. Не только телу приятно, но и душе. Хмель зноя, который получше винного.

Хмель... Широкое понятие — ощущение. Хмель жизни, хмель любви, хмель творческой работы азартной. Осознаешь его вполне, когда он слабеет, редеть начинает. Уходит и ты то ли просыпаешься медленно, то ли, так же медленно, трезвеешь. Странное состояние. И горечь в нем, и сожаление, и грусть...

Пора трезвления подошла, вот в чем, понимаешь наконец-то, дело. Трезвый же взгляд на жизнь труден — все вокруг, да и в самом тебе, режет, давит, разочаровывает. И все более пустынным становится в мире и в душе, бессмысленным, ненужным. Есть у Баратынского стихотворение о том, что нам дается в начале жизни запас иллюзий, “снов золотых”, и мы ими, живя, разочарования неизбежные покрываем, оплачиваем. “И теми снами золотыми прогоны жизни платим мы”, так кончается. Очень они, сны, на хмель похожи. Но ведь кончается в конце концов и запас снов, хмель улетучивается, и все труднее человеку жить и дышать. Вот в этом-то, возможно, состоянии поздняя вера и обретается, как поддержка и даже спасение. Новое вино наливается в меха, так в Библии. Вино веры, которое хмелит слаще мирского, житейского. А суть действия его осознание мира и человека, как чуда и тайны.

* * *

Старуха-крестьянка, художница талантливая, начавшая “картинки рисовать”, по ее выражению, в больших уже годах, попав в дом престарелых, увлеклась этим самозабвенно. “Дай рисовать и все тут! Про еду позабывала”.

А потом старость, глубокая уже, дряхлость, болезни мучительные. И крик ее жалобный и возмущенный, и даже потрясение кулачком: “Что ж ты позабыл-то меня, Господи, никак к месту не приберешь!”. Словно близкому самому, родному человеку. Вот это вера!

* * *

Сказал как-то старый друг: “Ребенок — это счастье, а больной ребенок великое счастье”. Я опешил прямо-таки: странная мысль, мягко говоря. К тому же у него сын был с серьезной, неизлечимой патологией, но жил не с ним, а с бывшей женой. Как раз лекарство я привез для его сына редкое, чтобы хоть немного подлечить, поддержать. Спросил в конце концов: “Ты ж с ним не живешь, как же знать такое можешь?” Ответил твердо: “Знаю”.

Можно было от такого отмахнуться, забыть, а вот не забывалось. Потому что человек он талантливый, умный, опытный-бывалый и слов на ветер никогда не бросал. Уж если что сказал, то в сказанном уверен. Да еще вот в таком — личном, болевом, важнейшем.

Время шло, и стал я понемногу, и сам размышляя, и наблюдая кое-что, мысль его понимать и почти принимать. Глубочайшая и абсолютно христианская мысль. Неизлечимо больной твой ребенок, это как огонек жизни зыбкий, готовый вот-вот погаснуть, защищенный только твоими ладонями. И любовь к такому ребенку-огоньку и должна быть великой, и великое счастье именно поэтому давать. И эту любовь, и это счастье знал, стало быть, и мой друг, иначе б не пришел к такой, пугающей даже поначалу, мысли, и не высказал бы ее так определенно и твердо.

А недавно посмотрел по ТВ историю про турчанку, нашедшую на улице сбитого машиной, страшно искалеченного молодого парня, славянской, приблизительно, внешности. Она помогала выхаживать его в больнице, а потом домой к себе забрала: обезвиженного, без памяти и речи, и ухаживала за ним годы и годы. Никто он ей был, просто человек, творенье Божье, тот самый огонек трепетный между ладонями. И две веры, христианская и мусульманская, сошлись тут неотличимо в великой точке любви...

* * *

Люди, страдающие болезнью Дауна, легко отличимы — и по внешним признакам и, главное, по добродушному неизменно выражению лица. И выражение это вполне их натуре доброй и общительной соответствует. А ущербность их и даже суть самая болезни в сниженном очень своеобразно интеллекте. Это не то, чтобы просто малоумие в житейском его смысле, а какая-то детскость ума, задержавшегося на уровне пяти-семи-десяти лет. И есть в этом детском уме что-то необыкновенно приятное, первородное. Что-то напрямую от природы, от Бога данное и не испорченное последующим житейским опытом. Про таких именно говорят в народе — простой. Иногда и по-обычному — простой. Имея в виду некоторую недоразвитость умственную, бесхитрость. Да, бесхитростны они, больные эти, простодушны, не денешься тут никуда, но ведь можно и спросить и себя, и других — а что в хитрости по большому, духовному, христианскому счету хорошего? Пожалуй, что и ничего.

А еще они и послушны, такие больные, и трудолюбивы по мере своих малых сил. Главное же — добры, привязчивы, любить способны.

В нашей округе таких два. Один под хорошим присмотром, от дома далеко не отходил и прожил для таких больных на удивление долго — за сорок. Второй, Сергей, вечно у ближайших магазинов толчется или в непогоду внутри них по углам обретается. Здоровается со многими, кое-кто и притормаживает, перекидывается с ним парой слов. Привычный для всех этот Сергей и даже приятный. Для меня во всяком случае.

Однажды вижу — бьет его какой-то парень здоровенный у входа в магазин, а поодаль девица стоит, наблюдает. Остановил я это безобразие, и вы-

яснилось, что Сергей чем-то девицу задел-оскорбил. Уверен, что злого умысла у него не было, получилось случайно, из-за особенностей его натуры.

После этого случая он исчез. Нет и нет и чего-то, словно бы, не хватает. Его и не хватало, Сергея, с его простотой, добродушием и доверчивостью детской. Божий человек. Обидели, он пост свой и оставил...

А в Москве самодеятельный театр, где все актеры больны болезнью Дауна, существует. "Театр простодушных", так называется. Ставят там самое-самое духовно высокое в мировой драматургии: Шекспира, Эсхила, Эврипида... Поразительно, что вот им, "простодушным", верить начинаешь так, как не поверил бы, возможно, самым талантливым, но обычным актерам. Тут именно, что устами младенцев истина говорит. Евангельская заповедь на глазах осуществляется: бладеце, как дети.

Репертуар театра поначалу удивляет, но потом понимаешь, что именно таким он и должен быть. Социальное, бытовое, современное тут никак не годится — слишком мелким оно окажется для таких актеров. Из их "простодушных" уст самые главные, крупные, емкие слова исходить должны. И простодушием, и даже порой косноязычием актеров удостоверяться. "Быть или не быть...", "Жизнь человека тень ходячая..." Именно такое.

Кстати, обычные, здоровые дети нередко удивляют мудростью, взрослым, может, и недоступной. Лет в пять внучка Даша на вопрос, кто такой Бог, отвечала: "Это самый главный и добрый на небе". А на вопрос, что такое счастье: "Это когда кто кого любит". Вот и попробуй точнее и короче сказать...

* * *

Сын побывал в Индии, походил-поездил по ней одиноко, как хотелось, и написал очерк "В стране радости". Название поражает — неужели такие страны есть? Да не какое-нибудь крошечное королевство Тонго в Океании с райской природой-погодой, а Индия с миллиардным населением. Читаешь и верить начинаешь названию не только из-за убедительности текста, но и потому, что главные предпосылки радости в Индии, как нигде, может быть, соблюдены. Первая — смерти для индусов нет, а есть реинкарнация, переселение души вечное. Вторая — бедность крайняя, по нашим понятиям просто нищета. Живя в ней, человеку можно и спокойным, и даже радостным быть — терять нечего. Жив, вот тебе и радость. И вокруг такие же, как и ты, завидовать некому. Франциск Асизский писал: "Бедные, алмазы Божьи". Вот там, в Индии, это, возможно, виднее всего.

* * *

В следующем году пятидесятилетие нашего институтского выпуска. Ездил пять раз подряд, а последние 25 лет пропустил. Скорей всего не поеду. Страшно. Страшно вдруг оказаться среди сплошных стариков и старух. Перепад уж очень велик — были все еще хоть куда в последнюю встречу и вдруг — вот такие... И сам такой, в других это, как в зеркале, неизбежно отразится.

Хорошо знакомо, правда, быстрое исчезновение наслоений возраста при общении, словно снимается и отбрасывается за слоем слой почти до того, институтского еще, облика. И душа та же, давняя проявляется, и манеры. И через десять минут разговора разлуки будто бы и не было... Да, но тогда всего лишь пятилетними они были, разлуки, а теперь лет будет целых 25. Столько, пожалуй, не осилить, не преодолеть...

Размышляя о возможности возвращения в Россию, Бунин в конце концов решил — нет. И одна из причин та же самая была, возраст и срок разлуки. "Женщины, с которыми когда-то ..., уже старухи, и я уже не тот". Не смог, видно, написать слово "старик", рука не поднялась. Смешно, но и трогательно, и вполне понятно.

Самое же тяжкое, пожалуй, в этой моей, такой простой и возможной, поездке и встрече, то, что она наверняка последняя. Тут уж не скажешь "до

свиданья”, а надо говорить “прощай”. Не просто по домам будем расходиться-разъезжаться, а по могилам. Тут и улыбки последние друг другу будут не такими, как раньше. Не с надеждой на следующую встречу, а с тоской смертной, тайной в глубине глаз...

Хотя не ко всем такое можно отнести, найдутся же среди нас и истинно, глубоко верующие люди, должны найтись. У них-то надежда на встречу все равно должна оставаться — в мире ином. Ну, а у тебя самого с этим как? Не знаю. Не могу твердо сказать...

* * *

Девочка лет восьми высоко на дерево забралась и начала там по ветвям лазить, а то и раскачиваться лихо. Старушки на лавочке всполошились: “Эй, ты что это там! Слезь сейчас же!” Ответила напористо, со злинкой: “Не ваше дело! У меня родители есть!” Старушки примолкли, потом между собой переговариваться стали: “Смело как отвечает, надо же. Дерзка...” — “А и правильно, не в свое дело не лезь...” — “Как не в свое? А уьется если?..”

Тут и родители подошли с коляской, в которой сидел толстячок — годовичок. Посмотрели на дочь вскользь, стоят, разговаривают спокойно. А старушки умолкли, похоже, думают — новые времена, новые песни...

А я, наблюдая все это, случай из детства вспомнил. Полощу в ручье майку грязную после возни с приятелями, и вдруг топот и крик: “Ты что делаешь, падло! Отсюда ж люди воду пьют!” Посмотрел ошарашено: конюх райпотребсоюзовский верхом на лошади. Здоровенный мужик, лицо красное, злобное, плетка в руке. Конюх не прав был, потому что не в роднике я майку полоскал, а в начале ручья, из него вытекающего и всю грязь уносящего тут же. Надо бы объяснить это было, но я почему-то молчу и молчу. И уйти не могу, стою, как привязанный. “Он и лыбится еще! — крикнул мужик с яростью. — Плеткой бы тебя!” Хлестнул лошадь и уехал быстро.

Не раз потом вспоминал я этот случай, потому что понять собственного поведения не мог. Чего молчал, чего стоял, как пень? Улыбался-то от смущения, это ясно было...

Теперь же, наблюдая за девочкой на дереве, все и понял. От уважения к конюху я так себя вел. Кавалеристом он был в войну, так говорили. Да и вообще уважали мы в детстве старших, особенно мужиков такого, как конюх, солдатского возраста. Отцы — победители!

* * *

Поразительно, как конкретные бытовые мелочи на душу человеческую глубоко иногда действуют и о самом главном напоминают. О жизни и смерти, например. И в литературе такое отражается неизбежно, то там встретится, то тут. Василий Розанов в “Уединенном” записывает, как сидел ночью за своей любимой нумизматикой, слышал привычный шум вентилятора и вдруг подумал, что вот умрет и никогда-никогда больше этого шума не услышит. И весь похолодел от ужаса. А в рассказе Леонида Андреева “Жили-были” умирающий (и знающий об этом) дьячок плачет горько ночью. На вопрос же соседа о причине отвечает, что ему яблоно “белый налив” покидать жалко.

Подумал об этом, когда на затрапезной, состоящей из спрессованной колесами машин щбенки и мелкого, твердого мусора дороге, ярко-белую после дождя подошву вдруг увидел. Хорошо ее машины в дорогу вдавили, плотно, надежно, долго так будет лежать. И вспомнилось место из Андрея Платонова про лапоть, землей полуприсяпанный: “Лапоть нашел свою судьбу — из него росла березка”. Это какую же обездоленность и одиночество надо было чувствовать, чтобы такое написать с очевидной завистью к лаптю. Обездоленность и одиночество гения, непонятного и гонимого.

Как молодость мучается необходимостью найти свою судьбу, так и старость успокаивается тем, что судьба уже была, состоялась, пусть и самая незавидная. Ничего уже тут не изменить, вот и ладно...

Говорят о людях не просто разного, но прямо противоположного склада: этот появится и цветы расцветают, а этот придет и цветы вянут. И по науке есть два таких людских типа с противоположной энергетикой. Одни доноры, энергию свою отдающие, другие вампиры, ее забирающие. И решать сразу, что первые заведомо хороши, а вторые заведомо плохи, нельзя. Каждый тип в общечеловеческом человеческом свою роль играет. Кто-то должен отдавать, но кто-то должен и брать отдаваемое, чтобы равновесие некое приблизительное было. В супружеских парах часто такое содружество бывает: донор — вампир (или, чтобы смягчить страшноватое слово — реципиент). Вот и перетекает энергия от одного к другому и все более или менее хорошо, гармонично. Если же сходятся два донора (казалось бы, что лучше?), то некий избыток энергии возникает, “перегрев”, сложности свои создающий. А если два вампира сойдутся? Тут состязание, для самих его участников неосознаваемое — кто вампиристее, к тому энергия мало-помалу и потечет. И ему станет хорошо, а второму похуже, добавочную энергию придется с усилием вырабатывать, которой и так маловато.

Сложнейшая для людей игра от счастья яркого до несчастья мрачного. А в самой глубине, в основе на энергии все замешано. Как и в мире материальном вплоть до вещей космогонических: и взрывы с выбросом энергии чудовищным, и черные дыры, ее поглощающие. И необходимо и то, и другое, чтобы вселенной существовать.

Во всем эта двойственность, эта диалектика, как капкан, подстерегает человека и хочется ему избежать его, выскользнуть, что-то иное найти. Лермонтов и нашел, и выразил это в стихотворении “Выхожу один я на дорогу...” Тут, в конце самом, описано состояние между жизнью и смертью, третье какое-то, промежуточное. Чтобы и жизнь не мучила мукой своей неизбывной, но и смерть не уничтожила бесследно. Мечта, конечно, но ведь веришь в возможность ее осуществления из-за гениального текста. И напряжения жизни, при котором “больно и трудно” нет, и прелесть ее вечно остается с темным дубом шумящим, с голосом, сладко поющим о любви...

Нечто похожее буддисты ищут и находят в медитациях своих, так глубоко уходя в себя от окружающего мира, что он перестает ими ощущаться. А конечная цель, нирвана, когда и жизнь ушла, и смерть не наступила. Очень близко к лермонтовскому желанию-мечте...

“Трава забвения”. Удивительное выражение по противоречивости чувств, которые оно вызывает. Тут и горечь, тут и сладость какая-то странная. И сочетаются эти чувства так органично, ладно, словно переплетенные пальцы рук.

Хороши тщательно ухоженные могилы с цветами, плиткой керамической, столиками — скамейками, памятниками с надписями и фотографиями, но есть в этой ухоженности и что-то лишнее, мешающее, неприятное даже. То, пожалуй, что все это живыми для живых делается, а для мертвых, в земле лежащих, тут, в сущности, ничего и нет. Лишнее все это для них, ненужное. А что нужно? Холмик могильный, крест деревянный да та самая “трава забвения”, которая вырастает в конце концов на могиле, вытеснив сорняк — бурьян...

Толпа на похоронах, очередь к гробу при прощании, это тоже для живых нужно и от мертвого далеко-далеко. А близко люди самые близкие, которые его любили при жизни, как реального, живого человека, и после смерти будут любить. Немного таких для любого покойника — пять, десять. Те самые, которых и он любил и вспоминал в последние свои дни и ночи.

Капля же сладости в словах “трава забвения” происходит, может быть, от предчувствия окончательного разрыва с жизнью земной, суетной, преходящей и от чаяния жизни иной, вечной уже...

* * *

Начинается жизнь и начинается освоение пространства — дом, двор, улица, город или деревня, окрестности их... И как остро чувствуется в детстве привычность, родственность уже освоенного и привлекательность тревожная всего, что за ним. Иные места, иные, главное, люди, ребята. Побить могут, да и бивали, как и мы их, к нам забредавших. Без причины, придравшись к пустяку какому-нибудь. Просто потому, что дальние, чужие. Но были места общие, где приходилось соблюдать нейтралитет: площадь поселковая с магазинами, стадион, речка. Не умом, а нутром все чувствовали, что тут мирное нужно сосуществование, иначе плохо будет всем. Жаль, что этого чувства целым народам не хватает из века в век...

А горизонт манил нас к себе и манил — посмотреть, что там, за ним. Шли к нему, никогда недостижимому, а потом и ехали, плыли, летели... Все, кто подалеже, кто поближе. Кому-то легок и весел был этот уход, кому-то тяжел, а кто-то даже и возвращался в конце концов. Домой возвращался, жить-доживать. Или приезжал в серьезном уже возрасте с родными местами встретиться, а то и проститься. Такая пульсация жизни всей — туда и обратно. Уход и возвращение. На малое время или навсегда.

Восхищает название гроба по-украински — домовина. Кажется даже, что украинцам и умирать легче, чем всем остальным — всего-то на всего дома оказаться...

* * *

Услышал по радио: “Мы едем, едем, едем, едем в далекие края, хорошие соседи, веселые друзья...” И словно кнопку какую-то у меня в голове нажали: Кузьма Филиппович, учитель пения, представился как живой. Он на скрипке играет, а мы эту песню самозабвенно распоем. Чудесная песня, про счастье жить на свете. И пелась она с ощущением счастья, не только твоего, но и всеобщего. Да я и до сих пор ее прекрасно всю помню и спеть бы мог. Интересно, чувство счастья возникло бы или нет? Можно б и узнать попробовать, да, жаль, нельзя. Неловко, стыдно даже перед самим собой...

Кузьма же Филиппович вдруг так явственно, ярко развернулся вдруг передо мной впервые через шестьдесят с лишним лет! Высокий, тощий, старый, с розоватым, детским каким-то, простодушным лицом. И ходил всегда в холодную пору закутанным, как ребенок, даже шапку-ушанку завязывал на тесемки. Относились мы к нему с редким уважением и из-за необыкновенности вида и, главное, из-за скрипки, вещи совершенно волшебной в тогдашнем нашем нищенском быту.

Жил он вдвоем с женой, милой, аккуратенькой старушкой в домике совершенно особенном — крохотном, но кирпичном. Единственный был такой в поселке домик, из царских еще времен. Жили, как ангелы, так про них говорилось. Я уже писал раньше о “божественных” стариках в Камыше, так вот эти были тоже “божественные”, вторая такая пара.

Рассказывали об удивительной заботливости жены Кузьмы Филипповича о нем. О том, например, что она для него, сильно заболевшего, ночной горшок подогревала, чтобы тепло было сидеть. И тон помню: осуждение насмешливое (баловство какое!), раздражение, но и зависть.

Матушка получала из года в год открытки с новогодним поздравлением, написанные каллиграфическим, неестественным каким-то, почерком. Подпись была: Севастьяновы. Не знала она таких людей и даже тревожилась — нет ли здесь чего-нибудь нечистого, колдовского. “Опять эти Севастьяновы чертовы” — говаривала. А потом узнала случайно, что это от Кузьмы Филипповича с женой. И растрогалась, и восхитилась: “Какие люди, надо же!”

А еще пара стариков “божественных” лет сорок рядом с нами жила, в трех минутах ходьбы. Домик хиленький послевоенной постройки, участок сада-огорода, хорошо видный с дороги. Все на нем было не просто идеально ухожено, но поразительно красиво, гармонично: расположение грядок, деревьев и кустов, и даже кучки ботвы при уборке картошки. И работали они

вдвоем тоже как-то гармонично, в лад, словно связанные какими-то невидимыми нитями. Словно танец некий старинный чудесно танцевали. Менуэт, примерно. Я не упускал случая на них полюбоваться и называл про себя: Филимон и Бавкида. Супруги такие идеальные в древней Греции, которые прожили в любви и согласии до старости и умерли в один день. Наши старики тоже не подкачали — прожили за восемьдесят и умерли в один год.

Теперь вот думаю — будут ли в будущем такие пары “божественные?”. Будут, конечно, только все реже, реже, реже...

* * *

Есть на пути мироздания, человечества и отдельной жизни человеческой развилки, бифуркации по-ученому, на которых определяется, как все дальше пойдет, с громадной между двумя вариантами разницей. Первая развилка для человека, знаменитая шекспировская: быть или не быть? Положим — быть! Вторая — мирской жизнью жить или религиозно-духовной, монастырской? Положим, мирской. В стремени ее бурном, увлекающем и опасном, или в тихой заводи какой-нибудь? Кто-то стремя выберет, кто-то завод и каждый пожалеет о своем выборе не один раз.

А в конце жизни итог ее придется подводить, “да” ей говорить или “нет”. По натуре будучи скорее пессимистом, все равно не представляю, как можно сказать жизни “нет”. Любая, самая тяжкая, благодарности достойна просто потому, что была...

* * *

Известно, что женщины часто перед смертью распоряжаются, в какой одежде их хоронить. Трогательно и вполне понятно. А вот Бунин даже распорядился цветов россыпью в гроб не класть, а только букетами. Такая заботливость детальная, мелочная и удивляет, и восхищает одновременно. Восхищает привязанностью к жизни в ее малейших проявлениях настолько сильной, плотной, что, кажется, и умерев, он собственные похороны жадно наблюдать будет. Лицо же распорядился закрыть, чтобы не видели мертвого его безобразия. Тут с отношением к черновикам есть прямая связь — уничтожал он их и по той же, примерно, причине — чтобы не наблюдали его творческого “пищеварения”. Именно это слово употребил.

Когда сравниваешь последние годы жизни Бунина и Горького, бывших когда-то друзьями, то поражаешься их разнице: фантастическая слава, материальная роскошь жизни у одного и заброшенность, бедность, почти нищета, у другого. И как же сомнителен, тяжел, пугающ даже горьковский вариант и понятен, человечен, даже прекрасен в смысле религиозном, вариант бунинский...

Еще о Бунине деталь удивительная: картавость речи у женщин для него очень привлекательна была, в письме есть такое признание. На первый взгляд странно — дефект речи, что тут хорошего? А подумаешь и понимать начинаешь: мила ведь бывает иногда эта самая картавость и, главное, очень женственна. И особенная незащищенность, открытость влекущая в ней есть. Обещание некое или хотя бы намек на него.

Кстати, небольшой акцент в речи похожее действие иногда оказывает — тут очарование инородности, особенности, дистанции, которую хочется уменьшить, преодолеть...

* * *

Перечитываю прозу Мандельштама и повторяется первое, давнее впечатление — болтовня. Но какая-то странная, ни на что больше не похожая, затягивающая в себя глубоко и властно. Гениальная болтовня, так, пожалуй. Хочешь, вскользь читай, как она, может, и “набалтывалась” автором, а, хочешь, задумывайся едва ли не над каждой фразой — есть над чем.

Много не то, чтобы очень сложного, но просто заведомо непонятного, как бы случайного, произвольно соединенного. Но и эти места не тягостны, и их читать интересно. Недоумеваешь даже — да почему интересно-то? А воздух свободы полной авторской покоряет, притягивает, оторваться не дает. Тот воздух, которого самому всегда почти не хватает, а тут, вот он тебе, даром дается, дыши...

Похожее чувство чтение Фолкнера вызывает, “Шума и ярости” особенно. И просмотр “Зеркала” Тарковского. Тоже непонятно многое с первого раза, но какая свобода, простор, воздух тот же! Прямой такой выход на то, что художник описывает — показывает, без всяких вспомогательных, объяснительных, для читателя — зрителя предназначенных, добавок. Отпечаток жизни непосредственный, живой, дышащий...

Очень интересно, как, с каким усилием и правкой Мандельштам прозу свою писал? Стихи-то подолгу вынашивал, обкатывал, с вариантами двумя — тремя иногда. Сочинял строчками, а не строфами, по свидетельству Марины Цветаевой. Неужели и проза создавалась так же, и за легкостью и свободой таится тот же труд? Не верится. Впечатление от прозы такое, словно это птица напела. Птица, в терновнике своего времени живущая и поющая...

*Золотого меда струя из бутылки стекла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем, — и через плечо поглядела.*

Очаровывает эта строфа, и не поймешь, чем? И догадываешься все-таки в конце концов: беззаботностью, беспечностью, которая в ней тайно заключена. Не хватает этого всегда, как и свободы. Да они и есть сестры родные, беззаботность и свобода. Не написать без них стихов, как не прожить без воздуха.

А уж забота была у Мандельштама серьезнее некуда — уцелеть. Слепить прямо — таки могла, как ослепила старуха Забота Фауста, дунув ему в лицо. Однако уцелел и даже беззаботность детскую и священную сохранил до конца, до второго ареста. И стихи прекрасные писались до конца по этой, может, причине...

* * *

Светлана Львова, поэт замечательный, прожила жизнь сложную, тяжелую и умирала долго и трудно. И стихи писала до самого конца. Посмертную же ее книгу дочь назвала “Беспечный сад”, выбрав название из стихов. Хорошо зная Светлану, я был поражен точностью заголовка, его соответствию личности автора.

Была в ней та же “беспечность” мандельштамовская, обязательная, может быть, для всякого истинного поэта. И у Пушкина она оставалась неотребимой, несмотря на теснящие его все сильнее тяжкие, мучительные житейские обстоятельства.

* * *

Когда читаешь истинно художественную вещь, живешь в мире, созданном большим художником, то вопрос о смысле жизни не возникает. Потому что она, жизнь, в художественном изображении всегда и неизбежно прекрасна и в этом именно и есть ее смысл и оправдание. И так даже в глубоко трагических вещах, в “Тихом Доне” Шолохова, в “Чевенгуре” Платонова, “Привычном деле” Белова, “Прощании с Матерой” Распутина. Прекрасна там жизнь, но и ужасна. Ужасна, но и прекрасна. И вера в Бога-Творца в таком восприятии жизни есть, пусть и не вполне осознанная. Не могло “прекрасное” получить само по себе, лишь Бог единый его сотворить мог. И художник, отражая творение Божье и сам этим творением являясь. Все

тут связано неразрывно: Бог создает человека-творца, а человек создает творения Божественные, как Пушкин, Моцарт, Рафаэль...

По пути на Оку часто останавливаюсь в одном и том же месте на полевой дороге, и вспоминается бунинское:

*И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:
“Был ли счастлив ты в жизни земной?”
И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.*

Вот тут и есть и прекрасное творенье Божье — полевые пути, и прекрасное человеческое слово о них.

* * *

Художники (в широком смысле художники) часто бывают суеверны.

Пушкин, выехав из Михайловского в Петербург как раз накануне декабрьских событий на Дворцовой площади, вернулся, встретив по дороге зайца — дурная примета. Выйдя из дома, старался не возвращаться тут же, а вот отправляясь на место дуэли, изменил правило и вернулся переодеться...

Причина суеверности в том, возможно, что на краю бытия, на краю судьбы чувствуют себя художники, когда любой пустяк случайный может вдруг все изменить. Случай, мгновенное орудие провидения, так тот же Пушкин это определял.

А вдобавок причина суеверности художников может быть и в полной свободе распорядиться жизнью изображаемых ими героев. И очень хорошо можно им сделать, и очень плохо, в живых оставить или убить. Тут-то и почувствуешь, что и сам ты в чьих-то руках — случая, судьбы, Бога. Омар Хайям так и написал: “Бог нашей драмой коротает вечность. Сам сочиняет, ставит и глядит”.

* * *

Чудесные стоят дни, теплынь спокойная, прочная при безоблачном почти небе. Недавно дожди обильные прошли, и от этого в воздухе особенная какая-то мягкость, нежность. Все блаженствует — и люди, и звери, и растения, и сама земля. И хочется, чтобы так оно длилось и длилось, чтобы хватило такой природы-погоды августовской на всю жизнь. Но стоит чуть призадуматься — нет, приедаться такое однообразие прекрасное начнет неизбежно. Иного захочется, пусть даже худшего, но иного. Тут какая-то тайна в натуре человеческой есть, трагическая тайна. И в отдельных жизнях она проявляется, и в жизни народов целых. Устают люди от благополучного однообразия и начинают в глухом раздражении, а потом и в злости агрессивной разрушать то семью, а то и целую страну. Оказавшись же у разбитого корыта, берутся заново все строить на иных каких-то началах. Много причин у войн и революций и это одна из них. Не главная, но постоянно присутствующая. Если развитие идет неизбежно через кризисы, то люди подсознательно сами их отчасти создают — именно от тоски монотонности и однообразия. Уж как томилась этой тоской наша творческая интеллигенция сто с лишним лет назад! “Буря бы грянула, что ли...” — так писалось. Ну, она и грянула!

* * *

Готовили мясо в саду на углях. Приспособление вроде пузатого чемодана — и защелкивается, и ручка удобная есть. Внук Димка ошибся, пережарил резко огромные куски, местами до обугливания, а оказалось все в кон-

це концов совершенно чудесно. Лучшего мяса никогда в жизни, пожалуй, не ел.

Все едят, погрузились, занырнули прямо-таки каждый в свой кусок, а я отошел в сторонку покурить.

Вечер прекрасный до боли, люди самые близкие рядом, а я вдруг как будто издалека их всех увидел. Да еще и так, словно к их компании-команде уже и не принадлежу, в иной какой-то нахожусь сфере, из которой к ним не добраться. Мгновение всего продолжалось такое, а потом с чувством облегчения все обычным стало. Не в первый раз такое произошло в последние годы, какая-то тренировка души к уходу из этого мира, так, что ли?..

Прошлое в старости вспоминается все чаще и приобретает все больший оттенок сказочности. Слово не прожил ты свою жизнь, а сказку тебе о ней рассказали со всем в ней сказочно ужасным и сказочно прекрасным. Может, и этот сдвиг для того, чтобы уходить было полегче? Одно дело из живой, реальной жизни уйти со всеми ее связями-привязями, и совсем другое из призрачной сказки...

* * *

Внук Дмитрий рассказывал на днях про посещение Оптиной Пустыни. Сидят они с подружкой на травке у входа в скит и перекусывают. Монах вышел из скита, старый, хилый, хромой, повозился с чем-то в сторонке, нагнувшись, и к ним с пучком травы подошел. “Это вот сныть, — сказал, — Ею преподобный Серафим Саровский кормился”. Положил пучок рядом с ними и ушел.

А через несколько дней побывал у нас Алексей Хибин, старый наш товарищ по байдарочным походам. Только что из одинокого пешего похода вернулся по глухим и почти безлюдным смоленским лесам. Продуктов у него было с собой на две недели по пятьсот граммов риса и овсянки и соль. Питался травой съедобной, кореньями, грибами, все варил, конечно. Еще и рыба была. Похудел-таки за поход, но самочувствие свое очень даже нахваливал: “Очистился и просветлел”.

И вспомнилось мне послевоенье в поселке нашем. Многие впроголодь жили, а сколько же было летом еды вокруг! Помню, бугры окрестные шампиньонами бывали прямо-таки усыпаны. И никто их не собирал, боялись отравиться, с бледной поганкой шампиньон спутать. И слухи все время ходили: опять семья целая от грибов померла... Вот почему б было надежно определять эту поганку не научиться? Я, не грибник совсем, и то не только по виду, но даже по запаху с закрытыми глазами ее от шампиньонов безошибочно отличал. Но это потом, взрослым уже человеком. А сусликов сколько мы переловили, пообдирали, чтобы шкурки выделать и в утильсырье сдать! Тушки выбрасывали, и мысли даже не приходило об их съедобности. Больше того, о семье одной, которая сусликов этих ловила и ела, говорили с осуждением и брезгливостью. И व्यюнов, рыбу такую змееподобную, тоже не ели. Можно еще и еще похожее вспоминать. Что ж, оковы запретов, чаще всего бессмысленных и нелепых. Вот Андрей только что вернулся из путешествия по Средней Азии, на свадьбе тамошней, узбекской, побывал и рассказал, что водка на ней, свадьбе, лилась рекой, а вина — ни-ни, ни капли. Коран запрещает, а про водку в нем ничего не сказано, значит, пей, сколько хочешь. Смешно, а того более грустно. Тут и Пушкин вновь припомнится: “О жалкий род людской, достойный слез и смеха...”

Но, с другой стороны, они ведь и необходимы совершенно, эти запреты, как обязательное условие создания культуры. Любые, даже и бессмысленные. Они напряжение эмоциональное и интеллектуальное создают, пространство закрытое, в котором материал культуры варится до некоей готовности, как в кастрюле. Иначе безграничие и хаос. Беспредел по-теперешнему. Все распухнет и растечется до исчезновения. Дело в мере, недаром древние греки придавали ей высшее значение, обожествляли даже. “Есть мера в вещах”. В том, наверное, смысле, что, исчезни мера, и сами вещи исчезнут или перемешаются до неразличимости, границы потеряв.

Случайный знакомец, старик интеллигентного вида и речи, рассказал, что в сиротский дом сын его определяет, а сам уезжает за рубеж. Так и сказал — в сиротский дом. И заплакал.

Знаю я эти “сиротские” дома — и детские, и стариковские. В крошечном нашем поселке-городке Тиме после войны два детдома было, а третий, вроде филиала, в пригородном селе Выгорное. И учился я с детдомовскими ребятами годы многие. Особенности они были, грустнее и серьезнее остальных, а жизнь их представлялась таинственной и чем-то страшноватой. Как если бы они не просто жили в домах своих детских, а службу некую нелегкую несли. Даже одежда, у всех одинаковая, об этом говорила, серая такая, мышастого, по тогдашнему выражению, цвета. А потом неподалеку от стариковского уже, “сиротского” дома я сорок с лишним лет прожил, многое там видел, знакомства среди работников тамошних и среди обеспечиваемых имел. Тяжкое какое слово — обеспечиваемые — и не выговоришь, а ведь употребляется. Еще говорят о них контингент, что еще хуже...

Вспоминается об этих детях и стариках, обеспечиваемых все больше грустное, безнадежное какое-то, но и на редкость глубокое порой.

Одному нашему родственнику, Николаю, пришлось до ухода в армию в Выгорновском сельском детдоме пожить. Располагался он в обыкновенной деревенской хате и находилось в нем около десяти всего мальцов и подростков. И как-то они там жили. Более или менее сыты были, во всяком случае, и одеты-обуты.

Проходит лет двадцать после того, как наш Николай из этого детдома в армию ушел. Живет он уже в Тиму, работает шофером — дальнбойщиком, семью имеет, квартиру хорошую. Нормально живет. И вдруг незнакомый мужик на пороге. “Ты такой-то?” — “Он самый”. — “Ну, вот и пришел... Это ж ты меня в выгорновском детдоме дерьмо заставлял есть?” — “Никого никогда не заставлял. Да ты заходи, разберемся”.

Посидели, разобрались. Поверил гость Николаю, признал, что ошибся. А если бы нет — что бы дальше было? После двадцати лет неугасшего желания сквитаться?

Такая в этой истории глубина, что голова кругом пойдет, если вдуматься. Тут Достоевский нужен или Фолкнер по крайней мере...

А ближний наш “сиротский” дом для престарелых располагался в большом двухэтажном доме прекрасной постройки и с садом для прогулок вокруг. Аллейки, лужайки, скамейки. Вот и гуляли там старушки и редкие старики, и в ближнем магазинчике их можно было встретить. Дом этот с территорией вокруг продали недавно немецкой фирме “Фольксваген”, а “контингент” переселили в пятиэтажку рядом. Внутри, говорят, очень хорошо, но носы старики из этого дома уже почти не высовывают. И некуда, и не выпускают. Что-то вроде комфортабельной тюрьмы получилось. Причина ясна до боли — персоналу так удобней...

А я вот теперь думаю, кому труднее сиротствовать, детям или старикам? Пожалуй, так: детям трудней, а старикам горше...

Самоуважение очень важно и, прежде всего, потому, что, не уважая себя, не сможешь уважать и других. Но есть в нем, самоуважении, особенность опасная и неустранимая: чем умнее и совестливее человек, тем уважать ему себя труднее, а чем он глупее и наглее, тем легче. А в жизни религиозной эта сложность еще глубже: чем истинней вера, тем греховней чувствует себя человек. А уж если святой, то и всех людей греховней. Какое уж тут самоуважение! Хотя, возможно, о нем в богословии христианском и речи нет, в ином совсем слове и смысле оно лежит.

Удивительно, что самоуважение и мера его в домашних животных, собаках особенно, очень заметна. От гордости до самоуничтожения, совсем по-человечески...

* * *

Бобчинский из гоголевского “Ревизора” просит Хлестакова сказать высшим чинам, а то даже и Государю, что есть на свете такой человек — Бобчинский. Смешно, конечно, в первый момент. А потом думаешь — а что, собственно, смешного? Скорее трогательно, мило и даже скромно. Всего-то и дела, что сказать о твоём существовании... Да и в основе желания славы это же самое лежит — чтобы как можно больше людей о тебе знали. В конечном счете все до одного. Вот кто хочет такого, пусть над самим собой и посмеется.

Вообще же мечты о славе дело молодости. И женщины (или даже конкретная женщина) играют здесь существенную роль, что прекрасно выражено в стихотворении Пушкина “Желание славы”. Тут даже и Ленина можно вспомнить — не от Ленского расстрела, как нам в школе объясняли, его партийная кличка произошла, а от некоей Лены. Влюблен в нее был, разумеется, и, скорей всего, безответно. И доказать решил, как она ошиблась. И доказал, не поспоришь...

Начали меня показывать по местному ТВ лет с пятидесяти и поэтому на улице узнавать, в основном в нашем околотке. Сначала чуть приятно было, а потом все большую неприязнь стало вызывать, почти до отвращения. А потому, что время для “желания славы” давно прошло. В молодости заявить о себе хочется, выделиться из толпы — вот он я! А к старости противоположное становится желательным — в люди уйти, смешаться с ними. Раствориться в людях, а там и в природе самой...

Случай с моей околоточной славой очень забавные бывали. Как-то пью пиво из бутылки у ларька, машина напротив останавливается, дама средних лет, вида ухоженного из нее выходит и ко мне: “Спасибо, что вы, такой человек, здесь стоите!” Пообещал ей и впредь постоять, сколько сил хватит. Держалась она и говорила весьма уважительно, но когда ушла-уехала, то подумалось вдруг, не было ли во всем этом и насмешки легкой, невольной?..

* * *

Население нашей окраины увеличилось в последние годы во много раз. Даже бульвар появился с чудесным названием Солнечный. И природа к жилью впритык — овраг красивый с ручьем, пруд, лес. Рай да и только! А вот пользуются им все меньше и меньше — тропинки гложут, зарастают постепенно, лыжни исчезают, склоны оврага, изъезженные когда-то ребятишкой до утрамбованности, круглятся снегом нетронутым. Какой-то великий отлив людей от природы у нас тут произошел. Отчасти понятно — на машинах стали уезжать куда подальше или на дачи. Но это все-таки часть и отнюдь не большая. А остальные? Молодежь, дети, главное? А остальные скорей всего у ящиков, у экранов сидят, живя не своей, а ящичной жизнью. На главной нашей лыжне, на которой когда-то было не протолкнуться, полупусто, молодых мало совсем, ветераны этого дела в основном, средних лет женщины чаще всего.

Понаблюдал как-то школьный кросс восьмого-девятого, примерно, класса. Тяжелое зрелище, до оторопи. Некоторые бегут так, словно делают это впервые в жизни. И лыжный кросс не раз видел и тут все еще страшнее. Многие даже небольшого круга дистанции кроссовой не могут пройти, возвращаются с побитым видом.

Мы, послевоенные дети, отроки и юноши, по сравнению с теперешними акселератами совершенными заморышами были, но с каким азартом в душе! Часы многие проводили на школьной спортплощадке или стадиончике поселковом едва ли не ежедневно. Состязались бесконечно — кто кого?! Дальше, выше, быстрее! Слова эти и мотив музыкальный не только в громадной стране звучал, но и в каждом из нас. Дух времени звучал, совсем иной, чем теперь...

Кроме бега и прыжков, мы и на турнике крутились, и на шесте и канате фокусы разные состязательные придумывали, иногда опасные очень,

но Бог миловал, серьезно не покалечился никто. Копье, диск и ядро добывали у сторожихи школы. Я, кажется, и теперь бы мог в приблизительном соответствии с тогдашней техникой все эти предметы — снаряды метнуть — толкнуть. А еще и защищал спорт в сложной нашей ребячьей жизни, место в иерархии стайной нашей приличное давал. Как-то перед президентскими выборами Путин сказал в интервью, что он вырос в стае ленинградского двора. И так меня это тронуло, потому что и сам вырос в уличной стае поселка Тим. И обе стаи были с большим спортивным уклоном, к счастью. Стаи и теперь, конечно, есть, только уклон у них совсем другой, к сожалению...

* * *

Был, конечно, в Тиму и футбол, наш, детский, с командами “Дружба” и “Стрела”, но и взрослый тоже. Приезжали время от времени сборные из соседних райцентров с нашей играть. Весь, казалось, стадион сходился, вплоть до стариков. Бутсов на всю нашу команду не хватало, и некоторые играли босиком. Знобило, когда кто-нибудь из наших босоногих с противником в бутсах за мяч боролся. Казалось, что самому вот-вот на босую ногу бутсой наступят. Одно время даже прокурор районный в нашей команде играл, чем мы и гордились. Грозно очень слово это тогда звучало — прокурор! Говорили даже, что он никому-никому из начальников не подчиняется, а только Закону. Поверить в такое было трудно, но гордости за нашу команду прибавляло...

Теперь же в передачах про футбол постоянно о продаже игроков говорят и непременно с ценами за них, совершенно чудовищными. На деньги теперь, выходит, вся надежда?

* * *

Случаются время от времени состояния угрюмой какой-то потерянности и тоски и приходится поддержки искать. Был помоложе, читал в такую пору Шопенгауэра, Достоевского, Андрея Платонова, выбирая, что помрачнее. Клин клином пытался вышибать, иногда и помогало. Теперь уж так не могу, силы не те, теперь ищу, что посветлее. Недавно перечитал, к примеру, рассказы старого друга Владимира Богатырева. Орловская деревня Каменка пятидесятых годов прошлого века, все показано с документальной, въедливой точностью, без малейших прикрас: тяжелая работа, бедность вопиющая... И какой от всего этого свет и тепло! Греешься прямо-таки, отмякаешь, отходишь душой и телом. Откуда это?! А от горячей любви автора к тому, что он изображает. “Почему сосны гудят? Ты не знаешь, и я не знаю... А это земля в них гудит”. Прозы Богатырева кусочек, а, по-моему, еще и целое стихотворение прекрасное. Поэзия, как и дух, живет, где хочет.

* * *

Великое место для каждого человека — постель его. Когда-то можно было на одной и той же родиться, зачать детей и умереть. На первый взгляд доля завидная, но потом сомневаться начинаешь, уж очень однообразно.

Постель детства — постель болезней. То мука, томление, поиск позы облегчающей, крошки на горячих простынях, то покой слабости, то выздоровления капризность...

Лет в десять провел 42 дня (карантинный обязательный срок) в заражном бараке (именно так и говорили), в огромной многокроватной палате, в полном одиночестве. Та постель казенная росла день ото дня в моем восприятии, едва ли не весь мир собой заменяя. Не случись ее в жизни, чуть другим бы, пожалуй, вырос человеком.

Постель зрелости пропустим, а вот постель старости детскую весьма напоминает. Если даже относительно здоров, то все равно неловко, маятно, третий бок начинаешь живо представлять. И куда-то тянет подсудно —

участь изменить. В детстве тоже тянуло, только направление было другое. Тогда вдаль, а теперь вниз.

* * *

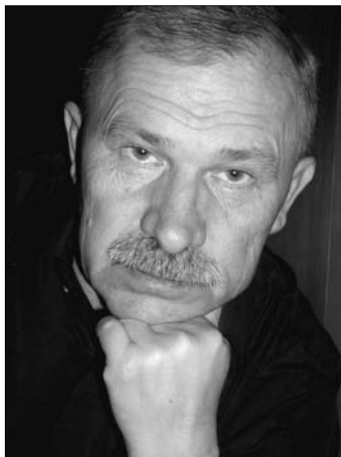
В день рождения подумал вдруг, что ведь до рождения меня никогда не было. Никогда! Попытался представить такое и ровно ничего не почувствовал. Не было и не было, и ладно. А потом представил, что довольно уже скоро меня не будет, и вот тут-то в душе и защемило. Формально судя, не велика разница: никогда не было и никогда не будет. Симметрия некая, понятная вполне, вот и прими спокойно. Ан, нет, щемит душа при втором “никогда”. Жизни жалко. Прежде всего самой жизни, с ее дыханием и теплом. И всему живому, наверное, так, не только человеку. Все живое за нее, жизнь, держится изо всех сил, защищает, потомству стремится передать. Саму себя жизнь жалеет, так получается. Ну, а вне себя чего жалко? Тут уж чисто человеческое идет, от сознания, памяти, души. С другими людьми больше всего жалко расставаться, а потом с природой, а потом с поэзией, музыкой... С птицей в небе, с бабочкой на цветке, с табунком лошадей на нашем стадионе, который видел сегодня утром, гуляя с собакой. И с самой собакой, шнауцером Луи. Со всем, что там есть вокруг...

* * *

Конец лета, конец дня, закат. Угли костра в саду подергиваются сизо-сиреневым пеплом и небо над тополями такого же, примерно, цвета. Оно и понятно — и день гаснет, и угли тоже.

Вся семья в сборе, но сын и внуки скоро уедут: Андрей в Крым, Дмитрий в Москву, Даша в Смоленск. Везде я был и жил, где годы, где месяцы, где недели. Вот и можно мысленно с каждым поехать, да и побыть-пожить...

НИКОЛАЙ ИВЕНШЕВ



ЛЕЙТЕНАНТ НАРИЖНЯК

Наждак он теперь, лейтенант Нарижняк,
Он едет туда, где над пулей смеются
И шпалы грохочут: “И так, и растак...”
И дзенькает чайная чашка о блюде.
А был он Нежняк, а теперь — Наружняк,
Теперь вот окопы да мутные лица.
То встань, то беги, то пригнись, то приляг.
К войне не прибьется и не прислониться.
Шекспир невпопад. На войне веселей,
Когда отрывается сердце у дзота,
Когда отступает от дымных полей
Владычица боя — хмельная пехота.
И думал вот так лейтенант Нарижняк:
“Не может ведь Фауст храниться в патроне.
Он где-нибудь там притаился, “кулак”,
В немецком с бархоткою патефоне.
А враг, как свояк, он не любит бардак,
Он мёртвый — и то зажимает, как статуи,
Чужой с одноглазой орлицей пятак,
С готической крепко прокáленной датой.
Пробита шинель. И потерян Шекспир,
Но вот он, Берлин, вот он, Рейх, — головешка.
И шнапс не берёт. Не водяра — кефир.

ИВЕНШЕВ Николай Алексеевич родился в 1949 году в селе Верхняя Маза Ульяновской области. Окончил Волгоградский пединститут им. А. С. Серафимовича. Автор книг “За кудыкины горы”, “Портрет незнакомки”, “Казачий декамерон” и других. Член Союза писателей России. Живёт в ст. Полтавской Краснодарского края.

Дошла до Победы худая гармошка.
А Фауст? Дывись, лейтенант Нарижняк,
Дывись на капрон, на чулочки, на фрау.
Всего десять марок, а хочешь — за так.
Зачем тебе, дурень, занюханный Фауст?!”
Но Фауста нет. Он исчез. Он иссяк.
Затискана вусмерть его Маргарита.
Нежняк и наждак лейтенант Нарижняк
Задумчив, печален, как вся его свита.
Он едет домой, лейтенант Нарижняк.
Ему ещё надо для счастья детишек.
Он едет в холодный, дремучий барак
Уснуть над горой непрочитанных книжек.
Он всё-таки их зачитает до дыр,
До звона в ушах, до дрожания века...
Пехотного взвода крутой командир,
По первой профессии — библиотекарь.

НОВЫЕ РАНЫ

Газета та затёрта и засалена,
Залапана, зачитана до дыр.
Два ветерана тихо пьют за Сталина.
Начистив сапоги, надев мундир.
Укромно пьют, пробравшись огородами.
В глазах у них то радость, то печаль.
Бездетные, и Родина распродана.
Но мне вот их ничуточки не жаль.
Сквозь нынешнее импортное крошево
Я вижу их другое естество.
В войне той много было и хорошего:
“Один за всех, и все за одного”.
Они любили так, как нам не любится,
Сражались всласть и целовались всласть.
Вот Ваня вспомнил тот состав “на Люберцах”,
А Саша, хоть “всурьёз прижмёт”, но власть.
И не было в стране такого холода,
Когда подуешь — и пристал язык.
Звенят медали на мундирах молодо,
Мундир, конечно, им давно велик.
Два мушкетёра пьют совсем не горькую:
“За Сталина, Победу, за Салют!”
Но по ночам их тонкими иголками
Совсем другие раны достают.

ПОСЛЕДНЯЯ СИГАРЕТА

Журавли улетели. Они не вернуться. Не плачь.
Лучше рюмку разбей. И походкой почти что солдата
Выйди ночью во двор. Руку сунь в прорезиненный плащ.
Сигарету достань, раскури её, дед, воровато.
Не печалься, Расул, и Бернес — не печалься. Вы там,
Где окопы и танки, и лупят по фрицам “катюши”.
Я ведь тоже взлечу журавлём к вам, братушечки, к вам.
Перед тем как исчезнуть, заткну свои ватные уши.
Жаль вот только её, что останется докуковать,

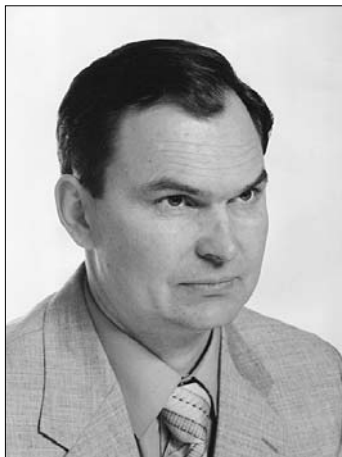
Фотографии прятать, креститься на угол, серея.
А потом каждый вечер кидаться ничком на кровать,
Ждать косую с косой. “Где плетётся?.. Наверно, стареет”.
Разлетелись сыны в города, а Ванюшка — в тюрьму,
Так и сгнула там его синяя татуировка.
Журавли улетели. Про это не скажешь тому,
Кто талдычит весь день в телевизоре складно да ловко.
Он чужак, и с него, как с гуся, лишь стекает вода,
А вот Настя, она? Ведь была она легче пушинки.
Понимала, где надо сказать, где — “не стоит”, где — “да”,
А сейчас что осталось от ветреной жинки?
Лишь три пальца в кресте. Но и это всё нафиг ему.
Журавли улетели, таща, словно в неводе, лето.
Ему надо осилить, всего лишь откинуть во тьму
Заслонившую дом эту злую, как пёс, сигарету.

БУРКА ЛЕРМОНТОВА

Понапрасну мы просим манны,
Соломон сказал: “Суета!”
Мы пропащие дети Тамани,
За душой у нас ни черта.
Он предвидел раздор по клеткам
И по атомам наш распад.
За тягучую в блёстках конфетку
Мы прода́ли вишнёвый сад.
Даже негативист Печорин
Сдвинул брови. Наружу — гнев.
Это — кровь осетинской школы,
Это вой, это стон, это рев.
А какую мы правду ввали
Лет пятнадцать тому назад
За портки под названьем “Вранглер”,
За свободу “Канкан” плясать.
И запели мы про баланду,
А не то чтобы “Ванька — встань!”
Мы слепые, мы контрабанду
Притащили к себе в Тамань.

...Ночь тиха. А утра сырые,
И асфальтовый путь блестит.
Над урочищем Фаногория
Бурка Лермонтова висит.

АНДРЕЙ БЕЛОЗЁРОВ



ПРИДНЕСТРОВСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

РАССКАЗЫ

СОЛИСТ

Убили-таки его, не могли не убить этого юридивого, который не боялся пуль. Звали его все Олег Газманов, хотя это был творческий псевдоним. Настоящего имени и фамилии его никто не знал — городская знаменитость, певец на площадях и базарах, звезда без паспорта и прописки. Знали, что он из отдалённого молдавского села прибывает поутру на дизель-поезде в Бендеры; поёт, пляшет на базаре, в винных погребах и двориках, а ввечеру обратно — с торбой гостинцев, ну, и с деньгой какой-никакой.

...Жителям Бендер тот солнечный день памятен.

Центральный рынок. Глаза разбегаются от даров природы, полонивших прилавки, лотки, тротуар: черешня, клубника, смородина, малина, огурцы, помидоры, кабачки, капуста; и тут же — вино сухое и креплёное в разнокалиберных графинах — “претворённое солнце Молдавии”...

У одного из лотков Олег наяривает в микрофон с обрывком шнура под собственный аккомпанемент, то и дело прерывающий песенный строй: цоканье языком и резкие гортанные звуки изображают перкуссию, звон оркестровых тарелок и барабаны. На груди у него табличка (выведено коряво карандашом): “Песня — 1 рубль”. Репертуар самый популярный: Пугачева, Киркоров и, конечно, любимый Газманов...

БЕЛОЗЁРОВ Андрей Борисович родился в 1966 году в г. Бендеры Молдавской ССР. Учился в Кишинёвском институте искусств и педагогическом институте. Окончил Высшие литературные курсы в Москве. Проза печаталась в журналах “Кодры”, “Молдова литературная”, “Московский вестник”. Член Союза писателей Приднестровья. Живёт в г. Бендеры.

Он был доволен и своим псевдонимом, и своей работой. Всегда хохотал, когда ему заказывали песню. Воспроизводил шлягеры, не попадая иногда в тональность, словно пьяный или ребёнок. В глазах обывателя, пожалуй, так оно и было: впавший в детство или так и не вышедший из него тридцатилетний обалдуй, хлебнувший “претворённого солнца”...

Но опытный психиатр потёр бы руки: дескать, “нашего полку прибыло” — это был сумасшедший, играющий сумасшествие. В том, что Олег “выступал” не бесплатно, была какая-то загадка, обраставшая домыслами и легендами... Трудно было сказать, псих ли он, выбравший имя известного певца по соображениям коммерческим, или ярко выраженный чудик?

Все уж к нему привыкли, — торговцы, покупатели, работники администрации; и он на отсутствие клиентов не жаловался. Иногда, правда, получал подзатыльники от пьяных, а иной раз они пускались с ним в пляс. Менты его не трогали.

Петь он начинал задаром, чтобы разогреть себя и публику. Начнёт, бывало, с Пугачихи, а закончит её тогдашним мужем... Но коронный номер был “Эскадрон моих мыслей шальных” — очень уж яростно он его выдавал, и публика принимала “на ура”, он её прямо-таки повергал в шок...

Люди вменяемые похода кидали ему рубль-другой (деньги небольшие — инфляция съедала ценность валюты). Олег постепенно входил в раж: хохотал, пел, опять хохотал, цокал и фырчал, изображая ударные инструменты, зная, что доставляет зрителям особый кайф придурковатостью исполнения. И всегда подле него образовывался круг зевак — молодых и старых, людей весёлых и не очень, которые, тем не менее, смеялись и аплодировали.

Некоторые шутники пробовали его напоить по-настоящему, но Олег принципиально избегал спиртного: что-то срабатывало в его мозгу, какой-то, видать, инстинкт самосохранения. Напрасно люди думали, что он каждый день навеселе: он был просто весел каждый день!

Недолюбливал Олег военных, без разницы — молдавских ли, приднестровских ли, или казаков, слоняющихся без дела на базарной площади Бендер, однако деньги от них брал. Но бросалось в глаза, что ведёт он себя в их присутствии скованно — это сказывалось и в выборе репертуара, и в отношении того, чтобы повисить таксу.

Даже пропев пять песен кряду и получив за это от одного казачьего чина всего трёшку, Олег не обижался: он отходил в сторону, к продавцам картошки, только чтоб оказаться подальше от этих усатых-чубатых с сырмятными плетками в руках, в начищенных до блеска сапогах со шпорами.

— Зря ты ему трёшку дал, хватило бы и рубля... — говорил один казак другому, опорожнив стакан с “крепльком” и отирая пот со лба.

— Чего жалеть, — отвечал его напарник, постукивая перегнутой в кулаке нагайкой о настил винного лотка. — Пусть дурак поёт... Кто чем может, тем и зарабатывает. Один воюет, другой песни орёт. Давай, что ли, ещё по стакашке — да на круг пора...

Через несколько часов оба эти есаула погибли, отстаивая городской исполком от армады “молдавских конституционных войск”. Они подбили из гранатомета бронетранспортёр, а сами сложили головы на алтарь “народной свободы”, которую приехали защищать в Приднестровье. Но до своего смертного часа они ещё не раз отведают доброго вина, привезённого крестьянами в город на Днестре из молдавских сёл. Ни о какой политике, кроме винодельческой, крестьянин-труженик и не помышлял. И чего делают люди, чего хотят — ему и понять порой непосильно.

...Уже третий год Олег забавлял горожан исполнением песен, причём манера его исполнения уже была доведена до некоего подкупающего абсурда вкраплением гортанных и цокающих звуков. В какой-то степени он предвосхитил караоке, но сделал это в предельно самобытной форме. Со стороны казалось, что он впадал в детство: так зачастую выступают дети, взгрозившись на табурет. А он так жил и этим жил.

Ездил Олег и в Кишинёв, но тамошняя публика его не приветила — уж больно была респектабельна. Объявлялся он и в Тирасполе, но там его от-

шили конкуренты. А вот бендерчане полюбили; его и впрямь ждали, как знаменитость, и привечали, как живую достопримечательность базара.

Он появлялся на торжище, оглядывая пространство *нездешним* взглядом, начинал петь, и базарная карусель от этого как бы пуще разгонялась: продавцы бойчее славословили свой товар, покупатели становились сговорчивее и скорее приобретали его.

Молодые торговки и торговки постарше дружелюбно улыбались, завидев певца, благоволящего женщинам. Олег помнил поименно каждую и порой вгонял в краску, спрашивая:

— А слабо тебе, Валентина, выйти за меня? День и ночь стану тебя песнями убажывать! — И торговки, расплываясь в улыбке, одаривали его горстями мелочи...

Представители власти не трогали любимца публики, даже сами платили ему украдкой. Молдавский полицейский и приднестровский милиционер могли сойтись, чтобы вместе потешаться над придурком... А через несколько часов они же могли лунануть друг друга в ближнем бою из автоматов. Так и случилось 19 июня 1992 года.

В этот день Олег пел особенно... Музыкальный знаток, наверное, признал бы нынче обретение им и слуха, и голоса. Но обывателя волновало не качество вокала, а незабываемая манера исполнителя: яркие жесты и стремление подражать *звёздам* эстрады.

— Давай, Газманов... что-нибудь из Киркорова! Гони! — выкрикивала молодёжь.

— Пускай из “Бони М” споёт! По-английски! — куражились некоторые, не думая о том, как может быть близок страшный час... хотя все знали, что молдавские войска — рядом с городом и в любую минуту могут получить приказ атаковать...

Даже председатель исполкома в голубом галстуке заскочил в это утро на базар за петрушкой, взглянул на Газманова и улыбнулся экономно, поглядывая на часы. Председатель собирался в отпуск, да и не мог он предотвратить неотвратимое. Собираясь покинуть Бендеры, он не знал, однако, что его не выпустят за пределы города казаки, не дадут удрать в Тирасполь, вернут в рабочий кабинет и заставят взять на себя ответственность за судьбу города...

И ему — председателю — спел Газманов и, как старому знакомцу, раскланялся. Всадил ему куплет из Леонтьева про светофор, который почему-то был вечно зелёным...

В тот день ещё один городской голова был на базаре — иерарх церкви, отец Игорь, он пожаловал в именованном настроении — нынче у него был день его Ангела-Хранителя...

Священник шёл по базару и остановился перед Олегом. Тут как тут старушонка в платочке подбежала:

— Благослови, отец святой!

Отец Игорь осенил крестным знамением старушку, и тут же перед ним склонилась молодая мать с младенцем:

— Пожалей, Господи, и наши души!

И торговка с прилавка подскочила, туесок клубники священнику в дар поднесла. Хромой Семён, точильщик, в людскую теснину вошёл и тоже получил благословение... И всё это время Олег пел, заливался соловьём, вытягивая романсы из репертуара Александра Малинина.

Но вот пред ясны очи отца Игоря явились двое, снявши форменные фуражки: приднестровский гвардеец и молдавский военный волонтер. Оба молодые, настырные — подступили, как бы справляясь у священника: кто из них более богоутоден? Вероятно, и им захотелось получить благословение на ратный подвиг. Поклонились, замерли...

Олег оборвал куплет из певца Малинина, замерло всё вокруг... И благословил священник и того, и другого, и оба, гвардеец и волонтер, отметили его руку поцелуем. А Олег продолжил куплет, но не заунывно, как Малинин, а строго-выспренне, как Есенин Сергей: “Стыдно мне, что я в Бога верил, горько мне, что не верю теперь...”

Поднесли отцу Игорю стакан вина, он испил его, стало на сердце веселее, пошagal благодушно к своему подворью... Но скоро настроение изменилось. Первый же орудийный хлопок показал всю зыбкость и убогость текущего бытия. Отец Игорь оказался перед неразрешимым противоречием: ведь он благословлял двух православных — гвардейца и волонтера, — а они всего лишь через несколько часов затеяли бойню... После войны пробовал отец Игорь вновь взять под своё духовное покровительство и оставшихся в живых гвардейцев, и выживших волонтеров. Но и сам бы не мог ответить на вопрос: возможно ли такое покровительство?

А те двое с базара — гвардеец и волонтер, — хоть и изранены были в сражениях, но остались живы. Через пару лет даже оказались в одной больнице после автомобильной аварии — опять никто не хотел уступить другому дорогу... Лежали в одной палате, вспоминали святого отца, а также друзей — милиционеров и полицейских, — которые были убиты.

И она, редкая птаха, которую прозвали в народе Гражданка-Война, Гуля Чижова оказалась в тот день на базаре... Как всегда — в камуфляжке, в начищенных черевичках. Лунолика, чернوبرова, черноглаза, с калачом чёрной косы — в звании майора.

Открыто чувств к поющему Олегу она не проявляла, но всегда с ухмылкой внимала его песням. Денег не давала, дабы не вызвать кривотолков, но платила эмоциями — в замороженной мечтательности замирала под “зонги” певца. Нравился ли ей Олег? Вряд ли. Эта женщина самоутверждалась среди воинственных мужей. В Олеге она, скорее всего, видела избалованного ребёнка.

Она была редактором “Боевого листка”, распространяемого в среде гвардейцев и казачества, а также на производствах, и поражала своим воинственным настроем бывалых офицеров; но вот на семейном фронте явно терпела фиаско: была одинока и бездетна...

Она глядела на Олега. Он глядел на неё, выделяя в толпе, — пел “от сердца к сердцу”...

Дальнейшая судьба Гражданки-Война такова: она стала полковником, железной поступью поднявшись по служебной лестнице до такого чина. И “Боевой листок” её возрос и стал многостраничным изданием. Ну, а сегодня кровавые события ещё только начнутся: гвардейцы из группы сопровождения Чижовой откроют по полицейским, которые окажутся у здания типографии с целью арестовать тираж газетки, огонь на поражение.

Но это будет чуть позже, а сейчас она смотрит на Олега, и в её глазах — слёзы, а он проникновенно дарит ей “Миллион алых роз”...

В тот злополучный день среди толпы слушателей оказались двое интеллигентов: один — местный поэт Влад Фёдорыч, другой — йог Хребтищев.

Олег расплясался и распелся не на шутку. Толпа рукоплескала и сама была готова пуститься в пляс, но сдерживала себя: ещё не вечер, а среди бела дня как-то неловко.

— Для меня он — загадка! — улыбался Хребтищев.

— Ничего особенного, — отвечал поэт Влад Фёдорыч. — Шут — он и в Африке шут!

— Он дарит отдохновение, дарит радость... — возражал йог. — Вот ты — поэт. Сходил искупался на Днестр, потом выпил вина — напился энергией. И обязан выдать нечто высокое, вдохновенное, чтобы на Земле и во Вселенной стало ещё краше.

— Мда-а... — отвечал поэт. — Я, пожалуй, лучше ещё стакан вина выпью. И никому и ничего не буду должен.

— Это мудро. В таком решении — соль народа... — усмехнулся Хребтищев.

— А ну, Газманов, иди сюда! — загорелся поэт. — А ну, получай рубль, даже два! Спой нам “Старинные часы”!

— В этом Газманове, — с достоинством подчёркивал йог, когда Олег запустил “старинные часы”, — некий символ, душа народа. Горе дуракам-политикам, которые этого не понимают и задумали расчленивать народ...

Оба этих мудрствующих интеллигента оказались счастливее многих бендерчан, оставшихся в тот день лежать ничком или навзничь в подтёках крови... Пуля их пощадила. Оба отделались только контузией и царапинами. Но пока они с моральным превосходством над толпой и снисхождением смотрели на Олега и не думали, что в городе вот-вот начнётся стрельба.

...Стреляли направо, по-крупному. В город входила колонна военной техники. По главной городской магистрали, к которой прилегал рынок, ползла с грохотом машина, ощеренная жерлами пушек, расстреливая из пулемётов всё, что попадалось на пути, всё, что двигалось и, казалось, могло оказать хотя бы малейшее сопротивление.

Рынок к тому часу уже заметно опустел. Услышав вблизи пулемётные очереди и хлопки мин, люди засуетились, растеклись с площади, забрались в щели... Были уже учёны: здание полиции, находящееся в пятнадцати минутах ходьбы от базара, обстреливалось приднестровской гвардией не раз. Ныне же не пистолеты и автоматы доказывали *суверенитет* и *целостность республики*, а танки и бронетранспортёры. С визгом неслись мины, трещали очереди пулемётов и автоматов.

Так началась *приднестровская мясорубка*.

Но базарный певец Олег Газманов продолжал петь! Хотя всех его почитателей словно ветром сдуло!

— Боже ж мой! — кричали торговки, укрываясь за прилавками, за мешками с мукой, сахаром и картошкой.

Пули дзинькали отчаянно, всё ближе и ближе, били о металлическую трубу каркаса, вспарывали кули, вспенивали столбы мучной и сахарной пыли... И вдруг *всё это белое* орошалось красным, и тогда движение между мешками и прилавками замирало...

Но Олег всё пел, взгромоздившись на бочку, как на сцену.

— Куда бежать-то?! Где прятаться? — кричали пробегающие мимо него люди, спотыкаясь о лотки с раздавленной клубникой и черешней.

— Сюда! Сюда-а!

— Да помогите же ему! Видите, кровью истекает!

— Этому уже не помочь! Убитый он!

— Вон ещё один!

— У-у, сволочи!!!

Убитых и раненых было всё больше, но Олег пел.

Даже когда от взрыва рухнул навес, Олег пел, не замечая ни грохота, ни пыли.

— Уходи-и! Артист чёртов! — кричали ему пробегающие мимо гвардейцы.

— Слезай с бочки!

— Беги в укрытие, дурак!

Но он, будто заколдованный, пел. Пел среди пуль.

Легенда, которая родилась в умах переживших войну бендерчан и теперь передаётся послевоенному поколению, утверждает, что Олег Газманов, настоящую фамилию которого так никто и не выведал, во время обстрела, находясь на пересечении пулемётных очередей, пел, взирая на небо. Но не шлягеры эстрадные, не попу и тем более не шансон. Пел он редчайшей разновидностью тенора, преисполненной нежности и чистоты, арии из мировой оперной классики.

Никаких характерных прищелкиваний языком и гортанных звуков, изображающих ударные инструменты и прерывающих свободное течение вокала. И посвящал он своё вдохновение не публике, а небу. Он посвящал его жертвам — тем, кому ещё суждено было погибнуть в этой некогда мирной, единой, безмятежной стране...

Отброшенные назад волосы, напряжённые черты лица... В голосе — жажда света и прозрения. И пафос скорби.

При исполнении оперы Генделя, как утверждает молва, — и у молвы есть свои музыкальные специалисты! — на словах “Моё сердце обливается кровью!” жизнь Олега оборвалась.

А ещё молва утверждает, что Олег Газманов вовсе не был дураком, зарабатывающим на рыночных площадях Молдавии. Музыкальные критики утверждают, что он в своё время окончил консерваторию по классу вокала, учился у самой Марии Биешу, всемирно известной Чио-Чио-Сан. Но театральная судьба и знаменитые подмостки оказались не его стихией — не дались! Вот он и бродил по городам и сёлам...

За телом Олега Газманова так никто и не приехал, хотя к нему на родину и отправили весточку. Может, у него и не было ни родных, ни близких...

ХАРОН

Мысль о том, что кабину его трактора пронзит пуля, шальная или прицельная, вот на этом перекрёстке или на следующем, доставляла ему какое-то удовольствие, вернее, он испытывал знобкий, леденящий душу страх и одновременно удовольствие от этого страха...

Не то чтобы Алесь накликал на себя смерть, нет, он просто свыкся с её присутствием. Он просто делал своё дело, и ему не мешал страх оказаться под огнём.

С самого начала войны Алесь знал, что он будет делать. Ведь и трактор его с кузовом впереди по изволению начальства “Спецзеленстроя”, где Алесь работал с первой трудовой графы, разрешено было содержать при домовладении. Соседи привыкли, что спозаранку из ворот его дома выплывает дребезжащей ладьёй трактор, за рулём сидит Алесь в чёрной робе, а ввечеру он обратно выруливает из тесного переулка. Алесь даже на обед не приезжал, предпочитая столовку; некому было его приветить: у пятидесятилетнего труженика не было ни детей, ни жены, ни любовницы...

Вот и сейчас никто не дёргал его за рукав, не останавливал, строго покрикивая или умоляя слёзно: “Куда ты поехал, окаянный? Пусть другие ездят! Хоть режь — не пуцу!”

Но Алесь хранила не только судьба, но и, как ни странно, враждующие стороны. Они будто выдали ему билет в будущее, каждый раз слыша тарахтящие звуки его колымаги в затихших кварталах и суеверно провожая её за поворот. Оставляли его в живых, потому что промысел его был на руку и тем, и этим...

Соляркой он был обеспечен. Воля случая. Несколько бочек горючего начальник разрешил хранить рядом с трактором, зная, что Алесь не падок на левые заказы — доставить клиенту на дачу мебель или урожай на рынок... К Алесю, признаться, вообще никто и ни за чем не жаловал...

Может быть, потому, что был он отрешённым, молчаливым и нелюдимым. Как монах или трудоголик. Пить он не пил, а то бы давно утонул в бутылке. И ходил в чёрной спецовке круглый год, даже отправляясь в магазин за продуктами; и в кинотеатр раз в месяц — тоже в чёрном. Без претензий. Будто знал, что рано или поздно случится в его жизни что-то важное, самое важное, что и откроет его душу...

Алесь никого не винил в приднестровской войне. Чтобы обвинять, нужно было встать в строй. Будучи наполовину белорусом, а на другую — украинским молдаванином, как и большинство населения региона, где исторически сложилась такая мешанина кровей, он понимал одно: над этой бойней стоят силы сверхчеловеческие, им виднее, как управляться на земле.

За день Алесь пересекал на своём тракторе враждующие блокпосты раз по десять. В первые дни он увозил больше трупов, чем потом, через несколько недель. Нынче под шальные пули попадали лишь праздно шатающиеся или слишком любопытные... Воюющие стороны не удосуживались подбирать своих мёртвых, а вот Алесь, не имея на то никаких директив, руководствовался совестью: кто, как не работник “Спецзеленстроя”, ответственный по цеховой принадлежности за чистоту города, возьмётся за уборку последствий военного времени — мертвецов, которые тоже ждут... Несколько сотен невинных горожан полегло, просто гражданских, среди которых много одиноких, неопознанных, забытых...

Алесь в первые часы первого боя был оглушён в огороде снарядом, выпущенным из системы “Алазань” — земля умягчила буйство разрыва; асфальт усугубил бы последствия — повезло. Перемогая боль в голове, он кинулся в сарай, чтобы укрыть досками бочки с горючим, но там и упал возле бочек, провёл в бессознательном состоянии неизвестно сколько времени. Когда же открыл глаза, то оказался возле своего трактора, который не имел никаких повреждений, лишь несколько маленьких вмятин на кабине. Будто по команде, Алесь взялся за дело — поехал к эпицентру событий.

Занималось утро. Светлело. В Алесья стреляли. Но он не боялся! Под обстрелом он загрузил на трактор несколько убитых, так и оставшихся лежать посреди улицы... Это была какая-то манифестация с его стороны, почти вызов! По обезлюдевшему городу, местами лежащему в руинах и пожарищах, в утренний час сразу после прекращения огня тарахтящая, дымящая сизыми выхлопами “ладья” Алесья везла мёртвых людей с одного берега на другой... Из одного царства — в другое...

И рейсов таких он сделал немало.

Документы у него не спрашивали — всё было и так понятно.

“Проезжай, не останавливайся! Быстрей, быстрей!” — кричали гвардейцы на посту и казаки, махая руками и пряча взор от возниц, готового, как укор людям с оружием, вставать на досмотр. “Репеде, репеде!” — и молдавские волонтеры у огневых точек, метрах в двухстах от приднестровских по ходу движения колымаги, закрывали лица, поскольку были так же суеверны и боялись накликать на себя беду.

Однажды Алесья транспортировал семью. Жертвами миномётного обстрела стали отец, мать и дочь. Родни, видать, у них не было, а если и была, то поди найди её, чтобы подобрать после налёта и похоронили честь по чести... Словом, дело было за Алесем. Он был крепкий парень, поднял в тракторную тележку отца и мать, а с дочкой вышла заминка. Она была не тяжела, но у Алесья залило слезами глаза, когда он увидел, разглядел при свете солнца не совсем сомкнутые синие глаза ребёнка. А когда он укладывал девочку возле отца и матери, то как будто — показалось, конечно! — услышал от неё тихое: “Спасибо!”

Эта девочка теперь не выходила у него из головы. А позднее он узнал, что семья была интернациональная. Отец — русский, мать — молдаванка, а девочка? А девочка — просто ребёнок...

Через несколько суток кровавых столкновений Алесья уже не свозил мёртвых на кладбище в уготованные им общие могилы. По распоряжению горсовета, возобновившего функционирование после вынужденной анемии, руководство железной дороги выделило холодильные секции. Это было требование здравого смысла: всё равно трупы будут выкапывать из захоронений для опознания, так что лучше поместить их пока в холодильные камеры...

Алесья работал по-прежнему, у него даже маршрут не изменился — каждый день он ехал через поделенный город, через оба поста.

Но и ближе к финалу войны, когда противники уже самостоятельно контролировали вопрос с *выбывшими из строя*, Алесья всё равно продолжал совершать свои ходки, посещая обе части поделенного города.

Выезжая на окраину, где город был хорошо виден с вершины, Алесья глушил мотор, смотрел с холма на виноградную долину, на пульсирующие в дымке заводские корпуса и дома городских жителей. Кое-где тянулись шлейфы пожарищ после ночных обстрелов или же огневые всполохи. На *своей* территории казаки выкуривали снайперов; на молдавской — колонны с гуманитарной помощью выли сиреной, призывая обывателей к бесплатной раздаче провианта...

Алесья испытывал даже дискомфорт от невозможности быть столь же полезным, как в первые дни войны. Но иногда, слыша выстрелы или разрывы, он вновь устремлялся на своём тракторе к месту событий. Под рухнувшей оградой заводского корпуса или поблизости от свежей воронки он находил убитых и перевозил их в холодильные камеры. Ежели встречались подающие признаки жизни, Алесья ощущал одновременно и радость, и какое-то разоча-

рование, словно он оказался лишним. Но и в такой ситуации он был нужен: отвозил раненого в больницу.

...Когда Алесь впервые вёл трактор к кладбищу, он сбавил ход у приднестровского поста; казачки высypали поглазеть: не было ещё никаких указаний, признавать или не признавать самодеятельность Алеся.

— Так, брателло, повертай! — распорядился чубатый есаул. — Зачем нам жертвы? Через двести метров “румыны”. Они и тебя уложат в кузов, а трактор и твоя голова — наперегонки по склону к нам!

Алесь усмехнулся, заглушил мотор. Он не собирался вступать в полемику, знал, что всё образуется само собой. Куда, как не на кладбище, везти мёртвых, а оно располагается на занятой территории.

Через минуту явился, слепя лампасами, некто постарше званием, с окладистой седой бородой.

— Не кипятись, есаул... — взял за плечо молодого подчинённого. — Не видишь, что ли: ладья Харона! — проявил он начитанность, поигрывая нагайкой. — А это — сам Харон!

— Что за ладья? — тронул фуражку над чубом есаул, не понимая, о чём идёт речь.

— Та самая ладья и тот самый Харон, что перевозит в страну мёртвых, — старший отмахнул Алеся нагайкой: мол, поезжай! Добавил вслед:

— Никто его там не тронет... Он мёртвых везёт. Вот возьмём высоту, тогда и Харону будет попоще.

На враждебной позиции, действительно, никто к Алеся не подошёл. Видимо, изучили с высоты в бинокли, что за груз он везёт в тракторном кузове. Алесь, по большому счёту, был всем выгоден, потому что собирал в свою “ладью” всех, без национальных различий...

А прозвище Харон, как ни странно, приклеилось к Алеся по обе стороны фронта. Алесь был единственным из живых, кто пересекал по несколько раз в день линию огня — он стал настоящим проводником в *Царство Мёртвых*.

Однажды казаки решили задействовать Алеся в операции. Казаки — они казаки и есть: им бы только удаль свою проявить да по задумкам оказаться впереди воинства! Придумали они Харону иную миссию... Алесь должен был поддехать якобы гружёный *своим грузом* к вражескому блокпосту, на котором был установлен крупнокалиберный пулемёт. Ему велели выйти из кабины трактора якобы по нужде, или чтобы справиться у “румын” о солярке, которая некстати закончилась, и в этот момент, укрываясь за стеной полуразрушенной постройки, активизировать радиовзрыватель.

После большого взрыва подтянутся казаки на лошадях — и высота будет взята! Всё просто: обычные провода мертвецов, которых необходимо доставить до места... Алесь только усмехнулся, выслушав их план, головой кивнул.

Ночью приспособили трактор для последнего выхода в мир грешный, для последней работы, которая должна послужить в самоотверженном деле борьбы с врагами.

В назначенный час трактор Алеся миновал казачий пост, в тележке, под дерюгой лежал якобы труп, на самом деле — взрывчатка. Впереди — пост молдаван, цель операции.

Алесь испытывал вдохновение. Трактор, казалось, сегодня тархтел громче, подбегая к молдавскому блокпосту. Военные вышли из укрытия навстречу приближающемуся Харону. Наконец, мотор заглух, трактор остановился.

За время своих поездок Алесь выучил наизусть загорелые лица каждого волонтера, приписанного к этому посту; видел их и по отдельности, и с командиром, когда тот строил их, ругая за что-нибудь или давая указания.

Рослые, как на подбор, парни: остриженный коротко Петрике, Ион с шаровидной кроной-головной, Григоре с колочим взглядом из-под густых бровей, лысоватый Тудор...

— Что-то у тебя мотор сегодня разорался?

— Газуешь сильно!

— Лётчиком себя почувствовал? — смеясь, тараторили по-молдавски окружившие трактор вояки.

Алесь их языка не знал, отмалчивался.

— Сорвёшь агрегат...

— Форсунки и стабилизаторы...

— А у нас перепонки сорвутся...

Трактор Алесь остановил с расчётом — прямо у блиндажа, из бойницы которого выдвигалось чёрное жерло пулемёта.

Алесь думал: как бы собрать их тут побольше, делал вид, что с трактором есть у него нелады. Он поджидал пятого — командира, остававшегося, вероятно, в блиндаже. Но вот и он, Чубэр, — подтянутый, в тельняшке, — вышел из бетонного укрытия. По усатому лицу его пробежала тень. Спросил сухо:

— Петрике, Ион, что случилось? Какого чёрта ему тут надо?! Давай... убирайся! — заговорил он с Алесем по-русски. Полнобопытствовал:

— Сколько везёшь? Из “наших” кто есть?

Алесь ответил:

— Везу достаточно. Шестерых!

— Шестерых? — удивился офицер. — А наших сколько?

— Пятеро ваших, — Алесь вытащил из-за пазухи дистанционное управление. — Пятеро! А всего будет шесть...

Никто не успел опомниться. Только в последний смертный миг в их глазах блеснул неистовый страх. Забрал Харон пять жизней молдаван и одну свою... Блиндаж был разрушен, огневая точка подавлена.

Мог ли Алесь выжить, если бы спрятался, как ему велели казаки, за стеной в десятке метров от дота? Возможно. Но он даже не вылез из своего трактора, собрал постовых вокруг него, чтоб уж наверняка...

С диким порывом ветра, с гиканьем и цоканьем копыт ворвались казаки на разрушенный взрывом пост. Алесь — казаки это в бинокли видели — повторил подвиг времён Великой Отечественной...

Наверное, Алесь, который в жизни не умел улыбаться, *летел теперь над миром* и улыбался... — улыбался всему, что происходило и будет происходить внизу: ликованию казаков, пришествию в город миротворцев, мирному строительству, возведению памятника ему — Харону — “от лица благодарных” горожан, празднованию десятилетия республики, а потом и двадцатилетия её...

Посмертно Алесь был награждён президентом республики, а молдавские военные — Петрике, Ион, Григоре, Тудор и Чубэр-командир — верховными начальниками своей страны.

Отпевали их всех в местной церкви по православному обряду. В цинковых гробах.

АНГЕЛ

В город на Днестре нагрянула съёмочная группа с маститым режиссёром Резонтовым — выдать в итоге нечто фестивальное. Фильм игровой про местный сепаратизм — это модно.

Горожане к миссии киношников отнеслись с пониманием: кто в массовых сценах готов был играть, кто дом или участок для съёмок предоставить, кто транспортом подсобить. Кроме выгоды был и моральный стимул: “Никто не забыт, ничто не забыто!”

Режиссёр-креативщик нервно втолковывал оператору про “наезд” на кладку стены, испещрённую небутафорскими рытвинами от пуль и осколков. Оборачивался на актёров, которые ждали своего часа в креслах-шезлонгах, выискивал главного исполнителя, одетого, как и его “боевые” партнёры, в заляпанную кетчупом и присыпанную мелом рванину.

У Резонтова, однако, многое не связывалось в понимании приднестровской войны. Потому и прибыл он сюда: разобраться на месте, а не отснять фильм в павильонах Мосфильма и в ландшафтах за МКАДом.

Казалось, сценарист потрудился в архивах, и аналоги подобных социальных катаклизмов уже имелись, но что-то в цельную картину не складывалось. Можно было бы выехать на колорите отношений: между командирами и ополченцами и казаками; между конституционной армией и обывателями (по сути, молдавская армия расстреливала мирных граждан); наконец, между самими враждующими сторонами, которые вели себя по отношению друг к другу иногда с неоправданной жестокостью. Можно было бы... Если бы не суровые и одновременно угодливые горожане, сыплющие показаниями...

— Ты должен сыграть то, что осталось между строк! — вводил в роль режиссёр главного героя.

— По сценарию, — отвечал исполнитель, — я вхожу в раж после первого мной убитого. Начинаю крушить всё подряд. Рэмбо... Ход обычный, ничего особенного...

— Нет, это не так, — возражал Резонтов, посматривая на живое кольцо сгрудившихся за флажками местных жителей.

— Накануне войны в церкви два врага стояли рядом, и оба припадали к кресту и к руке батюшки. Вера скрепляла их, а не разделяла...

Актёр неопределённо кивал. Оставив исполнителя, Резонтов приблизился к местным жителям:

— Так что же у вас тут произошло?

Но вразумительного ответа от стоголовой толпы получить сразу ему не удалось. Тогда он дозволил слово молвить старому-престарому человеку.

— Жарил нас Кишинёв на адской сковородке! Палили во всё движимое и недвижимое. А вы в граде столичном и в ус не дули!

Старика перебила женщина средних лет:

— Поутру всё тихо было в ту пятницу. Часа в три пополудни дети гоняли мяч во дворе, и мой сын пулю получил. Теперь к креслу прикованный! Сколько комиссий прошли, а к инвалидам войны не причисляют... Случайная пуля, может, снайперская... Ведь война официально началась в семнадцать тридцать...

Тут загудели и другие:

— Военные волонтёры вошли в дом, приказали надеть тулуп и ушанку — в сорокаградусную жару! — и... бегать в кукурузе... “Выпас баранов” это называлось...

— Дядя-режиссёр, глядите: часы убитого...

— Такое и представить трудно, товарищ режиссёр. Не только русские страдали здесь в войну, — говорил чернявый человек с молдавским акцентом. — Не только сражались за идеалы, товарищ, — а бились с братьями... Мой сродник...

Его перебил опять женский голос; женщина была пожилая, в тёмной козынке:

— А мой сын в ополчении был. Убит на третий день войны, но и сейчас живёт... Хотите удостовериться? Приходите в ремонтные мастерские... На закате!

Со всех сторон сыпались свидетельства в подтверждение ужасов войны. И — ни намёка на раскрытие её причины! А ещё люди ждали возможности заработать ставку в массовой сцене: расстрел автоколонны у стен древней крепости, исход беженцев по мосту через Днестр, панихида в память жертв террора у исполкома... Но батальные съёмки на сегодня не планировались.

Режиссёра Резонтова интриговали артефакты. Ведь сам игровой сюжет можно было бы и впрямь снять в студийных условиях, не заморачиваясь натурой.

С оператором на этой ленте он общался как никогда плотно. Тот “клянялся” с переносной камерой каждому “розану” на асфальте от разрыва — мог различить, где сработала мина, где граната. Знал оператор наперечёт и руины, к которым ещё не поспела рука реконструктора-застройщика. С трепетом оглаживал известняк с росчерком осколка мины или пули.

А режиссёр Резонтов всё пытался постичь: зачем сплавленному в горниле эпох народу потребовалось разделяться? Ведь по прошествии времени яс-

нее ясно обнаруживаются тенденции к слиянию — взять тот же Евросоюз, прочие блоки, политические и экономические...

Православные убивали друг друга и, вполне возможно, ещё будут убивать. Народ, как и прежде, — тело без разума, которое калечит себя? Что должно “стрелять” в фильме: адепты сепаратизма или национализма? или персонажи подвига и человеческой справедливости?

Во время съёмки ключевой сцены недовольный реакцией героя в момент убийства врага Резонтов закричал в мегафон исполнителем главной роли:

— Нет, я тебе не верю! Гнев в тебе спит!.. Бей его, иначе он тебя... Ещё дубль!..

И тут неожиданно на крики режиссёра отозвались из толпы за ограждением:

— Хочешь убить молдаванина? А кто придет к тебе в Москву чинить унитаза? Плитку мостить? Улицу мести... — Он говорил с молдавским акцентом.

Его поддержала женщина, у которой сын стал инвалидом от нелепой пули:

— Ни медицины, ни сострадания к людям... Как оторванные от всего мира сидим. Была б единая республика, может, и специалисты бы нашлись, поставили бы моего сына на ноги!

Толпа загудела, завелась:

— Да, были времена. Полные поезда в Кишинёв едут: кто на учёбу, кто на работу, кто в театры, в цирк, в зоопарк...

— А теперь сами, как в зоопарке, живём — с паспортами непризнанного государства.

— Кордонами обложены, таможнями. Комендантский час на десять лет растянулся...

— А ведь перед войной планировался чуть ли не мегаполис: Одесса—Кишинёв... Скоростное сообщение...

Старик припомнил:

— В царскую эпоху конки часов за десять до Одессы могли домчать. Паровозы — за пять. А сейчас на таможне люди стоят столько же!..

— Приднестровцы вместе с молдаванами скитаются по России, ищачат за копейки. Поедешь на стройку, а тебя там и сбросят с крыши перед зарплатой!

— Гражданин режиссёр! — вмешался рослый милиционер. — Разрешите навести порядок. Никто не будет мешать съёмочному процессу.

— Нет-нет, — отозвался режиссёр Резонтов. — Всё это очень кстати. И вы присоединяйтесь, и вам слово дадим...

— Господин режиссёр, у нас есть ребята надёжные, вы только приказать извольте, — заговорил осанистый мужчина чиновного вида. — И казаки, и пожарники проявили себя положительно. Стрелять обучат актёра вашего, продублируют. — Он усмехнулся:

— Тут у нас *реальных* героев хоть отбавляй!

— А мой сын в ополчении служил. Убит на третий день войны, но *и сей-час живее всех живых*. Хотите удостовериться? Приходите в ремонтные мастерские. На закате! — словно заклинание, настойчиво повторяла женщина в газовой косынке.

— Это наша городская блаженная, господин режиссёр, Нина Фёдоровна. Не обращайтесь внимания, — стали пояснять режиссёру со всех сторон. — Её сына убили из гранатомёта. Ничего от него не осталось, вот она и свихнулась.

— Сам ты свихнулся, чёрт толстомордый! — выкрикнул кто-то из толпы. — Нина Фёдоровна у нас святая...

Оператор всё это незаметно снимал — по знаку режиссёра, хотя режиссёр ни в одном из своих фильмов подобную документалистику не использовал.

Съёмка продолжалась, но теперь казалось, что не только режиссёр — вся труша учитывала *голос толпы*, подчинялась невольно не прописанному в сценарии сюжету...

Уединившись в гостинице на берегу Днестра, режиссёр просматривал отснятые материалы. Отключил бледные, как метки карандаша, голоса в кадре, которые будут переозвучены. Не беда, что монтаж рваный, стилистика клиповая. Но точность композиции — главное. Всё по сюжету: в толпе местных прихожан герой и его “враг”... Крестный ход, хорутви поручают нести именно им... Солнце садится и восходит над землёй приднестровской... Молдаване и русские вместе пьют вино, крестят детей, танцуют... Солнце заходит и встаёт над землёй благодатной.

...И вот — мордобой; камера фиксирует оплеухи и ссадины, плевки и взаимные упрёки. “Будет война!” — объявляет жене герой фильма; жена забирает из рук спящего ребенка плюшевую зверушку... Колонна бронетехники катит по автотрассе среди полей и виноградных холмов; концентрируется на подступах к городу... Дальше — кадры войны. Граждане бегут, на секунды опережая рвущиеся снаряды... Первые жертвы... Под гусеницами танка просматривается плюшевая зверушка...

И вот главный эпизод — поединок врагов.

Режиссёр Резонтов задумчиво ходит по номеру, его гложет дума: нет у фильма какой-то главной метафоры. Ведь фильм — это не просто цепь событий и драматических коллизий, это послание будущим поколениям, а не просто мастерски сработанный боевик. А у него выходит всё же боевик... Да и название необходимо сменить; в нынешнем слышится что-то тривиальное, с патетикой: “Форпост”.

Резонтов вознамерился разыскать Нину Фёдоровну, “местную святую”: что-то не давало ему покоя в её словах о сыне, который *живеет всех живых*. Но прежде ему нужно было побывать там, куда она так настойчиво его зазывала. Вместе с оператором Резонтов отправился в ту часть города у Днестра, где шли бои.

Предвечерние улочки уютного многострадального города, насчитывающего в своей истории немало — шестьсот лет...

Режиссёр надвинул на глаза бейсболку и надел чёрные очки, чтобы случайно никто его не узнал. Он внимательно всматривался в лица горожан. Люди, вкусившие запах пороха и крови, думал он, являются носителями *некоего знания*. Пускай причины войны, исторические и политические следствия остаются для них тайной за семью печатями, но пережившие войну — кто в подвале, кто на передовой, кто в роли беженца — знали то, что он, режиссёр Резонтов, силится сейчас познать методами искусства. Возможно ли это?!

Они вышли с оператором к парапету набережной. Солнце садилось. Вокруг тишина, покой, отдохновение. Спустились к реке, пошли по тропинке вдоль кромки воды. Молча.

И вот уже показались впереди развалины судовых мастерских. Место, окутанное легендами.

Вокруг — быльё в человеческий рост (в местном климате бурьян и зимой не усыхает!) и сухие деревья — будто специально всё устроено для пущей убогости и нарочитой разорённости здешнего речного хозяйства.

Оператор с переносной камерой всё снимает: гильзы под ногами, часть якорной лебедки, ковши для добычи песка со дна реки, борт лодки, уходящее за горизонт солнце...

Анфилада произвольных помещений, пронизанных жгучей лучистостью заходящего солнца, которое струится из расщелин. Иные клетки темны и черны; иные — освещены ярко, в зависимости от разрушения конструкций. Стены в следах от пуль и осколков.

— Странно! — воскликнул Резонтов. Эхо отозвалось: “но-но-но...”

— Почему Нина Федоровна упорно зазывала нас сюда?

Так и шли они — в помыслах о “святой” Нине Фёдоровне — от одного заваленного помещения, где стояли верстаки, ящики для инструментов, голые станины, к другому, где были следы крови на стенах и отметины от пуль.

— В этих камерах народу полегло не меньше, чем в других узлах оборон, — заметил режиссёр. — Краеведы докладывали о том, что происходит здесь нечто потустороннее. Всякое там сияние и звуки... Жители бегут

из этих мест. Боятся. А эта блаженная... Нет, что-то тут есть, загадка какая-то...

— Нам её уже не разгадать. Съёмочное время кончилось. Фильм практически готов... Пора домой, — вздохнул оператор.

— Кто знает, — задумчиво произнёс Резонтов.

Наконец они добрались до углового помещения. Бетонный пол был чисто выметен. Оконные проёмы с выгоревшими остовами рам давали в это время освещение, о котором киношники могли только мечтать: не нужно софитов и дымных завес... Режиссёр и оператор оторопело смотрели на стену, где в свете заходящего солнца оживало *нечто*... И *оно* питалось закатным солнцем и цветами, выставленными у стены, словно у подножия памятника, в горшках с землёй и в банках с водой. И цветы были живыми; и вечерний свет — живым! И нельзя было оторвать взгляда от этой стены и от этого *не-что*. Но чудо длилось недолго: солнце меняло градус склонения над землёй, лучи уходили выше, стена меркла.

— Вот почему Нина Фёдоровна говорила, что приходиться сюда нужно на закате... Абрис убитого выстрелом из гранатомёта выведен на стене кровью...

— Есть аналогии, — возбуждённо заговорил оператор. — Например, отпечаток доисторической ящерицы на спёкшемся песчанике... Или христианская реликвия: плащаница, хранящая Лик Христа... Или “снимок” мамонта, на срезе скалы, убитого при неизвестных обстоятельствах. Камень запечатлел это мгновение. И здесь...

— Я, было, подумал, что это какое-то странное напыление... — произнёс Резонтов. — Нет... При закатном свете отчетливо видно — это будто Ангел взметнувшийся... Руки — будто крылья, и переломленный торс...

— Цветы свежие, — заметил оператор. — И в горшках политы...

— Я думаю, сюда не только Нина Фёдоровна приходит.

И тут они оба замерли: в помещение вошёл старик с букетиком полевых цветов, знакомый из той толпы, которая окружала съёмочную площадку:

— Я ведь когда-то работал здесь... — сказал он. — Здесь на стене — подобие иконы... И свечение особенное... В этом помещении и хранили, и плавил техническое серебро для корабельных нужд. Элемент светочувствительный. Разрыв снаряда сработал, как фотовспышка... Вот и вошёл сынок Нины Фёдоровны в вечность... — Старик поклонился и ушёл тихой старческой походкой.

— Вот она — метафора фильма! — негромко воскликнул режиссёр Резонтов. — Надо снять всё здесь в самом естественном свете... Заключительные кадры... Разрушенные мастерские и *святая* стена... Нет, главная сцена не та, где герой убивает врага. Главная сцена — тишина и скорбь. Святая старуха, старик, горшок с цветами...

Оператор кивал головой.

— И ещё надо доснять массовые сцены, — продолжал режиссёр, — чтобы был крупный план тех, кто реально всё это видел... Искусство требует образности!

Оператор задумчиво огляделся, словно искал ещё чего-нибудь примечательного, что мог бы ухватить его объектив, потом спросил:

— Зачем нужна была эта война?

— На этот вопрос мы никогда с тобой не ответим. Мы же сюда кино приехали снимать, — усмехнулся режиссёр Резонтов.

СЕРГЕЙ ГЛАЗЬБЕВ

академик РАН

КАК НЕ ПРОИГРАТЬ В ВОЙНЕ

Смена технологических укладов и эскалация глобальной напряженности

Переживаемый в настоящее время глобальный кризис, сменивший длительный экономический подъем развитых стран, является закономерным проявлением длинных циклов экономической активности, известных как волны Кондратьева¹.

К настоящему времени в мировом технико-экономическом развитии (начиная с промышленной революции в Англии) можно выделить жизненные циклы пяти последовательно сменявших друг друга технологических укладов, включая доминирующий в структуре современной экономики информационный технологический уклад². Уже видны ключевые направления развития нового технологического уклада, рост которого обеспечит подъем экономики передовых стран на новой длинной волне экономического роста: биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной биологии и геномной инженерии, нанотехнологии, системы искусственного интеллекта, глобальные информационные сети и интегрированные высокоскоростные транспортные системы. Их реализация обеспечивает многократное повышение эффективности производства, снижение его энерго- и капиталоемкости³.

В настоящее время новый технологический уклад выходит из эмбриональной фазы развития в фазу роста. Его расширение сдерживается как незначительным масштабом и неотработанностью соответствующих технологий, так и неготовностью социально-экономической среды к их широкому применению. Однако, несмотря на кризис, расходы на освоение новейших технологий и масштаб их применения растут с темпом около 20–35% в год⁴.

Дальнейшее развертывание кризиса будет определяться сочетанием двух процессов – разрушения (замены) структур прежнего технологического уклада и становления структур нового. Совокупность работ по цепочке жизненного цикла продукции (от фундаментальных исследований до рынка) требует определенного времени. Рынок завоевывают те, кто умеет пройти этот путь быстрее и произвести продукт в большем объеме и лучшего качества. Чем быстрее финансовые, хозяйственные и политические институты перестроятся в соответствии с потребностями роста новых технологий, тем раньше начнется подъем новой длинной волны экономического роста. При этом изменится не только технологическая структура экономики, но и ее институциональная система, а также состав лидирующих фирм, стран и регионов. Преуспеют те из них, кто быстрее сможет выйти на траекторию роста нового технологического уклада и вложиться в составляющие его производства на ранних стадиях

развития. И наоборот, вход для опаздывающих с каждым годом будет становиться все дороже и закроется с достижением фазы зрелости⁵.

Исследования показывают, что в периоды глобальных технологических сдвигов передовым странам трудно сохранить лидерство, так как на волне роста нового технологического уклада вперед вырываются развивающиеся страны, преуспевшие в подготовке предпосылок его становления. В отличие от передовых стран, сталкивающихся с кризисом перенакопления капитала в устаревших производствах, у них есть возможность избежать массового обесценения капитала и сконцентрировать его на прорывных направлениях роста.

Для удержания лидерства передовым странам приходится прибегать к силовым приемам во внешней и внешнеэкономической политике. В эти периоды резко возрастают военно-политическая напряженность, риски международных конфликтов. Об этом свидетельствует трагический опыт двух предыдущих структурных кризисов мировой экономики.

Так, Великая депрессия 30-х годов, обусловленная достижением пределов роста доминировавшего в начале века технологического уклада “угля и стали”, была преодолена милитаризацией экономики, которая вылилась в катастрофу Второй мировой войны. Последняя не только стимулировала структурную перестройку экономики с широким использованием двигателя внутреннего сгорания и органической химии, но повлекла кардинальное изменение всего мироустройства: разрушение тогдашнего ядра мировой экономической системы (европейских колониальных империй) и формирование двух противоборствующих глобальных политико-экономических систем. Лидерство американского капитализма в выходе на новую длинную волну экономического роста было обеспечено чрезвычайным ростом оборонных заказов на освоение новых технологий и притоком мировых капиталов в США при разрушении производственного потенциала и обесценении капитала основных конкурентов.

Депрессия середины 70-х – начала 80-х годов, обусловленная исчерпанием возможностей роста этого технологического уклада, повлекла гонку вооружений в космосе с широким использованием информационно-коммуникационных технологий, составивших ядро нового технологического уклада. Последовавший вслед за ней коллапс мировой системы социализма, не сумевшей своевременно перевести экономику на новый технологический уклад, позволил ведущим капиталистическим странам воспользоваться ресурсами бывших социалистических стран для “мягкой пересадки” на новую длинную волну экономического роста. Вывоз капитала и утечка умов из бывших социалистических стран, колонизация их экономик облегчили структурную перестройку экономики стран ядра мировой капиталистической системы. На этой же волне роста нового технологического уклада поднялись новые индустриальные страны, сумевшие заблаговременно создать его ключевые производства и заложить предпосылки их быстрого роста в глобальном масштабе. Политическим результатом этих структурных трансформаций стала либеральная глобализация с доминированием США в качестве эмитента основной резервной валюты.

По своим геополитическим последствиям структурный кризис 70-х–80-х годов прошлого века и связанная с ним гонка вооружений в космосе имели не меньшие последствия, чем Вторая мировая война. США и НАТО вышли из нее победителями, установив контроль над гигантскими ресурсами распавшейся мировой социалистической системы. Победу им принесло сочетание информационного и психологического оружия, к отражению которого советская система безопасности оказалась не готова. Хотя эта война носила “холодный характер”, обошлась без кровопролитных боев, и жертвы образовались, в основном, вследствие колониальной политики геноцида населения бывших республик СССР, по своему историческому, геополитическому и геоэкономическому значению она должна рассматриваться как Третья мировая война. Соответственно, происходящее по той же логике длинных циклов современное обострение военно-политической напряженности должно расцениваться как появление признаков Четвертой мировой войны.

Исчерпание потенциала роста доминирующего технологического уклада стало причиной глобального кризиса и депрессии, охватившей ведущие страны мира в последние годы⁶.

Выход из нынешней депрессии также будет сопровождаться масштабными геополитическими и экономическими изменениями. Как и в предыдущих случаях, лидирующие страны демонстрируют неспособность к совместным кардинальным институциональным нововведениям, которые могли бы канализировать высвобождающийся капитал в структурную перестройку экономики на основе нового технологического уклада, и продолжают воспроизводить сложившуюся институциональную систему и обслуживать воплощенные в ней экономические интересы.

США и их союзники по G7 к настоящему времени исчерпали возможности вытягивания ресурсов из постсоциалистических стран, в которых сложились свои корпоративные структуры, приватизировавшие остатки их производственного потенциала. Исчерпала себя и война финансовая, которую Вашингтон ведет с незащищенными национальными финансовыми системами, привязывая их к доллару посредством навязывания монетаристской макроэкономической политики при помощи зависимых от него МВФ, рейтинговых агентств, агентов влияния. Вытягиваемых со всего мира капиталов уже не хватает для обслуживания лавинообразно нарастающих обязательств США, расходы на которые приближаются к трети ВВП США.

В то же время сохранившие экономический суверенитет страны (Китай, Индия) не открывают свои финансовые системы, демонстрируя уверенный рост в условиях кризиса. Их примеру следуют крупнейшие страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, сопротивляясь поглощению активов спекулятивным капиталом. Посредством валютных свопов Китай быстро создает свою систему международных расчетов. Пространство для маневров ФРС США нулемолимо сжимается – американской экономике приходится принимать на себя основной удар обесценения капитала.

Исходя из этого, речь может идти об одном из трех сценариев дальнейшего развертывания кризиса, запрограммированного внутренней логикой развития нынешней глобальной экономической системы:

1. Сценарий быстрого выхода на новую длинную волну экономического роста (оптимистический). Он предусматривает перевод кризиса в управляемый режим, позволяющий ведущим странам канализировать спад в устаревших секторах и периферийных регионах мировой экономики и направить остающиеся ресурсы на подъем инновационной активности и форсированный рост нового технологического уклада. При этом кардинально изменится архитектура глобальной финансовой системы, которая станет поливалютной, а также состав и относительный вес ведущих стран. Произойдет существенное усиление государственных институтов стратегического планирования и регулирования финансовых потоков, в том числе на мировом уровне. Глобализация станет более управляемой и сбалансированной. Стратегия устойчивого развития сменит доктрину либеральной глобализации. В числе объединяющих ведущие страны мира целей будут использоваться борьба с терроризмом, глобальным потеплением, массовым голодом, болезнями и другими угрозами человечеству.

2. Катастрофический сценарий, сопровождающийся коллапсом существующей американоцентричной финансовой системы, формированием относительно самодостаточных региональных валютно-финансовых систем, уничтожением большей части международного капитала, резким падением уровня жизни, углублением рецессии и возведением протекционистских барьеров между регионами.

3. Инерционный сценарий, сопровождающийся нарастанием хаоса и разрушением многих институтов, как в ядре, так и на периферии мировой экономики. При сохранении некоторых институтов существующей глобальной финансовой системы появятся новые центры экономического роста в странах, сумевших опередить других в формировании нового технологического уклада и “оседлать” новую длинную волну экономического роста.

Инерционный сценарий представляет собой сочетание элементов катастрофического и управляемого выхода из кризиса. При этом он может быть катастрофическим для одних стран и регионов и оптимистическим для других. Следует понимать, что институты ядра мировой финансовой системы будут выживать за счет стягивания ресурсов с периферийных стран путем установления контроля над их активами. Достигаться это будет обменом эмиссии резервных валют на собственность принимающих эти валюты стран.

Пока развитие событий идет по инерционному сценарию, который сопровождается расслоением ведущих стран мира по глубине кризиса. Наибольший ущерб несут страны с открытой экономикой, в которых падение промышленного производства и инвестиций составляет 15–30%. Страны с автономными финансовыми системами и емким внутренним рынком, защищенным от атак финансовых спекулянтов, продолжают расти, увеличивая свой экономический вес.

Для выхода на оптимистический сценарий необходимо формирование глобальных регулирующих институтов, способных обуздать турбулентность на мировых финансовых рынках и уполномоченных на принятие универсальных глобальных правил для финансовых учреждений. В том числе предусматривающих ответственность менеджеров, прозрачность фондовых опционов, устранение внутренних конфликтов интересов в институтах, оценивающих риски, ограничение кредитных рычагов, стандартизацию финансовых продуктов, проведение трансграничных банкротств.

В любом из сценариев экономический подъем возникает на новой технологической основе с новыми производственными возможностями и качественно новыми потребительскими предпочтениями. Кризис закончится с перетоком оставшегося после коллапса долларовой финансовой пирамиды и других финансовых пузырей капитала в производство нового технологического уклада⁷.

В основе нового (шестого) технологического уклада лежит комплекс нано-, информационно-коммуникационных и биотехнологий. И, хотя основная сфера применения этих технологий лежит в сфере здравоохранения, образования и науки и не связана с производством военной техники, гонка вооружений и увеличение военных расходов привычным образом становятся ведущим способом государственного стимулирования становления нового технологического уклада.

К сожалению, Россия упустила исторический шанс предложить на встрече лидеров G20 в Санкт-Петербурге в сентябре 2013 г. план широкого международного сотрудничества в совместном развитии и освоении ключевых направлений становления нового технологического уклада, который стал бы мирной альтернативой гонке вооружений в качестве стимулирующего механизма инновационной активности. Предложенная Научным Советом РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию инициатива по запуску международной программы защиты Земли от космических угроз не была воспринята российскими чиновниками, готовившими встречу G20 в Санкт-Петербурге. Они предпочли следовать предложенному США курсу забалтывания ключевых проблем глобального кризиса с концентрацией внимания ведущих стран мира на второстепенных вопросах повышения устойчивости работающих в их интересах мировой валютно-финансовой системы. А сами США, тем временем, готовили на Украине почву для запуска новой мировой войны по новым технологиям, пытаясь удержать лидерство в рамках инерционного сценария развертывания глобального кризиса.

Дело в том, что либеральная идеология, доминирующая в правящих кругах США и их союзников по НАТО, не оставляет для государства иных поводов для расширения вмешательства в экономику, кроме нужд обороны. Поэтому, сталкиваясь с необходимостью использования государственного спроса для стимулирования роста нового технологического уклада, ведущие деловые круги прибегают к эскалации военно-политической напряженности как основному способу увеличения государственных закупок передовой техники. Именно в этом ракурсе следует рассматривать причины раскрутки Вашингтоном маховика войны на Украине, которая является не целью, а инструментом для реализации глобальной задачи сохранения доминирующего влияния США в мире.

Наряду со структурным кризисом мировой экономики, обусловленным сменой доминирующих технологических укладов, в настоящее время происходит переход к новому вековому циклу накопления капитала, что еще более усугубляет риски развязывания мировой войны⁸. Предыдущий переход от колониальных империй европейских стран к американским глобальным корпорациям в качестве ведущей формы организации мировой экономики происходил посредством развязывания трех мировых войн, исход которых сопровождался кардинальными изменениями мирового политического устройства. В результате Первой мировой войны рухнул монархический строй, сдержи-

вавший экспансию национального капитала. В результате Второй – развалились колониальные империи, ограничивавшие международное движение капитала. С крахом СССР вследствие Третьей – холодной – войны свободное движение капитала охватило весь мир, а транснациональные корпорации получили в распоряжение всю мировую экономику.

Но на этом история не заканчивается. Развитие человечества требует новых форм организации глобальной экономики, которые позволили бы обеспечить устойчивое развитие и отражение планетарных угроз, включая экологические и космические. В условиях либеральной глобализации, выстроенной под интересы транснациональных, в основном англо-американских корпораций, эти вызовы существованию человечества остаются без ответа. Более того, сверхконцентрация капитала и глобального влияния в руках нескольких сот семей в отсутствие механизмов демократического контроля создает угрозу становления глобальной диктатуры в интересах обеспечения господства мировой олигархии за счет угнетения всего человечества. Тем самым возрастают риски злоупотреблений глобальной властью, чреватые уничтожением целых народов и катастрофами планетарного масштаба. Объективно возникающая необходимость обуздания мировой олигархии и упорядочивания движения мирового капитала достигается в восточно-азиатской модели организации современной экономики. С подъемом Китая, Индии и Вьетнама вслед за Японией и Кореей все более явственно просматриваются контуры перехода от Англо-американского к Азиатскому вековому циклу накопления капитала.

Суперпозиция вековых циклов накопления капитала, длинных циклов Кондратьева, циклов накопления Кузнеця и деловых циклов свидетельствует о том, что мир проходит крайне опасный момент совпадения нижних поворотных точек всех этих циклов, что создает опасный резонанс характерных для каждого из этих циклов потрясений.

Математическое моделирование наложения перечисленных циклов указывает на прохождение экстремальной точки падения экономической активности в 2014–2016 годах⁹. На этот же период приходится максимальный риск обострения политической напряженности и схватки за лидерство. На предыдущие периоды понижательных волн циклов Кондратьева также приходились серьезные кризисы, оборачивавшиеся потрясениями, социально-политическими конфликтами и войнами.

В свете охарактеризованных выше глобальных изменений понятно, что борьба за мировое лидерство в экономике разворачивается между США и Китаем, в которой США для сохранения своего доминирования разыгрывают привычный им сценарий развязывания мировой войны в Европе, пытаясь в очередной раз за счет Старого Света упрочить свое положение в мире. Для этого они используют старый английский геополитический принцип “разделяй и властвуй”, воскрешая подсознательную русофобию политических элит европейских стран и делая ставку на традиционный для них “драг нахт остен”. При этом, следуя заветам Бисмарка и советам Бжезинского, в качестве главной линии раскола они используют Украину, рассчитывая, с одной стороны, на ослабление и агрессивную реакцию России, а с другой стороны – на консолидацию европейских государств в их традиционном стремлении к колонизации украинских земель. Удержание контроля над Европой и Россией может дать США геополитический и геоэкономический запас прочности, необходимый для сохранения глобального доминирования в конкуренции с Китаем.

Американская стратегия сохранения глобального доминирования

В основе глобального доминирования США лежит сочетание технологического, экономического, финансового, военного и политического превосходства. Технологическое лидерство позволяет американским корпорациям присваивать интеллектуальную ренту, финансируя за счет нее НИОКР в целях опережения конкурентов по максимально широкому фронту НТП. Удерживая монополию на использование передовых технологий, американские компании обладают преимуществом на мировых рынках как по эффективности производства, так и по предложению новых товаров. Экономическое превосходство создает основу для господствующего положения американской валюты, которое защищается военно-политическими методами. В свою очередь, за счет

присвоения глобального сеньоража от эмиссии мировой валюты, США финансируют дефицит своего госбюджета, который складывается вследствие раздутых военных расходов. Последние сегодня больше российских по порядку и превышают совокупный объем десяти идущих вслед за США стран вместе взятых.

В период смены технологических укладов все эти составляющие американского доминирования подвергаются испытаниям на прочность. Догоняющие страны получают в этот период возможность “срезать круг” – сэкономить на фундаментальных и поисковых исследованиях путем имитации достижений передовых стран. Поскольку последние обременены значительными капиталовложениями в производствах доминирующего технологического уклада, которые придают значительную инерцию производственно-технологической структуре, у догоняющих стран в периоды смены технологических укладов возникает возможность “сыграть на опережение”, сконцентрировав инвестиции в перспективных направлениях роста нового технологического уклада. Именно таким образом сегодня Китай, Индия и Бразилия пытаются совершить технологический рывок.

Имея достаточный научно-образовательный потенциал для копирования научно-технических достижений передовых стран и обучения кадров лучшим проектно-инжиниринговым практикам, страны БРИК способны вырваться вперед на смене технологических укладов и вовремя “оседлать” новую длинную волну экономического роста. По имеющимся прогнозам, к 2020 году совокупный ВВП Бразилии, России, Индии и Китая может достичь 30% от общемирового.

Китай уже сегодня вышел на первое место в мире по экспорту высокотехнологической продукции. Вместе страны БРИК занимают четверть мирового производства высокотехнологической продукции с перспективой увеличения этой доли до 1/3 к 2020 году¹⁰. Растут расходы на научные исследования и разработки, совокупный объем которых по странам БРИК приближается к 30% от общемирового объема. Они уже обладают достаточной научной и производственно-технологической базой для совершения технологического рывка.

И наоборот, доля США на мировом рынке постоянно снижается, что подрывает экономическую основу их глобального доминирования. Последнее сегодня держится, в основном, на монопольном положении доллара в глобальной валютно-финансовой системе. На его долю приходится около 2/3 мирового денежного оборота. Размывание экономического фундамента глобального доминирования США пытаются компенсировать усилением военно-политического давления на конкурентов. Доля США в мировых военных расходах составляет 37%¹¹. При помощи глобальной сети военных баз, информационного мониторинга, электронной разведки они пытаются удерживать контроль на всем мире, пресекая попытки отдельных стран вырваться из долларовой зависимости. Однако делать это им становится все сложнее – осуществлению необходимых для удержания лидерства структурных изменений мешает инерция связанных в устаревших основных фондах инвестиций, а также гигантских финансовых пирамид частных и государственных обязательств. Для сбрасывания их быстро нарастающего бремени и сохранения монопольного положения в мировой валютно-финансовой системе они объективно заинтересованы в мировой войне. Невозможность ее проведения обычным способом из-за рисков применения оружия массового поражения США пытаются компенсировать развязыванием серии региональных войн. В совокупности они складываются в глобальную хаотическую войну.

Создавая “управляемый хаос” организацией вооруженных конфликтов в зоне естественных интересов ведущих стран мира, США сначала провоцируют эти страны на втягивание в конфликт, а затем проводят кампании по сколачиванию против них коалиций государств с целью закрепления своего лидерства. При этом США получают недобросовестные конкурентные преимущества, отсекают неконтролируемые ими страны от перспективных рынков, создают себе возможность облегчить бремя государственного долга за счет замораживания долларовых активов этих стран и обосновать многократное увеличение своих государственных расходов на разработку и продвижение новых технологий, необходимых для роста американской экономики.

С точки зрения циклов мирового экономического и политического развития, период 2014–2018 гг. соответствует периоду 1939–1945 гг., когда разра-

зилась Вторая мировая война. Конфликты в Северной Африке, Ираке, Сирии и на Украине – только начало целой череды взаимосвязанных конфликтов, инициируемых США и их союзниками. С помощью стратегии “управляемого хаоса” они стремятся решить свои экономические и социально-политические проблемы, подобно тому, как США решали свои проблемы во время Второй мировой войны, которую в Америке называют “хорошей войной”.

Американская тактика ведения современной мировой войны

Развертываемая США мировая хаотическая война ведется с широким применением оружия нового технологического уклада, являясь одновременно катализатором его становления в американской экономике. Это, прежде всего, информационно-коммуникационные технологии и основанное на их применении высокоточное оружие, обеспечивающие американским военным системное превосходство в управлении боевыми действиями и минимизацию потерь. Их дополняет широкое применение когнитивных технологий, которые превращают СМИ в высокоэффективное психотропное оружие массового поражения сознания людей, а дипломатию – в психо-паралитическое оружие, поражающее политическую волю руководителей противника.

Как показывают все организованные США войны последних двух десятилетий, начиная с Ирака и Югославии и заканчивая Украиной, по типу применяемых технологий они носят сложносоставной характер, где собственно военная составляющая выполняет роль “последнего аргумента”, применяясь на завершающей фазе. До этого основное внимание уделяется внутренней дестабилизации намеченного для агрессии региона, для чего используется психотропное информационное оружие, нацеленное на дестабилизацию общественного сознания и дискредитацию традиционной морали. Иными словами – на расшатывание устоев общества, которому СМИ внушаются агрессивные и даже человеконенавистнические ориентиры с целью развязывания вооруженных конфликтов как внутренних, так и внешних. Одновременно происходит подкуп и установление контроля над властвующей элитой путем втягивания влиятельных семей и перспективной молодежи в особые отношения с США и их союзниками по НАТО посредством зарубежных счетов и накоплений, обучения, грантов, приглашений на престижные мероприятия, предоставления гражданства, приобретения имущества. Это позволяет американским спецслужбам манипулировать как общественным мнением, так и властвующей элитой, провоцируя внутренние и внешние конфликты.

При этом сами американцы выбирают противников и затем управляют боевыми действиями, а также определяют победителей и назначают наказание проигравшим. Так было с Ираком, который спровоцировали напасть на Кувейт и затем показательно наказали. С Сербией, руководителю которой пообещали безопасность в обмен на воздержание от нанесения неприемлемого ущерба странам НАТО, и затем показательно разгромили и осудили. Со странами Северной Африки, руководители которых были введены в заблуждение знаками внимания, а затем отданы на растерзание толпы. С Януковичем, которого долго обхаживали американские консультанты, к которым в решающей фазе присоединились ведущие чиновники и политики США и ЕС с одной только целью – уговорить не применять силу в отношении оппозиции, чтобы затем принести в жертву своим агентам и захватить власть.

Ключевое значение в американской тактике развязывания войны имеет сочетание подкупа властвующей элиты, установления контроля над СМИ и персонального “обволакивания” первых лиц государства. Добываясь контроля над общественным сознанием страны, с одной стороны, и парализуя политическую волю ее руководства, с другой стороны, американские спецслужбы организуют конфликты и манипулируют их участниками, добываясь нужного США результата.

Внешне развязываемые США войны кажутся бессмысленным хаосом. В действительности они организуются и слаженно проводятся всеми заинтересованными ведомствами США в сочетании с соответствующими действиями американского крупного капитала, СМИ и разветвленной агентурной сети. И результаты, которого добиваются США в результате этого хаоса, вполне запланированы: американские корпорации получают контроль над природными

ресурсами и инфраструктурой поверженных стран, банки замораживают их активы, специально обученные вандалы разворовывают исторические музеи, финансовая система жестко привязывается к доллару. Все организованные США войны многократно окупались, включая войну в Афганистане, в результате которой контролируемый американскими спецслужбами поток наркотиков в Россию и Европу увеличился на порядок.

Важнейшее значение в американской тактике развязывания войны имеют переговоры с потенциальной жертвой, бдительность которой усыпляется безграничной демагогией относительно недопустимости применения насилия, нарушения свободы слова, принципов демократии и правового государства. Главным козырем американской переговорной тактики является банальный обман. Настолько циничный, что жертва, обремененная моральными ценностями, никак не может поверить в то, что ее просто “разводят” для заклания. Классическим примером этой тактики является организация госпереворота на Украине.

Пока президент Янукович соглашался подписать соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом, он всячески обхаживался и нахваливался высокопоставленными чиновниками и политиками США и ЕС, которые одновременно поддерживали подконтрольную им оппозицию и “рыли ему яму”. Как только он отказался от подписания этого соглашения, американские и европейские спецслужбы тут же начали организацию государственного переворота. Они оказали массивную информационную, политическую и финансовую помощь евромайдану, сделав из него плацдарм для захвата власти. Антигосударственные акции, включая нападения на сотрудников правоохранительных органов, захват административных зданий, сопровождавшиеся убийствами и избиениями, поддерживались, организовывались, планировались с участием американского посольства, европейских чиновников и политиков, которые не просто “вмешивались” во внутренние дела Украины, а вели агрессию против нее руками выращенных ими боевиков.

В ходе многочисленных переговоров с Януковичем и с Россией западная сторона ни разу не выполнила своих обязательств. Неизменным результатом всех переговоров являлся прямой обман со стороны чиновников и политиков США и ЕС, использовавших переговоры для дезориентации партнеров и выигрыша времени, необходимого для подготовки следующих операций. Так, высокопоставленные американские и европейские чиновники, усыпляя бдительность Януковича уговорами о неприменении силы, готовили радикалов к его насильственному свержению. Затем они использовали женеvские переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе для того, чтобы подконтрольное им правительство успело мобилизовать вооруженные силы против русского населения Украины. Сразу же после достижения договоренности о разоружении незаконных формирований и начале общенационального диалога вице-президент США Байден прибыл в Киев, чтобы поддержать действия хунты по проведению карательной операции украинской армии против донбасского сопротивления. Бесконечно заверяя российского президента в приверженности миру и призывая к прекращению насилия, руководство США и ЕС последовательно поддерживают усиление террора украинских военных против населения Донбасса. При этом, стоило России пойти навстречу договоренностям о деэскалации конфликта и отвести войска от украинской границы, киевский режим стал резко наращивать свои вооруженные силы в зоне конфликта и приступил к применению авиации и бронетехники против населения Донбасса.

Факты говорят о том, что американцы использовали переговоры исключительно для обмана партнеров. Выдавая себя за миротворцев и защитников прав человека, в действительности они прокладывали дорогу к насильственному захвату власти радикалами, которых затем подержали в легализации боевиков на воинской службе и подтолкнули на применение армии против русского населения. При этом подконтрольные американцам и их ставленникам СМИ во всем обвиняют Россию, старательно делая из нее образ врага для Украины и пугало для Европы.

Апофеозом циничной политики США стала провокация с уничтожением малайзийского пассажирского самолета украинскими военными. Это преступление понадобилось им для интернационализации конфликта и втягивания в войну ЕС после того, как стала понятна неспособность Киева подавить сопротивление на Донбассе. Попытки спровоцировать руководство России на

ввод войск и вступление в войну с Украиной массовыми убийствами мирных жителей донбасских городов тоже не сработали. Тогда американские спецслужбы решили зайти с другой стороны и спровоцировать на агрессию против России европейские страны, обвинив в расстреле пассажирского самолета с европейскими пассажирами пророссийских ополченцев. Приведенные российским Генштабом неопровержимые факты причастности украинской армии к авиакатастрофе доказывают, что это провокационное убийство было спланировано и осуществлено американской агентурой украинских спецслужб в целях втягивания в войну против России европейских стран НАТО.

Из этого анализа следует, что США с самого начала украинского кризиса неуклонно следуют стратегии его раздувания в европейско-российскую войну, оправдывая все преступления киевского режима, финансируя и вооружая его, прикрывая дипломатически и принуждая своих европейских союзников делать то же самое. Возникает вопрос, зачем они это делают?

Цели американской агрессии на Украине

Больше всех от американской стратегии на принудительную евроинтеграцию Украины страдает сама Украина, которая обрекается этой войной на раскол, перешедший в гражданскую войну, гуманитарную и экономическую катастрофу. Очевидно, что эта стратегия никак не соответствует национальным интересам Украины, так же как и интересам подавляющего большинства ее граждан.

Нельзя считать целью американской стратегии и саму евроинтеграцию Украины, если под ней понимать насаждение так называемых “европейских ценностей”. Установленный американскими спецслужбами режим управления Украиной не имеет ничего общего ни с ценностями правового государства, ни с принципами демократии, ни защитой прав человека, которые ежедневно открыто попираются властью, совершающей массовые убийства своих граждан.

Как хорошо видно по риторике и действиям американских политиков и должностных лиц, украинский конфликт изначально организовывался США против России, в котором прозападное правительство выступает не более чем орудием в руках у американского руководства, а народ Украины используется в качестве “пушечного мяса” и одновременно жертвы в игре по провоцированию российской “агрессии”.

Непосредственной целью этой войны является отрыв Украины от России, что в качестве важнейшей геополитической задачи Запада ставили упомянутые выше Бисмарк и Бжезинский. К обозначенной цели отрыва Украины от России США шли все два десятилетия после распада СССР, потратив на выращивание антироссийской политической элиты в Киеве, по сведениям помощника Госсекретаря США Нуланд, более 5 млрд долл¹².

По замыслу натовских стратегов, отрыв Украины от России должен быть оформлен подчинением Украины Евросоюзу в форме ассоциации, посредством которой Киев отдает суверенные права Украины в области регулирования внешнеэкономической деятельности, проведения внешней и оборонной политики Брюсселю. Отказ Януковича подписывать Соглашение об ассоциации был воспринят США как выход украинского руководства из подчинения и как угроза возобновления естественного процесса восстановления единого экономического пространства с Россией. Для предотвращения вступления Украины в Таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном и возвращения Украины на путь европейской интеграции, собственно, и был организован государственный переворот, сразу после которого лидеры ЕС поспешили подписать с Киевом противоречащий украинской Конституции договор об ассоциации.

Однако, как показывают сегодняшние действия США, одного только перехода Украины под юрисдикцию ЕС в рамках навязанного Киеву Соглашения об ассоциации им недостаточно. Они хотят столкнуть Украину с Россией в военном конфликте и втянуть в этот конфликт Евросоюз. Заставляя киевский режим вести полномасштабную войну на Донбассе, США создают в центре Европы расширяющуюся воронку хаоса, которая нацелена на втягивание в братоубийственный конфликт вначале России, а затем и близлежащих европейских стран. Делается это не только для ослабления России, но и для ухудшения положения Евросоюза.

Во-первых, обвинение России в агрессии позволяет ввести финансовые санкции с целью замораживания (списания) американских обязательств перед российскими структурами в размере несколько сотен миллиардов долларов для облегчения запредельного долгового бремени США.

Во-вторых, замораживание российских активов в долларах и евро повлечет неспособность их владельцев обслуживать свои обязательства перед, в основном, европейскими банками, что создаст последним серьезные трудности, чреватые банкротством некоторых из них. Дестабилизация европейской банковской системы будет стимулировать отток капитала в США для поддержания долларовой пирамиды их долговых обязательств.

В-третьих, санкции против России нанесут ущерб странам ЕС на сумму около триллиона евро, что ухудшит и без того плохое состояние европейской экономики, ослабит ее положение в конкурентной борьбе с США.

В-четвертых, санкции против России облегчают вытеснение с европейского рынка российского газа с целью его замещения американским сланцевым. То же касается многомиллиардного восточноевропейского рынка тепловыделяющих элементов для атомных электростанций, который технологически ориентирован на поставки из России.

В-пятых, втягивание европейских стран в войну с Россией усилит их политическую зависимость от США, что облегчит последним решение задачи навязывания ЕС зоны свободной торговли на выгодных США условиях.

В-шестых, ослабление России дает возможность восстановить над ней контроль и получить стратегическое преимущество в борьбе за глобальное лидерство с Китаем.

В-седьмых, война против России дает повод для наращивания военных расходов в интересах военно-промышленного комплекса США.

Сами США от развязываемой ими новой войны в Европе почти ничего не теряют. В отличие от европейских стран, с Россией они торгуют мало и их рынки почти не зависят от российских поставок. Как и в предыдущих европейских войнах, они будут в чистом выигрыше.

Выше были проанализированы мотивы движущих сил американской стратегии по организации мировой хаотической войны в Европе. Агрессия США против Украины полностью объясняется этими мотивами. В дополнение к ним следует указать на трофеи, которые США уже получили, приведя к власти подконтрольное им правительство: присвоение государственных активов Украины, включая газотранспортную систему, месторождения полезных ископаемых, ценности искусства и культуры; захват важных для американских корпораций украинских рынков атомного топлива, самолетов, энергоносителей.

Таким образом, война на Украине для США – это еще и бизнес. Судя по сообщениям СМИ, они уже окупили свои расходы на майданную и оранжевую революции. Дополнительно они решили давно вынашивавшуюся ими задачу отрыва Украины от России, превращение бывшей Малороссии во враждебное России государство с целью недопущения ее участия в евразийском интеграционном процессе.

Исходя из этого анализа, не вызывает сомнений долгосрочный и последовательный характер американской агрессии против России на Украине. Удивляет позиция европейских государств, которые плетутся в хвосте США, провоцируя своим бездействием перерастание конфликта в полноценную войну в центре Европы. Лавина организованных США войн в Северной Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, на Балканах и теперь на Украине угрожает, прежде всего, Европе, за счет разорения которой в ходе двух мировых войн прошлого столетия возникло американское экономическое чудо.

Как предотвратить войну?

Расчет американских геополитиков кажется точным, а действия – безошибочными. За полгода они провели блицкриг, фактически оккупировав Украину и втянув ЕС в информационно-политическую и экономическую войну с Россией. После подписания соглашения об ассоциации с Украиной, ЕС взяла на себя ответственность руководить как внешнеэкономической деятельностью Украины, так и ее внешней и оборонной политикой. Россия сумела спа-

сти от оккупации американско-нацистским режимом только Крым, а Донбасс становится хронической зоной вооруженного конфликта, создавая хаос и напряжение на границе Украины и России. Последнюю, как кажется американским стратегам, они заманили в политический капкан. Применение российской армии для освобождения Донбасса гарантирует втягивание в войну против России ЕС и НАТО. Неприменение российских вооруженных сил для принуждения киевского режима к миру повлечет создание разрастающейся воронки хаоса в центре Европы, которая уже интернационализируется, становясь очагом дестабилизации России.

Развертывание региональной, а возможно и мировой войны на выгодных США условиях кажется неизбежным. Россия представляется им обреченной на тяжелое поражение вследствие уже состоявшейся потери Украины, во-первых, и консолидации против нее всех развитых стран мира, включая наряду с союзниками по НАТО Японию и Корею, во-вторых. По замыслу американских геополитиков, ослабление России должно повлечь возвращение ее под американский контроль, как это было при Ельцине, а ослабление Европы – ее экономическое подчинение посредством формирования трансатлантической зоны свободной торговли на американских условиях. Тем самым Вашингтон надеется укрепить свое положение и сохранить мировое господство в конкуренции с поднимающимся Китаем.

В этой циничной логике есть, однако, просчет. Действуя на основе архетипов англосаксонской геополитики, американцы соорудили в Киеве политического Франкенштейна, который начал пожирать своих родителей, выставя Брюсселю и Вашингтону все большие счета, по которым скоро придется платить не только долларами и евро, но и интересами бизнеса, а также кровью американских и европейских граждан. К этому американские и европейские политики не готовы. Следовательно, для прекращения войны достаточно создать условия понимания агрессором неизбежности получения неприемлемого ущерба от ее продолжения.

1. Подорвать разжигающие войну силы

Чтобы остановить войну, нужно прекратить действие движущих ею сил – американской властвующей элиты, евробюрократии и украинских радикалов. Первая из них является основной, остальные – производными. Можно сколько угодно объяснять еврокомиссарам ущербность их политики “Восточного партнерства”, но пока они манипулируются США посредством контролируемых ими СМИ, сетей личного влияния, системы шпионажа и шантажа, никакие рациональные критерии не работают. Поэтому предотвратить войну можно только путем прекращения доминирования США в Европе и в мире. Для этого необходимо *подорвать экономические, информационные, политические и идеологические основы их влияния.*

При всей мощи США, их экономическое превосходство основано на финансовой пирамиде долговых обязательств, которая давно вышла за пределы устойчивости. Для ее обрушения основным кредиторам США достаточно сбросить на рынок накопленные американские доллары и казначейские обязательства. Разумеется, крах финансовой системы США повлечет серьезные потери всех держателей американских валюты и ценных бумаг. Но, во-первых, эти потери для России, Европы и Китая будут меньше, чем ущерб от развязываемой американскими геополитиками очередной мировой войны. Во-вторых, чем раньше выйди из финансовой пирамиды американских обязательств, тем меньше будут потери. В-третьих, крах долларовой финансовой пирамиды даст, наконец, возможность осуществить реформу мировой финансовой системы на началах справедливости и взаимной выгоды.

Как только начнет разваливаться долларова финансовая пирамида, американцам нечем будет платить за содержание своих военных баз. Германия и Япония смогут освободиться от гнетущего ощущения оккупированных территорий и занять более самостоятельную позицию. По мере распространения правдивой информации о преступлениях украинского режима будет размываться монопольное положение американских СМИ и снижаться эффективность ведущейся ими пропаганды. В случае дальнейшего ухудшения уровня и качества жизни в ЕС вследствие ухудшения отношений с Россией будет нарастать давление бизнеса и общества на европейских политиков.

2. Успокоить агрессора неизбежностью возмездия

Перечисленные выше факторы, при умелом их использовании, будут работать на ослабление политического доминирования США в мире. Но их воздействие будет недостаточным, если Россия останется в роли главной жертвы мировой хаотической войны, в борьбе с которой и за ресурсы которой США будут строить коалицию своих союзников. Последних может остановить только угроза неприемлемых потерь. Также как стремление американских геополитиков после окончания Второй мировой войны к установлению мирового господства было остановлено угрозой применения советского атомного оружия. Иначе угрозы Трумена и Эйзенхауэра об атомных бомбардировках Кореи и СССР воплотились бы в общечеловеческой катастрофе.

Нынешняя ситуация, однако, отличается от эпохи холодной войны тем, что американская администрация не рассматривает Россию в качестве равного соперника, пытаясь вернуть нас в состояние вассальной территории, как это было первое десятилетие после распада СССР. Американские советники как нынешнего, так и прошлого украинского руководства неустанно убеждали последнее в своем тотальном превосходстве над Россией, которую представляли в качестве зависимой от них страны. Списавшие Россию после развала СССР из перечня самостоятельных держав, американские геополитики рассматривают ее сегодня в качестве своей взбунтовавшейся колонии, руководство которой надо наказать, а саму страну расчленить и усмирить навсегда как подконтрольную территорию своей империи. Они исходят из нежизнеспособности России в условиях организуемых ими экономических санкций, явно переоценивая степень своего влияния. Эта переоценка возможностей, с одной стороны, порождает у американских геополитиков и их агентов влияния ощущение безнаказанности и вседозволенности, создавая риск глобальной катастрофы. Но, с другой стороны, она является источником их слабости при столкновении с реальным сопротивлением, к которому они морально и политически не готовы.

Так американские геополитики не смогли парировать решительные действия руководства России по отражению американско-грузинской агрессии в Южной Осетии, а также по воссоединению с Крымом. Столкнувшись с решительным сопротивлением Асада, США и их европейские союзники так и не смогли оккупировать Сирию. Они побеждали только там, где жертва не могла оказать реального сопротивления в силу либо деморализации и предательства властвующей элиты, как в Ираке или Югославии, либо тотального превосходства сил агрессора, как это было в Ливии.

Фактически реализуемая США доктрина мировой хаотической войны не предполагает возможность поражения американских вооруженных сил, так же, как и ведения боевых действий на территории самих США. Поэтому перед тем как напасть на очередную жертву, они лишают ее шансов на сопротивление, создавая при помощи союзников ошеломляющее превосходство и парализуя его информационным, экономическим и политическим оружием. В случае реальной опасности военного поражения даже в локальном конфликте или перенесения боевых действий на территорию США американские геополитики должны будут воздержаться от конфронтации, как это случилось 40 лет назад с Карибским кризисом. То же относится и к их союзникам – ни один европейский лидер не станет провоцировать войну, если будет понимать риск ее переноса на собственную территорию.

Страх перед поражением и даже упорным сопротивлением проистекает из философии сверхвласти, неявно реализуемой американской властвующей элитой. Как показано в альманахе «Однако»¹³, сверхвласть не выносит угрозы длительного сопротивления и не приемлет поражения по своей сути. Длительное сопротивление вызывает сомнение в неограниченном могуществе сверхвласти, а поражение – это сомнение превращает в уверенность и, тем самым, подрывает ее сущность. Все вооруженные конфликты, затевавшиеся США после распада СССР, характеризовались таким превосходством США и их союзников, которое в принципе исключало возможность поражения и даже длительного сопротивления противника, а также переноса боевых действий на американскую территорию. В отсутствие уверенности в ошеломляющей победе американская олигархия не решится на конфликт, чреватый утратой обрета сверхвласти.

3. Развенчать агрессора

Украинский кризис несет большую угрозу американоцентричному образу сверхвласти из-за способности России не только к сопротивлению, но и к нанесению США неприемлемого ущерба. Поэтому американская дипломатия изо всех сил пытается внушить российскому руководству страх поражения в случае военного вмешательства. Нагнетая политико-психологическое давление угрозами применения экономических санкций и международной изоляции России, США одновременно всемерно поддерживают и укрепляют киевский режим, подталкивая его к дальнейшей эскалации конфликта. Тем самым они пытаются парализовать политическую волю российского руководства к решительным действиям до тех пор, пока режим не окрепнет настолько, чтобы противостоять российским вооруженным силам и обрести способность нанести России неприемлемый ущерб. Или пока США не убедят своих европейских союзников ввести свой воинский контингент на Украину.

Применяемая американцами тактика психо-политического подавления политической воли противника до создания необходимых условий его поражения без риска для Америки основывается на идеологическом доминировании США как основного носителя и толкователя базовых ценностей современной цивилизации: прав человека, демократических свобод, правового государства, научно-технического и социального прогресса. Это идеологическое доминирование создает характерный для сверхсилы образ непогрешимости, на который опираются американцы для манипулирования сознанием противника.

Подрыв идеологического лидерства США является ключевым направлением борьбы с американской агрессией. Лишившись образа непогрешимого законодателя норм и образцов поведения, США потеряют способность внушать другим странам комплекс неполноценности и моральное право вмешиваться в их внутренние дела. Это резко снизит эффективность американской политики “мягкой силы”, без которой не будут работать и методы военно-политического принуждения.

Оспорить идеологическое лидерство США в навязываемой ими системе ценностей невозможно. Попытки уличить американских политиков и чиновников в циничном обмане, мошенничестве и преступлениях против целых народов не производят должного эффекта в условиях доминирования американской олигархии в глобальных СМИ и информационных сетях. Подорвать идеологическое доминирование США можно только путем ниспровержения лежащей в его основании системы ценностей.

Как показано в “Однако”¹⁴, система ценностей, лежащая в основе действующей в настоящее время сверхсилы, олицетворением которой является глобальное доминирование американоцентричной олигархии, исходит из постмодернистской концепции освобождения человека от Бога и установленных им нравственных ограничений. Как заметил Достоевский, если Бога нет, то все дозволено. Абсолютизация человеческого произвола в конечном счете выливается в право сильного, что и демонстрирует американская олигархия, которая пытается управлять по своему усмотрению всей планетой, опираясь на присвоенную ею монополию эмиссии мировой валюты. Поставить предел этому произволу можно только на основании более высокой системы ценностей, ограничивающей свободу человеческой воли. Выше воли человека могут быть только объективные законы мироздания, признаваемые рациональным мышлением, и установленные Всевышним нравственным заповедем, признаваемые религиозным сознанием. Первые устанавливаются на основе научной парадигмы устойчивого развития, вторые должны приниматься за аксиомы в системе глобального законотворчества.

Все великие религии ограничивают свободу человеческого произвола соблюдением определенной системы нравственных норм. Современная постхристианская западная цивилизация не признает абсолютный характер этих норм, интерпретируя их как относительные, которые можно нарушать, если позволяют возможности и обстоятельства. Американская олигархия располагает возможностями глобального доминирования в той мере, которую позволяют международные обстоятельства. Эти обстоятельства можно изменить, ограничив возможности США путем расширения возможностей их конкурентов. Это изменение достигается в рамках существующего миропорядка посредством мировой войны. Чтобы ее избежать, нужно изменить сам миропорядок – ввести абсолютные ограничения на произвол как человеческой личности,

так и любых человеческих общностей, включая государства и их объединения. Тем самым будет ликвидировано само основание существования сверхсилы, угрожающей безопасности человечества.

4. Перехватить идеологическое лидерство

Идеологическим основанием для нового миропорядка может стать концепция социально-консервативного синтеза, объединяющая систему ценностей мировых религий с достижениями социального государства и научной парадигмой устойчивого развития¹⁵. Эта концепция может быть использована в качестве позитивной программы для формирования глобальной антивоенной коалиции, которая должна предложить понятные всем принципы упорядочивания и гармонизации социально-культурных и экономических отношений в мировом масштабе.

Гармонизация международных отношений может быть достигнута только на основе фундаментальных ценностей, разделяемых всеми основными культурно-цивилизационными общностями. К числу таких ценностей относятся принцип недискриминации (равенства людей) и декларируемая всеми конфессиями любовь к ближнему без разделения человечества на “своих” и “чужих”. При таком понимании эти ценности могут быть выражены в понятиях справедливости и ответственности, а также в юридических формах прав и свобод граждан. Однако для этого фундаментальная ценность человеческой личности и равенства прав всех людей вне зависимости от их вероисповедания, национальной, классовой и какой-либо еще принадлежности должна быть признана всеми конфессиями. Основанием для этого, во всяком случае, в монотеистических религиях, является понимание единства Бога и того, что каждое вероучение указывает к нему свою дорогу спасения человека, имеющую право на существование. Исходя из такого понимания, можно устранить принудительно-насильственные формы межрелигиозных и межнациональных конфликтов, перевести их в плоскость идеологически свободного выбора каждого человека. Для этого необходимо выработать правовые формы участия конфессий в общественном жизнеустройстве и разрешении социальных конфликтов. Это позволит нейтрализовать одну из самых разрушительных технологий американской стратегии ведения мировой хаотической войны – использование межконфессиональных противоречий для разжигания межрелигиозных и межнациональных вооруженных конфликтов, переходящих в гражданские и региональные войны.

Вовлечение конфессий в формирование международной политики даст нравственно-идеологическое основание для предотвращения этно-национальных конфликтов и создаст предпосылки для перевода межнациональных противоречий в конструктивное русло, их снятия посредством разнообразных инструментов государственной социальной политики. В свою очередь, вовлечение конфессий в формирование социальной политики подведет под государственные решения нравственное основание. Это поможет обуздать дух вседозволенности и распушенности, доминирующий сегодня во властвующей элите развитых государств, восстановить понимание социальной ответственности власти перед обществом. Пошатнувшиеся сегодня ценности социального государства получают мощную идеологическую поддержку. В свою очередь, политическим партиям придется признать значение фундаментальных нравственных ограничений, защищающих основы человеческого бытия. Все это будет способствовать осознанию глобальной ответственности политических лидеров и ведущих наций за гармоничное развитие международных отношений и содействовать успеху антивоенной коалиции.

Концепция социально-консервативного синтеза дает идеологическую основу для реформирования международных валютно-финансовых и экономических отношений на основе принципов справедливости, взаимного уважения национальных суверенитетов и взаимовыгодного обмена. Их реализация требует существенного ограничения свободы действия рыночных сил, постоянно порождающих дискриминацию большинства граждан и стран по доступу к благам.

Либеральная глобализация подорвала возможности государств влиять на распределение национального дохода и богатства. Транснациональные корпорации получили возможности бесконтрольного перемещения ресурсов, ранее контролировавшихся государствами. Последние оказались вынуждены снижать степень социальной защищенности граждан, чтобы сохранять при-

влекательность своих экономик для инвесторов. Одновременно снизилась эффективность государственных социальных инвестиций, потребители которых получили свободу от национальной принадлежности. В результате присвоения растущей части генерируемых в мировой экономике доходов американоцентричной олигархией происходит снижение уровня жизни населения большинства стран с открытой экономикой, усиление дифференциации граждан по доступу к благам. Для преодоления этих разрушительных тенденций необходимо изменение всей архитектуры международных финансово-экономических отношений путем введения ограничений на движение капитала с целью блокирования возможностей его ухода от социальной ответственности, с одной стороны, и выравнивания издержек социальной политики национальных государств, с другой стороны.

Ограничение возможностей уклонения капитала от социальной ответственности включает ликвидацию офшорных зон, позволяющих капиталу уходить от налоговых обязательств, и признание права национальных государств регулировать трансграничное перемещение капитала. Выравнивание социальных издержек различных государств потребует формирования глобальных минимальных социальных стандартов, предусматривающего опережающее повышение уровня социального обеспечения населения относительно бедных стран. Для этого должны заработать международные механизмы выравнивания уровня жизни населения, что предполагает создание соответствующих инструментов их финансирования.

Исходя из концепции социально-консервативного синтеза антивоенная коалиция могла бы поставить задачи формирования глобальных механизмов социальной защиты. Так, для финансирования международных механизмов выравнивания уровня жизни населения может быть предложено введение налога на валютнообменные операции в размере 0,01 от суммы транзакций. Этот налог (суммой до 15 трлн долл. в год) может взиматься на основе соответствующего международного соглашения в рамках национальных налоговых законодательств и перечисляться в распоряжение уполномоченных международных организаций. В их числе – Красный крест (на цели предупреждения и преодоления последствий гуманитарных катастроф, вызванных стихийными бедствиями, войнами, эпидемиями и пр.); ВОЗ (на цели предотвращения эпидемий, снижения детской смертности, вакцинации населения и пр.); МОТ (на цели организации глобальной системы контроля за выполнением норм техники безопасности, соблюдением общепринятых норм трудового законодательства, включая оплату труда не ниже прожиточного минимума и запрет на использование детского и принудительного труда, трудовой миграцией); Мировой Банк (на цели организации строительства объектов социальной инфраструктуры – водоснабжение, дороги, канализация и пр.); ЮНИДО (на цели организации передачи технологий развивающимся странам; ЮНЕСКО (на цели поддержки международного сотрудничества в сфере науки, образования и культуры, защиты культурного наследия). Расходование этих средств должно вестись на основе соответствующих бюджетов, утверждение которых можно делегировать Генеральной Ассамблее ООН.

Еще одним направлением работы антивоенной коалиции может стать создание глобальной системы защиты окружающей среды, финансируемой за счет ее загрязнителей. Для этого целесообразно заключить соответствующее международное соглашение, предусматривающее универсальные нормы штрафов за загрязнение окружающей среды с перечислением их на экологические цели в соответствии с национальным законодательством и под контролем уполномоченной международной организации. Часть этих средств должны ею централизовываться для проведения глобальных экологических мероприятий и организации мониторинга состояния окружающей среды. Альтернативный механизм может быть организован на основе оборота квот на загрязнение путем расширения и запуска механизмов Киотского протокола.

Важнейшим направлением позитивной программы антивоенной коалиции должно стать создание глобальной системы ликвидации безграмотности и обеспечения доступа всех граждан планеты к информации и получению современного образования. Создание такой системы должно предусматривать унификацию минимальных требований к всеобщему начальному и среднему образованию с выделением дотаций на их достижение слаборазвитым странам за счет средств, собираемых посредством предложенного выше налога.

Должна быть также создана доступная для участия всех граждан планеты система предоставления услуг высшего образования ведущими вузами развитых стран. Последние могли бы по своему усмотрению выделять квоты на прием иностранных студентов, набираемых по международному конкурсу с оплатой обучения из того же источника. Параллельно силами участвующих в этой системе вузов должна быть развернута глобальная система предоставления дистанционных образовательных услуг, открытая для всех граждан планеты со средним образованием, на бесплатной основе. Создание и поддержание соответствующей информационной инфраструктуры может быть возложено на ЮНЕСКО и Мировой банк с финансированием из того же источника.

5. Выдвинуть антикризисную программу гармонизации миропорядка

Антивоенная коалиция должна выдвинуть свою программу стабилизации мировой экономики, основанную на упорядочивании глобальных финансово-экономических отношений исходя из принципов взаимной выгоды и добросовестной конкуренции, исключающей возможность монополизации тех или иных функций регулирования международного экономического обмена в чьих-либо частных или национальных интересах. Увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми странами, создающий угрозу развитию и самому существованию человечества, воспроизводится и поддерживается присвоением ряда функций международного экономического обмена национальными институтами США и их союзников, действующих исходя из своих частных интересов. Они монополизировали эмиссию мировой валюты, используя эмиссионный доход в своих интересах и обеспечивая неограниченный доступ к кредиту своим банкам и корпорациям. Они монополизировали установление технических стандартов, поддерживая технологическое превосходство своей промышленности. Они навязали всему миру выгодные им правила международной торговли, заставив другие государства открыть свои товарные рынки и резко ограничить собственные возможности влияния на конкурентоспособность национальных экономик. Они принудили большинство стран к открытию своих рынков капитала, обеспечив господствующее положение своей финансовой олигархии, опирающейся на присвоенную ею монополию безграничной эмиссии мировой валюты.

Обеспечение устойчивого и успешного для человечества в целом социально-экономического развития предполагает устранение монополизации функций международного экономического обмена в чьих-либо частных или национальных интересах. В интересах устойчивого развития человечества и гармонизации глобальных общественных отношений, устранения дискриминации в международном экономическом обмене могут вводиться его глобальные и национальные ограничения.

В частности, для предотвращения глобальной финансовой катастрофы необходимы срочные меры по формированию новой безопасной и эффективной архитектуры мировой валютно-финансовой системы, основанной на взаимовыгодном обмене национальных валют и исключающей присвоение глобального эмиссионного дохода в чьих-то частных или национальных интересах. Коммерческие банки, обслуживающие международный экономический обмен, должны быть обязаны проводить операции во всех национальных валютах. При этом курсы их обмена должны устанавливаться по процедуре, согласованной национальными банками в рамках соответствующего международного договора. При необходимости роль всеобщего эквивалента может играть золото, СДР МВФ или иные международные расчетные единицы.

Соответственно должны быть изменены функции и система управления МВФ. На него могла бы быть возложена ответственность за мониторинг курсообразования национальных валют, а также роль эмитента мировой валюты, используемой для чрезвычайного кредитования временных дефицитов платежных балансов отдельных государств и их национальных банков в целях предотвращения региональных и мировых валютно-финансовых кризисов и поддержания стабильных условий международного экономического обмена. Совместно с Базельским институтом МВФ мог бы также выполнять функции глобального банковского надзора, устанавливая обязательные нормативы для всех коммерческих банков, обслуживающих международный экономический обмен. Для этого необходимо демократизировать систему управления МВФ, все государства-участники которого должны получить равные права. Это необ-

ходимо также для придания МВФ права исключать банки и государства, нарушающие установленные нормы валютно-финансовых отношений, из общей системы международных расчетов. Это позволит не только гарантировать устойчивость системы международного экономического обмена от произвола отдельных государств, но и защитить ее от валютных спекулянтов, а также закрыть оффшорные зоны, используемые для отмывания денег, финансирования международной преступности и ухода от налогов.

В целях выравнивания возможностей социально-экономического развития необходимо обеспечить свободный доступ развивающихся стран к новым технологиям при условии их отказа от использования получаемых технологий в военных целях. Государства, согласившиеся на это ограничение и открывшие доступ к информации о своих военных расходах, должны выводиться из-под ограничений международных режимов экспортного контроля. Им также должна оказываться помощь в получении необходимых для их развития новых технологий. Для этого должна быть резко активизирована деятельность ЮНИДО (в том числе по созданию соответствующей информационной сети) и Мирового банка. Последним должны предоставляться кредитные ресурсы, эмитируемые МВФ, для долгосрочного финансирования необходимых для развивающихся стран инвестиционных проектов освоения современных технологий и создания инфраструктуры. Доступ к этим ресурсам на тех же условиях рефинансирования должны получить также международные региональные банки развития.

В целях обеспечения добросовестной конкуренции необходимо ввести международный механизм пресечения злоупотреблений ТНК монопольным положением на рынке. Соответствующие функции антимонопольной политики могут быть возложены на ВТО на основе специального обязательства для всех государств-членов международного соглашения. Этим соглашением должны быть предусмотрены права субъектов международного экономического обмена требовать устранения злоупотреблений доминирующим положением на рынке со стороны ТНК, а также компенсации вызванных ими потерь за счет введения соответствующих санкций. В число таких злоупотреблений, наряду с завышением или занижением цен, фальсификацией качества продукции и другими типичными примерами недобросовестной конкуренции должно входить занижение оплаты труда по отношению к региональному прожиточному минимуму, подтвержденному МОТ. В отношении естественных глобальных и региональных монополий должны быть установлены процедуры регулирования цен на разумном уровне.

В условиях неэквивалентного экономического обмена государствам должна быть оставлена достаточная свобода регулирования национальных экономик в целях выравнивания уровней социально-экономического развития. Наряду с принятыми в рамках ВТО механизмами защиты внутреннего рынка от недобросовестной внешней конкуренции, инструментами такого выравнивания являются разнообразные механизмы стимулирования НТП и государственной поддержки инновационной и инвестиционной активности; установление государственной монополии на использование природных ресурсов; введение норм валютного контроля в целях ограничения вывоза капитала и нейтрализации спекулятивных атак против национальной валюты; удержание под национальным контролем важнейших секторов национальной экономики; другие формы повышения национальной конкурентоспособности.

Особое значение имеет обеспечение добросовестной конкуренции в информационной сфере, включая средства массовой информации. Доступ в глобальное информационное пространство должен быть гарантирован всем жителям планеты в качестве как потребителей, так и поставщиков информации. Для поддержания открытости этого рынка должны применяться жесткие антимонопольные ограничения, не позволяющие какой-либо стране или группе аффилированных лиц доминировать в глобальном информационном пространстве. Одновременно должны быть созданы благоприятные условия для свободного доступа на рынок информационных услуг представителям различных культур. Необходимую для этого поддержку может оказывать ЮНЕСКО за счет поступлений предложенного выше налога на валютнообменные операции и платежей за доступ к ограниченному информационным ресурсам (часть которых, включая точки для запуска спутников связи на орбиту Земли, может быть предоставлена этой организации). Одновременно должны быть приняты

международные нормы по пресечению распространения информации, угрожающей социальной стабильности.

Для соблюдения всеми участниками международного экономического обмена установленных международных и национальных норм должен действовать обязательный для всех режим санкций за их нарушение. Для этого должно быть заключено международное соглашение по исполнению судебных решений, выносимых в отношении участников международного экономического обмена вне зависимости от их национальной принадлежности. При этом необходимо предусмотреть возможность апелляции к международному суду, решение которого должно быть обязательным для исполнения всеми государствами.

Введение обязательных для всех участников международного экономического обмена норм и санкций за их нарушение (так же, как и санкций за нарушение норм национальных законодательств) предполагает примат международных соглашений над национальным законодательством. Государства, нарушающие этот принцип, должны ограничиваться в правах на участие в международном экономическом обмене. В частности, их национальная валюта не должна приниматься в международных расчетах, в отношении их резидентов могут применяться экономические санкции, их деятельность на мировом рынке может ограничиваться.

Антивоенная коалиция должна быть достаточно мощной, чтобы добиться охарактеризованных выше принципиальных изменений международных отношений. Им будут сопротивляться США и страны G7, извлекающие гигантскую выгоду из своего монопольного положения на мировом рынке и в международных организациях. Ради сохранения этого положения США, собственно, и ведет мировую хаотическую войну, наказывая всех, кто не соглашается с их злоупотреблениями доминирующим положением в глобальной финансово-экономической системе. Чтобы победить в этой войне и перестроить мировой экономический порядок в целях гармоничного развития, антивоенная коалиция должна быть готова к применению санкций в отношении США и других стран, отказывающихся признавать приоритет международных обязательств над национальными нормами. Наиболее действенным способом принуждения США к сотрудничеству может стать отказ от использования доллара в международных расчетах.

Антивоенная коалиция должна выдвинуть свою мирную альтернативу гонке вооружений в стимулировании развития нового технологического уклада. Эта альтернатива должна строиться на широкой международной кооперации в решении глобальных проблем, которые требуют концентрации ресурсов в проведении прорывных научно-технических разработок. К примеру, проблема защиты Земли от космических угроз не имеет в настоящее время технического решения¹⁶. Чтобы его получить, нужны научно-технические прорывы на основе интеграции интеллектуальных потенциалов ведущих стран мира и совместного крупномасштабного финансирования соответствующих международных программ научно-технического развития.

Парадигма устойчивого развития в принципе отвергает войны как главную ему угрозу. Вместо конфронтации и конкуренции она делает ставку на кооперацию и сотрудничество как механизмы концентрации ресурсов в перспективных направлениях НТП. Она лучше, чем провоцируемая геополитикой гонка вооружений, подходит как научно-организационная основа механизма управления становлением нового технологического уклада. Основными потребителями продукции последнего являются здравоохранение, образование и культура, развитие которых слабо стимулируется военными расходами. В то же время на эти отрасли непромышленной сферы, вместе с наукой, в близкой перспективе будет приходиться до половины ВВП развитых стран. Из этого следует объективная рациональность переноса тяжести государственного стимулирования НТП с военных расходов на гуманитарные, прежде всего на медицинские исследования и науки о жизни. Поскольку государство обеспечивает свыше половины расходов на здравоохранение, образование и науку, такой перенос способствовал бы усилению планомерного начала в управлении социально-экономическим развитием, что ограничивало бы действие разрушительных сил.

Лидирующую роль в создании антивоенной коалиции придется брать на себя России, поскольку именно она находится в наиболее уязвимом положе-

нии и без создания такой коалиции не сможет победить в развязываемой против нее мировой войне. Если Россия не создаст такую коалицию, то формируемая США антироссийская коалиция может поглотить или нейтрализовать потенциальных российских союзников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- ¹ Глазьев С. Ю., Микерин Г. И. Длинные волны: НТП и социально-экономическое развитие. М.: Наука, 1989.
- ² Глазьев С. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВладДар. 1993.
- ³ Глазьев С. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М.: Экономика. 2010.
- ⁴ Глазьев С. Харитонов В. Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике. М.: Тривант. 2009.
- ⁵ Глазьев С. Модернизация российской экономики на основе нового технологического уклада как ключевое направление антикризисной политики. Аналитический доклад по программе Российского гуманитарного научного фонда (проект № 09-02-95650 докл). 2009.
- ⁶ Глазьев С. О политике развития российской экономики. Доклад. 2013; Глазьев С. Политика экономического роста в условиях глобального кризиса. Доклад. 2012.
- ⁷ Глазьев С. Модернизация российской экономики на основе нового технологического уклада как ключевое направление антикризисной политики. Аналитический доклад по программе Российского гуманитарного научного фонда (проект № 09-02-95650 докл). 2009.
- ⁸ А. Айвазов. Периодическая система мирового капиталистического развития. Статья. Сайт автора. 2012.
- ⁹ Акаев А., Садовничий В. О новой методологии долгосрочного циклического прогнозирования динамики развития мировой экономики и России. Сайт "Социальный анализ и моделирование".
- ¹⁰ По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ). Исследование на 2013 г.
- ¹¹ Там же.
- ¹² Интервью помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд телеканалу CNN, 22 апреля 2014 г.
- ¹³ Сергейцев Т. Падение мировой сверхвласти. Однако. №174.
- ¹⁴ Там же.
- ¹⁵ Глазьев С. Социалистический ответ либеральной глобализации. АПН. 2006.
- ¹⁶ Глазьев С. О международной инициативе для G20 по разработке системы защиты Земли от космических угроз. Аналитическая записка. 2013.

На земле В. Белова и Н. Рубцова, в Вологде, региональное отделение Союза писателей России начало издавать газету “Вологодский литератор”. Стремясь поддержать инициативу коллег, “Наш современник” публикует материал из летних номеров новой газеты — статью известного писателя Сергея Алексеева, начинавшего свой литературный путь на страницах нашего журнала.

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ

ЗАСАДНЫЙ ПОЛК

... В 90-е годы власть перестала называть народ народом. Это знак, сигнал. Чаще всего используется характерный термин “население страны”, и оно, население, в последние годы неуклонно растёт, о чём нам с радостью сообщают. Можно согласиться: население и впрямь растёт — народ убывает. Населением называют тех, кого населяют на определённую территорию, сажают на землю, а народом — тех, кто здесь народился, кто ведёт свой род и помнит о своих предках. Чувствуете разницу?

Ну, разве сумел бы Мавроди и ему подобные увлечь халявой и облапошить десятки тысяч наших сограждан, осознавая себя народ народом? Это когда на Руси жили на дармовщинку? Разве народ выдержал бы столь долгое и изощрённое унижение? Позволил бы обворовать себя, купившись на ваучер, впоследствии проданный за бутылку? Допустил бы, чтобы у нас на улицах жили сотни тысяч беспризорников, как после Гражданской? А ещё столько же в детских домах? Беспредел милиции-полиции, крышующей преступное и порочное? Сжился бы народ с неслыханной даже в России чиновничьей коррупцией и самоуправством? В переводе на русский — с казнокрадством, мздоимством и лихоимством?

Существование всего этого разве не национальный позор? Разве это не унижение, добивающее остаток чувства народного единства и гордости?

Я понимаю, невосприимчивость к боли — последствия шоковой терапии, которую применили к целому народу. Да ещё к какому народу! Который победил в самой страшной войне, который страну из руин поднял, который в космос первым вышел! Которого уважали во всём мире и во все времена!

Но как же такой народ позволил предателям и тщеславным авантюристам от политики развалить государство, обокрасть себя, да ещё добровольно взойти на плаху, дабы получить укол шоковой терапии?

Россия впервые напрямую столкнулась с незнакомой стратегией непрямых действий. И, не имея опыта, помимо воли своей стала соучастником преступления по уничтожению собственного государства. Это печально, но это факт. Помните, с чего всё начиналось? С митингов, связанных с экологией и борьбой с привилегиями партработников. (Нынче эти привилегии кажутся смешными!) Потом вбросили лозунг застоя в экономике, карточную систему и картину пустых магазинных полок. И почти сразу же слоган: “Кооперация спасёт страну”. Не спасла, но последовала ваучеризация, то есть бумажный делёж всего, что было накоплено многими поколениями. Тут и увяз коготок. Далее уже можно было испугать население, как угодно и чем угодно: финансовыми пирамидами и палёной водкой, карательными кампаниями и заманчивыми способами накопления первичного капитала, неприкрытым рэккетом

и открытым ненаказуемым бандитизмом. Руки у “великих реформаторов” были развязаны. Втянутые в преступление, как неразумные подростки в воровскую шайку, мы уже почти не сопротивлялись развалу Варшавского Договора, государства СССР.

Однако были и скрытые, не экономические мотивы соучастия в преступлении. Моральные, нравственные и неосознанные, касаемые непосредственно Дара Речи и магии слова. Мы все стали клятвoprеступниками. Все, кто служил в армии и присягал Родине, все, кто вступал в пионеры. Теперь это кажется уже мелочью, некоей детской игрой: ну, подумаешь, дали в руки листок, велели прочесть торжественное обещание. . .

Это уже мир тонких материй, выраженный в пословице: “Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь”. Есть два вида измены: осознанное – комплекс Мазепы – и неосознанное – комплекс Андрия Бульбы. И оба закончили плохо – такова участь клятвoprеступников.

Думаете, что-нибудь изменилось со времён Запорожской Сечи?

Нет, совестливых людей ещё довольно. Их многие миллионы, стыдно перед дедами, родителями, жёнами и детьми. Они разобщены и не чувствуют локтя друг друга, лишены поруки – вечевое братского круга: “Земля велика и обильна, а нарядя в ней нет”. Поэтому одни ходят подавленными, хмурыми, смиренными, молчаливыми, уставив взоры в землю, и давно не видят небя; другие втихушку заливают горе водкой и храбрятся только пьяными, чтобы вместе с похмельем наутро ощутить себя ещё более виноватыми. Чувство унижения – основная причина поощряемого властями пьянства в России.

А унижают тот народ, который позволяет себя унижать.

Нечто подобное Русь испытывала во времена монголо-татарского ига, нависшего над страной по той же причине – неспособности княжеской власти владеть государством. Автор “Слова. . .” предчувствовал, предвидел вещей грядущее, поэтому и призывал перессорившихся князей к миру и единству. Тогда потребовалось три века унижения и всенародного позора, чтобы эти чувства переплавились в волю, которая потом вывела единый народ на Куликово поле.

Но это далёкая история, а у нас есть более близкая, узнаваемая, ещё трепетная и живая – состояние общества перед Великой Отечественной, перед нашествием коричневой чумы и угрозой нового порабощения.

Революция и Гражданская война перемолотили Россию в щебень, в песок, и казалось, ничто уже не может сцементировать, спечь эту шуршащую, топкую массу хотя бы в конгломерат. Большевики пытались создать новую формацию – советский народ, замешанный на общинности и космополитизме. Уже хромающая аристократическая элита России вместе с остатками своих нравов легла в землю на Гражданской или оказалась в эмиграции. Столыпинская гордость, крепкий мужик-крестьянин, средний класс, основа тогдашней России, ограблен, отправлен в лагеря и ссылки. К власти пришёл чеховский герой – маленький, угнетённый, голодный и обозлённый человек в гоголевской шинели, способный только на диктатуру. Новая идеология, хотя и была замешена на общинных принципах, но ещё не выросла в сознание – Россия была обречена на гибель.

Так думали немцы и с ними вместе весь буржуазный, капиталистический мир. Гитлер ещё в 39-м году создал Единую Европу, так что нынешний ЕС – вовсе не заслуга современных политиков. Разница лишь в том, что фюрер Европы строил суперимперию на идеологических принципах, а теперешняя выстроена на чисто экономических. Оккупация европейской части СССР и победа Германии сделали бы американцев и англичан лучшими друзьями Гитлера: они бы и зверского фашистского оскала не заметили, и холокост бы простили, только бы этот монстр их не трогал.

Но в 43-м наступил неожиданный перелом в войне, немцев попёрли назад, в своё логово. Формальные “союзники” Советской России, уже готовые к союзу с немцами, сначала ошалели, потом быстро переориентировались и наконец-то открыли “второй фронт”.

Что же произошло? Или опять вышел из укрытия некий засадный полк, как на Куликовом поле? . .

Потому что на защиту Отечества поднялась коренная Россия!

До середины 42-го в регулярную армию брали молодняк, воспитанный на новых коммунистических идеалах, и, когда он уже догорал в пекле войны,

стали призывать старшее поколение – до 50-летнего возраста включительно. На фронт пошла коренная Россия, дух которой был вскормлен на традиционных русских ценностях, а главная из них – защита Отечества. На передовую пришли зрелые мужики без комсомольского задора и партийных марксистских воззрений.

Тот самый засадный полк.

Все мы помним картину А. Бубнова “Утро на Куликовом поле”. Обратите внимание на построение русских полков: в первых рядах стоят старики, за ними – поколение помладше, и основную гущу войска составляют молодые, здоровые и сильные. Это древний, скифский способ построения боевого порядка, гениальный по психологическому замыслу. Первые ряды в стычке с супостатом погибают первыми, это, можно сказать, смертники, поэтому они в белых рубахах и фактически не имеют доспехов. Отсюда взялась поговорка: “Не суйся поперёд батьки в пекло”. Деды должны умереть на глазах внуков, отцы – на глазах сыновей, и их смерть наполнит сердца молодых яростью ратного духа, вплетёт составляющую личной мести. А слово “месть” от “место” – чисто воинский термин, когда молодой занимает в строю место погибшего старшего из рода.

А есть ли она сейчас, коренная Россия, существует ли ещё засадный полк, который в решающий час способен выйти из дубравы и вступить в бой?

К разочарованию наших “партнёров”, как внешних, так и внутренних, должен сказать: есть. И “партнёры” прекрасно об этом знают, поэтому, как и во все времена, любимыми способами пытаются разобщить поколения, разделить по возрастному принципу, растащить по партиям, увлечениям и интересам. Перессорить мужчин и женщин, детей и родителей. Выбрасывают отвлекающие заманухи: трагическая смерть русской народной героини, принцессы Дианы, перестала работать – появились девки из “Пусси Райт”, оскверняющие храм. А ещё в рукаве полно тузов, чтобы манипулировать нескончаемой антисемитской игрой в “дурака”, ещё не доиграла свою партию скрипка экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни. Ещё есть в арсенале гомосексуалисты, наркоманы, экологи, пацифисты. Ну а темой борьбы с коррупцией, публичной поркой списанных чиновников, депутатов можно ещё долго морочить головы!

Мы, к сожалению, пока ещё поддаёмся такому влиянию, берём дешёвые наживки, грубо насаженные на крючок.

Поэтому хватит валить всё на власть, на антинародный режим, на происки внешних и внутренних врагов. Хватит винить наглость кавказцев и ругать евреев на кухнях. Все они как раз поступают естественно и предсказуемо, влёгкую, без напряжения манипулируя сознанием. Совестьным людям надо учиться, образовываться, и если уж выходить на площади, то только для того, чтобы там ощутить себя народом. Площадь – школа хорошая, но не единственная. В советские времена с демонстрациями вообще была “напряжёнка”, более трёх не собирались, поэтому потребность “столпотворения” (толпа от столп), чувства плеча товарища реализовывалась на официальных праздничных шествиях. На площади население ощущает себя народом и непроизвольно впадает в эйфорию: чувство локтя, чувство единения вызывают ликование. От радости люди забывают, по какому случаю собрались. И, утратив природное, присущее славянству, нравственное чутьё, “задний ум”, попадают в умело расставленные сети манипуляторов. И вот уже стихийные митинги возглавляют охвостья прежних “элит”, телеведущие, гламурные барышни, блоггеры и просто авантюристы, призванные и ведомые властью, чтобы выпустить пар.

Власти об этой особенности национального характера известно, и она, власть, изо всех сил пытается размыть, растворить потребность мирного “столпотворения”, загнать под контроль любое его проявление. Большевики тут отдыхают! Теперь даже свадебные церемонии придётся согласовывать с администрацией.

Поэтому на площадь лучше ходить в праздники, чтобы радоваться, гулять, отдыхать, с детьми и ходить со своими гвардейскими ленточками. Потому что вам навязчиво станут предлагать другие – белые, оранжевые, серо-буро-малиновые.

Вы заметили, как в последние годы миллиарды из бюджета уходят на строительство спортивных сооружений, содержание футбольных команд, ино-

планетных, судя по зарплатам, тренеров и, в том числе, на поощрение фанатских организаций. Хотя по-прежнему нет ни настоящего футбола, ни истовых спортивных болельщиков. Зато выполняется главная задача спорта и власти – выпустить пар на трибунах стадионов, дабы он не выхлестнулся на улицы и площади. Та же цель преследуется и в СМИ, когда нам с утра до вечера навязчиво гонят кровавые детективные сериалы. Количество криминальных трюпов, показанных нам тремя основными каналами, уже соответствует количеству населения России.

Вместе с паром из нас выпускают виртуальную кровь.

Но легче всего осуждать пороки и невыносимо трудно приводить в лад разлаженные отношения общества и государства.

Я не призываю ни к бунту, ни к созданию новых партий и движений. Да и рекомендаций или спасительных советов давать не собираюсь. Необразованная власть более всего боится, если электорат станет образованным и ощутит себя народом. И этому мы получаем всё больше и больше доказательств. Совсем недавно известная вам модель человека от власти, Герман Греф, на форуме в Петербурге прямо так и заявил: не надо образовывать население страны! Мол, если оно узнает всю правду, то им, населением, станет невозможно манипулировать. Прямо так и сказал. Дескать, благо, что есть журналисты, рядящиеся под свободную прессу, они-то и дают обществу дозированную информацию – сколько положено.

Любая манипуляция сознанием имеет явные признаки мошенничества, деяния, уголовно наказуемого.

Будь народ народом, на следующий же день Сбербанк лопнул бы, как мыльный пузырь, вкладчики бы забрали свои деньги. Разве можно доверять их такому банкиру? А прокуратура возбудила бы уголовные дела на СМИ, нарушающие статью о праве на информацию, записанную в Конституции.

Я призываю своих соотечественников к образованию, к обретению образа народа. К тому, чего так боится власть и чему всячески препятствует из-за своей неспособности управлять образованным населением. И, трижды поплевав через левое плечо, опасаясь сглазить, сообщая вам шёпотом, на ухо: наш народ сегодня потянулся к знаниям! Потянулся к своим истокам. Невзирая на то, что истоки лихорадочно засыпают мусором, пытаются загадить, а где не получается, просто взмутить, мол, пока отстоится, кое-что успеем. Потянулся жадно, как всякий жаждущий.

И власть это почуяла. Поэтому наскоро выставляются противотанковые ежи и роются рвы в виде назначения чудовищных по своей необразованности министров образования и культуры. В школах усиленно совершенствуется отупляющий ЕГЭ, идёт уже ничем не прикрытое, откровенное разрушение некогда могучей системы высшей школы. Причём это делается так поспешно и грубо, что напоминает отступающего агрессора, который сжигает последние мосты и отравляет колодцы.

Русская тройка долго запрягается, но катится быстро.

Предвижу возражения скептиков: мол, в современной политической системе, ориентированной на тотальную глобализацию, практически невозможно что-либо сделать. Дескать, перед нами даже не просто государственная машина – бронированный монстр, ведомый сильными мира сего. Разве можно создать структуру, развивающуюся и существующую по другим правилам и законам? Ротшильды и Рокфеллеры, “мировая закулиса” не потерпят подобных вольностей, идущих вразрез с решениями их “политбюро”. Вездесущая политехнология манипуляции сознанием размажет, сотрёт в порошок. В лучшем случае любое положительное начинание объявит ложью, сектантством и предаст анафеме, что уже не раз бывало. В худшем – признает эту структуру террористической, а остальное довершат войска НАТО.

И будут эти искусственные скептики в чём-то правы.

Не делая никаких выводов, я просто приведу “природный” пример, когда зарождение, развитие и существование качественно новых структур не подвержено ни влиянию извне, ни, тем более, управлению и манипуляциям. Природа всегда мудрее нас, если мы ещё способны видеть её, слышать и чувствовать.

... В 70-х годах появилось заболевание чёл, называемое варроатоз. Это клещ-паразит, величиной чуть более макового зерна, который поселяется на шейке, возле головы, и заедает пчелу, выпивая из неё все соки. Самая со-

вершенная модель самоорганизации в природе, пчелиная семья, без всякой эволюции существующая миллионы лет, оказалась не в состоянии противостоять клещу, ибо заражение происходит ещё до рождения пчелиной детки. Самка клеща всегда опережает пчелиную матку на две-три ячейки вперёд, точно угадывая, куда она отложит очередное яйцо, и успевает откладывать своё. Личинка пчелы рождается уже в порочном соседстве с личинкой клеща, вместе питается, развивается, вырастает, окукливается, и молодая пчела выходит из ячейки, принимая паразита за часть своего существа. Когда заражение становится критическим, клещ начинает высасывать соки своей соседки ещё в запечатанной ячейке, и пчела тогда рождается слепой и бескрылой. Она же обычно золотистая, а тут появляется чёрной, словно из неё ещё до рождения свет выпили.

Но в “инкубационный” период заболевания клещ просто живёт на пчеле, даже совершает путешествие, летает за ней на сбор нектара и ждёт зимы. Летом же паразиты насмерть зажирают только трутней, поскольку их в семье всегда с избытком, поэтому самка клеща откладывает яйца больше в трутневые ячейки. И только под осень начинает активно заражать пчелиный расплод – будущее потомство, которому суждено пережить зиму. То есть клещ отлично разбирается в мироустройстве семьи, знает табели о рангах: например, вообще никогда не трогает матку, сеющую новое потомство “будущего корма”. Зато за зиму клещ медленно выпивает жизнь из пчелы, растягивая удовольствие до весны, и если она не погибает, то выходит немощной, сил хватает долететь до первого цветка.

Там паразит отцепляется и ждёт, когда на тот же цветок прилетит другая, здоровая, пчела...

Поначалу пасечники пытались бороться с клещом самыми разными способами: окуривали дымом ядовитых растений, химикатов, даже засыпали хлоркой и дустом, но в результате только губили пчёл, а клещ выживал. Тогда начался революционный период, кардинально и круто изменяющий ситуацию, – повальное сжигание заражённых пасек, и повсюду запылали костры. Палили вместе с ульями, инвентарём и омшаниками, снимали грунт на местах расположения, заводили новые, чистые семьи, а они вскоре опять заболевали. Учёные изобретали средства борьбы с варроатозом, в основном химические, ароматические смеси, аэрозоли, пищевые добавки; клещ отчасти осыпался, но полностью вылечить болезнь оказалось невозможно, и вспышки её повторялись.

Но вот что было замечено: если вывезти заражённую пасеку подальше от других, где нет контакта пчёл и мест общего пользования – цветов, то семьи мало-помалу сами избавлялись от паразитов и к середине лета выздоравливали полностью. Новые потомства пчёл рождались уже без “пассажира” – нахлебников, зрячие и крылатые. Как им удаётся сбрасывать с себя клещей, до сей поры не совсем ясно, есть предположения, что пчёлы (язык не поворачивается называть их насекомыми!) научились снимать их друг с друга. По другой версии, пчёлы-чистильщики, что готовят ячейки для маточного засева, разгадали “политтехнологи” варроатоза, и теперь идут вплотную к матке, не позволяя самке клеща откладывать свои яйца. А если успела отложить – выбрасывают.

Так или нет, не знаю, но из моих личных наблюдений вынес несколько явных, неоспоримых фактов: пчёлы чистят друг друга, особенно “мёртвые” зоны, которые сама пчела достать не может. Но более потрясло то, как они помогают друг другу встать на лапки, если, вылетая из летка, пчела случайно перевернулась на спину. Они подают руку упавшему – опять же язык не поворачивается сказать лапку...

Вот бы взять да вывезти наш улей на необитаемый остров! Да только нет на планете таких островов, и слишком уж много на нашей земле могил предков, кости коих ещё продолжают излучать и питать нас энергией, – всех не выкопать и не увезти с собой. Остаётся одно – чистить друг друга, снимать клещей, обезвреживать будущее потомство, следуя на шаг впереди матки, и подавать руку, если кто-то споткнулся.

И не собирать мёд на чужих цветах. Тем более если нектар из них давно кем-то выпит, а вместо него залит химера в виде пищевой добавки...

Улей наш не перевезти. Но вот столицу – вполне возможно в самое ближайшее время. Пока существующая власть не устремилась на юг от Москвы

и не начала стройку “московской грыжи”. Не следует разрушать соляренный символ искусственным протуберанцем, ни к чему доброму это не приведёт и времени существования столицы не продлит. Если бы власть имела образ, то давно бы уже осознала, что период “московского государства” пройден вкупе с советским периодом. Надо не реформировать, а переформатировать возбуждённое пространство, в первую очередь перенести столицу, даже не на реку Ра – на Урал, и тогда сбудется пророчество Ломоносова: государство российское прирастёт Сибирью.

Не стану рассказывать, как бы оживилась азиатская часть малозаселённой России, как бы хлынули на заснеженные просторы финансовые потоки, производительные силы и как бы “обрадовались” этому китайцы, – всё это понятно без перевода и лишних слов.

Надо избавиться от варроатоза прежних элит, который поразил обе существующие столицы государства. Пётр был похлеще нынешних реформаторов, он одним взмахом топора голову отрубал стрельцу, однако не сумел сладить с боярской элитой и ушёл на болотистый берег Невы, будто бы рубить окно в Европу. Долгие вёрсты русских просторов спасают нас не только от внешних врагов; у клеща сосущий хоботок длинный, да ноги короткие. Он физиологически не в состоянии покорять пространство более, чем площадь цветка, шейку пчелы, ограниченную Садовым кольцом столицы. А также долго жить вне улья, тем паче без своего кормящего транспорта – пчелы. Начитавшись Маркса, Ленин тоже страдал от необразованности и совершил ошибку, вернув Москве статус стольного града: прежний навоз там ещё не перепрел, не перегорел, не превратился в культурный слой, в почву, способную плодоносить, выгонять из семени живучий стебель.

Пусть Москва останется соляренным символом прошлой эпохи. Рано или поздно, но третья столица современной России будет на Урале. Только вдали от прошлых элитных гнездовий возможно окружить матку пчёлами-чистильщиками, желательно из рабочих, вечевых пчёл, которые и правят в семье.

А рабочей пчелой называется та, что собирает нектар...

ЛИДИЯ СЫЧЁВА

БЕЗ МУЖЧИН НАРОД — НЕ НАРОД

Двадцатилетний юбилей одной из московских школ. В актовом зале собрались преподаватели — педагогический коллектив отмечает круглую дату. Более сотни женщин разного возраста, преимущественно — “кому за 40”, и один-разъединственный мужчина — физкультурник!

Вечер рабочего дня в Москве. Стеклянная витрина дорогого кафе. С улицы видно, что за столиками сидят преимущественно дамы — пьют вдвоём кофе и вино, курят, обсуждают текущие дела. Симпатичные, ухоженные, состоявшиеся женщины. У них нет семей — они не спешат после рабочего дня домой, нет, скорее всего, и любимых мужчин — иначе они проводили бы время в обществе противоположного пола.

В городском автобусе краем уха я услышала невнятную, спотыкающуюся, стёртую речь. Гэ, мэ, бэ... — глухие голоса с трудом подбирали слова. Подумалось о трудностях тех, которые “понаехали”, — тяжело будет лицам кавказской национальности ассимилироваться в столице. Обернулась, а это наши, славянские ребята из “народа”! Они не умеют рассуждать, связывать слова в предложения! Остались одни междометия и тестовое мышление...

“По результатам последней переписи выяснилось, что женщин в нашей стране уже на 15 процентов больше, чем мужчин, и при общем спаде рождаемости этот баланс в ближайшее время выровняться не должен. Ведь российский мужчина на грани исчезновения”, — можем мы прочесть в сегодняшних газетах.

Правда, почти никто не пишет о том, что мы сейчас наблюдаем исчезновение мужчины как физического феномена. Феномен же духовный, психологический, в основании которого находится такое качество, как мужественность, давно уже пора заносить в Красную книгу... Об этом мы беседуем с доктором медицинских наук, профессором Владимиром Базарным. Долгое время он руководил Научно-внедренческой лабораторией физиолого-здоровоохранительных проблем образования Администрации Московской области.

— **Владимир Филиппович, во всех культурах самой высокой ценностью, оберегаемой различными табу, всегда была ценность семьи... Питирим Сорокин писал: “Семейный тип отношений в человеческом сообществе — наивысший”.**

— Я разделяю эту точку зрения. Семья — это вечная пристань, защита, где оформляются все духовно-психические способности детей. Семья — это не только основа любого государства (что само по себе имеет абсолютную ценность). Это главное и абсолютное условие для сохранения и поддержания духовной истории народов.

Люди издревле осознавали: здоровая дубрава человеческой жизни может поддерживаться только за счёт крепких семейно-родовых древ, или, как сказали бы учёные, генеалогий. Люди знали: порча семейно-родовых древ рано или поздно заканчивается катастрофой для всего народа.

Не то – ныне. Спросите благополучных молодых людей лет 30–35, живущих в стабильной Европе: почему они не рожают детей? Вряд ли вы услышите в ответ что-то вразумительное: нельзя же всерьёз принимать рассуждения о карьере, об удовольствиях свободной жизни, о том, что надо посмотреть мир, накопить денег!.. А в России? Если бы семьи сегодня распались только из-за материальных трудностей! Кстати, беда, лишения всегда только сплывали и закаляли семейные коллективы. А ныне стонут и плачут от брачных мук и бедные, и богатые. Растёт насилие. У нас сотни тысяч социальных сирот, десятки тысяч беспризорников. Пьянство. Наркомания. А мы при объяснении этой большой семейной беды всё перебираем и перебираем факторы материальной жизни. А самый главный фактор – фактор жизни духовной – не учитываем.

К сожалению, нам, воспитанным на жёстком материализме, тонкая вуаль межчеловеческих отношений порой уже недоступна. Да, причин современной трагедии семьи, а в итоге – народа и государства – очень много. Но среди них есть одна самая важная, корневая. Это генетическое угасание факторов мужества у мальчиков, юношей, мужчин и приобретение ими сугубо женских характеристик.

– **То есть без мужчин народ – не народ?**

– Совершенно верно. Такова человеческая природа: в дни великих испытаний семья, жена, дети, старики всегда выживали благодаря внутренней стойкости, силе духа наших мужчин. Всё это сохранено в генетической памяти. Вот почему женщина всегда инстинктивно тянется к своей противоположности: к сильным, смелым, умным и мужественным мужчинам. Это закон.

И беда ожидает тот народ, ту цивилизацию, которая перестанет воспитывать мужество у своих мальчиков. В среде этого народа поселяется страх, парализуется воля, растёт хаос в духовной сфере.

Весь храм человеческой сущности держится на краеугольном камне – половой дифференциации и половой принадлежности. И “двигать”, “подрывать” этот камень никому не должно быть позволено – ни школе, ни телевидению, ни лжеучёным.

При воспитании детей народы всегда исходили из разной природы мальчиков и девочек. Стратегия воспитания была связана с полом ребёнка. У мальчиков родители стремились рано сформировать комплекс мужских характеристик и мужского характера.

Это смелость, воля, сила духа, способность быть лидером и брать на себя ответственность, готовность защищать более слабых, готовность стать главой семьи, встать на защиту Отечества и т. д.

У девочек родители стремились воспитать иные качества: нежность, женственность, целомудрие, верность, трудолюбие, готовность стать невестой, матерью и т. д. И всё это соответствовало природным (генетическим) задаткам тех и других. Учитывая разные интересы, мотивы, фантазии, пристрастия, игры, воображение, мальчиков и девочек учили и воспитывали отдельно друг от друга. Так поддерживалось здоровье народа и здоровье деторождения.

Изначально мальчишки устремлены к испытаниям, к переживаниям борьбы с опасностями. И наиболее остро эта потребность выражается на самом важном этапе жизни – этапе сверхчувствительности, который продолжается только до 6–7 лет. И всегда изживание страха, победа над страхом – это воспитание самообладания, выдержки, стойкости, силы духа, уверенности в себе и т. д.

Духовный рост мальчиков возможен только на основе формирования у них комплекса характеристик мужественности. Только самообладание, выдержка, стойкость, сила духа могут победить инстинкт страха, один из первичных импульсов животной жизни. А победа над животными инстинктами – категория всегда жертвенная, так как связана с отречением от своей первичной чувственной природы. С этих позиций самообладание, выдержка, стойкость, сила духа оказались самыми фундаментальными категориями в нашем духовном воззрении на текущие и исторические события. И все эти качества держатся на мужественности – мальчиков-юношей-мужчин.

Народы ещё в древности осознали: мужское в мальчике изначально закрепощено и само по себе не раскроется. Так появились испытания, направленные на преодоление страха, развитие силы, ловкости, смелости, выносливости и т. д.

– Мальчики тогда проходили обряд инициации... Но вам могут возразить, что сегодня времена изменились!

– А человек, его природа, остались прежними! И потому я считаю: смешение мальчиков и девочек в детсадах и школах по календарному возрасту – вещь непростительная! Девочки на 2–3 года духовно и физически опережают по своему развитию мальчиков. Доминирующую роль в генофонде имеет женское начало. Мужчина же без целенаправленной, многолетней “рекультивации” и укоренения в детстве внутренней воли и силы духа сам по себе не состоится.

Давайте вспомним факты отечественной истории. 31 мая 1918 года выходит постановление “О введении обязательного совместного обучения”, подписанное комиссаром просвещения Луначарским. Каким же мотивом руководствовались победившие революционеры? Долой “сегрегацию” людей на мужчин и женщин, а детей – на мальчиков и девочек! Даёшь всеобщее равенство, в том числе биологическое. Хватит женщине быть детородной “курицей” и т. д.

Кстати, вначале многие высказывались против комиссарского наскока на природу людей. Но кто против “равенства” – тот против советской власти! Мальчиков и девочек поместили в общие классы, смешали по календарному возрасту. И вот наше “равноправное” образование привело к тому, что девочки для мальчиков невольно оказались духовными лидерами, “моделью”, под “образ и подобие” которой стал подстраиваться чувственно-подсознательный мир мальчиков. А такое “перевоплощение” будущих мужчин очень опасно. За счёт “наведения” женских начал на мальчиков-юношей-мужчин мы не только разрушили особый феномен их оужествления, не только извратили стратегию развития полноценных людей, но и подорвали корни генетической реализации физического и духовного пола.

В 30-е годы многим, в том числе и новой власти во главе со Сталиным, стали видны негативные последствия “бесполого” обучения. Уже в те годы стал заметен дефицит сильных духом, мужественных и волевых юношей при призыве в армию. И это при том, что тогда на самом высоком уровне было и физическое, и трудовое, и патриотическое воспитание. Молодёжь сдавала нормы ГТО, воспитывалась под лозунгом “Быстрее! Выше! Сильнее!” и т. д.

– И Сталин попытался вернуть школу к прежней модели... Сегодня многими это рассматривается как ошибка “тирана”, чудачество...

– И напрасно. Осознав все негативные последствия смешанного обучения, правительство “обязало совнаркомы союзных и автономных республик ввести раздельное обучение мальчиков и девочек” (постановление № 789 от 31 мая 1943 года). Какие же негативные последствия были указаны в постановлении? Такое обучение “создаёт некоторые затруднения в учебно-воспитательной работе с учащимися”. Кроме того, при совместном обучении “не могут быть должным образом приняты во внимание особенности физического развития мальчиков и девочек, подготовки тех и других к труду, практической деятельности, военному делу и не обеспечивается требуемая дисциплина учащихся...” Чётко и ясно! В раздельных школах дети стали лучше развиваться, особенно мальчики. У них постепенно стали исчезать черты, характерные для противоположного пола. Казалось бы, истина восторжествовала. Однако такой порядок обучения существовал лишь до тех пор, пока был жив Сталин. В 1954 году мальчиков и девочек вновь смешали в общие классы по календарному возрасту.

И я ответственно утверждаю, что больший вред народу вряд ли нанесли все иные, вместе взятые действия так называемого “народного” комиссариата просвещения.

– Мне довелось побывать на встрече выпускников 151-й школы Ленинградского района Москвы. Это был обычный класс типичной “мужской” школы – ребята закончили её в 1953 году. Среди выпускников – два лауреата Ленинской премии, три генерала, несколько кандидатов наук, выдающиеся инженеры, учёные, мастера спорта. В последующие годы ни один класс со смешанным обучением в этой школе не был таким “звёздным”...

– Протицируем постановление, которое вновь вводило смешанное обучение.

“О введении совместного обучения в школах Москвы, Ленинграда и других городов. Из постановления Совета Министров СССР от 1 июля 1954 года: Совет Министров Союза ССР постановляет:

1. Учитывая пожелания родителей учащихся и учителей школ, ввести в школах Москвы, Ленинграда и других городов с 1954/55 учебного года совместное обучение мальчиков и девочек...

2. Обязать советы министров союзных и автономных республик, а также краевые и областные исполкомы принять необходимые меры и оказать помощь органам народного образования в связи с введением совместного обучения”.

На первый взгляд, в этом документе всё логично. Но представьте: мальчиков помещают в среду более развитых и сильных девочек. Для генетически менее зрелых мальчиков представительницы “слабого пола” становятся духовно-эмоциональным примером поведения и образцом (“героем”) для подражания.

Качества этого “образца” – прилежность, послушание, усидчивость, стремление услужить, понравиться, отсутствие протестных установок и т. д.

Такая модель поведения стала активно поощряться учителями-женщинами. Постепенно из школьной жизни и чувств мальчиков исчезли ценности мужского характера. Исчезла мужская героика, мужская символика. Мальчики оказались погружёнными в сугубо женскую духовно-сигнальную среду с её смыслами и ценностями. Более того, духовно более зрелые девочки сами стали прививать менее зрелым мальчикам свои сугубо женские символы, пристрастия, игры, эмоции, мечты, фантазии, привычки, мотивы, смыслы жизни, страхи. В итоге на протяжении нескольких поколений из учебных заведений, где проходит большая часть жизни детей, исчезла пололичностная самоидентификация молодых людей, особенно мальчиков.

Проведённые нашей лабораторией исследования показали, что у мальчиков и девочек изначально качественно иные чувственные архетипы, у них разные мечты, разные фантазии, иное воображение и т. д. Анализ многих тысяч рисунков мальчиков и девочек убедил нас в главном: при нормальном развитии ребёнка стратегия чувственно-подсознательного, стратегия их первичных архетипов, на основе которых оформляется психическая жизнь, никогда не пересекаются.

– **Но тогда мы можем предположить, что Россия вместе с “цивилизованными” Западом переживает общую беду – там тоже смешанное обучение и бесполое воспитание...**

– Это так. В странах, где принято “бесполое” обучение, на популяционном уровне (а это уровень эволюционно значимых изменений) наблюдаются следующие чёткие тенденции:

а) постепенное “разрыхление” и перерождение у мальчиков Y-хромосомы в X-хромосому;

б) постепенное уменьшение количества и угасание эффективности (в плане детородности) мужского семени. Мальчики и юноши всё больше и больше стали развиваться по женскому типу на всех уровнях организации жизни.

На этот счёт имеются многочисленные сообщения в зарубежной, а в последние годы и в отечественной научной литературе.

Женородные мужчины стали всё больше и больше заполнять пространство социальной жизни.

– **Пожалуй, это объясняет бурное развитие на Западе феминистского движения и борьбы за “женскую самодостаточность”. В конце концов, любовь к жизни начинается с любви к противоположному полу. А если его полноценные представители становятся редкостью, “диковинкой”, женщинам приходится пускаться во все тяжкие...**

– Действительно, женская конституция при таком воспитании оказалась деформированной. Девочки, взявшие на себя роль лидерства (а это – ответственность, воля, сила духа, вечная борьба за удержание такого лидерства и т. д.), стали всё больше развиваться по мужскому типу. У них появляются ранее присущие только мужскому полу привычки, в том числе и вредные. Это всё большее проявление у девушек-женщин мужских, часто патологических

эмоций (агрессия, злоба, грубая сила и т. д.). И всё это сопровождалось системными гормональными перестройками.

На клиническом уровне — это различные функциональные (а затем и патологические) нарушения в становлении вторичных половых признаков.

Это рост различных дегенеративных проявлений в яичниках, женских молочных железах. Это различные нарушения менструального цикла. Это рост доброкачественных и злокачественных новообразований, поражающих молочные железы, придатки. Это рост бесплодия, а при беременности — различных патологий в процессе её вынашивания (самопроизвольные выкидыши, кровотечения, различные системные заболевания матери и т. д.).

В процессе родоразрешений — это либо преждевременные, либо запоздалые роды.

Это слабость и “судорожность” (хаотичность) родоразрешающего ритма.

Это рост различной врождённой и генетической патологии новорождённых, их слабая жизнеспособность.

Это синдром внезапной (“беспричинной”) смерти младенцев и т. д. и т. п. И здесь речь идёт не о единичных случаях. В частности, согласно исследованиям научного Центра здоровья детей РАМН (А. Баранов), среди каждой тысячи младенцев, родившихся в крупных городах России, у 800–900 выявляются та или иная врождённая патология и аномалии развития. А ведь это уже общенациональное бедствие!

Все чаще даже у внешне женственных особ при выяснении причин бесплодия врачи вдруг стали находить вместо женской X-хромосомы мужскую Y.

Наконец, это угасание не только репродукции женского молока, но и материнского чувства. Вот они, подлинные корни поразившей Россию эпидемии беспризорных детей при живых матерях! Здесь и неумолимое увеличение числа молодых людей с неопределённой сексуально-“поисковой” ориентацией. Это гермафродизация, вначале по духу, а затем и по телесной конституции.

— **То есть человек будущего — биоробот-гермафродит?**

— У западной цивилизации в нынешнем её виде нет будущего — природу не обманешь и не победишь. К сожалению, семья, школа, современные СМИ так воспитали молодых людей, что они убеждены: Господь Бог дал им разум во имя единственной цели — для всё большего совершенствования способов удовлетворения потребностей и получения удовольствий и наслаждений. Благодаря “средствам массового растления” “героями” молодёжи уже давно стали секс-звёзды. Но ещё ни одна культура, ни одна цивилизация, ни один народ не выживали после погружения их в сексуальные свободы. И сегодня в России, по существу, почти сложился глобальный механизм самоликвидации. С одной стороны, у нас уже выросли целые поколения со слабой волей и силой духа. С другой — мы запустили всепоглощающую машину соблазнов. С третьей — здоровьеразрушающий процесс обучения в государственной школе. В результате мы имеем то, что имеем.

Стоит только представить себе: встречаются юноша и девушка. При этом у женственных юношей и омужествленных девушек высшей ценностью давно стала внешняя смазливость и привлекательность. Женятся. А по духу-то они оба — полуженщина-полумужчина! И когда они это открывают, кроме взаимного отчуждения и ненависти уже более ничего не испытывают. Такова неумолимая логика духа. На подсознательном же уровне начинается межполовая бойня двух “самцов” за мифическую “самку”, и двух подсознательных “самок” за мифического “самца”. И в эту бойню часто, очень часто оказываются вовлечёнными их дети.

Мы в XX веке провели над собой трагический эксперимент — игнорировали полоролевое воспитание и активно внедряли бесполоую педагогику. Вот результат... В условиях, когда до основания разрушена народная воспитательная культура, когда до основания разрушено семейно-родовое воспитание, наша школа, нацеленная на некую сумму знаний (без воспитания чувств!), есть величайшее преступление перед народом.

— **Мало кем осознаваемое...**

— Да, к сожалению, это так. Дело в том, что большинству женственных юношей и мужественных девушек, а впоследствии уже мужчин и женщин — с такими комплексами их самочувствие уже стало привычным, а потому они считают себя совершенно нормальными. При этом на наших глазах мужественные девочки с деградирующими детородными функциями всё более и более

теснят слабеющих в мужестве юношей. Война полов достигает апогея при попытках организовать семью.

С какого образа мальчики “делают” себя, если все они растворены в классах среди более зрелых по генетическому и духовному возрасту девочек? Если более развитые и зрелые девочки для них становятся тем примером, по образу и подобию которого они строят свою эмоциональную жизнь? Если образ девочек изначально учителями-женщинами ставится в пример мальчикам в качестве эталона социального поведения? В конце концов, в кого воплотятся наши мальчики, если вся их современная жизнь – это непрерывная эстафета передачи из одних женских рук в другие?!

Исследования нашей лаборатории показали, что год от года у мальчиков угасают воля, смелость, они всё больше и больше перенимают сугубо женские пристрастия и привычки. И если на начальных этапах школьного обучения у них “оженовляются” только чувства и воображение (ядро духовной сущности людей), то к окончанию школы у 95 процентов юношей телесно-гормональная конституция имеет все признаки такого “оженовления”.

– Я видела данные исследований девятиклассников Сергиево-Посадского района, которые обобщила Людмила Алифанова, врач-терапевт. Она пишет: от первого к девятому классу число девочек с аномально развитым тазом увеличилось на 71%. Но главное: у 96% (!) девятиклассников антропogramмы указывали на развитие по евнухоидному типу...

– Но у нас, к счастью, есть и другие данные. В середине 90-х годов кандидатом медицинских наук Г. Стюхиной было выполнено исследование, отвечающее на вопрос: что происходит с пололичностным воображением при существующей “бесполой” модели дидактики и в условиях предложенной нами параллельно-раздельной модели образования (мальчики и девочки учатся отдельно, в параллельных классах). Закономерности очень чёткие. При смешанной модели образования у детей угасает пололичностное воображение на фоне нарастания воображения, характерного для противоположного пола. И наоборот: при параллельно-раздельной модели образования у всех детей отмечается укоренение присущего полу воображения.

Выход очевиден: разделить мальчиков и девочек в параллельные классы в пределах одной школы. Первыми детскими садами, в которых была внедрена такая модель, были детские сады г. Стрижевого (зав. дошкольным отделом З. Шарова), ДООУ “Росинка” (заведующая А. Иванова, методист Е. Ременьюк). Первой такой школой стала школа № 103 г. Железнодорожска (директор Е. Дубровская), школа № 343 Москвы (директор Ж. Корнеева), школа № 760 Москвы (директор В. Гармаш).

Учителя в таких классах отмечают улучшение у мальчиков речевых и графических функций, успеваемости. Психологи говорят о росте характеристик мужества, воли, способности к самостоятельному принятию решений. В рисунках и снах начинают преобладать символы и образы (архетипы), характерные для природы мужского духа. Кроме того, мальчики стали лучше расти! В частности, к окончанию начальной школы мальчики из раздельных классов были на 4,1 см выше сверстников, занимавшихся в смешанных с девочками классах, а к 10-му классу эта разница составила 7,8 см.

Выдающийся отечественный физиолог Иван Павлов доказал: слово как духовный сигнал может обладать такой же силой реактивного аффекта, как и реальный чувственный раздражитель. Известно и другое: конечной мишенью чувственного раздражителя всегда является генетическая матрица, то есть генофонд. То есть слово, как и реальный чувственный раздражитель, моделирует эффект реализации генетических программ.

А теперь вспомним, какое у нас в школе слово, какая дидактика.

XX век – время, когда бесполой культура активно брала “высоты”, но главное, XX век – век бесполой организации учебно-воспитательного процесса. А ведь бесполое обращение с детьми – это всегда стимуляция чуждых информационно-генетическому духу (коду) программ. Причём чуждых как для девочек, так и для мальчиков.

Последствия бесполого сигнально-информационного озвучивания детей – катастрофичны. Деградикация пола – налицо.

И эта трагедия не ограничивается гормонально-генетической дезорганизацией. Она плавно перетекает в эпидемию духовно-психических расстройств. В духовную сферу прорываются чужеродные природе данного пола

чувственно-инстинктивные импульсы-ощущения. Они в виде страсти захватывают всю жизнь и начинают властвовать над духом воли, над психикой. Человек оказывается захваченным чужеродной чувствительностью, чужеродными силами. Он как бы не властен над собой. На библейском языке это называется “нечистая сила”. Феномен “нечистой силы” никогда не довольствуется “камерностью”, ограниченностью влияния. “Нечистая сила” всегда устремлена к утверждению чуждых природе человеческой сути ощущений и потребностей на уровне общественной жизни.

– **Тут с вами нельзя не согласиться: телесатанизм – это никакая не метафора.**

– Такова действительность: мы вошли в эпоху видовой гибели древа человеческой жизни. Политики, да и многие медики надеются, что проблему можно решить экономическими средствами. Да, деньги здесь лишними не будут. Но те, кто уповает только на финансы, не учитывают одно “незначительное” обстоятельство: полноценного здорового ребёнка могут родить только абсолютно здоровые молодые люди! Если же они “хроники”, то ребёнок уже ни при каких условиях, ни при каком уровне развития медицины не родится здоровым. И может наступить время, когда ничтожно малая часть подрастающего дееспособного поколения уже ни при каких экономических условиях не прокормит армию больных и немощных. Счёт идёт на годы, на десятилетия. Промедление – смерть.

Посмотрите, качество детородного семени – это тот краеугольный камень, на котором держится всё живое. Прежде всего, этим (есть и другие факторы, но они – предмет долгого разговора) мы и объясняем, почему у нас в конце XX столетия не только исчезли в роддомах полноценные здоровые младенцы, но уже на каждую тысячу из них у 800–900 – те или иные врождённые дефекты. Представьте: перед вами незрелое зелёное яблоко или такое же зерно пшеницы. А теперь посейте незрелое семя в землю и посмотрите: какие всходы мы получим? Правильно: нежизнеспособные, больные, а в итоге – отмирающие. И здесь любая лечебно-коррекционная “агрокультура” бессильна! А ведь в этом семени хромосомный аппарат не повреждён! Проведённые под нашим руководством осмотры выпускников школ, проживающих в Московской области, Ярославле, республике Коми, Красноярском крае и других регионах, показали, что около 90–95 процентов девушек и юношей имеют признаки телесного и духовного инфантилизма.

– **То есть отсталость развития, когда у взрослого сохраняются физические или психические черты ребёнка...**

– Если сказать точнее, даже не отсталость, а незрелость. Незрелость выпускников школ – это системное телесное и духовное недоразвитие. Это нераскрывшиеся, а в итоге – усечённые и навсегда сошедшие с арены жизни для всех последующих поколений информационно-генетические программы видовой жизни. Инфантильность выпускников школ – это слабость волевой сферы, а в итоге – невозможность устоять в пубертатном и последующих периодах против натиска половых гормонов и животных инстинктов. Это тяжелейшие последствия для нравственной и психической сферы, для детородного здоровья. Инфантильность молодых людей – это стирание иммунозащитной генетической памяти, а в итоге – незащищённость от мириад вирусов и микробов.

Это потенциальные насильники, убийцы и самоубийцы. Это скрытый и явный гермафродитизм. Это, в конечном счёте, угасание способности зачать, выносить, вскормить грудным молоком и воспитать ребёнка. Это смерть семьи и государства.

– **Добавлю к вашим словам следующее: Елена Тетенова, научный сотрудник НИИ наркологии Минздрава РФ, исследовала группу подростков-наркоманов с героиновой зависимостью. В ста процентах случаев (!) Тетенова отметила наличие у наркоманов такого качества, как инфантилизм...**

– Да, вся эта трагедия разворачивается на наших глазах. И с какой бы стороны мы ни подходили к ней, она закономерный итог подмены целей и задач школы. Вместо целенаправленного кропотливого и ежедневного формирования нравственной, психической и физической зрелости мы видим информационно-инструктивное программирование. И – преступное смещение мальчиков и девочек в детсадах и школах по календарному возрасту.

Нужно немедленно переходить на параллельно-раздельный тип воспитания и обучения мальчиков в детских садах и школах. Нужно немедленно создавать условия для отбора и приёма в педвузы и в педколледжи юношей (не менее 50% от всех абитуриентов и студентов). Нужно добиться, чтобы мужчины пришли в школы и детские сады.

– **Вряд ли наше государство на это решится...**

– Если мы хотим что-то спасти, то вся структура школьной жизни должна работать сейчас на пол – развивать в девочках женское начало, в мальчиках – мужское. Не о внеурочном тренинге идёт речь – “поиграем в мальчиков”; а потом 45 минут поучимся все вместе, а о ежеминутном, ежесекундном формировании динамических стереотипов чувств и мышления.

Бесполовая культура – я утверждаю это ответственно! – есть культура зла. Эта культура ведёт к массовому уродству младенцев и бесплодию.

Задумайтесь: существуют неизвестные человеку силы, которые на уровне популяции регулируют соотношение рождения мальчиков и девочек. Во время войны и гибели молодых мужчин рождаемость мальчиков резко повышается. Бесполой эмбрион, как вы знаете, на этапе первых недель имеет бисексуальную (гермафродитическую) природу. То есть потенциальную готовность принять как мужскую, так и женскую стратегию развития. Но женское начало имеет явно доминирующее влияние. Это доказывают опыты на животных. Если у самки крысы удалить яичники, то она всё равно будет развиваться по женскому типу. А вот если удалить яичники у самцов, то, несмотря на генетическую предрасположенность, особь развивается по женской программе.

Мы провели исследования в Перми, Ярославской области, Красноярском крае, республике Коми. Была обследована и треть всех подростков Сергиева Посада. Результаты – страшные. У большинства мальчиков разрушена, недоразвита, исковеркана телесная конституция. У девочек – то же самое. И так в любом регионе (да и за границей тоже). Да, здоровье школьников плохое, о проблеме не раз вещалось с высоких трибун. Но мало кто “зрит в корень”, понимает, что у нас глобальная видовая катастрофа! Для чего нужны людям зрелые мужские и женские качества? Для удовольствия? Нет, для того, чтобы иметь полноценное потомство. А мы живём с завязанными глазами – куда кривая вывезет!

В нас долго и упорно “вдалбливали” ложный алгоритм: здоровье есть следствие ситуативной текущей жизни – питания, денег, экономики. А наши исследования убеждают: здоровье – это итог постоянной чувственной моторной и творческой активности. Итог развития человека в свете и силе творческого вдохновения, творческого воображения. Это оформление человека в силе духа, мужестве, воли, уверенности (веры), чувстве собственного достоинства. Это искренность и нравственность.

Это любовь. И наоборот: безволие, малодушие, страх, неуверенность, подавленность, усталость, уныние, отчаяние, эгоизм, злоба, обида, зависть, лень противоречат закону свободы чувств и духа, законам сущего и оборачиваются угасанием энергии духа, нервной и физической немощью. И только после всего этого здоровье – категория материальная.

Воспитание мужества в мальчиках – эта задача для нас сейчас не менее важна, чем поддержание армии в боеспособном состоянии. И даже более важна. Иначе через два десятка лет в армии будет некому служить. Спасём мальчиков, сбережём мужчин – будет у нас народ. Оградим наших девочек от растлевающего влияния СМИ, дадим им идеалы добра, красоты, целомудрия – будет у нас крепкая семья. Всех родителей, бабушек и дедушек (а среди них есть и известные политики) я призываю задуматься над будущим наших детей и внуков, а в итоге – над будущим всего народа. И тогда родовое древо России, родины нашей любимой, будет ещё долго и счастливо шуметь над миром...

ЕЛЕНА ТУЛУШЕВА

ЧТО ГОВОРИТ И О ЧЁМ УМАЛЧИВАЕТ Е. РОЙЗМАН?

Наркоборец в роли писателя

“Город без наркотиков” – озаглавил свой труд гроза наркоторговцев и по совместительству мэр Екатеринбурга. Избранию на высокий пост он во многом обязан деятельности Фонда с тем же названием. Организация прославилась на всю страну бескомпромиссностью в борьбе с распространителями “зелья”, а также крутыми методами лечения наркозависимых. Пресса полна рассказов о том, как их приковывают наручниками к кроватям, и прочими шокирующими подробностями. Кого-то такой экстрим восхищает, кто-то возмущается. В любом случае, поисковые страницы мировой паутины полны ссылками на материалы о Ройзмане и его Фонде.

Радует

Понятно стремление автора привлечь громким названием внимание к книге, одновременно в очередной раз разрекламировав свой Фонд. Действительно, организация, созданная Ройзманом, – проект уникальный, заслуживающий признательности не только тех, кого удалось “вытащить”, но и всех тех, на чью жизнь он хоть как-то повлиял. А это, как ни крути, далеко не только горстка успешно прошедших реабилитацию (горстка – не преуменьшение, а реальность статистики выздоровления). Это их близкие, это те, кого борьба Фонда помогла оградить от первой пробы наркотика, потому что десятки барыг, которых успели посадить силами Фонда, в свою очередь, не успели посадить на наркотик сотню или тысячу ребят. Работники Фонда и в первую очередь сам Ройзман заслуживают признательности и от страны, в которой,

ТУЛУШЕВА Елена Сергеевна родилась в 1986 году в Москве. Окончила Институт психотерапии и клинической психологии и Институт психоанализа. Работала во Франции и США. Сейчас старший медицинский психолог в Центре по работе с подростками, страдающими наркозависимостью. Как прозаик дебютировала в 2014 году в журнале “Наш современник”. На Совете по критике СП России публикацию назвали лучшим дебютом года. За шесть месяцев рассказы Тулушевой напечатаны в десяти изданиях, в том числе в газете “День литературы”, на сайте “Росписатель”, в журналах “Волга-XXI” и “Берега” (Россия), “Нёман” и “Новая Немига литературная” (Беларусь), “Простор” (Казахстан), в сборнике “Новые писатели”. Живёт в Москве.

благодаря их работе, о наркомании стали говорить громче, спорить активнее. Как говорится, в споре рождается истина. Безусловно, вызов обществу брошен. Сделана хотя бы малая попытка расшевелить рафинированные мозги многомиллионного населения. Но это про работу Фонда. Мне бы хотелось сказать о книге Евгения Ройзмана.

Аннотация сулит нам “детектив, триллер и психологическую драму одновременно”. Однако после прочтения понимаешь, что ни в один из этих жанров книга не вписывается, а уж тем более не сочетает их все. Может, кто скажет, что жанр не важен, важна проблема, постановка вопроса, вызов обществу. Но достучаться до читателя с помощью одной лишь идеи невозможно. О самой проблеме наркомании знают все, так или иначе. Знали и до выхода книги, и до создания Фонда. Но, к сожалению, человек устроен так, что пока эта проблема его не коснется непосредственно, он пальцем не пошевелит. А вот если коснется... да, пожалуй, будет уже не до книг.

Разочаровывает

И вот здесь-то возникает первый вопрос: для кого написана книга? Она представляет из себя по сути огромный детализированный отчет о борьбе с наркоторговцами (все же не с наркоманией, увы) в отдельно взятом городе. Кто читатель? Имею смелость предположить, что автор не просто хотел потешить самолюбие, поставив галочку в личном опыте напротив графы “писатель”. Даже если целью была реклама или модный нынче “PR-ход” (ничего зазорного в этом не вижу), задача номер один – либо привлечь внимание новой аудитории к этой теме, либо удовлетворить любопытство людей знающих, ждущих повода в очередной раз ее обсудить.

Начнем со второй группы. Это все те, чья работа тем или иным образом связана с проблемой наркомании (сотрудники здравоохранения, социальных служб, педагоги в школах, полиция, бесконечные КДН, общественные организации по работе с детьми и подростками, чиновники всех мастей и положений), и, безусловно, сами употребляющие, их родственники, друзья, коллеги. Жаль, но эта категория читателей не найдет в книге чего-то нового. То, о чем пишет Ройзман, им и так известно.

Каждый день они слышат десяток историй, подобных тем, что бегло рассказаны в книге. Пунктирные обозначения судеб достаточно однообразны. Как говорят сами зависимые, более или менее осознающие реальность, вариантов финала всего три: психиатричка, тюрьма и кладбище. Так заканчивают все, кроме той мизерной части, которая все же успевает бросить (а это, по разным данным, от 4 до 9%).

Полагаю, автору следовало бы копнуть глубже, поискав истоки трагедии в детстве несчастных, в боли и горе их самих и их близких. За каждой историей наркомана – ворох предпосылок. Но этой глубины в книге Ройзмана не найти. Между тем те, кто работает с ними непосредственно, знают: предыстория важна не менее самой истории болезни.

Кстати, мне не понаслышке известно, как тяжело с ними работать! Несовершеннолетние наркоманы ведут себя совсем не по-детски. Озлобленные на весь мир за то, что их лишили привычного способа получения удовольствия, они выплескивают свой гнев на людей, которые пытаются хоть что-то изменить в их жизни. И это логично: большинство из них пока что ничего менять не хочет. А кроме того, многие, как брошенные собаки: родители оставили “лечиться”, и больше не появятся до самой выписки (зачем? – ребенок под присмотром, да и пусть помучается, одумается, “будет ценить”). И персонал получает всю ту злость, которая предназначена совсем другим людям. В этих душах она уже сидит, и ее надо куда-то деть. Угрозы, оскорбления, нецензурная брань, плевки, жесты – с этим приходится сталкиваться каждый день. Согласитесь, не очень приятное “поощрение” за заботу! Но как бы тяжело ни было, врачи знают и видят: за каждым наркоманом стоит ой какая непростая семья. И сколько бы кто меня ни уверял, ну не бывает наркоманов в адекватных семьях! НЕ БЫВАЕТ. Не растут они сами, их ВЫРАЩИВАЮТ. Постепенно и, на первый взгляд, незаметно: в семье, в школе, во дворе. День за днем детальки складываются в одну большую мозаику.

Не дает ответа

Какой бы благополучной ни казалась семья внешне, в общении с родителями и пациентами все равно всплывают одни и те же узлы. Да, их безусловно много, это не одна травма детства, будь то развод родителей или смерть кого-то из близких. Обычно это цепочка событий и определенных отношений с внешним миром. Потому в отличие от Евгения Ройзмана я все же считаю наркоманов людьми больными. Нет, я не оправдываю поступки употребляющего. Но еще до того, как он попробовал наркотики, этот человек уже изрядно получил пинков от жизни.

“Наркомания – не болезнь. Если кого и лечить, то родителей!” – утверждает Ройзман. Со второй частью высказывания полностью соглашусь. Но, в таком случае, заметьте, вряд ли могут быть здоровыми дети у родителей, которых надо лечить. Бытовое мнение, что начинают употреблять от безделья, слишком поверхностно. От скуки – пожалуй, да. Но это не просто скука, это тоска, сидящая где-то глубоко внутри, с далекого детства. Так и вопрос к нам – всем тем, кто в ответе за растущее поколение: как вышло, что им скучно жить? Почему мы допустили это? И вопрос к тем старшим, которые так часто попрекают: “Вот в наше время...”. Почему вы не создали для своих детей **такое же** время? Только ли они виноваты, что жить им неинтересно? Общество? Но ведь его создали те самые взрослые, которым теперь проще обвинить кого угодно, но не себя. А ведь страшно это: мальчишке в 12 неинтересно жить! Он ищет, как себя развлечь, но обычные радости уже не доставляют удовольствия. Что происходило с ним с детства, что ему **уже скучно**?

Перед моими глазами проходят жизни пациентов: первое поступление (первые пробы алкоголя, наркотиков, уходы из дома), госпитализация через год, два, четыре. И вот ему семнадцать, и он с ухмылкой говорит, что через год его уже никуда не запихнут, и мы понимаем, что дальше мы можем лишь звонить в социальные службы и узнавать: жив ли еще...

...Влад поступил к нам первый раз в одиннадцать. Странная мама: вроде бы сама привезла, настаивала на том, чтобы прошел реабилитацию, но рассказывала обо всем с ухмылкой. Влад нюхал клей и газ для заправки зажигалок. Дома об этом знали. Как боролись? “Хорошей трепкой” – улыбается мама. Помогло? – ответ очевиден.

Как так вышло? “Это они всей своей идиотской компанией удумали нюхать...” Родители, а почему именно ваш ребенок “удумал” нюхать, а сотни других – нет? Почему ваш оказался в “идиотской компании”? Почему после первого раза случился второй, третий?

Кожа у Влада землисто-зеленого цвета. Глаза карие, темные волосы – похож на вороненка. Сидит, слушает мать и улыбается, по-детски так. Для него все это еще игра: он с восторгом рассказывает, какие видел галлюцинации, и как его “спалил” отчим, потому что он заорал в туалете, когда увидел гигантского паука с кровавыми глазами. Мама, слушая Влада, хихикает, воспринимая все это то ли как шутку, то ли как игру.

Вопрос, как часто собирается участвовать в реабилитационном процессе (лекции для родителей, группы, консультации, беседы и пр.), ставит мать в тупик: у нее внучка шести лет. Дочь работает, внучка в сад ходить не хочет. А ее к школе готовить надо. Так они всегда вместе с Владом у нее “под присмотром”. А теперь, раз Влад в реабилитационном центре, то она сосредоточится на внучке, о нем-то здесь позаботятся.

Вариант тупиковый. Бьемся, объясняем, просим, требуем, иногда даже угрожаем жалобами. А толку! Мать приезжала только по выходным с полными сумками еды и вопросами: “Одумался? Больше не будешь?”. Влад честно выполнял все задания, ходил на мероприятия, слушал, участвовал, занимался... Только жалко его усилий, все зря. Потом его забрали домой, и о нем не слышали четыре года. Даже мелькнула надежда – может, попал в те самые 9%? Может, до матери достучались?

Второй раз Влад поступил в пятнадцать лет. Та же зеленая кожа, только вся в угрях. Двух передних зубов нет. Нос косой: сломали, а ровно так и не сросся, оттого все время дышит ртом. Волосы темные, сухие, торчат клочками, уже с сединой. Глаза смотрят вяло и безразлично. По тестам диагностики Влад не справляется с заданиями для 13 лет. Про современный мир он знает мало, в основном про виды наркотиков, цены и точки, где можно достать.

Тогда в одиннадцать после выписки Влад продержался полгода. А потом отчим начал бить за оценки в школе, видимо, решил окончательно “исправить”...

В пятнадцать Влад нюхает наркотики ежедневно. Нос плохо дышит, оттого он часто берет дозу больше, чтобы уж точно “пошло”. Отчим продолжает бить, но Владу абсолютно все равно. Он одурманен и боли не чувствует. Да, на него “нет управы”, мать уже не смеется, а вздыхает. А где они были все эти четыре года? Думали, как-то сами справятся... “Приходить на занятия будете?” — А, снова внучка! Внучка у нее молодец, талантливая скрипачка, ее надо возить на другой конец Москвы, а некому. Раз уж ее не упустили, надо ребенка развивать. А этот...

Через год Влад употребляет внутривенно. При госпитализации и ему, и нам понятно: ничего не поможет. Персонал молча слушает, уже не пытается что-то объяснить, убедить, донести до матери. А она причитает, плачет. Но не о нем, а о пропавших из дома деньгах, украденных украшениях, о слезных разговорах со следователем и попытках откупить сына.

Вот тут начинаются истории, как у Ройзмана: и дома все крушит, и племяннице угрожает, и отчима “отметелил”. Жестокий, управы нет, ничего не боится, дружков водит, угрожает, насмехается. Вот он — наркоман в полном соку. Жить с ним действительно теперь страшно. И всем жалко мать и всю семью...

Только кто-то же сделал его таким? Это не болезнь? Другое слово найдите. Но только говорить, что ребенок, ежедневно медленно убивающий себя (отлично понимающий, что идет к смерти) — здоров, по меньшей мере не логично. Здоровый человек здоров и телесно, и духовно. У наркомана калечат душу, а тело само ищет, как бы подстроиться, и находит способ искалечиться.

Возмущает

К теме семьи вернусь чуть позже. А пока об утверждении Ройзмана, что **“главный нарколог страны тоже так считает”** (про то, что наркомания — не болезнь). Фраза брошена красиво, да вот только, несмотря на бесконечные перечисления в книге фамилий и должностей, конкретных дат и событий, она почему-то не подкреплена цитатами. В связи с чем вызывает очень большое недоверие. Имея достаточно полноценные знания о том, какого взгляда на наркоманию придерживаются в Минздраве, полагаю, что фраза лишь для пафоса, потому как приписать ее некому, как бы ни хотелось автору найти соратников в медицинских кругах. Е. Брюн (главный нарколог страны на момент публикации книги) явно придерживается другого мнения, О. Зыков (предшественник Е. Брюна) — тем более.

Не веришь и “волшебным” историям о том, что были зафиксированы случаи, когда у ВИЧ-инфицированного наркомана после отказа от употребления тесты вдруг показывали отрицательную реакцию на ВИЧ... Это уж совсем “байки из склепа”, извините. Непонятно только — зачем? Возможно, чтобы заманить наркомана надеждой, что все получится, если бросишь? Да только на лжи не построить реабилитации! Не говоря уже о том, что не будет наркоман читать подобную литературу.

Огорчает

Кстати, к вопросу о реабилитации. Вот уж что могло бы заинтересовать понимающего читателя. Ведь о том, какой она должна быть, постоянно идут дебаты. Автор приводит примеры того, как пытаются “вылечить” наркоманов в пятизвездочных клиниках со шведским столом, сауной и пр. Называть конкретные фамилии и клиники не буду, так как рекламировать платные центры считаю вредным: так уж устроена психика человека — раз дорого, значит поможет, а если бесплатно...

С критикой подобных методов люкс класса соглашусь безусловно. Ничего полезного в роскоши для наркомана быть не может в принципе. Но вот что непонятно — в книге не найти рассказа о реальных методах реабилитации в Фонде “Город без наркотиков”. Есть пара фраз про удержание в подвале наручниками на первое время, а дальше лишь отчеты о том, что и как построили, как учатся дети в школе, как ухаживают за животными.

Критикуешь — предлагай. Но предложений не видно, по сути, ни одного. Потому и ощущение складывается, что борьба Фонда нацелена лишь на нар-

которговцев, а не на сам феномен болезни. А это, к сожалению, борьба узконаправленная и недостаточно эффективная. Ну уберете вы таджиков, цыган, барыг. А что сделаете с аптечными препаратами, а с клеем, газом, лаком? Возможно, кто-то считает, что это всего лишь баловство, но видели бы вы пациентов, которые в течение года нюхали клей. Говоря языком ненаучным — “мозга не осталось”. Они такие же, как Влад, — эти зеленоватого цвета мальчики с отсутствующим выражением лица. И результат этого саморазрушения порой покруче, чем от известных наркотиков. Такие мальчишки никуда не денутся, даже если убрать барыг.

Суть проблемы глубже. На мой взгляд, главный вопрос в том, **почему хотяют употреблять?** Но на него Евгений Ройзман ответа не ищет. Занят борьбой.

... Паша поступил к нам в четырнадцать. Его доставили из детской больницы с огромной резаной раной на ноге. Ребятам он хвастался, что заработал в драке. Его привезли работники социальной службы, которые пришли в квартиру в очередной раз “поговорить” с матерью-алкоголичкой. Пашу нашли не сразу, сначала милиция общалась с пьяной компанией матери, пытаюсь узнать у нее, где же все-таки ребенок. В соседней комнате Паша прятался в шкафу от собственных клеевых галлюцинаций. Когда его забирали, мать в пьяном бреду кинулась на сына с ножом, порезала ногу.

Клей Паша нюхал с восьми лет. Он не помнит времени, когда мама не пила. Отец у Паши есть, но у него своя семья, вполне успешная. В наш центр отец приезжал несколько раз с вкусной едой, книгами, витаминами, одеждой. Но когда сын робко спросил, можно ли не в детский дом, а к папе, потому как мать наконец-то (через много лет беспробудного пьянства) лишают родительских прав, отец приезжать перестал, видимо не зная, как в лицо отказать парню. И винить его не будешь — там нормальная жена, подрастает дочь, как притащить в дом сына-наркомана, да еще и воришку? У всех своя правда...

Только вот и согласиться с господином Ройзманом, что “наркоману просто удобно употреблять”, не получается. Кто в ответе за сломанную судьбу Паши? Где ему найти опору, повод, чтобы жить по-другому? Паша оказался не нужен тем людям, которые дали ему жизнь. Вы действительно думаете, что ему поможет “лечение” в виде наручников, которое практикует “Город без наркотиков”?

Не удивляет

Что еще может предложить читателю книга? Тема продажности государственных служащих — не новость. Зачем заглядывать далеко в регионы? В центре Москвы, именно в самом центре, существует огромное количество известных точек, причем известны они не только наркоманам, но и людям власть имеющим. В отличие от Ройзмана, называть адреса не буду, поскольку считаю это в любом случае рекламой. Ну бизнес это, точно такой же бизнес, как и война. Колоссальные обороты средств!

Кто бы спорил: коррумпированные чиновники вне зависимости от ранга должны быть изобличены. “Оборотней в погонах”, использующих свое положение для “крышевания” наркоторговли, необходимо назвать по именам. Город должен знать и таких своих “героев”. Спасибо Ройзману и Фонду за нужную и опасную работу. Но я полагаю, что ситуация с “оборотнями” напоминает ситуацию с барыгами: посади одних, им на смену придут другие, только более хитрые, более осторожные, знающие о разоблачителях вроде Ройзмана.

Проблема лежит глубже, чем просто в сфере оборота наркотиков. Это ведь проблема нашей российской Системы. Системы, где “деньги не пахнут”, где прибыль диктует условия игры, в которой можно использовать любые болезни и беды современного общества. Вот бы услышать от Евгения Ройзмана критику самой Системы и поиски способов ее изменить. Но увы — пиар, пиар...

Подведу итог. Читатель, профессионально знакомый с темой наркомании, вряд ли найдет в книге новую информацию. Остается предположить, что автор рассчитывал привлечь тех, кто лишь отдаленно, к счастью своему, знает о наркомании. Удалось ли?

Не оправдывает ожиданий

Евгений Ройзман — фигура яркая. Он известен не только как борец с наркоторговлей, но и как политик. Ещё бы, мэр города-миллионника! Вокруг его имени много сплетен, разговоров, догадок. Наверное, одни только обвинения в его адрес от недовольных родственников наркоманов, которые считают методы Фонда негуманными, могли бы составить целую повесть. От такого человека широкий читатель вправе ждать яркого, может быть, яростного повествования.

Первые страницы книги, действительно, заинтересовывают нестандартностью описаний, да и содержание, безусловно, оригинальное. Бесстрашные перечисления конкретных фамилий наркоторговцев, адресов сбыта, изобличения сотрудников полиции и представителей власти — размах серьезный. Но уже на десятой странице острота восприятия притупляется, а после двадцатой появляется скука. Хочется пролистать непонятные стороннему человеку перечисления улиц, районов, людей и скорее добраться до сути... Но и через пятьдесят и сто страниц — все то же однообразие: фамилии, “погоняла”, улицы, дома, отделения полиции...

Скучно, а жаль, начало предвещало намного больше.

Расстраивает

Итак, “Город без наркотиков”. Название, пожалуй, отражает суть: книга, действительно, о городе. Екатеринбург выступает главным героем. Но, увы, автор представляет нам его, как давнего знакомого, не считая нужным хотя бы слегка пройтись по основным характеристикам.

А если человек никогда не бывал в столице Урала? Среди читателей книги таких наверняка большинство. Что он узнает о городе, кроме того, что это рассадник наркоторговли, приют доходяг, барыг и их покровителей? Но если всё и впрямь так запущено, если это действительно **бездна**, то не логичнее ли просто бежать отсюда, куда глаза глядят, а то и вовсе не глядеть, зажмуриться от ужаса...

Правда, Ройзман бросает фразу: “Я люблю этот город”. Верю! Так же, как и тому, что екатеринбуржцы симпатизируют Евгению Вадимовичу. Иначе мэром не выбрали бы. Но это горожане знают о взаимной любви. Широкий читатель о ней не догадывается. И Ройзман ни слова не говорит ему о красоте города и его жителей. А ведь наверняка большинство из них пагубных привычек не имеют и вообще люди в высшей степени достойные.

Ройзман—борец и политик сумел завоевать их уважение и доверие. Но Ройзман—писатель, увы, не смог найти слов, чтобы достойно представить свой родной дом читателям по всей России.

Настораживает

Борьба... Все замечательно, не сразу даже понимаешь, что именно настораживает в книге. Какой-то бравадой отдает и удивительной везучестью. Нет, безусловно, автор упоминает про трудности борьбы, про препоны, конфликты с властью, угрозы, обыски и прочее. Но все это ничтожно мало по сравнению с тем, как реально могла бы отреагировать на обличения огромная — и предельно жестокая — “семья” наркоторговцев. В той среде могут переломать ноги, свернуть челюсть лишь за то, что сдал полиции барыгу.

Как-то с трудом верится, что наркомафия позволила горстке смельчаков уничтожать их бизнес, отправлять за решетку членов “семей”, защищать город от паутины торговли... Логично предположить, что против такой силы, как наркобароны, должна выступать ничуть не меньшая сила, причем подкрепленная хорошей “крышей” на более высоких уровнях власти. Иначе бы Фонд просто раздавили, как букашку, не дожидаясь, пока он реально что-то сможет сделать. А учитывая оппозиционную политическую настроенность главы Фонда, видимо и “крыша” где-то явно в оппозиционных кругах.

Хорошо это или плохо — не мне судить. Но настораживает и отталкивает само замалчивание этого вопроса — кто прикрывает тылы? Евгений Вадимович, если вы активно называете имена тех, с кем боретесь, то почему бы не назвать тех, кто вам помогает? Или что-то с ними не так, что они остаются за кулисами?

АЛЕКСАНДР СМОЛКО

ПОБЕДА — ОДНА НА ВСЕХ

Не будет преувеличением сказать, что Вторая мировая война была событием планетарного масштаба. Граждане 61 государства из существующих в то время 73 принимали участие во Второй мировой войне. Война коснулась 80% населения нашей планеты, было мобилизовано более 128 млн человек, из них 34 млн граждан СССР, 16 млн американцев. Погибло более 70 млн человек. Если сказать, что о Второй мировой войне написано много, то это ничего не сказать. Возьмем только официальную историографию.

В Англии издали 40-томную историю Второй мировой. В ней 90% текста посвящено британцам. По мнению англичан, главное сражение Второй мировой произошло в Северной Африке под Эль-Аламейном. Японская история Второй мировой — это 110 томов, из них только 3 тома посвящены действиям не японских армий. Согласно этой истории главное событие войны — это битва за Алеутские острова и оборона Окинавы.

Советская история Второй мировой — всего 12 томов, треть из них рассказывает о действиях иностранных армий. Российской истории Второй мировой войны, насколько мне известно, пока нет. И это хорошо. Можно представить, что напишут о войне наши историки-ревизионисты. Но ведь напишут, уже пишут.

И чем дальше от нас уходит Вторая мировая война, тем больше фальсификаций и спекуляций появляется на тему войны. Это и понятно. Чем меньше живых свидетелей, тем больше свободы для различных недобросовестных интерпретаторов, тем больше желающих подвергнуть ревизии результаты войны и договоренности лидеров антигитлеровской коалиции, наши победы обернуть поражениями, порассуждать на тему баварского пива, которое бы мы пили, если бы войну выиграла немцы, или навязать дискуссии типа, что было бы, если бы. Что было бы, если бы сдали Ленинград?

Когда началась война, моей ныне покойной теще Ильянской Анне Антоновне было 20 лет. По молодости не хватило ума записать ее рассказы о войне. По памяти привожу то, что запомнил. Семья жила в большом селе в Могилевской области. Отец послал ее на соседний хутор по каким-то делам. В это время на село налетели немцы. Местных жителей запирали в домах, а дома поджигали. Люди сгорали заживо. Тех, кому удавалось выскочить из дома, убивали. Младенцев накалывали на вилы и бросали в колодец. Фруктовые деревья ломали танками. Когда она вернулась домой, то увидела отрубленную голову своего отца, он пытался убежать через лаз в погребе. А мать и брат с сестрой сгорели вместе с домом. Потом был партизанский отряд, было всякое, ели древесную кору, пили болотную воду, спали на снегу. Но самое страшное было видеть то, что творили немцы в Белоруссии. Они шли по белорусской земле, как саранча, уничтожая все подчистую.

Сегодня уже все забыто, живых свидетелей нет, а мертвые ничего не скажут. Но ведь это было. Мы помним Хатынь, да вся Белоруссия была Хатынь. Нельзя жить со злом в душе. Наш народ, как никакой другой, умеет прощать. Кто старое помянет, тому глаз вон. Не уверен, что какой-нибудь другой народ имеет такую поговорку. У немцев, англичан, французов такой поговорки нет. Специально выяснял у носителей языка. Наш народ не злопамятный, но хорошая память не помешает. Забыть зло, значит снять барьер перед новым злом. И тогда появляются новые зверства, Одесса 2014 года тому пример.

А ответ на вопрос, что было бы с Ленинградом, простой. Да не было бы Ленинграда, и не было бы ленинградцев. И наш народ, именно народ, высоко оценил подвиг ленинградцев. Ленинградцы пользовались особым почетом у советских людей. Известный ленинградский борец Александр Чернигин, блокадник, между прочим, рассказывал, что когда на Первой спартакиаде народов СССР сборная Ленинграда появилась на стадионе в Лужниках, весь стадион встал и стоя приветствовал ленинградских спортсменов. Другие сборные команды, а в Спартакиаде принимали участие сборные союзных республик, Москвы и Ленинграда, такой чести не удостоились.

Понятно, когда историки пишут историю своей страны с учетом национальной специфики. Иногда более деликатно излагая и интерпретируя факты, пытаясь доказать недоказуемое, иногда действуют с прямой американского солдата, который сказал "my country, right or wrong!". Это выражение, ставшее в Америке поговоркой, можно перевести так "моя страна всегда права". Для наших историков-ревизионистов эта поговорка работает с точностью до наоборот "моя страна никогда не права".

Но что бы ни говорили и ни писали историки, основной вклад в победу во Второй мировой войне внесли СССР и США. Цели были разные, мы спасали свою страну, США решали свои геополитические проблемы. Но враг был один, и это наши страны на тот момент объединяло. Советский Союз сыграл во Второй мировой войне выдающуюся роль, многие знают и помнят об этом. О роли США у нас известно гораздо меньше. Речь идет прежде всего о тихоокеанском театре военных действий.

Япония начала 40-х годов в своих претензиях на мировое господство пошла гораздо дальше Германии. Западная граница по меридиану Омска, Китай, Корея, Юго-Восточная Азия, Индия, Сингапур, острова в Тихом океане. Такой должна была стать великая Япония по планам японских милитаристов. Япония имела мощный военно-морской флот, авиацию, численность японской армии доходила до 7 миллионов человек и представляла собой реальную военную силу. Япония оккупировала территории с населением 180 млн человек, в войне с японцами погибло 34 млн китайцев. Свое военное искусство японцы продемонстрировали в атаке на Перл-Харбор, уничтожив за полтора часа 80% американского тихоокеанского флота.

Разгром Квантунской армии в 1945 году был блестящей военной операцией Советской Армии и сильным завершающим аккордом в войне с Японией. Но будем справедливыми, основной вклад в разгром Японии внесли американцы. Это не может подвергаться сомнению, как не должна подвергаться сомнению наша роль в победе над Германией. Итоговые цифры подтверждают это. Советские войска уничтожили более 600 дивизий Германии и их союзников, США и Англия – 176 дивизий. Соотношение 77% и 23% говорит само за себя.

Западная пропаганда по идеологическим причинам в угоду своим политическим хозяевам всячески превозносила и превозносит роль американцев в победе во Второй мировой войне и принижала и принижает наши заслуги. По тем же самым причинам и то же самое делала наша пропаганда. Не берусь сказать, кто это делал лучше, мы или они. Понятно, что большая война – это и большая политика, и великие политические игроки со своим пониманием геополитических задач, своими предпочтениями и слабостями. Сталин симпатизировал де Голлю, и, как результат, побежденные немцами французы принимали капитуляцию Германии. В то же самое время отношения между Сталиным и Черчиллем, как говорится, не сложились. Причиной были не только личные симпатии и антипатии, сэр Уинстон был еще тот "друг" страны Советов, хотя и де Голль, как его Сталин ни прессовал, отказался поддержать просоветское правительство Польши. Но 500 британских летчиков, которые воевали на нашем Севере практически с самого начала войны, – о них не знает практически никто, тогда как историю эскадрильи "Нормандия-Неман"

у нас знает каждый школьник. Правда, мало кто знает, сколько французов воевало против нас на стороне Германии, а счет шел на десятки тысяч.

Подвиг нашего народа в борьбе с фашизмом настолько велик, что превозносить его роль, принижая роль союзников, нет никакой необходимости. Скорее наоборот. Скрывая правду, стараясь ее приукрасить, мы развязываем руки недобросовестным интерпретаторам и фальсификаторам истории. Да, у нас были ошибки, но они были и у немцев. Победили мы, а не они, следовательно, у нас ошибок было меньше. Изучать эти ошибки дело военных специалистов, а мы должны гордиться подвигом нашего народа на войне и в тылу, отдавая должное другим участникам войны – нашим союзникам. Наш народ дорого заплатил за эти ошибки, но именно преодоление этих ошибок позволило нашей стране стать второй в мире супердержавой. А то, что мы эту страну потеряли, это уже наша ошибка.

Приближающийся 70-летний юбилей Победы союзников по антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – хороший повод напомнить миру о заслугах нашего народа в этой Победе и отдать должное нашим союзникам. 2014 год проходит под знаком подготовки к празднованию юбилея Победы. Ответ на вопрос, будем ли мы сидеть на почетном месте за общим праздничным столом, что мы по справедливости заслужили, не очевиден. Весьма возможно, что российский часть праздничного стола будет сама по себе, а наши бывшие союзники, а это, напомню, десятки стран, накроют свой стол и будут праздновать нашу совместную Победу без нас. Не думаю, что это было бы правильно. А основания так думать имеются.

Празднование 70-летия высадки союзных войск в Нормандии в июне 1944 года в каком-то смысле можно считать репетицией празднования 70-летия Победы во Второй мировой войне. У меня такое впечатление, что со стороны России участие в этой репетиции принял только наш Президент. Страна осталась в стороне, во всяком случае своего теплого отношения к этому событию не проявила. Мне довелось принять участие в торжествах по случаю юбилея высадки союзников в Лондоне. Событие отмечалось на крейсере “Белфаст”, последнем свидетеле и участнике северных конвоев, высадки десанта в Нормандии и других событий Второй мировой. Присутствовали ветераны войны, представители дипломатических кругов, военные, пресса.

Размах, конечно, не тот, что в Нормандии, но это был праздник, и слова благодарности в адрес России, союзника по антигитлеровской коалиции, были сказаны. Представители российского посольства при этом присутствовали, но скорее как частные лица. Не исключаю, что дипломатический протокол ограничивал их действия, соответствующие инструкции не были даны, но именно это и вызывает беспокойство. Возможно, у МИДа просто, как говорится, руки не дошли и соответствующее указание не было дано, а возможно, это политика.

Не берусь судить с точки зрения политических нюансов, но по-человечески это неправильно. Даже если мы считаем, что это не наш праздник, но это праздник наших бывших союзников, а союзники – это прежде всего сотни тысяч ветеранов, принимавших участие в великой войне, и миллионы их потомков, которым дорога память отцов и дедов. Поздравить их с праздником мы были обязаны. Это не они начали холодную войну, не они занимаются фальсификацией истории. Они, те, кто еще жив, верны духу военного братства и всегда отдавали и сейчас отдадут должное подвигу нашего народа.

В этом мне довелось убедиться лично в процессе работы над документальным фильмом “Союзники. Верой и правдой” в качестве автора идеи, соавтора сценария и генерального продюсера, а также показов этого фильма в разных странах и в разных аудиториях. Режиссер Сергей Зайцев снял хороший фильм, и неслучайно фильм получил Гран-При на международном кинофестивале “Золотой витязь”. Федеральный канал “Культура” 25 апреля, как раз в день встречи советской и американских армий на Эльбе, показал этот фильм. Его можно посмотреть в интернете на сайте <http://kaban.tv/archive/rossiya-k/2014-04-25/847766>. Нет необходимости пересказывать содержание фильма, а вот о том, как фильм принимали зрители, хотелось бы поговорить.

Для начала привожу перевод с английского письма молодого человека, англичанина, ему 40 лет, он вице-президент небольшой, достаточно успешной английской компании.

“Дорогой Александр,
Небольшой комментарий по документальному фильму, который я посмотрел вчера вечером.

Я бывший моряк Военно-морского Флота её Величества и, естественно, имел представление о Северных конвоях и, тем не менее, меня поразило то, что на самом деле я не имел представления о действительных потерях России во Второй мировой войне: 27 000 000 погибших. Это просто невообразимое число.

Может, это потому, что я вырос в период холодной войны и нас этому не учили, или просто об этом не говорили, кто знает? Что еще поразило меня, так это “братство” между британскими и русскими войсками, и та теплота, исходившая с обеих сторон. Сейчас это чувствуется так, как будто члены крепкой семьи были разъединены на многие годы.

Даже людям как я, которые считают себя образованными, этот фильм показал, как мало мы на самом деле знаем об очень недавней истории. Я покажу этот фильм моей семье и, если не возражаете, передам его в отдел истории школы, где учатся мои дочери. Не возражаете? Вы должны очень гордиться этим фильмом.

С уважением, Ричард”.

Полагаю, комментарий к этому “небольшому комментарию” не требуется. Теперь, и тоже без комментариев, сочинение моего внука.

“Смысл жизни близких мне людей – моего дедушки.

Мой дед со стороны папы, близкий мне человек.

Сейчас переписывается история России, забываются её многие доблестные события. Но историческая память важна для её народа и особенно для молодёжи.

Подвиги и значимые свершения являются примером для подражания. Анализ ошибок прошлого не позволяет сделать их в будущем.

ВОВ – это наше недавнее прошлое. Колоссальным усилием целого народа была добыта Победа.

Моему дедушке 71 год. Он многое знает и помнит не с чужих слов. Он живой свидетель целой эпохи СССР. Он снял документальный фильм “Союзники” о ВОВ. Он показал этот фильм не только в России, но и во Франции, и Англии. Предстоит показ в США.

Все, кто участвовал в ВОВ на стороне СССР, признают нашу силу духа и мощь. “Мы до сих пор не сказали “спасибо” русским за то, что они сделали в борьбе с фашизмом”.

Союзники не преувеличивают свою скромную роль. В фильме выступают реальные военные, а не политики, старые ветераны, искренние и честные люди.

Мой дед “болеет” за Россию, тяжело переживает её нынешний упадок. Снимая и показывая патриотичные фильмы, он хочет воскресить веру молодёжи в себя, в своё светлое будущее. Мы все сегодня должны сделать такое же усилие, как и наши прадеды, чтобы не потерять Родину!

Смолко Петя, 5 класс, школа № 1298,
г. Москва, 22 апреля 2013 года”

Хотел без комментариев, но не могу удержаться. Пока есть такие дети, в будущее России можно верить. Во время показа этого фильма в школе, где учится мой внук, у детей на глазах появлялись слезы.

Мои многочисленные попытки показать фильм на федеральных каналах успеха не имели. Показ по “Культуре” исключение. Региональные каналы и различные организации были более активны и кое-что нам удалось сделать.

Однажды Щукинская управа Москвы предложила сделать показ фильма “Союзники” для своих ветеранов и отставных военных, в большом количестве проживающих в этом районе. Приезжаю в кинотеатр перед показом, вхожу в фойе. Ветераны сидят своей компанией, все друг друга знают, спокойно беседуют. Представляюсь, я Александр Смолко, продюсер фильма “Союзники”. О чем фильм? О союзниках по антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Реакция была для меня совершенно неожиданной. Какие союзники? Мы отдали 27 млн жизней, мы выиграли войну. За неимением времени отвечать мне не пришлось, всех пригласили в зал. После просмотра это были совершенно другие люди. Правильный фильм, нужный фильм, спасибо за фильм. Правда о войне, которую говорят герои фильма, тронула сердца людей.

Запомнился показ фильма в Берлине. Опасения, надо сказать, были. Побежденная нация, как люди примут фильм? Приняли блестяще, это был один из наилучших показов. У меня открылось второе дыхание, и я сказал себе, сделай все, чтобы этот фильм увидело как можно больше людей. После просмотра, во время небольшого коктейля ко мне подошел один ветеран. Как оказалось, этнический немец, проживал в Латвии, в конце войны был призван в латышскую дивизию Красной Армии, был ранен, следы ранения видны – покалеченная рука, сейчас проживает в Германии. Разговор начал очень агрессивно. Вы никогда не выиграли бы войну, если бы не ленд-лиз, если бы не сотни тысяч самолетов, танков, автомобилей. Что касается самолетов, заметил я, чуть больше 20 тысяч, а советская промышленность за время войны произвела 120 тысяч самолетов. Мой собеседник решил не продолжать тему ленд-лиза и сказал буквально следующее. Для меня самый главный праздник – это день Победы, и эту Победу мы имеем благодаря русским. А вам спасибо за фильм, вы старались сказать правду. Что интересно, он предложил послать фильм Ангеле Меркель. Как такое возможно, спросил я? Никаких проблем, я с ней регулярно переписываюсь, был ответ. Скажу, что этим советом я не воспользовался.

Блестяще прошел показ в Лондоне 8 Мая 2013 года. Место – бункер Черчилля, аудитория – ветераны из России и Великобритании, представитель королевской семьи герцог Глостер, высокопоставленные военные, депутаты, руководители крупных компаний, пресса. Выступающие говорили о заслугах русских, о воинском братстве и союзническом долге, о том, как важно помнить наше славное прошлое.

Должен сказать, что показ фильма во Франции прошел красиво, один показ был во Дворце инвалидов, второй в кинотеатре на Елисейских полях, но у меня такое впечатление, что душу французов этот фильм не задел. Режиссер фильма Сергей Зайцев показывал наш фильм в США, странах Балтии, многих городах России и ближнего зарубежья. Я не был свидетелем этих показов, но с его слов знаю, что везде фильм принимали очень хорошо.

Выступая перед иностранными зрителями, я рассказываю о выдающейся роли Красной Армии в победе над фашизмом, нашим зрителям старюсь показать вклад в Победу наших союзников. Не остается без внимания тема ленд-лиза. Зрителей не очень впечатляет количество поставленных нам союзниками самолетов, танков, автомобилей и других очень важных и нужных вещей. Впечатляет другое. Анастас Иванович Микоян отвечал за снабжение Красной Армии, а что такое на войне харч, объяснять не надо. Так вот Микоян говорил, что ленд-лиз помог нам сократить войну на год-полтора. Не думаю, что он преувеличивал. Год-полтора войны – это миллион-полтора солдатских жизней.

Второй фронт был открыт в июне 1944 года, когда результат войны был практически предрешен. Однако менее чем за год войны союзники на Западном фронте потеряли убитыми около 750 тыс. человек. А ведь это могли быть и наши потери. Стати, информация к размышлению, была ли война на Западном фронте для союзников прогулкой и так ли уж бескорывно они могли воевать? Простой расчет показывает, что союзники помогли нам спасти жизни более 2 млн наших граждан. Это примерно 25% наших невозвратных потерь. Должны мы за это сказать им спасибо? Думаю, что должны.

В успехе фильма “Союзники. Верой и правдой” особого секрета нет. Фильм хороший, сделан профессионально, хорошо выстроен драматургически. Секрет фильма в теме. Тема верности долгу, военного братства, бескорыстного служения своему народу, то, что было продемонстрировано во время войны солдатами Второй мировой – нынешними ветеранами, и то, чего нам так не хватает сейчас, близка людям всей земли. Касаясь этой темы, мы сами становимся лучше, духовно богаче.

Ветераны Второй мировой – это наше национальное достояние, достояние всего мира. С каждым днем их становится меньше. Трое героев нашего фильма уже ушли в мир иной. Наш ветеран Семен Михайлович Ермаков, герой нашего фильма, начинал войну солдатом, был тяжело ранен, его уже записали в покойники, а он выжил, дослужился до генерала и сейчас продолжает работать советником ректора Финансовой академии. А в следующем году ему будет 90 лет. Подвиг ветеранов, победивших фашизм, навсегда должен остаться в памяти народной. Это нужно не ветеранам, это нужно прежде всего нам в наше непростое время в борьбе с новыми угрозами.

Хорошим шагом в направлении сохранения исторической правды, во имя светлой памяти ветеранов всех войн, живых и мертвых, было бы учредить как памятную дату Международный день военного братства. Таким днем мог бы быть день встречи союзных армий на Эльбе 25 апреля. Я обсуждал эту идею с участниками фильма, было подготовлено и частично подписано обращение к главам государств с таким предложением. Но в нашей стране мне не удалось найти ту силу, которая могла бы эту идею поднять на соответствующий уровень, а к иностранцам обращаться мне не хотелось. Но актуальности эта тема не потеряла, и я считаю не лишним привести здесь текст этого обращения. Возможно, появятся у меня союзники и тема получит развитие. Обращение адресовано главам государств – участникам антигитлеровской коалиции.

“Уважаемые господа,

Мы, участники Второй мировой войны, обращаемся к вам, лидерам крупнейших мировых держав. Бог дал нам выжить в страшной войне и прожить долгую жизнь. Наше участие в фильме “Союзники” и это письмо, может быть, последнее, что мы можем сделать в этой жизни. В этом фильме мы еще раз рассказали нашу правду о войне. О войне глазами солдат. Мы рассказали о том, какая страшная штука война. Какую высокую цену пришлось заплатить, чтобы она закончилась. Миллионы людей отдали свои жизни за то, чтобы могли жить мы и наши потомки, и было бы оскорблением их памяти говорить о том, что кто-то воевал хорошо, а кто-то воевал плохо. Мы честно воевали, мы знали, что конец войны означает начало новой жизни, жизни без воздушных налетов, артиллерийских обстрелов, без тысяч новых убитых и раненых.

Война закончилась. Конца войны хотели все – и победители, и побежденные. Мы хорошо помним эти дни, их забыть нельзя. Не будет преувеличением сказать, что эта первая послевоенная весна была праздником для всех, для кого-то, может быть, со слезами на глазах, но праздником. Для нас, рядовых солдат, апогеем этого праздника была встреча союзных войск на Эльбе 25 апреля. Этот день был поистине всенародным праздником. Мы верили тогда, что дух военного братства, веры друг в друга, “дух Эльбы” сохранится навсегда, что никогда мы больше не будем воевать друг против друга. И вот уже 65 лет мир не знает мировых войн. Бог дал нашим лидерам разума уметь договариваться, спасибо им за это, но дух послевоенной весны 1945 года, “дух Эльбы”, утрачен. Утрачено то, за что заплачено десятками миллионов жизней, и нам, живым свидетелям того времени, очень обидно за происшедшее. За 65 послевоенных лет в мире многое изменилось – закончилось противостояние двух систем, упал “железный занавес”, открылись границы, у людей появилась возможность лучше узнать друг друга, и, слава богу, еще живы люди (их все меньше и меньше), которые помнят “дух Эльбы” и которые понимают, как важно сохранить его для потомков.

Уважаемые господа, ваши предшественники вошли в историю как лидеры антигитлеровской коалиции, как лидеры, сумевшие сохранить мир на планете в период холодной войны, вы имеете шанс войти в историю как лидеры, сумевшие возродить дух военного братства, дух дружбы и доверия, “дух Эльбы”. День встречи на Эльбе, 25 апреля, должен быть объявлен праздником в странах, лидерами которых вы являетесь. Помните, что для простых людей, для матерей, чьи дети не вернулись с войны, нет победителей и побежденных, есть десятки миллионов убитых и искалеченных. Но есть те, кому суждено было остаться в живых, и наш долг перед богом и людьми сказать еще раз, что самое дорогое в жизни – это жизнь, а дух Эльбы – это дух жизни”.

Не думаю, что то, о чем речь идет в этом обращении, не актуально в наши дни. Вспомним немецкого ветерана из нашего фильма, который со слезами на глазах говорит: люди, перестаньте воевать, научитесь договариваться. Но, похоже, история учит лишь тому, что ничему не учит.

Этой фразой великого немецкого философа я хотел закончить статью. Показал ее своим русским и иностранным друзьям и знакомым. Статью одобрили все. Но мой московский сосед, гражданин Австрии, который видел наш фильм, высоко его оценил, задал мне вопрос – какую цель преследует эта статья? Мой сосед человек высокой культуры, любит Россию, знает ее историю. И если такой вопрос у него возник, то на него надо дать ответ. Цель очень простая и понятная русскому человеку. Я хочу, чтобы подвиги нашего народа, его славная история не была забыта и оставалась в памяти народов всего мира. Доступными мне средствами, в меру своих сил я стараюсь этому способствовать.

В 2003 году мы сняли документальный фильм “Погибли за Францию” о русском экспедиционном корпусе, который воевал во Франции в Первую мировую войну. На момент появления фильма с начала войны прошло почти 90 лет. Этот фильм заново открыл забытую, и в нашей стране, и во Франции, страницу нашей славной истории. Более 40 тысяч русских солдат сражались на стороне Франции в Первую мировую войну. Многие из них погибли смертью героев на полях Шампани. Фильм имел успех, был показан в разных странах. Не хочу преувеличивать значение этого фильма, но, тем не менее, в 2011 году, почти через 100 лет после начала войны, в центре Парижа был поставлен памятник русскому экспедиционному корпусу. Автор памятника В. А. Суровцев. Миллионы туристов проходят мимо этого памятника и узнают о подвиге русских солдат, и мы можем этим гордиться.

Американский солдат Второй мировой Джозеф Половский всю свою послевоенную жизнь посвятил тому, чтобы день встречи союзных армий на Эльбе сделать международным памятным днем. В моем лице он имеет продолжателя этого благородного дела. Появятся последователи и у меня, в конце концов, День встречи на Эльбе найдет свое место в нашем календаре. А там, глядишь, в столицах государств, участников антигитлеровской коалиции, появится памятник союзникам, и русский солдат будет представлен на этом памятнике. Должен заметить, что памятники союзникам по антигитлеровской коалиции именуются, но без русского солдата, что по меньшей мере несправедливо. Моим личным вкладом в это событие, которое обязательно наступит, будет фильм “Союзники” и эта статья. Памятник русскому экспедиционному корпусу появился почти через 100 лет после начала Первой мировой войны. После начала Второй мировой прошло всего 75 лет. Время еще есть.

КАМИЛЬ ЗИГАНШИН

ЧЕРЕЗ ОГНЕННЫЙ ПОЯС

19. Итак, мы в Перу! Поездка к морским львам

Первый день посвятили знакомству с Лимой. Конквистадоры основали этот город в 1535 году, как опорный пункт для колонизации империи инков (инки – выходцы из индейского племени кечуа, ставшие в XV веке высшей, наследственной кастой – правящим классом. Они считали, что ведут свою родословную от Инти – сына Солнца).

Город быстро превратился в столицу всех испанских владений в Америке. Старых, с многовековой историей построек здесь сохранилось мало: большая часть разрушена мощными землетрясениями 1687 и 1746 годов.

Если честно, город не впечатлил. Единым архитектурным комплексом смотрится лишь центральная часть с Пласа-де-Армас – Площадью Оружия. Что любопытно, площади с таким названием имеются чуть ли не в каждом городе Латинской Америки. Её всегда обрамляют самые красивые здания. В Лиме это внушительных размеров президентский дворец, построенный в готическом стиле. Напротив – старейший кафедральный собор Санто-Доминго (построен в 1564 году). Именно здесь, в небольшой часовне, захоронены останки завоевателя империи инков – Франциско Писарро.

Справа, через дорогу от дворца президента, внушительное трёхэтажное здание... Союза писателей Перу. Каково! Похоже, руководители государства понимают, что без нравственной основы немислимо само существование государства и народа. Позже, гуляя по городу, мы убедились, что книжных магазинов в Лиме не меньше, чем у нас аптек.

Чуть дальше, через дорогу, – бело-жёлтый монастырь Сан-Франциско, построенный в мавританском стиле. Здесь служат Богу и молятся о спасении душ грешников тридцать пять монахов. Главная достопримечательность монастыря – катакомбы. До открытия в городе кладбища в них успели похоронить 75 тысяч умерших от эпидемий. Их костями заполнены глубокие, выложенные кирпичом цилиндрические колодцы-могильники.

В современной части города самое высокое сооружение – министерство юстиции (помпезная громадина с массивными мраморными колоннами). Большинство же строений из соображений сейсмоустойчивости невысокие, малоэтажные.

Знакомясь с историческим центром города, мы с моим давним другом Эмилом дошли до площади Плаза-де-Сан-Мартин с великолепной конной статуей в центре. Место оказалось до того уютным и приятным, что мы позволи-

* Окончание. Начало в №7 за 2014 год.

ли себе посидеть с полчасика в тени ветвистых деревьев, лакомясь заодно фруктовым мороженым.

Застроенная виллами береговая линия обрывается в Тихий океан неприступной скалистой стеной высотой не менее пятидесяти метров. Попасты на узкие галечные пляжи можно только по двум оборудованным лестницами спускам, стоящим друг от друга на расстоянии не менее двух километров.

Ужинали в кафе под открытым небом. Поразило то, как много едят перуанцы. Недаром они вместо “приятного аппетита” (он их, похоже, никогда не покидает) желают друг другу “приятного приёма пищи”. Ещё больше поразило то, что за многими столиками велись шахматные баталии! Присмотрелись – уровень игры вполне приличный. Вот это да! Горожане за ужином играют в шахматы, а писатели проводят творческие встречи в старинном особняке рядом с президентским дворцом!

На следующий день, лишь только солнечный луч поцеловал кресты на храмах, и те в ответ благодарно засияли, мы выехали в Паракас – крохотный городок на полуострове, глубоко вонзившем в Тихий океан свой острый коготок. Из него мы отправимся к заповедным островам Балестас.

Дорога пролегла вдоль побережья Тихого океана по бесплодной, безводной холмистой пустыне, покрытой песком и щербом – сходство с Синайским полуостровом было полное. Сложно представить себе, что крупнейший в мире океан и столь засушливое место могут сосуществовать бок о бок, но это так.

К островам Балестас, где находятся лежбища морских львов, нас доставил быстроходный катер. При выходе из залива “проскакали” по гребням метровых волн мимо крупной военно-морской базы. Примыкавшая к ней овальная бухта забита эсминцами, грозно ощерившимися стволами пушек и кассетами торпед. Посреди узкой горловины торчала рубка подводной лодки.

Выйдя в открытый океан, увидели на высоком покато́м каменистом берегу борозды. Когда отплыли подальше, стало понятно, что это стилизованное изображение кактуса, занимающее площадь не менее двух гектаров. Моторист утверждает, что оно красуется здесь ещё с доинкских времён, и в старину служило для мореплавателей своего рода маяком.

Острова – покаты́е, буро-коричневые горбы, внутренности которых изъедены гротами и нишами, встретили нас невообразимым рёвом, издаваемым развалившимися на камнях сотенными стадами морских львов и львиц. Между их коричневых лоснящихся туш ползали чёрными головастиками недавно народившиеся малыши. Когда подплыли совсем близко, с высоко нависавшего карниза скатилось несколько увесистых камней, не причинивших, к счастью, детёнышам (а мамашам и папашам тем более) вреда. Один из валунов упал в воду, обдав нас зернистыми брызгами.

Пологие берега островов оккупированы обширными полями птичьих колоний. ПERNАТЫХ на них такое множество, что, когда они вдруг поднимаются в воздух, небо чернеет. Ветер доносит не только неумолчный гвалт от надсадных криков, но и нестерпимую вонь. На уступах скалистого мыса замечаем несколько пингвинов. Общипанные, измятые – похоже, не климатит им на экваторе!

На обратном пути завернули в живописную бухточку, защищённую от прибоя цепью скал. Здесь, в уютном кафе, полакомились севиче – национальным блюдом из сырой рыбы и морепродуктов, выдержанных минут десять в соке лайма. По вкусу оно напоминает дальневосточную талу, но поострее. Перекусив, поныряли, поплавали. Это вызвало изумлённые возгласы: из-за холодного перуанского течения местные здесь не купаются.

20. Загадочное плато Наска

Плато Пампа-де-Наска и город Наска отгорожены от мира высокими горными цепями. Дорога через них – это головокружительный серпантин, уставленный, подобно пасти хищного зверя, остроконечными зубьями скал. Сначала она долго взбирается на водораздельный гребень, а потом ещё дольше спускается по склонам глубоких ущелий.

Здесь часты камнепады, и рабочие вынуждены постоянно курсировать по автотрассе, освобождая проезд от упавших глыб. Восхитил образцово-опрятный вид дорожных рабочих: все в новеньких касках, на ярко-оранжевых комбинезонах ни единого пятнышка, на лицах белоснежные маски. Техника безопасности и культура производства на высочайшем уровне!

С водораздела открылось абсолютно ровное, как будто по нему прошёл-ся гигантский коток, плато Пампа-де-Наска. Его длина семьдесят, ширина – три километра. Лётчики лишь только в 30-х годах XX века разглядели на красноватой почве, словно вычерченные гигантской рукой, желтовато-белые треугольники, трапеции, спирали; длинные прямые борозды, сходящиеся и вновь расходящиеся в определённых точках. От некоторых борозд отходят лучи покороче, что делает их похожими на оперение стрелы. Посреди этого невообразимого хаоса выделяются чёткие рисунки гигантских птиц вперемежку с диковинными животными.

Но всю эту исполинскую картинную галерею можно лицезреть только с высоты птичьего полёта. Возникает вопрос: для чего это делали люди, не имеющие летательных аппаратов и даже не знавшие колеса? Почему ставка делалась на “небесных зрителей”?.. Как тут не вспомнить древнее предание индейцев, в котором говорится о существе, прибывшем с далёких звезд: “... И прилетела женщина по имени Орьяна. Ей суждено было стать праматерью земной расы. Она родила семьдесят земных детей, а затем вернулась к звездам”. Добавьте к этому заключение английского антропологического журнала “Мэн”, в котором говорится: “Анализ мышечных тканей сохранившихся мумий инков показал, что по составу крови предстатели верховной касты – инки – резко отличались от индейцев”. Может, не случайно инки считали себя детьми Солнца?

Не так давно, в 1986 году перуанский лётчик Эдуардо Гомес обнаружил в малоисследованной зоне Пампа Сан-Хосе ещё одно место с изображениями зверей, птиц и непонятных символов, аналогичным наскинским.

Немецкий математик, профессор, выдающаяся подвижница Мария Райхе в результате сорокалетних исследований составила полное описание рисунков плато Наска. Для этого она пешком прошла по всем бороздам и нанесла их на карту. Ею было доказано, что они относятся к V–VI векам нашей эры. То есть фигуры существовали задолго до образования империи инков. Споры об их назначении не утихают до сих пор. Кто и зачем отважился на этот титанический труд, украсив многокилометровый каменный холст десятками фигур и линий, многие из которых трудно охватить взглядом даже с высоты птичьего полёта? Как им удалось не нарушить пропорций? Вопросов много, но точного ответа нет.

Водой город Наска обеспечивают родники, бьющие высоко в горах. По рукотворным подземным каналам – акведукам диаметром около одного метра – вода стекает в городские накопительные резервуары, из которых уже поступает в водопроводную сеть. Раз в год в октябре, в самое засушливое время, эти каналы очищают профессиональные чистильщики. В них они проникают через воронки глубиной в четыре-пять метров по спиральным спускам, плотно облицованным валунами. Вся эта система водоснабжения бесперебойно работает уже 2000 лет! Что тут скажешь? Фантастика! Можно только восхищаться грамотным инженерным решением и мастерством древних строителей!

Сегодня в городе прохладно – всего лишь... плюс 33 градуса (в январе – феврале постоянно за 40). На аэродроме мы купили билет на пятиместный самолёт “Сессна” – с него будем разглядывать и фотографировать линии Наска.

Точно в назначенное время беленький одномоторный самолёт понёс нас в голубую высь. В течение получаса мы азартно фотографировали распротёртые на плато стрелы-указатели, циклопические фигуры кондора, длинноносой колибри, зловещего тарантула, обезьяны со скрюченными пальцами и свёрнутым спиралью хвостом, а на склоне холма – силуэт то ли астронавта, то ли вождя в скафандре.

Пилот заходил на каждую фигуру по два раза – чтобы видно было сидящим как справа, так и слева. Пролетая над очередным творением древних, он восторженно кричал:

– Смотрите, смотрите! лягушка! А это обезьяна!

При этом самолёт так стремительно нёсся к земле, что мы с трудом сдерживали подступавшее к горлу содержимое желудков. Казалось – столкновения не избежать, но в последний миг жизнерадостный летун тянул штурвал на себя, и мы взмывали вверх, чтобы через несколько секунд под новые эмоциональные выкрики пикировать к следующему “творению”. Они мелькали с такой калейдоскопической быстротой, что не было никакой возможности прочувствовать, осмыслить увиденное – едва успевали щёлкать затворами фотоаппаратов.

Из самолёта вышли, шатаясь, словно пьяные. Расставаясь, долго трясли руку воздушного инквизитора – выражали переполнявшую нас благодарность за то, что оставил в живых.

21. Куско – столица империи инков

Куско – это древняя столица огромной империи инков, которая именовалась на языке индейцев племени кечуа – Тауантинсуйу (Земля четырёх сторон мира). В неё входили земли современного Перу, Боливии, Эквадора, частично Чили, Аргентины и Колумбии.

Ехали всю ночь. Судя по карте, дорога петляла по весьма живописным местам, включающим перевал Ла-Рая на высоте 4267 метров, но воочию убедиться в этом из-за темноты мы не могли.

К городу подъехали с первыми лучами солнца, осветившими множество ярко-оранжевых квадратиков, густо покрывавших овальную впадину и отчасти склоны гор. Если до этого в Перу мы повсеместно видели крыши из оцинкованного железа и профнастила, а то и просто плоские бетонные площадки с нацеленной в небо арматурой, то здесь они двускатные и абсолютно все покрыты черепицей. Явный признак обилия в этих местах дождей.

Аэропорт в Куско, как и в Лиме, почему-то посреди города, да и железная дорога петляла между автомашин буквально в нескольких метрах от зданий. Несмотря на ранний час, тротуары заполнены бегущими трусцой мужчинами и женщинами самых разных возрастов. Я и не предполагал, что индейцы такие яркие приверженцы здорового образа жизни. Ещё одно наблюдение: мы до сих пор не видели в Перу ни одного курящего. В это трудно поверить, но это так.

Впадина, в которой раскинулся Куско, примыкает к Священной Долине реки Урубамба, являющейся главной осью всей инкской цивилизации. Инки были уверены, что Млечный путь на небе всего лишь отражение этой реки. До колонизации испанцами в столице империи инков жили только представители верховной знати, жрецы и их слуги.

Защищали город отряды воинов, несущих службу в хорошо укрепленных крепостях-городищах, разбросанных по всей долине и на подступах к столице. К каждой крепости вели узкие тропы, часть из которых представляла собой тесные тоннели, пробитые в горных массивах. Под мощными крепостными стенами имелись ступенчатые террасы, на которых выращивали маис, картофель, бобы. Орошали их водой, стекавшей с гор.

Центральная часть Куско расположена на высоте 3 400 метров (окраины взбираются ещё выше). Именно здесь зародилась цивилизация инков – потомков священного Солнца. Как гласят местные предания, давным-давно первый Инка, основатель империи Тауантинсуйу – Манко Капак (сын бога Солнца-Инти), и его жена Мама Окльо (дочь богини Луны – Мама Килья), выйдя из вод озера Титикака, пошли искать место для поселения. Придя в эту котловину, Манко Капак воткнул в землю свой золотой посох, а тот провалился сквозь землю. Они назвали это место Куско – “пуп Земли”. Оно и стало столицей могущественной империи инков.

Современных зданий в городе нет. Большинство построек XVII–XVIII веков. Выполнены они в колониальном стиле. Как ни старались завоеватели придать Куско типично европейский вид, стерев с лица земли следы “языческой” культуры, им это оказалось не под силу – настолько основательны и прочны были сооружения инков. Потомки конкистадоров вынуждены были надстраивать свои храмы и здания прямо на не поддававшихся разрушению древних стенах и фундаментах. При землетрясениях их новоделы рушились, а инкские постройки даже трещин не давали! Стены, сложенные из точно подогнанных друг к другу блоков из природного камня, благодаря системе пазов и многоугольных выступов, были столь прочны, что дома сохраняли целостность даже при самых мощных толчках. И неудивительно: в постройках тех времён нередко использовались блоки, имеющие один либо два трапециевидных выступа. Такой технологический приём встречается, кроме Перу, ещё лишь в одном месте планеты. А именно – в облицовке египетских пирамид на плато Гизы. Как объяснить наличие такого специфического строительного элемента в двух столь удалённых во времени и пространстве цивилизациях?!

Поселились мы в небольшом отельчике в узеньком проулке (настолько узком, что и маленькому грузовику не проехать), мощённом, как и все улицы в старой части Куско, твёрдым вулканическим камнем, прямо у стен громадного монастыря Санта-Доминго. Прежде на его месте красовался храм Кориكانчу, воздвигнутый специально для главного божества инков – Инти (бога Солнца, дарителя жизни). Стены храма (их называли Золотыми стенами) в те времена были облицованы семьюстами пластинами золота, каждая весом два ки-

лограмма. А крыша покрыта позолоченными листами. Благодаря этому храм был виден отовсюду, так как нестерпимо сверкал в лучах солнца.

В главном зале Кориқанчу находился огромный диск из чистого золота – символ Солнца, укрепленный на алтарной стене таким образом, что при восходе диск разгорался ярким огнём. А на противоположной стене висел диск, отражающий лучи заходящего светила. Видя утром и вечером ослепительный свет, трудно было усомниться в могуществе богов.

По свидетельству конкистадоров, на внутренней площади храма – Солнечной поляне – стояли золотые статуи пум, ягуаров, лам, змей в натуральную величину. Тут же “росло поле” золотого маиса. На каждый початок приходилось не менее 300 граммов золота. На ветвях деревьев сидели золотые птицы, на цветах – бабочки. Их крылья, благодаря пластичности сусального золота, были такими тонкими, что просвечивали, и солнечный луч, проходя сквозь такой лист, приобретал зелёный цвет.

Всё это говорит о том, что для инков золото было, прежде всего, священным металлом, олицетворяющим своим тёплым светом лучи Солнца, дающие жизнь всему на Земле. В остальных храмах на самом почётном месте обычно располагался золотой диск с глазами-самоцветами. К сожалению, вся эта рукотворная красота была переплавлена “культурными” испанцами в звонкую монету и слитки.

Большая часть стен Кориқанчу устояла перед вандализмом испанских строителей, и мы имели возможность увидеть, с какой точностью подогнаны друг к другу многотонные каменные блоки. В особо ответственных местах камни скреплялись Т-образными пазами, в которые заливали расплавленное серебро. Застывший профиль, похожий на рельс в разрезе, соединял блоки намертво.

Сейчас по стенам, видевшим множество пышных церемоний в честь верховного Инка, лупят потёртым футбольным мячом черноголовые пацаны. Таковы парадоксы времени!

После обеда поднялись на столообразную, господствующую над окрестностями вершину, на которой сохранились руины крепости Саксайуаман (в переводе с кечуа – Хищная птица серокаменного цвета). Эта цитадель с тремя вместительными башнями, десятками бастионов и мощными, зигзагообразными стенами в три ряда, сложенными из тщательно обработанных блоков циклопического размера, являлась центром хорошо продуманной оборонительной системы столицы империи. Правда, в последние годы учёные склоняются к версии, что это была не только крепость, но и важный религиозный центр.

Во внутренних помещениях Саксайуамана имелись вместительные хранилища для зерна, ёмкости для сбора воды, лестницы для подъёма на дозорные площадки. От главных башен в город вели подземные ходы. Крепостные стены сложены из громадных глыб, весом до 350 тонн (!) при высоте 8,5 метра! (Для сравнения – вес самого тяжёлого блока в египетской пирамиде фараона Хеопса “всего” 15 тонн). При этом камни разной формы так плотно подогнаны друг к другу, что в стыки между ними не просунуть даже лезвие бритвы. Такая плотная притирка избавляла древних строителей от необходимости использовать скрепляющий раствор.

Когда видишь такие циклопические, точно подогнанные сооружения, кроме восхищения испытываешь ещё и неловкость оттого, что мы, имея самую мощную технику, зачастую не в состоянии повторить достижения древних мастеров.

В хрониках сохранились свидетельства, как инки рассказывали первым европейцам, что “большие дома” построили не они, а высокие, светлые и бородастые строители, такие же, как бог Виракоча (Творец Мира). Недаром испанские конкистадоры удивлялись тому факту, что некоторые представители индейской знати имели европейскую внешность. Может, это были потомки древних переселенцев из Европы?

Как бы там ни было, ясно одно: древние американские цивилизации уникальны и самобытны. Они до сих пор таят много тайн и сюрпризов. И в настоящее время на поляне перед крепостью Саксайуамана ежегодно празднуется Инти Райми (праздник Солнца), отмечаемый в день летнего солнцестояния. На него съезжаются сотни тысяч людей со всей Южной Америки. Праздник начинается с призыва Сапа Инка на площадь Кориқанча. Он выходит на неё в красочном костюме, весь увешанный золотыми, серебряными пластинами и драгоценными камнями. Инка спрашивает у Солнца благословение народам,

после чего его несут на золотом троне по украшенным цветами улицам в сопровождении жрецов и сановников, одетых в парадные одежды, к крепости Саксайуаман. Там происходит ритуальное жертвоприношение белой ламы, и жрецы по пятнам крови читают будущее мира. После захода солнца поджигаются снопы соломы и начинаются ритуальные танцы.

22. Как погибла великая империя...

Историки полагают, что одной из основных причин поражения инков было то, что перед началом вероломной экспедиции конкистадоров империя, жившая до того сто сорок лет в мире, была раздроблена и ослаблена борьбой за наследование трона между старшими сыновьями Верховного Инки Уайна Капка, умершего в 1527 году от чёрной оспы, занесённой, кстати, европейцами. В результате гражданской войны в решающем бою в 1530 году победил, правильнее будет сказать, совершил государственный переворот Атауальпа. Этот трёхлетний кровавый конфликт сильно ослабил империю и разделил правящий клан на два враждебных лагеря.

Когда в 1532 году на тихоокеанское побережье высадился отряд хорошо вооружённых испанцев под предводительством Франциско Писарро, уже не раз, начиная с 1525 года, бывавшего здесь с командами меньшей численностью для сбора разведанных, страна ещё не оправилась от междоусобицы и опустошительных эпидемий чёрной оспы и кори. Так что испанцы выбрали для завоевания весьма подходящий момент.

Что немаловажно, с ними в этот раз была и группа заранее подготовленных переводчиков. Понимая, что империю инков в лоб не возьмёшь, Писарро стал действовать по проверенному принципу “разделяй и властвуй”. К тому времени он уже имел своих людей при дворах обоих инкских вождей. Они умелыми наветами поддерживали вражду между братьями. Тактика интриг была весьма продуктивна, поскольку прямодушные индейцы прежде не знали обмана, и если человек говорил: “Я твой друг”, то это не подвергалось сомнению.

“Благородного идальго” на этом пути не смущали ни доверчивая искренность и душевная чистота, ни беспрецедентное гостеприимство “дикарей”. В подтверждение тому приведу отрывок из письма одного из конкистадоров к матери: “...Туземцы не отказывают нам ни в чём. Чего у них ни попроси, они охотно с каждым делятся и относятся к нам так любезно, что, кажется, готовы отдать свои сердца”.

Одновременно Писарро умело склонял на свою сторону вождей подвластных инкам племён. Он внушал им, что испанцы пришли сюда “как их друзья и союзники”, и сулил поддержку в борьбе за самостоятельность. Гарантировал, что в случае успеха именно их назначит независимыми правителями.

Тем инкам, которые были возмущены незаконным захватом трона Атауальпой, испанцы обещали предать самозванца суду. Самому же Атауальпе они клялись в дружбе и говорили, что он самый мудрый и самый достойный, что для упрочнения его власти им необходимо объединиться и устранить старшего брата.

Расположив, таким образом, к себе действующего правителя, Писсаро пригласил его в город Кахамарка для дружеской беседы и обсуждения плана дальнейших действий за совместной трапезой.

Оставив своё 30-тысячное войско на подступах к городу, Атауальпа вошёл в него в сопровождении пятитысячной свиты, не взявшей с собой, ввиду миролюбивости встречи, оружия. Когда вся процессия оказалась на площади, со всех примыкающих к ней улиц на индейцев ринулись всадники, а из окон открыли огонь из мушкетов стрелки.

Инки были настолько ошеломлены подобным коварством, что даже не защищались. Да и что могли противопоставить безоружные люди в одеждах из шерсти и кожи мечам и изрыгающим смерть ружьям испанцев, закованных к тому же в непробиваемые латы. Кровавое побоище длилось более часа. Свиту Верховного Инки изрубили, перестреляли, а самого Атауальпа пленили. Из испанцев, естественно, никто не пострадал. Так европейцы до смешного малыми силами добились первой победы.

Стремясь вернуть себе свободу, Атауальпа, вместо того чтобы отдать приказ оставшимся за крепостными стенами воинам идти в наступление и разорвать на куски две сотни подлых обманщиков и несколько сотен вассалов,

малодушно распорядился в качестве выкупа заполнить золотом комнату, в которой его держали.

Исполняя приказ Верховного Инки, во все уголки империи помчались гонцы-сороходы. Каждый нёс “письмо”, состоящее из длинных, разного цвета шнурков, завязанных в сложные узелки и сплетения. Это были кипы – условные знаки для посвящённых: они указывали, куда и сколько доставить золота. (Сохранились кипы, в которых узелков было около двух тысяч – целые повести!)

Получив невиданный в истории человечества выкуп, “благородный идальго” – Франциско Писарро распорядился задушить пленника с помощью специального железного ошейника – гарроты, а тело, чтобы жрецы не воскресили, расчленил и сжег.

Так, пользуясь неискущённостью инков в хитросплетениях двойной дипломатии, империю лишили Верховного правителя. Затем умело перессорили между собой военачальников и вождей индейских племен. В итоге мощное государство, являвшееся, по запоздалому признанию самих колонизаторов, одной из самых справедливо и разумно устроенных “коммунистических” империй, прекратило своё существование...

С последними годами существования империи инков связано много легенд и загадок. Одна из них гласит, будто император Атауальпа, когда понял, что его обманули, желая хоть как-то досадить испанцам, тайком передал верным людям ещё одно кипу: письмо, состоящее из тринадцати разных узелков. Через месяц из Куско на север ушёл тяжело груженный отряд воинов.

Куда он отправился, точно не известно. Учёные предполагают, что, скорее всего, к огнедышащим вулканам Эквадора, každодневно выбрасывающим из своих раскалённых жерл дымящиеся бомбы и облака удушливых газов. Этот неприютный, покрытый непроходимыми лесами край лучше всего подходил для спасения ритуальных и золотых сокровищ от алчных и ненасытных испанцев. Не случайно среди жителей тех мест до сих пор живы легенды о сказочном Эльдорадо и Городе Цезарей, который, благодаря удивительным способностям жрецов, скрыт “энергетической завесой” и недоступен взору чужаков. Это, конечно, мифы, но иногда как раз они со временем становились реальностью, а то, что не подвергалось сомнению, оказывалось вымыслом.

Предположение, что загадочный Эльдорадо существует, подтвердили и найденные в глухом каньоне Центральных Кордильер в конце XX века пять золотых статуй высотой в человеческий рост. Они были такими тяжёлыми, что для их погрузки пришлось прибегнуть к помощи лебёдки. По всей видимости, индейцы бросили их, спасаясь от погони.

Старинные хроники и записки испанских конкистадоров, дошедшие до наших дней, свидетельствуют и о существовании подземного города, состоящего из лабиринта галерей, потайных храмов. В них якобы укрыты золото и священные реликвии. Но карта с его местонахождением находится у посвящённых, живущих, как простолюдины. И то у каждого только часть от неё.

В одном из донесений испанцев говорится о том, что незадолго до того, как конкистадоры вошли в Куско, из Храма Солнца бесследно исчезли мумифицированные тела тринадцати инкских императоров. Они были в одежде, с нашитыми на неё золотыми пластинами с выгравированными сценами из их жизни. Вокруг лежали украшения из драгоценных камней. Пропал и золотой трон Инков, установленный на массивной плите, отлитой тоже из золота.

Через 26 лет после захвата Куско один из предводителей конкистадоров Поло Ондегардо по подсказке столичного торговца, подкупленного щедрыми подарками, заполучил три из этих тринадцати мумий. Сняв вожделенные золотые пластины, он приказал солдатам изрубить мумии на мелкие куски. Инки, узнав о таком святотатстве, убили предателя.

Остальные десять мумий до сих пор не найдены. Возможно, они, как и золотой трон Империи, так и лежат в тайных катакомбах под городом Куско или крепостью Саксайуаман. Пока все попытки кладоискателей подступиться к ним завершились неудачей либо трагедией.

... В древнем Перу столкнулись не только разного технического уровня и оснащения армии, но и абсолютно разные мировоззрения. У европейцев устроить козни, оттолкнуть локтями ближнего, разбогатеть любой ценой считалось естественным и не зазорным. Для индейцев же обман, страсть к наживе, жадность, тем более накопительство, считалось презреннейшим из всех состояний, до которых может пасть человек. У них, к примеру, было постыдно иметь в доме еду, если её не было у соседа.

Согласно действовавшей в стране морали индейцы с молоком матери впитывали убеждение, что щедрость – это главная добродетель человека. С детства их учили испытывать радость, отдавая нуждающемуся самую любимую вещь.

Один из испанских хронистов записал в конце отчёта о завоеванной стране: “По правде говоря, мало народов в мире имели лучшее правление, чем инки”.

... После казни Атауальпо расчётливые испанцы в 1532 году посадили на трон очередного законного наследника – Тупака Уальпу, а когда он умер (от отравления) в 1535 году, четвёртого брата – Манко Инка Юпаки (тот был убит испанцами за неподчинение в 1544 году). Сажая каждый раз на трон законного наследника, завоеватели как бы говорили индейцам: “Смотрите! Мы ваши друзья. Мы признаём законы вашей империи!” Население успокаивалось и на время прекращало выступления. Это давало колонизаторам возможность обустроиться и, постепенно запуская свои щупальца во власть и экономику, без тотальной войны устанавливать своё господство.

Последнее восстание индейцев было подавлено в 1572 году. Тогда же обезглавили последнего законного правителя империи – императора Тупак Амару, племянника Атауальпа.

23. Боливия. Титикака

До обеда занимались в консульстве Боливии оформлением виз. Выдаются они бесплатно, но потрудиться ради их получения пришлось изрядно. Сначала в поисках ксерокса оббегали весь центр. Найдя, сделала копии паспортов, сертификатов о прививках, авиабилетов. Потом через интернет заказали гостиницу в Ла-Пасе и два часа ждали, когда придёт документальное подтверждение. Затем сфотографировались, и только после этого нас записали в очередь к консулу.

Тот оказался спесивым буквоедом, упивавшимся своей безграничной властью: ничего не объясняя, почиркал анкету и объявил тоном, исключающим вопросы: “Не правильно! Переписать!” Общаться на английском наотрез отказался, хотя было видно, что понимает. Но – мы в Латинской Америке!.. Слава Богу, с третьего захода всё же заполнили и мудреную анкету, и заявление без ошибок. Иначе не видать бы нам Боливии. Можно было, конечно, попробовать с пограничниками договориться, но это опасно. Впустить, может, и пустили б, да только как потом без отметки в паспорте выедешь?

Первая половина пути проходила по берегу Титикаки. (Озеро на две трети принадлежит Перу, на одну треть Боливии). Узкая лента земли между дорогой и водной гладью вся в золотистых лоскутках поспевшего ячменя. Тут, возле воды, ни один клочок “не простаивает” без дела. Крестьяне серпами срезали стебли с тугими колосьями и ставили их в снопы – знакомая картина из давнего деревенского детства. Справа на склонах гор тучные стада коров, отары овец... Богатая, плодородная земля!

Граница встретила нас поникшими от безветрия государственными флагами, зебристыми шлагбаумами и уже привычной многоголосой суетой и беготнёй между пропускными пунктами: оплачивали сборы, ставили штампы “вышел – зашёл”. Завершающим аккордом явился дотошный “шмон” рюкзаков боливийскими пограничниками в мятых мундирах, наконец, автобус трогается, и через полчаса въезжаем в уютный боливийский курортный городок Копакабана, прилепившийся на склоне холма и застроенный небольшими двух-трёхэтажными отелями в колониальном стиле. В центре большой белый кафедральный собор начала XVII века.

Мы и поселились в отеле “Колониал”. Цены просто смешные: 6 долларов на двоих (90 рублей с человека)! Против наших гостиниц это до неприличия дёшево, но ведь не разоряются! Я бы сказал, даже неплохо живут!

По улице с сувенирными лавками спустились в быстро густеющих сумерках к бухте в расчёте на приятную прогулку по набережной и романтический вечер за кружкой пива, но нас ожидало разочарование. Набережная представляла собой захламлённый, покрытый грязными рыбинами берег, погружённый к тому же, ввиду отсутствия фонарей, в непроницаемый мрак. Контраст разительный: наверху шикарные отели, а внизу – такое убожество! Тут не то что гулять, ходить опасно. Странно! Обычно набережные в городах – самая красивая и обустроенная зона с ресторанами, кафе, уютными сквериками.

Так что ужинать пришлось без “вида на море с лунной дорожкой”, зато попался нам суперзрудированный официант. От него мы узнали, что Боливия

до 1824 года входила в состав Перу. После разгрома испанских колониальных войск борцами за независимость под предводительством Боливара и Сукре страна была разделена на две части, образовавшие новые государства: собственно Перу и новое – Боливию. Здесь, как и в восточной части Перу, большинство населения – индейцы (60%), уклад жизни которых не изменило даже 300-летнее испанское владычество. В Андах живут кечуа, а в окрестностях Титикака (озеро находится на территории двух государств) – аймары. Все они до сих пор говорят на языке предков.

Утром спустились к бухте, сплошь забитой лодками, яхтами, и на скоростном катере помчались к острову Солнца. Его контур на карте действительно напоминает солнце: от центрального “ядра” во все стороны расходятся, причудливо извиваясь, узкие щупальца – полуострова.

Высота острова около трёхсот метров. На восточном побережье в небольших бухтах приютились три селения. Проскочив мимо первых двух, высадились в последнем. Зернистый песок, раскалённый высоко стоящим солнцем, лениво пинали мягкие кулачки волн. У домов в пыли рылись куры. На отполированном штанами бревне о чём-то неторопливо беседовали загорелые белоголовые старики. Безмятежная тишина и покой царили вокруг. Проводник повёл нас по каменной тропе на вершину холма – к руинам древней цитадели.

От открывающихся нам красот мы то и дело ахали: до того живописны были скалистые берега, украшенные мазками сочной зелени; прозрачные бухты с изумрудной водой, сквозь которую отчётливо просвечивались разбросанные в беспорядке каменные глыбы и тёмно-зелёные поля водорослей; вздымающийся над зеркальной гладью озера хребет с серебристой насечкой ледников.

В этом месте озеро Титикака особенно похоже на Байкал в летнюю пору – суровый, могучий, величественный! А бухты напомнили побережье Японского моря на севере Приморского края. Правда, местные руины после Мача-Пикчу и Ольянтайтамбо не произвели впечатления. Отдохнув на каменных скамейках, стоящих вокруг стола из гранитного монолита, спустились к пристани и на катере вернулись к первой овальной бухте с высоким, украшенным мощными скальными выходами, берегом. На его кручах, в тени деревьев, лепились в беспорядке глинобитные хижинки.

К самой высокой точке острова карабкались между крошечных земельных наделов вместе с индейцами, несущими мешки с цементом. На вершине стоял внушительный крест, поодаль торчали стены инкских построек из камня. На них строители вели реставрационные работы. Отсняли на видео панораму озера Титикака, обрамлённого горами, особенно высокими и заснеженными на юго-востоке, где, судя по карте, находится главный город Боливии – Ла-Пас.

Ночевали в крытой соломой хижине за 20 боливиан (80 рублей) на двоих. Рядом, прямо на краю отвесного обрыва, душ с чёрным баком на крыше, отдельно туалет, в котором через “очко” можно лицезреть плещущееся в метрах двадцати озеро. Мда! Живо представилось: островитянин справляет нужду, а под ним проплывает лодка с туристами. . .

На ужин черноокая хозяйка приготовила местную форель с зеленью и подала её с бутылкой холодного боливийского вина. Яркие звёзды на аспидном бархате, едва заметная зыбь высокогорного озера, лёгкий ветерок, терпкое вино – что ещё надо для счастья? Ложусь в прекрасном настроении. Мало кому из россиян приходилось спать посреди высокогорного озера Титикака.

Весь следующий день, отключившись от всех забот, продолжали упиваться окружающими нас красотами и царящим вокруг покоем. Слушали шёпот мерно накатывающих на берег волн: казалось, что это шелестит сочащееся в никуда Время. Любовались на парящие в ультрамаринном солнцевороте полупрозрачные перистые облака, на сплетённые из тростника парусники, “усы”, рассекающие водную гладь. Представляли, как на таком же судне плыла к острову Пасхи команда Тура Хейердала вместе с нашим незабвенным Юрием Сенкевичем.

Я то загорал, то купался: пекло так, что холодная вода Титикаки казалась благом. В голове вертелся каламбур “Над островом Солнца – спящее солнце”. В общем, было хорошо, как никогда!

Час расплаты за беспечность настал вечером, когда моё тело покрылось такими крупными водянистыми волдырями, что в последующие двое суток меня не покидало ощущение, будто живот и спину поливают кипящим маслом. (Мудрый Эмиль избежал этой пытки, поскольку наслаждался видами природы, отсиживаясь в тени.) Что на это сказать? Наверное, больше всего

подойдёт поговорка “Дуракам закон не писан!” Знал же, что на высоте 4 000 метров ультрафиолета – бездна! Так нет – надо обязательно проверить.

24. Ла-Пас. Город мира и рынок ведьм

Из Копакабаны отправились в Ла-Пас (Мир – в переводе) – самый крупный по численности населения мегаполис страны (1 млн 600 тыс.). Если посмотреть на карту – до него рукой подать, но из-за паромной переправы дорога отняла полдня.

На высоченный гребень кратера спящего вулкана, на дне которого раскинулся город, поднимались уже в кромешной тьме. Поднявшись, ахнули от изумления: глубоко внизу, под нами, колыхалось море огней. Когда спускались вдоль внутренней стенки кратера, была полная иллюзия, будто погружаемся в жерло вулкана, дно которого залито огнедышащей магмой. В самом городе по всем улицам, несмотря на поздний час, текли, подобно лаве, змеевидные потоки машин, по большей части старых и немилосердно чадающих. Водители, истошно сигналив, неслись напропалую, не обращая внимания на манёвры соседей. Наш таксист, чудом избежав столкновений, лихо протискивался сквозь этот хаос из автомобилей и спящих между них пешеходов.

С размещением возникла проблема. Похоже, что отелей здесь немного. После двухчасовых разъездов с большим трудом нашли комнатку за 80 боливиан – 320 рублей.

В городе довольно прохладно: сказывается высота и близость ледников. Кстати, Ла-Пас – самая высокогорная столица в мире – она расположена на высоте 3650 м над уровнем моря. (Официально столицей Боливии объявлен город Сукре со 100-тысячным населением, но по факту всё же Ла-Пас – здесь резиденции и президента, и правительства).

С утра знакомимся с этим многоликим, разношёрстным конгломератом, плотно устлавшим дно древнего кратера. (Не перестаю удивляться беспечности и недальновидности людей: вулкан ведь из категории спящих – в любой момент может проснуться и разбросать на десятки километров все эти дома с их беззаботными обитателями.)

Боливия относится к бедным странам, но по Ла-Пасу этого не скажешь. В центре, наряду с красивыми старинными зданиями XVIII–XIX веков, много современных высоток из стекла и бетона. Президентский дворец и Дом Правительства находятся на главной площади в двадцати метрах от отдыхающих здесь же горожан. Посреди неё сквер с фонтаном, клумбами и неслучайно конной статуей какому-то военачальнику. По всей видимости, одному из героев борьбы за независимость.

На улицах обращают на себя внимание стайки школьников. Все в чистых, отутюженных формах. На плечах погончики, на рукавах лычки – их количество соответствует классу. Что интересно, молодёжь гуляет с уже забытыми у нас транзисторными приёмниками, в то же время интернет-кафе – на каждом шагу. Интересное сочетание.

Плотность транспортного потока днём ещё более возросла. Самая точная характеристика принципа движения – неуправляемый бедлам с минимальным, леденящим сердце европейца зазором между сумбурно перемещающимися автомобилями. Считается, к примеру, нормальным с крайней правой полосы неожиданно, не включая даже сигнала “поворот”, пересечь в полуметре от идущих машин всю улицу налево и наоборот. Наверное, по этой причине на улицах так много “лежачих полицейских”. Что удивительно, мы ни разу не слышали возмущённых криков и злобных ругательств в адрес лихача. При этом аварий практически нет. Наблюдая за рискованными, непонятно каким образом благополучно завершающимися манёврами, на ум невольно приходит цитата нашего русского великого анархиста князя Кропоткина: “Анархия – мать порядка!”

Вообще водители в Перу, и в особенности в Боливии, – это отдельная тема! Теперь мне понятно, почему в этих странах нет (по крайней мере, мы не встречали) фирм, сдающих автомобиль в аренду. Иностранец на первом же перекрёстке либо устроит ДТП, либо, парализованный творящимся бардаком, встанет и заблокирует движение. Ещё одна местная “шиза” – все постоянно сигналият. Просто так, едут и сигналият, как маленькие дети. Ну, чистая Азия!

Горизонтальных улиц в городе практически нет: по большей части то круто вниз, то круто вверх. Глаз это радует, но ходить по ним из-за недостатка кислорода тяжело.

Стоит удалиться от респектабельного центра на два-три квартала, как оказываешься в окружении прилавков, заваленных всем, что душе угодно: начиная от вязаных носков и кончая варёной кукурузой. Здесь торгуют только женщины. Они облачены в цветистые кофточки и множество широких юбок. Поверх чёрных волос, расчёсанных на прямой пробор и часто заплетённых в косы, тёмные фетровые шляпы-котелки.

В Боливии, как и в граничащих с ней провинциях Перу, проживают в основном индейцы аймары. Мужчины на лицо неотличимы от индейцев кечуа, но боливийских женщин сразу узнаешь – они посуровей на вид, и все непременно в крохотных шляпках-котелках.

Приметив особо колоритную тётю, начинаю “охотиться” – ловить момент для снимка. Это непростая задача, так как боливийки не любят, когда их фотографируют и, как правило, либо отворачивают лицо, либо убегают. Эх, и эта убежала!

Что ещё мы заметили? Если в Перу не менее 80% туристов пенсионного возраста, то здесь, в Боливии, в большинстве молодёжь (в основном альпинисты и велотуристы). Похоже, что мы в Ла-Пасе из иностранцев самые возрастные.

Как мне показалось, люди в Боливии подружелюбней, почестней, чем в Перу. Правда, посещение рынка ведьм меня повергло в ужас. Более мерзкую картину трудно вообразить. До сих пор не могу отделаться от ощущения, что соприкоснулся с самым отвратительным проявлением человеческой природы. Представьте себе десятки магазинчиков, на прилавках которых лежат сотни скрюченных эмбрионов самых разных животных (среди них я узнал только младенцев лам с широко раскрытыми, как будто от удивления, глазами), высушенными лягушками, шкурами змей, хвостами, лапами, копытами... На это скопище безвинных жертв не только глядеть, но даже закрыв глаза, стоять рядом невыносимо. Тягостное впечатление усугубляет тяжёлый, вязкий дурман, исходящий от дымящихся на стойках палочек.

Через минуту нам с моим спутником Эмилем стало так плохо, что мы покинули рынок почти бегом. Я потом много дней с трудом сдерживал подступавшие при одном воспоминании о рынке ведьм приступы тошноты.

Поражает количество стражей порядка в городе: они на каждом шагу. Примерно половина – женщины. Экипировка на загляденье, и спецсредствами оснащены по полной программе, а порядка, тем не менее, маловато. Позже в Чили мы не видели ни одного полицейского, но, что удивительно, порядок был безупречный. Вспоминается тамошний водитель микроавтобуса, который остановился среди бескрайних барханов перед бессмысленным (вокруг на многие километры ни одной машины и ни одного пешехода) знаком “STOP”.

Автомобили в Боливии в основном японские: “Тойоты”, “Хюндаи” и “Мазды”. Изредка встречаются европейские “Фольксвагены”, “Рено”, “Пежо”. Ещё реже – американские громилы. Наших же практически нет. Пару раз встретились лишь “Нива”.

Многие туристы едут в эту страну, чтобы побывать в Тиаунако, районе, где сохранились следы цивилизации, существовавшей задолго до инкской (1500 лет до н. э. – 900 лет н. э.). Её представители в совершенстве умели обрабатывать камни, металлы, знали геометрию, астрономию, возводили огромные здания и пирамиды. Судя по тому, что найденные там скульптуры отражают все виды рас, населяющих нашу планету, можно предположить, что тиаунакцы много путешествовали. Нам рассказали об этой, мало известной у нас, цивилизации слишком поздно – мы уже были на пути в Чили. Не добрались мы из-за удалённости и до уникальной староверческой общины, обосновавшейся в деревне Тоборчи возле равнинного городка Санта-Круз. Благодаря добровольной самоизоляции ради “бегства от антихриста”, её члены, проживая в абсолютно чужеродной среде, сумели сохранить в неизменном виде язык и обычаи прадедовской Руси.

Возможно, это удастся сделать в будущем. Тем более что мне хотелось на собственной шкуре испытать, что такое непроходимая, местами – сплошь залитая водой боливийская и бразильская сельва, покрывающая гигантскую, даже по российским масштабам, пойму Амазонки. Моё воображение с детства будоражили рассказы о живущих там совершенно автономно индейских

племенах, невероятно злобных пираньях, аллигаторах, ядовитых пауках и змеях, мириадах кровососущих насекомых.

25. Пересекая Анды

К чилийской границе выехали задолго до рассвета. В машине все дрожат – холодно. На термометре минус четыре. На склоне, изъеденном воронками в два-три метра глубиной, остановились. В воздухе резкий запах сероводорода. На площади в несколько гектаров земля буквально дрожит от бушующих в глубине “страстей”. Из невидимых пока нам жерл со свистом, с рёвом вырываются горячий пар и струи кипящей воды. Шум стоит такой, что разговаривать невозможно. Ходили между воронок крайне аккуратно, подсвечивая фонариками – поскользнёшься и угодишь в кипящий котёл.

У одного из термальных источников мы остановились. Поёживаясь от холода, померили температуру воды. Для купания в самый раз – плюс 40, но раздеваться в пятиградусный мороз, да ещё после сна, не хотелось. Все уже зашли в воду, а я никак не мог заставить себя снять одежду. Зато, когда решил, не пожалел. Оказывается, это такое блаженство – лежать в горячей воде, выставив над парящей поверхностью только нос и глаза, и снисходительно поглядывать на Диего, дрожащего на покрытом инеем валуне.

Чем глубже забираемся в Анды, тем меньше облаков. Сегодня на небе за весь день вообще ни одного так и не зародилось. Трава давно исчезла. Подъехали к знаменитой лагуне (так местные называют озёра) Верде. Она прославилась тем, что в течение суток несколько раз меняет свой цвет от небесно-голубого до ярко-зелёного. В её застывшей глади, как в зеркале, отражалась громада стратовулкана Ликанкабур (5920 метров) с чётко прорисованным провалом кратера. Озеро, похоже, обмелело, и на обнажившемся дне лежали минерализованные тела каких-то мелких зверьков. На ощупь они были твёрды. При многолетнем соприкосновении органических тел с солями металлов происходит замещение органических тканей на медь и железо. Как-то в одной чилийской шахте нашли труп человека, настолько минерализованный, что он походил на скульптуру, отлитую из меди.

Соседняя лагуна Бланка была затянута прозрачным ледком. Температура замерзания местных озёр разная. Она зависит от состава и концентрации солей в воде. Скоро сюда придёт настоящая зима, и тогда уж все озёра покроет ледяная броня.

Отсюда дорога решительно поворачивала на юг и, огибая махину Ликанкабура, вела к водоразделу, вдоль которого проходит граница Боливии с Чили. Вот и КПП: поперёк грунтовки шлагбаум, вокруг несколько вагончиков. Наши российские паспорта вызвали у пограничников повышенный интерес. Позвав офицера, они долго разглядывали то паспорта, то нас. Выглядело это почти как в известном стихотворении Маяковского. В это время с чилийской стороны к границе подъезжает труженик “Камаз”! Ура! Как приятно видеть в этих безлюдных местах колоритного посланца родины, много раз побеждавшего на знаменитых ралли “Париж–Дакар”.

Мы прощаемся с Диего и замечательными попутчиками. После завершения проверки документов нас сажают в дежурную машину и везут к оазису Сан-Педро, приютившемуся на краю высокогорной пустыни Атакама. Там уже таможенники проверят содержимое наших рюкзаков на предмет контрабанды. Падение высоты получилось очень резким: за семь минут мы спустились с 4600 метров до 2550. Дорога – безупречный асфальт. Сразу становится понятно: Чили богаче Боливии!

26. Чили. Лунная долина и долина гейзеров

Горы расступились. Вид травы и зелёных шатров деревьев, защищающих оазис Сан-Педро от палящего зноя, после нескольких дней среди соли и голых камней приятно ласкал взор.

Сержант остановил машину у вагончика, в котором находилась таможня. Офицер долго и тщательно перебирал содержимое рюкзаков (в Чили запрещено ввозить что-либо растительного происхождения). Убедившись, что продуктов и растений нет, сделал отметки в паспортах и пожелал интересного времяпрепровождения.

Здесь нам предстояли три ночёвки — все запланированные маршруты (Лунная долина, долина гейзеров Эль-Татио, действующий вулкан Ласкар) начинались из этого оазиса. Сан-Педро оказался очень милым селением с узкими улочками, одноэтажными саманными, побеленными домиками. Жизнь его обитателей подчинена интересам “кормильцев” — туристов, приезжающих сюда со всего мира познакомиться с уникальными памятниками природы

Комнату сняли в уютном, с собственным двориком и гамаками между деревьев хостеле за 14 долларов на двоих. Номер обставлен весьма прилично, правда, туалет и душ общие. За отдельные “удобства” пришлось бы доплачивать 30 долларов в сутки. Какой смысл?! Пообедали тоже за 14 долларов, но уже с каждого: в Чили цены на продукты заметно выше, чем в Боливии.

Поскольку Лунная долина была ближе всех к оазису, с неё и начали. Она вытянулась между Центральными Андами и океаном. На севере от Сан-Педро. Постоянные ветра с песчаными бурями превратили здешние горы в скопище исполинских клыков, доисторических чудищ, причудливых замков, острокопечных спиелей, стянутых понизу обручами из обломков угловатых глыб. Между ними разбросаны цирки, впадины, провалы, пирамиды. Из-за поднимающегося текучего марева их очертания то расплываются, то затейливо извиваются. Всё это и в самом деле напоминает лунный пейзаж. Особенно сильное впечатление Лунная долина произвела на нас при закате. Началась такая игра теней и света, что мы замирали от восторга. Палитра менялась в самых широких пределах: от бело-кремовой до бордовой и тёмно-фиолетовой.

Столь глубокая эрозия этих гор связана с тем, что они наполовину состоят из каменной соли. Когда рассматриваешь эти склоны вблизи, то видно множество прозрачных прожилок и вкраплений — это и есть соль. Местами её так много, что грунт напоминает застывшее стекло. Когда ступаешь на него, он начинает поскрипывать, как снег на морозе. А ночью вся эта полупрозрачная, сжимаемая холодом, масса заставляет горы издавать жуткие стоны. Не удивительно, что эта долина абсолютно безжизненна. С наступлением темноты в ней наблюдается ещё одна странность: блуждающие огни, наводящие ужас на одиноких путников.

Если здесь вдруг пройдут обильные, затяжные дожди, то многие отроги “поплывут”, и “лунные пейзажи” могут неузнаваемо измениться за несколько дней. Правда, это маловероятно: осадки здесь столь редки, что высокогорная пустыня Атакама, на которой находится и Лунная долина, признана самым засушливым местом на нашей планете.

В Эль-Татио — знаменитую долину гейзеров, выехали ночью — в 3.30. До неё почти 100 километров, а нам надо быть там до восхода солнца: когда воздух прогреется, столбы пара будут выглядеть не столь эффектно. Подморозивало — минус 6 градусов (зимой здесь бывает до минус 25). Печка в машине не работала, и я в своей лёгкой курточке уже на полпути промёрз насквозь. Этому, безусловно, способствовала и четырёхкилометровая высота (на высоте нарушается терморегуляция).

В интересующую нас котловину въехали в полной темноте. На альтиметре 4200 метров над уровнем моря. Пока пили горячий кофе с бутербродами, стало светать. Яркие звездочки гасли одна за другой, и вскоре нашему взору открылась зажатая горами овальная впадина, густо заставленная высоченными белыми колоннами.

Как сказал проводник, ночью подземный мир дремлет, накапливая силы, а на рассвете долина начинает “дышать” — покрывается фонтанами кипящей воды и бугристыми столбами пара. На чёрном фоне гор в лучах восходящего солнца вся эта доисторическая панорама выглядела фантастической.

Подойдя к гейзерам поближе, даже сквозь толстую подошву горных ботинок ощутил дрожь от беснующейся в подземных резервуарах кипящей воды. Вырывающийся из сотен жерл пар громоздил к небу белоснежные башни, вальжно расплывающиеся в вышине. С восхищением наблюдая за самыми активными и мощными, не забываем фотографировать их.

Когда напор кипящей в каменной утробе воды спадает, гейзеры засыпают. На короткое время воцаряется обманчивый покой. Один такой “задремавший” гейзер, когда я заглянул в его жерло, выстрелил мне в лицо изрядную порцию кипятка. Слава богу, реакция не подвела — успел отпрянуть.

Почва вокруг природных “фонтанов” вся в солевых наплывах. Толстых и прочных у старых, тонких и хрупких — у молодых. Ступая на них, человек ри-

скует провалиться в кипящий котёл. Поэтому “желторотых” лучше обходить стороной. Несколько лет назад двое туристов так и сварились в кипятке...

Наблюдая за гейзерами, видишь: у каждого из них свой характер, свой режим, свой голос. Одни ревут с угрозой, другие урчат или посвистывают себе под нос потихоньку, третьи взрывные: то вялые – их чуть заметно, то вдруг начинают бесноваться. Самые неугомонные трудятся круглые сутки без остановки.

27. Вулкан Ласкар

Завтра восхождение на грозный и печально известный вулкан Ласкар – наиболее активную “коптилку” в Чили. Особенно “славно” он потрундился в 2006 году, накрыв пеплом ещё и половину Боливии. Чили богата вулканами. Только действующих пятьсот! В их числе и самый высокий на Земле – Охос дель Саладо. Его рост – 6 893 метра. А вообще-то среди вулканов, включая и спящие, самый рослый – его аргентинский сосед Аконкагуа. Правда, выше он всего-то на 69 метров.

Итак, Ласкар! Он находится в 40 километрах к северу от Сан-Педро. Стоит из шести кратеров. Высота самого активного – 5592 метра, а самого высокого – 5719 метров.

Вечером, перед восхождением, во время ужина решили себя побаловать. Правда, не рассчитали свои возможности и заказали столько, что пришлось усиленно работать челюстями на протяжении двух часов! Порции-то здесь не в пример нашим: антрекот в два пальца толщиной и в две ладони шириной, гарнир из тёртого маиса и жареных томатов с перцем напоминал вулкан в миниатюре. Салат с авокадо был не меньше. Но это не всё: я съел ещё полную тарелку “сопо” – супа и с десятков кусков “пана” – хлеба. Кстати, о хлебе. В Южной Америке он, слава богу, повсеместно вкусный, но в каждой стране отличается по форме. В Боливии это круглые булочки. В Перу – пустотелые треугольники из пресного теста. В Чили – слоёные лепёшки, тоже пресные.

На гору предстояло подниматься в сопровождении сухопарого и жилистого индейца Рональдо. Ветер и солнце хорошо продубили его мужественное лицо. В чёрных, с воронным отливом волосах проблескивает седина. Глянув на него, сразу понимаешь – горный барс.

К месту, откуда начинается восхождение, добирались на его джипе. Дорога петляла между голых хребтов, по склонам которых разгуливали, никого не опасаясь, ламы викуньи. Рональдо оказался разговорчивым, эрудированным собеседником. Он засыпал нас интересными фактами и историями о местах, в которых бывал, столь обильно, что Эмиль едва успевал переводить.

Думаю, все видели на фотографиях или по телевизору циклопические статуи острова Пасхи. Так вот, по мнению Рональдо, тому, кого судьба занесёт на перуанский участок Западных Кордильер, эти исполины покажутся жалкими пигмеями. Высеченные неизвестно кем и неизвестно когда на скалистых склонах этих гор гигантские барельефы поражают воображение своими размерами.

Здесь и собаки, и кондора, и обезьяны. (Почти как на плато Наска!) Удивительно то, что среди них имеются изображения животных, вообще не встречающихся на Южноамериканском континенте: слонов, верблюдов. Но ещё более удивительными оказались найденные там барельефы людей: по форме и пропорциям они схожи с истуканами острова Пасхи. Такие же неестественно острые подбородки, глубокие глазные впадины с нависающими надбровными дугами, при отсутствии в них хотя бы подобия самого глаза.

Ещё Рональдо рассказал легенду, о том, что именно на вулкане Ласкар несколько раз в году в момент заката над вершиной возникает призрачный мираж города Кималь, в котором обитают души всех людей, погибших в горах.

Вдоль дороги и по склонам видим выбеленные солнцем кости. Хотя и не человеческие, но всё равно это напрягает. По словам Рональдо, первые восходители видели на вершине вулкана высохшие, обтянутые кожей тела. Среди них мумии относительно недавнего времени: судя по костюмам – XVIII–XIX веков. Благодаря сухости воздуха и высокой солнечной радиации они хорошо сохранились. Если древние египтяне сохраняли свои мумии в саркофагах внутри громадных пирамид, то индейцам помогало поспорить с вечностью высокогорье и солнце.

А вот и Ласкар показался. Дальше дороги нет. Смотрим на альтиметр – традиционные 4000 метров (это средняя высота Альтиплано). Выйдя из ма-

шины, огляделись. В межгорной впадине ни ветерка. До подножья конуса – пара километров. Справа округлое озеро, в котором, как в зеркале, чётко, в мельчайших деталях отражается цель нашего визита – конус с многокилометровым, уходящим за горизонт хвостом дыма. Вокруг множество вулканов пониже. Их абсолютно голые склоны тоже изрубцованы шрамами осыпей и лавовых потоков кирпичного цвета. По берегу озера щеголяют в пышном сером оперении страусы нанду. Интересно, чем они тут питаются?

Поднимаемся, не торопясь, плавным, размеренным шагом. После отметки 5100 метров мелкий щебень и оранжевые, похожие на керамзит шарики, покрывающие склон, стали, как и на вулкане Масай, почему-то “жирными”, словно их окунули в масло. При этом сыпучий слой достиг такой толщины, что ноги буквально вязли в нём, а потревоженная масса приходила в движение и норовила стащить вниз. Часто перебирая ногами, как можно быстрее пересекаем такие места по восходящей линии.

Вот и первые вулканические бомбы появились. Чем ближе к жерлу, тем их больше и они крупнее. Число открывающихся взору хребтов, напоминающих бугристые шрамы на теле планеты, постепенно растёт. Наконец видим зубчатый гребень кратера. Он весь жёлтый от кристалликов серы. Из него валит мглистый дым. Порой к нему примешиваются клубы коричнево-серого цвета – это выбросы пепла. Явственно ощущаем запахи тухлых яиц.

Несколько десятков шагов, и под нами разверзается воронка глубиной метров четыреста. На её дне сквозь переменчивую пелену просвечивают красноватые разводья. Придёт время и накопленная под ней мощь рванет так, что жизнь в округе замрёт на многие месяцы. Пикантность ситуации заключается в том, что Ласкар извергается с интервалом в четыре года. Нынче как раз подошло время для очередного выброса лавы, но в какой день это произойдёт, одному Богу известно. Может, завтра.

28. Аргентина

К столице Аргентины Буэнос-Айресу подлетали поздним вечером. Мириады суетливо подмигивающих “светлячков” делали город похожим на огромного осьминога, раскинувшего узкие щупальца во все стороны.

В аэропорту порадовала чёткая организация паспортного контроля. Нашим рейсом прибыло почти четыреста человек, и я приготовился к часовому стоянию в очереди. Отнюдь, через десять минут мы уже пили в баре кофе (с традиционным чаем в Аргентине проблема).

Как уже не раз отмечалось, стеклянно-бетонные джунгли не моя стихия, посему из достопримечательностей Буэнос-Айреса упомяну только президентский дворец на Пласа-де-Майо, мемориальное кладбище Реколето, соседствующее с фешенебельными кварталами исторического центра, и проспект 9 Июля, который здесь считают самой широкой улицей мира. А вот кладбище действительно поражает воображение: помпезные гробницы и склепы из мрамора больше похожи на дворцы султанов, греческие базилики. Необузданная роскошь и богатство удивляют своей бессмысленностью – зачем всё это умершему? К чему такие траты? Они же не даруют бессмертие! Не разумнее ли пустить эти средства на то, чтобы построить, к примеру, приют для престарелых или, на худой конец, оставить деньги наследникам? Эх! И после смерти соревнование тщеславий и амбиций продолжается!

На улицах столицы такое половодье такси, что достаточно остановиться и просителем глянуть на проезжающие авто, чтобы возле тебя тормознула пара машин. Садиться спереди здесь не принято – только сзади! Чтобы пассажиру было удобнее, переднее сиденье вообще придвинуто к панели.

Интересно было наблюдать, до чего трогательно мужчины приветствуют друг друга при встрече: нежно обнимаются, по несколько раз целуются. Может, именно благодаря такой повышенной сентиментальности аргентинцев танго столь популярно в этой стране?

Перед вылетом из аэропорта местных авиалиний к малоизвестному, но, по отзывам, самому крупному и красивому в мире водопаду Игуасу пошли искупаться в Атлантическом океане. Мутно-коричневый цвет воды нас шокировал. Больше всех меня. Ещё бы! Специально вёз из Уфы маску со встроенными линзами на минус семь диоптрий, чтобы насладиться подводным миром Атлантики, и на тебе – видимость в воде практически нулевая! Связано это с

тем, что воды в здешних реках изобилуют вымываемыми из берегов мельчайшими частицами глины. Судов в заливе негусто. Яхт вообще нет. Удивительно! Какая-то чудачковатая страна.

И женщины в городе страшненькие (прошу прощения, но, как честный путешественник, иного определения не могу подобрать). Николай Рундквист, четырёхкратный чемпион России по спортивному туризму, руководитель нашей экспедиции по Аргентине, верно подметил: то, что мужчины на юге красивые, а женщины так себе, а на севере наоборот – это классика! Вывод напрашивается весьма необычный: тяжёлые природные условия, необходимость много работать делают женщин... краше.

До Игуасу, находящегося на границе с Бразилией, долетели за полтора часа. Оставив рюкзаки в приюте, сразу отправились по холмистой, покрытой тропическим лесом равнине туда, откуда нёсся утробный рокот. Шли, переступая через деловито курсирующих по красной земле двухсантиметровых муравьёв-отшельников и отбиваясь от настырных попрошаек – енотообразных коати. Наконец пышные заросли расступились, и мы застыли от изумления: в два примыкающих друг к другу каньона, образовавшихся в результате тектонического разлома, низвергалось... 275 (!) водопадов, разделённых базальтовыми лбами и скалами. Над каждым клубились столбы водяной пыли, ниспадающей искристым шлейфом, перетянутым сочной радугой.

Глядя на эту завораживающую красоту, понимаешь, что водопад Игуасу попал в число семи чудес природы не случайно. Энергетика падающей с высоты семидесяти метров громадной масса воды в буквальном смысле заряжала нас.

Если вы зададите кому-либо вопрос о том, какой водопад на нашей планете самый крупный, абсолютное большинство ответит: “Ниагара в США!” (вообще-то, он по преимуществу канадский – США принадлежит лишь 14% слива). Кто-то вспомнит африканский водопад Виктория (местные его называют куда образнее – Гремящий дым). И только единицы уточнят, что имеется в виду: ширина, высота или мощь, поскольку термин “самый крупный” по отношению к водопадам звучит весьма неопределённо.

Если имеется в виду высота, то это венесуэльский Анхель (1054 метра). Если ширина слива – водопад Кон в Лаосе (12500 метров). Но – самый мощный, самый зрелищный и ошеломляюще красивый – это, бесспорно, Игуасу! За сутки он низвергает с семидесяти метрового уступа в среднем один миллиард тонн воды! Недаром Игуасу переводится с испанского как “Большая вода”. Съедая сантиметр за сантиметром от кромки слива, водопад “отползает” каждый год на два метра вверх по течению. Охватить его одним взглядом физически невозможно. Чтобы обойти и отснять под надзором вечно голодных крокодилов все ревушие и клопочущие сливы, нам понадобилось два дня!

... Летим вдоль атлантического побережья на юг Аргентины в Патагонию, к ледникам Эль-Калафате. С самолёта хорошо видно, что океанская вода вдоль побережья на несколько сот километров жёлто-коричневая. Правда, чем дальше на юг, тем она становится чище, постепенно приобретая привычный ультрамариновый цвет. Пролетев полторы тысячи километров, сворачиваем на запад – к Андам, за которыми тянется узкой полосой соседка Аргентины – Чили.

Пересекаем малозаселённую, бледно-бежевую, каменистую, с пятнами полузасохших озёр, степную пампу – Южную Патагонию. Различаем на ней одиночные кошары, пылинки то ли овец, то ли коров (никакая иная хозяйственная деятельность, кроме животноводства, на этих бедных, безводных землях невозможна).

Интересно происхождение названия этого огромного края – “Патагония”. Участники экспедиции Магеллана были до такой степени поражены внушительностью комплекции местных индейцев, что стали называть их Patagano – Большая Лапа.

Самолёт приземлился у хребта, залитого льдом. Здешние глетчеры занимают третье место в мире по количеству замороженной пресной воды (уступают только Антарктиде и Гренландии). Это и не удивительно – отсюда до седьмого континента уже рукой подать!

Остановились в небольшом, симпатичном городке Эль-Калафате, в простеньком однозвёздочном отеле. Дома здесь небольшие – одно-двухэтажные, но ухоженные и оригинальные по архитектуре. Улочки зелёные. Засажены в основном пирамидальными тополями, соснами и... белоствольными бе-

рёзками. Есть даже дубы с миниатюрными, размером с рублёвую монетку, листочками.

До шестидесятых годов прошлого столетия большинство горожан жило в вагончиках и домиках на колёсах. Капитальных домов было крайне мало. Но после того, как правительство начало вкладывать огромные средства в развитие туристической индустрии и поток туристов из года в год стал нарастать, у людей появились средства для строительства полноценного жилья.

В потоке автомобилей часто видим наши «Нивы». Аргентинцев привлекает их великолепная проходимость. Ещё бросилось в глаза обилие битых машин – так и ездят годами: кто с помятой, уже поржавевшей «мордой», кто с продавленным боком или развороченным задом. Дорог немного, но состояние основных автомагистралей безукоризненное: гладкий, без единой ямки асфальт, по бокам современные АЗС.

На улицах много собак. Все крупные, добродушные. Добродушные до такой степени, что даже для проформы не лают, не говоря уж о том, чтобы зарычать или оскалиться. Люди тоже приветливые, несуетливые. Продавцы в магазинах внимательны, но ненавязчивы. В национальных костюмах – ни души. Про Аргентину можно сказать, что это наиболее европеизированная страна в Южной Америке.

В городе сушь и тридцатиградусная жара, а над Андами клубятся мощные облака, валит снег. Горы всю влагу, приносимую с Тихого океана, «оставляют» себе. Природа устроила здесь впечатляющую по контрасту картину: раскалённая, выжженная пустыня соседствует с мощнейшими ледниками!

Утром поехали в предгорья на ферму в гости к местному гаучо (пастух испански). Воздух над Патагонией прозрачней слезы младенца: в этих краях обычной для Северного полушария серой дымки не бывает. Небесный свод, что в зените, что вдоль горизонта одного, сине-голубого, цвета. Вероятно, это связано с отсутствием в Южном полушарии промышленных предприятий. Территория Южноамериканского континента между 46 и 51 градусами южной широты признана ЮНЕСКО самым экологически чистым районом на Земле.

Дорога изрядно пощекотала нервы: крутые, ухабистые подъёмы, траверсы с жутким боковым наклоном, резкие, почти отвесные спуски. Повсюду валялись отполированные древними ледниками каменные глыбы. Сухая земля покрыта короткой рыжеватого цвета травой, растущей чахлыми пучками. В голове невольно вертится вопрос: как же тут домашние животные выживают? И не просто выживают, а ещё дают превосходнейшее по качеству мясо.

У груды потрескавшихся камней заметили выводок лисят. Остановились пофотографировать. Не боясь – подпускают метра на два. Если подходишь ближе, сразу прячутся в расщелины.

Пока добирались до намеченной цели, пересекли несколько других ранчо. Каждое огорожено столбиками, сквозь которые протянуто несколько рядов гладкой проволоки. Въезд на территорию через единственные ворота.

На склонах холмов пасутся в основном табуны лошадей. Возле дома гаучо, к которому мы ехали, остовы старых повозок с громадными, до двух метров в диаметре, колёсами: в былые времена дороги отсутствовали, и чем больше диаметр колеса, тем легче было преодолевать это бездорожье.

Гаучо Даминго – крупный бородатый парень в широкополой шляпе из толстой кожи и платком на шее, встретил нас у ворот. С гордостью показав свой табун лошадей и стадо коров, провёл к хижине, расположенной у подножья полуразрушенных скал из-под которых бил родничок. Здесь под навесом стоял деревянный стол и скамейки. Тут мы, наконец, в полной мере оценили вкус запечённой на углях патагонской говядины. На вид вроде обыкновенный пласт мяса, а во рту тает что-то божественное – кажется, ел бы и ел с утра до вечера. Видимо, сказывается чистота окружающей среды, благоприятный климат и особый состав растущих здесь трав.

Запивали эту вкуснятину местным красным вином. Оно тоже понравилось. Прежде я не понимал, как можно ощутить вкус солнца в вине, а тут пил и чувствовал, что пью напиток, насыщенный теплом солнечных лучей. Так, странствуя по свету, начинаешь ощущать неведомый прежде вкус жизни...

Помимо выращивания лошадей и коров, Доминго занимается по заказу правительства ещё и отловом гуанако для расселения в местах, где их выбили браконьеры. Для этого он использует экзотическое метательное устройство – болас. Оно представляет собой прочный и узкий, сплетённый из тонких

полосок сыромятной кожи, ремень, на двух концах которого закреплены два шарообразных камня. К середине этого ремня прикреплена плетёнка покоро-че, с таким же грузом. Во время охоты болас раскручивают и метают вслед убегающей добыче. В полёте ремень разворачивается во вращающуюся, туго натянутую струну и, обматывая ноги добычи, стреноживает животное. Таким же способом обездвигивают и страусов нанду при отлове их для зоопарков и зооферм. Некоторые гаучо используют болас и для поимки лошадей.

На одном из холмов, входящем во владения Доминго, уже много десяти-летий наблюдается необъяснимое явление – громадные, размером с дом, “ползающие камни”. Спустившись за пару лет в ложбину, они за такой же срок заползают обратно на самую макушку холма. Чудеса!

Перед спуском в Эль-Калафате остановились у группы камней светло-се-рого цвета. Они были густо покрыты коричневыми мелкозернистыми “шляпа-ми” разных размеров. Некоторые из них ещё совсем крохотные, а иные уже выросли до габаритов обычной широкополой шляпы. И “шляп” этих здесь уже десятка три, а “зародышей” в разной степени вызревания – того больше. Вот вам ещё одна загадка природы!

На обратном пути встретили стайку гуанако. Немного отбежав, они при-нялись щипать пожухлую траву, то и дело с любопытством поглядывая на нас. Ножи точёные, как у скаковой лошади, длинная шея напоминает жирафью. Большие, широко открытые глаза придают их милым мордочкам удивлённое, почти детское выражение. Мы остановились и сделали несколько снимков. Спустившись к озеру Лаго-Архентино, проехали к ранчо, на котором разводят овец. Пасты их хозяевам помогают неказистые собачки: они не дают подопеч-ным далеко разбредаться и по команде гонят отару туда, куда приказал гаучо. Самого крупного барана пёсики вдруг отсеки и загнали под навес, где его поджидал стригаль в белой рубашке с цветистым платком на шее. Он по-казал нам, как в этих местах стригут овец.

У нас в Башкирии, да, наверное, и по всей России, как это происходит? Берут барана, связывают задние и передние ноги. Потом валят его на землю. Один человек держит бьющееся в ужасе животное, а второй стрижёт ножни-цами. Бедный баран вырывается, истошно блеет. В итоге, к концу этой экзе-куции все трясутся от нервного и физического напряжения.

На просторах же Патагонии эта процедура протекает мирно и спокойно. Пастух берёт барана за передние ноги и подтягивает его к себе так, чтобы спина животного оказалась прижатой к нему. После этого делает резкий ры-вок вверх – р-раз! От такой встряски баран почему-то отключается – засыпа-ет. Пока он “спит”, мастер быстро состригает всю шерсть автоматическими “ножницами”. Через несколько минут баран начинает шевелиться, вертеть го-ловой. В конце концов вскакивает и, голенький, бежит к своим овечкам. Фан-тастика!

Почему бы нашим крестьянам не перенять столь простой и эффективный способ? Вес состриженной шерсти удивил – шесть килограммов! Причём во-лоски столь плотно прилегают друг к другу, что пласт шерсти выглядит так, словно перед нами снятая целиком шкура.

Пока наблюдали за работой гаучо, появились и стали плавно кружить над нами три кондора. Растопыренные веером и слегка загнутые вверх маховые перья придавали им сходство с чёрным блестящим планером. Отара сразу за-волновалась, сбилась в плотную кучу. Эх, до чего глупые создания! До сих пор не возьмут в толк, что кондоры для них не опасны – они ж питаются толь-ко падалью.

Сегодня едем в царство белого безмолвия – к мощным ледникам Эль-Ка-лафате. По дороге обогнали летящую над озером стаю розовых фламинго. Их было так много, что в какой-то момент возникла иллюзия, будто мимо нас проплывает подсвеченное восходящим солнцем облако.

На заросших жёсткой травой и колючими кустами холмах спокойно разгу-ливают викунии. В связи с полным запретом охоты, они совершенно утрати-ли страх перед людьми.

Когда идущая по берегу бирюзового озера дорога упёрлась в залив, мы пересели на катер и двинулись между плавающих айсбергов к одному из са-мых крупных на планете глетчеров – леднику Перито-Морено (его толщина местами достигает 700 метров).

Он “стекает” с Анд широкими лентами по трём соединяющимся у озера ущельям со скоростью два метра в сутки. Край ледника обрывается в воду от-

весной шестидесятиметровой стеной. От неё время от времени с грохотом отваливаются подпираемые сзади многотонные глыбы. Некоторые такие крупные, что снопы брызг взлетают на десятки метров, а от места падения долго расходятся кругами высокие волны.

Верхний слой ледника тает неравномерно: с южной стороны интенсивно, а с северной медленно. Поэтому его поверхность превратилась в как бы заставленную многометровыми остроконечными конусами-иглами, которые аргентинцы называют “кающимися монахами”. Они наклонены в сторону полуденного светила, и это действительно придаёт им сходство с коленопреклонённой паствой, облачённой в белые капюшоны.

Один из языков глетчера, “пропахав” озеро в самом узком месте, по-бычьему упёрся в скалы. Оттуда то и дело доносилось потрескивание раскалывающихся монолитов. Треск вдруг резко усилился, и “язык” под напором чудовищной массы у нас на глазах стал дыбиться медвежьим горбом. Ледовый таран густо покрылся трещинами и начал с грохотом рассыпаться на угловатые осколки. Как ни странно, все они были разных цветов. Одни совершенно белые, искристые; другие – голубые, как бы светящиеся изнутри; третьи – зеленоватые; четвёртые – прозрачные, как горный хрусталь; пятые – словно спресованные из крупных, молочного цвета гранул.

Высадившись на боковой “отрог” Перито-Морено, обули “кошки”, взяли ледорубы и до вечера азартно лазили, перепрыгивая через трещины, по ледяным гребням и отвесным скатам. Спускались в “каньоны” с отполированными до зеркального блеска стенками. Текущая по их дну вода была такой чистоты, какой может быть вода, полученная изо льда, которому 100 000 лет. Плавные извитые “берегов” украшали гроты нежно-бирюзового цвета. Всё это выглядит красиво, но щели во льду не прощают легкомысленного пренебрежения техникой безопасности. Как рассказал гид, за период с 1968 по 1988 годы здесь погибло 32 человека!

От глетчера веяло холодом, как от морозильной камеры, и к вечеру мы основательно продрогли. Зато Эль-Калафате встретил нас таким теплом, что мы сняли не только куртки, но и рубашки.

Проехав на следующий день 200 километров вдоль хребта с юга на север, оказались в самом колоритном уголке Анд – горном массиве Фиц-Рой, представляющем собой безумное столпотворение иглоподобных пиков высотой три и более тысяч метров. Картина до того впечатляющая, что от восторга и восхищения перехватывало дыхание! Дождей здесь, похоже, выпадает с избытком: почва переувлажнена, нижний пояс гор покрыт лесом, состоящим из мощных обомшелых деревьев. Базой для походов на Фиц-Рой выбрали городок Эль-Чальтен. В отличие от Эль-Калафате, куда приезжают люди среднего и старшего возраста, тут одна молодёжь, по преимуществу альпинисты.

В первый день для разминки поднялись по карабкающейся по лесистым склонам извилистой тропе к их лагерю, расположенному на берегу большого живописного озера. Когда тропа проходила мимо дикорастущих вишен, оставались и подкреплялись кисло-сладкими плодами. В лагере готовилось к восхождению несколько групп: у палаток лежали мотки верёвок, ледорубы, альпенштоки; на ближних скалах молодёжь отрабатывала технику скалолазания, на поляне горел костёр.

Признаюсь, когда я вижу человека, взбирающегося по отвесной каменной стене, у меня от ужаса и восхищения сердце сжимается. Какую крепкую нервную систему и до автоматизма отработанную технику надо иметь, чтобы подниматься по вбиваемым тобою же крючьям, зная, что под ногами бездна и малейшая ошибка может превратить тебя в грудку костей! Снимаю шляпу перед отвагой и профессионализмом этих ребят!

После ночёвки отправились по сужающейся долине к ледниковому озеру Торро. Крупнотравный, спелый лес чередовался с мелколесьем, изобилующим зайцами. Мы то и дело видели мелькавшие среди зелени их серые шубки. Шарик заячьего помёта покрывали землю столь густо, что местами по ним можно было кататься, как на роликовых коньках.

Верхняя часть долины в трёх местах перегорожена дугообразными, довольно высокими, в несколько десятков метров, мореными валами. На камнях с галькой кусты успели вырасти только на нижнем, более старом, валу. А верхний пока совершенно голый. Он-то и стал причиной рождения довольно большого озера Торро. Если эта “плотина” не выдержит напора скопившейся от таяния ледников воды, то по долине прокатится всеокрушающий сель.

Глетчеры продолжают отступать, роняя в озеро мини-айсберги. Особенно активное таяние льда начинается во второй половине дня. В эти часы стекающие с ледников ручьи превращаются в бурные мутно-серые потоки. Странно, но всего в двухстах километрах отсюда напротив городка Эль-Калафате ледники, наоборот, наступают. Сплошные контрасты! А вот горы и там, и тут растут и поныне: каньоны становятся всё глубже, пики всё выше и круче.

Вечером над скалами прямо на наших глазах в течение двух-трёх секунд стали рождаться облака, а те, что были — так же быстро исчезать. Было ощущение, будто смотришь фильм, в котором кадры мелькают намного быстрее, чем в жизни.

После днёвки отправились через пологий, заросший высокоствольным лесом отрог к господствующему над всеми вершинами красавцу Фиц-Рою. Этот каменный перст, окружённый толпой игольчатых пиков пониже, напомнил одновременно и средневековую крепость с островерхой башней в центре, и оскаленную пасть разъярённого ягуара.

О восхождении на этот “клык” мы и не помышляли (он настолько крутой, что даже снег не держится), но по более низким соседним вершинам ползали. Между ними в глубоком, похожем на колодец, цирке обнаружили бирюзовое озеро. В него с заснеженных склонов с шумом стекали десятки белопенных струй, сливающихся внизу в жемчужные бороды. Поверх них то и дело пролетали обломки скал, куски льда. Грохот от их падения многократным эхом метался в каменном котле, словно испуганная птица в клетке. Отсюда было видно, как пилообразные зубцы Анд пропарывают наползающие со стороны Чили брюхатые тучи, принуждая их сбрасывать огромные массы снега. Под лучами солнца он тает и грязно-молочными потоками скатывается на просторы Южной Патагонии, где, разливаясь по впадинам и ложбинам, образует цепь озёр, вода из которых устремляется к Атлантике.

На одном из куполов пересеклись с группой альпинистов из Японии. У них к каждому рюкзаку приторочен сетчатый мешочек с мусором. Они вытряхнут его в крытые контейнеры, установленные возле троп, когда спустятся в долину. Мы же свой мусор закапываем в землю. Наш подход всё же менее экологичный.

Могу привести ещё более удивительный пример уважительного отношения к природе. Догоняем группу австрийцев. Один из парней, докурив и погасив окурок, убрал его... в карман! Вот это культура! Не встретишь здесь и глупых надписей “Здесь был Паша”.

29. Огненная Земля

Перелетев через извилистый, местами довольно узкий Магелланов пролив, похожий из-за сильного течения на полноводную реку, оказываемся над Огненной Землёй. Она покрыта невысокими беловерхими отрогами, разделёнными зелёными долинами и голубыми чашами озёр.

Самый южный город на планете Ушуайя (Ушуая) встретил нас, несмотря на лето, как и полагается на крайнем севере, ой, простите — на крайнем юге, снегом и лёгким морозцем. Сказывается студёное дыхание Антарктиды: она рядом — сразу за проливом Дрейка.

К полудню потеплело, и снег плавно перешёл в дождь. Перепады температур в Аргентине из-за вытянутости страны, как и в России, довольно большие. Когда на севере плюс 40, на юге может быть минус 10!

Ушуайя оказался весьма приличным и по архитектуре, и по численности поселения (68 тысяч человек). До открытия Панамского канала он, благодаря активному судоходству, процветал, а после — несколько десятилетий хирел. К 1947 году в городке проживало всего 3000 человек. Его возрождение связано с активизацией научных исследований Антарктиды и развитием антарктического туризма. Бурному росту в немалой степени способствовало и то, что в 1972 году город объявили свободной экономической зоной.

Он мало похож на южноамериканские города. Скорее — это городок из северной Норвегии: такие же фьорды и разноцветные одно-двухэтажные домики, окружённые пирамидальными горами, на которые взбегают крутые улицы. Цепи заснеженных гор с зелёной полоской леса вдоль подножья напомнили мне северо-восточную Якутию. Скупая, суровая земля!

Гуляя по центру, изобилующему отелями, ресторанчиками и сувенирными магазинами, мы радовались тому, что живём в России, — наши женщины,

по сравнению с местными, все без исключения красавицы! То, что россиянки красивы, я отмечал и раньше, когда проезжали США, Канаду, но таких, прошу прощения, страшных дам, как здесь, ещё не встречал.

Поскольку желающих ехать сюда в начале XX века было мало, правительство Аргентины, по примеру Англии, отправлявшей осуждённых на каторжные работы в Австралию, использовало архипелаг для ссылки преступников. Для этого в Ушуае была построена огромная тюрьма. Чтобы отапливать её и примыкающий к ней городок, заключённые круглый год вели лесозаготовки. Для вывоза древесины с делянок построили узкоколейку. С Большой земли по морю доставили чёрные паровозики со сверкающими латунными ручками (два из них по сей день стоят во дворе тюрьмы) и грузовые платформы.

Сегодня этот казённый дом – популярнейший туристический объект, называемый “Самая южная тюрьма в мире”. (В этом городе всё самое южное: и парикмахерская, и банк, и ресторан, и школа, и т. д.)

Зайдя в сие мрачное заведение, мы как-то сразу притихли и долго молча бродили по бесконечным коридорам, заглядывая в камеры. Теперь только мощные, неприступные стены, ржавые решётки, вылитые из бронзы надзиратели, восковые муляжи арестантов, сидящих на нарах в полосатых робах, и их эпистолярные “творения” на стенах напоминали о временах, когда здесь отбывали срок самые отъявленные головорезы.

Я впервые оказался в тюрьме (дай Бог – и в последний) и всё время, пока ребята обедали в соседней таверне, просидел в “одиночке” – хотелось хоть немного побыть в шкуре заключённого, чтобы попытаться прочувствовать, что испытывают они, когда отбывают срок. Ощущения, честно признаюсь, малоприятные. Холодно, сумрачно, в крохотное окно под самым потолком даже неба не видно. Когда знаешь, что отрезан от всего земного, сразу начинаешь ценить свободу.

Знакомство с природой Огненной Земли начали с восхождения на одну из вершин ближнего хребта. Для этого пришлось несколько километров прошагать под мелким дождём по шпалам допотопной узкоколейки (ширина колеи всего 60 сантиметров), а затем взбираться по травянистому склону и камням на водораздельный гребень. По нему проходила хорошо набитая тропа, выведшая нас на господствующий пик. Вдоволь насладившись открывшимися далями – океан на юге и замысловатый набор отрогов и скалистых пиков на севере, – долго спускаемся сквозь буреломный лес к реке.

Сопроводивший нас проводник рассказал, что в этих местах под землёй растут питательные грибы того же семейства, что и европейские трюфели, – похожи на тёмно-коричневые сморщенные яблоки. Местные называют их индейским хлебом. Мы же видели только ярко-оранжевые гроздья древесных грибов, живописно свисавших с толстых веток.

Выйдя на берег полноводной реки, сели в поджидавшие нас каяки и сплавились, щекоча нервы на порогах, до бухты Лопатина (и тут русский след!). Посреди неё проходила хорошо различимая граница между пресной речной и солёной морской водой.

У пролива Бигль наш маршрут завершился: плыть дальше было опасно – вода в проливе с напором перетекает из Атлантического океана в Тихий и течением может унести в открытое море. Кстати, пролив Бигль – это единственный не подверженный штормам проход, связывающий два океана, но из-за обилия мелей и крутых извивов он мало пригоден для судоходства. Следующий за ним широченный и глубокий пролив Дрейка являет собой самое негостеприимное место на Земле. Поскольку между Огненной Землёй и Антарктидой для ветров нет никаких преград, вдоль этого пролива постоянно гуляют свирепые шторма, отгнавшие на дно не одну сотню кораблей. Не случайно в старину, в эпоху парусных судов, был обычай: лишь моряки, обогнувшие мыс Горн, получали право носить золотую серьгу в мочке левого уха.

До появления европейцев архипелаги населяли три индейских племени: морские кочевники яганы, алакалуфы и сухопутные – самые многочисленные в прошлом огнеземельцы – селькнамы. Последние жили только во внутренних районах. Прибрежные индейцы отличались малым ростом, слабо развитыми ногами: постоянно плавая вдоль островов архипелага, они почти не покидали свои каноз. Занимались яганы и алакалуфы промыслом рыбы, тюленей, морских львов, собирательством моллюсков и съедобных водорослей. В относительно тёплое время года ходили практически нагими, тела ярко раскрашивали, носили длинные волосы.

Их организм был великолепно приспособлен к выживанию в условиях пронизывающего ветра, дождя и постоянного холода. Благодаря наличию жировой прослойки, они могли спать даже на камнях. С приходом морозов морские кочевники жгли костры у своих жилищ (благо, дров с избытком), а когда плавали – прямо в каноэ на площадке из глины.

Проходя по проливу октябрьскими ночами 1519 года, капитан Фернандо Магеллан увидел такое множество костров, что дал острову весьма странное для одного из самых влажных на Земле мест название – “Огненная Земля”. Когда парусники экспедиции прошли пролив и вышли в океан, стоял редкий для этого края штиль. На водной глади не было ни морщинки. Это так поразило Магеллана, что он назвал этот океан Тихим. Как ошибся!

Заново “открыл” индейцев Огненной Земли в 1832 году Чарльз Дарвин, высадившийся на остров во время кругосветного путешествия на корабле “Бигль”. Бывалый ученый был потрясён первобытным образом жизни аборигенов. “Вид огнеземельцев, сидящих на диком заброшенном берегу, произвёл на меня неизгладимое впечатление. Перед глазами предстал образ: вот так же когда-то давно сидели наши предки. Эти люди были совершенно наги, тела разукрашены, спутанные волосы свисали ниже плеч, рты раскрыты от удивления...” – писал он в своём дневнике.

В конце XIX века численность прибрежных индейцев стала заметно сокращаться от занесённых европейскими переселенцами эпидемий оспы, кори, туберкулёза. Этому способствовало и сознательное истребление аборигенов в начале XX века, когда на Огненной Земле нашли золото и на острова архипелага стали прибывать тысячи искателей лёгкой наживы из Европы.

Селькнамы, в отличие от прибрежных индейцев, были более рослыми и пропорционально сложенными. Питались они мясом гуанак, которых добывали луком со стрелами, имеющими каменные или костяные наконечники. Поскольку селькнамы вели кочевой образ жизни, жилища у них были временными и представляли собой шалаши из шестов, покрытых шкурами. В холодное время года они носили меховые накидки и тёплые шапки конической формы. Их семьи, как писали первые колонисты, отличались сплочённостью и взаимовыручкой. Женщины – скромностью, а матери – привязанностью и нежностью к своим детям.

Языкам огнеземельцев присуще редкое смысловое богатство, содержащееся в одном слове. Так, например, слово “укомана” означало “метать копё в стаю рыб, не целясь ни в одну из них”. Самоназвание прибрежных яганов – “ямана”, что означало “жить, дышать, быть счастливым”.

Промышлявшие охотой селькнамы считали появившихся в лесах тучных овец своей законной добычей и охотились на “белых гуанак” голыми руками. Возможно, они стали охотиться на них ещё из-за того, что овцы, поедая траву, подрывали кормовую базу гуанак – излюбленного объекта охоты индейцев.

Европейские колонисты, чтобы защитить поголовье своих отар, стали отстреливать индейцев наравне с пумами, которые тоже переключились с гуанак на более лёгкую добычу – овец. В результате пумы поднялись в горы, а чистокровных аборигенов на сегодняшний день можно увидеть только на фотографиях в музее. Последний индеец племени селькнам умер в 1974 году, последний яган – в 1999...

Рассказывая про Аргентину, нельзя не упомянуть про любимый напиток аргентинцев – матэ (мате). Здесь как минимум каждый второй носит с собой термос с горячей водой, мешочек с чаем матэ, калебасу из небольшой высушенной тыковки-горлянки, в которой его заваривают, и красиво инкрустированную металлическую, слегка изогнутую трубочку – бомбиле с мундштуком и ситечком на конце. Через неё пьют, вернее, посасывают круто заваренный, горьковатый, с лёгким привкусом сладкого, тонизирующий настой.

Сам чай готовится из измельчённых листьев и стебельков кустарника парагвайского падуба. Аргентинцы уверяют, что он улучшает настроение, снимает нервное возбуждение, повышает иммунитет, умственную и физическую активность, одновременно ослабляя чувство тревоги. При этом воздействует мягко. Для людей с избыточным весом немаловажно то, что этот чай притупляет чувство голода.

В течение дня аргентинец по несколько раз засыпает в тыковку молотый матэ и заливает в неё тоненькой струйкой горячую, с температурой около 80 градусов, воду так, чтобы она как можно меньше смачивала верхний слой чая. К матэпitiю приступают через минуты три.

Когда встречаются друзья, калебасу с бомбиле пускают по кругу, как трубку мира у североамериканских индейцев. Считается, что поделиться матэ с собеседником — значит выразить к нему свою симпатию и доверие.

Гурманы со стажем советуют чай в калебасу засыпать на две трети объёма (я попробовал, мне кажется достаточно и четверти). Первый раз этот горько-сладкий напиток мало кому нравится, но со временем к нему развивается стойкая тяга. Это как с пивом: глотнув впервые, обычно говорят “тьфу! какая гадость!”, но проходит некоторое время, и у многих появляется желание повторно пригубить эту отраву.

Каждую порцию матэ, как и зелёного чая, можно заваривать несколько раз. Кстати, должен предупредить, будете в Аргентине, говорите — матэ. Делать ударение на втором слоге — матэ — в Южной Америке не только недопустимо, но и опасно, ибо может быть спутано со словом мате́, означающим “я убил”.

30. Край земли!

Завершив пешие вылазки, утром, несмотря на сильное волнение, отправились на катере к скалистым островам, на одном из которых находится мыс Горн — край земли! Они встретили нас оглушительным гвалтом. Тысячи птиц сновали за рыбой в море и обратно, без умолку галдя и шурша крыльями. Целый день бедные так курсируют, чтобы прокормить своих прожорливых, быстро растущих птенцов, сидящих в гнёздах среди камней. На террасах смешно топтались подле своих малышей десятки тысяч черно-белых бакланов, издали очень похожих на пингинов. Над ними закладывали немислимые выражи острокрылые буревестники, альбатросы, мельтешили парами стремительные утки.

Огромное лежбище морских львов на столообразном острове с отвесными берегами встретило нас раскатистым рёвом (оооуррр... ооууррр) и нестерпимой вонью. Могучие, как гранитные утёсы, хозяева гаремов полулежали, высоко подняв непропорционально маленькие головы, и бдитительно обзоревали подступы к своим “дамам”. Если кто-то из самцов пытался приблизиться к ним, гневно мычали и смотрели с такой испепеляющей злобой, что самонадеянный наглец тут же отступал. Львицы же, распластавшись на угловатых глыбах в самых немислимых позах, в большинстве спали. Издали они походили на эластичные, светло-коричневые мешки, точно повторяющие изгибы камней.

Мы с восхищением наблюдали за тем, с какой ловкостью карабкаются по почти отвесной стене к своему лежбищу вынырнувшие из воды самки. Выстраиваясь перед “лестницей” в очередь, они, быстро-быстро работая лапами, каким-то образом умудряются взлетать наверх, а, оказавшись среди подруг, умиротворённо разлечься рядышком.

Следующий остров был оккупирован облачёнными в длиннополые фракы пингинами. Прибрежная полоса временами буквально вскипала от прыгающих в воду и выпрыгивающих столбиками из воды этих коротконогих птиц. Вода здесь прозрачная, и, когда пингвин “пролетал”, слегка помахивая крыльями, рядом с катером, казалось, что это летит остроконечная пуля.

По земле же эти милые и потешные крепыши ходят неуклюже, вразвалку. Наблюдать за ними было забавно, поскольку их поведение очень напоминало наше. Те, кто утолили голод, собирались в кружок на “митинг”. Деловито обмениваясь новостями, они одобрительно похлопывали друг друга крыльями-плавниками, целовались, галдели, улыбались. Пообщавшись, разбрелись по двое-трое и опять “митинговали” уже у “крылечка” перед своими земляными норами, в которых живут годами. Наконец раскланивались и исчезали в них для отдыха. Набравшись сил, выходили и вновь шлёпали на “рыбалку”.

Детёныши размером уже с родителей, только облачены не в чёрно-белые костюмы, а в бежево-серые шубки. Кричат тоже будь здоров, пронзительно, как вороны, разве что протяжней и помягче. Людей пингины не боятся, напротив, если приближаешься, сердятся: запрокидывают голову, выпячивают грудь и, широко раскрыв клюв, издают несоответствующий их добродушной внешности злобный визг-свист.

Ветер тем временем усиливался. В нём всё явственней ощущалось холодное дыхание Антарктиды. Доплыв до маяка, установленного на крохотном скалистом островке, повернули обратно. Отсюда оставалось несколько часов до изъеденного ветрами и пропитанного солью мыса Горн. Там, на высоком базальтовом пятачке, тоже стоит маяк, рядом небольшая, длиной не более

пяти метров, деревянная часовня и прилепившийся к ней дом зрителя.

Мыс Горн одно из знаковых, овеянное многими легендами, место на Земле: кроме того, что это самая южная точка шести континентов (Антарктида седьмой), здесь встречаются волны двух океанов и заканчивается обитаемая земля. Отсюда на север тянутся десятки тысяч пройденных нами километров горных цепей Анд и Кордильер, упирающихся в начало нашего маршрута – мыс Принца Уэльского.

Все путешественники и моряки сходятся во мнении, что мыс Горн – самое дикое, самое непредсказуемое и беспокойное место на планете: здесь почти круглый год туманы, дожди, а ветер достигает скорости 70 метров в секунду. До 1914 года, когда Атлантический и Тихий океан соединил Панамский канал, маяк на мысе Горн играл важную роль для безопасности мореплавания. Сейчас, в связи с низкой интенсивностью судоходства через пролив Дрейка, он утратил прежнее значение.

Перед вылетом на Родину мы решили после холодной Огненной Земли погреться на пляжах популярного аргентинского курорта Мар-дель-Плата. Но он нас разочаровал: оказывается, вовсе это не курорт в нашем понимании, а большой город с отелями и песчаным пляжем, вытянувшимся стометровой полосой на многие десятки километров. Второе, к сожалению, ещё более неприятное разочарование – вода здесь была такая же мутная, как в Буэнос-Айресе.

На пляже валялись десятки тысяч людей, но... никто не плавал. Стояли по колено или по пояс в воде и поджидали пенный вал. Когда он накатывал, одни с визгом выбегали на песок, другие ныряли под волну. Её гребень у берега закручивался и, “заглотив” воздух, становился ослепительно белым. Пенные буруны торопливо окатывали песок и возвращались в океан, перетирая остатки гальки.

Наблюдая за этим безостановочным, длящимся сотни миллионов лет процессом, невольно испытываешь сожаление от того, какая колоссальная мощь расходуется не на созидание, а на разрушение. Когда же учёные изобретут экономичный и простой преобразователь этой неистощимой энергии в электричество? Ведь тогда отпала бы угроза энергетического кризиса!

От автора:

Всё имеет своё начало и конец. Вот и это путешествие от Аляски до Огненной земли завершилось. За спиной 37 тысяч километров, одаривших меня впечатлениями и информацией настолько щедро, что эти месяцы воспринимается как целая вечность!

Путь от Берингова пролива до пролива Дрейка дал мне ценнейший опыт, изменил и обогатил внутренний мир и вывел моё мироощущение на новый уровень. Сравнил природу Северной и Южной Америки с российской, могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что в России она не менее красива и разнообразна. А наша Восточная Сибирь – это вообще неизведанная планета, которую только предстоит открыть человечеству.

Так же я понял, что все люди одной крови, что все хотят мира и взаимопонимания, что для успеха путешествия главное – проявлять уважение к традициям и культуре посещаемых стран. Тогда даже неблагоприятные в криминальном плане страны пройдёшь без осложнений.

На этом, дорогие друзья, завершаю. Благодаря замечательному журналу “Наш современник” вы тоже смогли совершить свою “кругосветку”. Надеюсь, не разочарованы.

До новых встреч! Жду от моих дорогих читателей отзывов на электронный адрес: ziganshin_kamil@mail.ru

От редакции:

Как нам стало известно, наш преданный друг, замечательный путешественник и учёный Камилль Фарухшинович Зиганшин, оправившись от болезни, вызванной тяготами путешествия через Огненный пояс Америки, уже совершил вместе с друзьями из Русского географического общества восхождение на гору Арарат (5137 метров), с вмёрзшим в ледник ковчегом библейского Ноя, и на гору Олимп (2917 метров) – резиденцию древнегреческих богов. Ждём новых записок нашего неувядающего путешественника!

ИННА РОСТОВЦЕВА

ЛЕРМОНТОВСКИЙ ЭЛЕМЕНТ

Достойны ли мы священного залога?

Ф. Т.

Отдавая “поклон быломu”, “на далёком полустолетнем расстоянии” русский критик Георгий Адамович высказывает неожиданную мысль: девятнадцатый век “как духовное целое” вольно или невольно покончил с собой не в 1917-м, а в 1914 году.

Если вдуматься в мистику этого числа, то память неминуемо подскажет год 1814-й – год рождения Лермонтова, и только по одной этой дате уже можно с полным правом говорить о том, кто “держал” столетие и удержал его золотую славу, будучи самым молодым в русской литературе поэтом...

“Двадцать пять лет!.. – восклицает Адамович. – Мы держим в руках “полное собрание сочинений” – и забываем, что это почти сплошь “проба пера”, опыты, черновики, обещания – именно обещания, заставившие Белинского воскликнуть:

– О, это будет поэт с Ивана Великого!”

Неистовый Виссарион не ошибся. Но пророчество сбылось не только в оценке Лермонтова, но и в объяснении природы таланта, редкостных свойств его, с такою силою проявившихся уже в первых опытах поэта: “...тут было много чего-то столь индивидуального, столь тесно соединённого с личностью творца, много такого, что мы не можем иначе охарактеризовать, как назвавши “лермонтовским элементом”.

Лермонтовский элемент! Воистину, “как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нём отозвалось!” Но попробуйте его уловить!

Лермонтовское эхо отозвалось на огромном пространстве русской поэзии, но оно было гораздо более труднодоступным, чем пушкинское, и гораздо менее поддавалось оформлению в научные понятия: традиция, направление, стиль, эстетика.

Но “лермонтовский элемент” – как ни парадоксально это звучит! – всегда безошибочно чувствовался нами в творчестве русских поэтов, следовавших за ним.

Но где именно его искать и в чём?

Гениальную подсказку мы находим у Адамовича, посмотревшего на проблему глазами человека другого века – века XX. В эссе “Лермонтов” он, в частности, пишет: “Кто привык представлять себе Лермонтова “байронёнком” или доморощенным демоном, пусть вспомнит “Люблю отчизну я...” Стихи неровные, как неровно всё у Лермонтова. Начало не без декламации. А к середине в пейзаже, в напеве, в эпитетах – “дрожащие огни печальных деревень”

и другое, — звучит что-то непостижимо русское с предчувствием знаменитых тютчевских “бедных селений” и всего того, что в нашем искусстве по этой линии прошло”.

Критик обращает наше внимание на ту, как он выражается, линию в отечественной лирической поэзии, где заметнее всего проявилось национальное сознание: “что-то непостижимо русское”. И вслед за Лермонтовым сразу же называет имя Тютчева — стихотворение “Эти бедных селенья...” (1855) отстоит от лермонтовской “Родины” всего лишь на 14 лет...

“Бывают странные сближенья...” Но то, что в какой-то особо важной точке русского национального сознания и самопознания “лермонтовский элемент” становится отчётливо виден в тютчевском магическом кристалле, прокладывающем путь в новый, XX век (ведь не случайно и сам Тютчев был по-настоящему открыт именно в начале XX века символистами!), не кажется сегодня странным, а скорее закономерным.

Другой, не менее выразительный пример “сближения”, когда на одной художественной “оси” оказываются и лермонтовское — из числа последних — стихотворение “Выхожу один я на дорогу...”, и тютчевское “Вот бреду я вдоль большой дороги...” (“Накануне годовщины 4 августа 1864 года”). Только случайность ли это: один стихотворный размер, этот гениально почувствованный напев, торжественно-замедленный и глубокий, один эпитет — *тихий*. Лермонтовская ночь уже наступила: “Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, // И звезда с звездою говорит”, тютчевская — ещё только метафорически наступает: “Улетел последний отблеск дня”. И там, и тут земной человек приостанавливается, замирая, в конце жизненного пути, пережитых страданий и изжитых страстей, чтобы задать простые и одновременно великие вопросы, обращённые к Богу и к Космосу. Именно туда обращает свой мучительный вопрос тютчевский человек — “мыслящий тростник” — в надежде получить ответ от рано ушедшей возлюбленной: “Ангел мой, где б души ни витали, // Ангел мой, ты видишь ли меня?”

Обращение к любимой женщине как к Ангелу, не исключено, стало возможным в тютчевской лирике после открытого и одухотворённого лермонтовского Космоса, где “и месяц, и звёзды, и тучи толпой”, а “по небу полночи” летит один Ангел: “Он душу младую в объятиях нёс // Для мира печали и слёз”.

Кто знает, быть может, в таком полёте (и с такой целью полёта) лермонтовского Ангела было заключено предвиденье возвращения души на землю, жизни после жизни? И что будет, если “Звуков небес заменить не могли // Ей скучные песни земли”? Что, если лермонтовский Ангел уже персонафицирован, слит в едином образе с той “душой молодой”, которую он нёс: “Кто ты? Откуда? Как решить, // Небесный ты или земной? // Воздушный житель, может быть, // Но с страстной грешною душой?” (Ф. Тютчев “День вечереет...”)

... Современный фантаст, вооружённый новейшими знаниями науки о мире, озабоченный необходимостью сохранения универсализма мысли, считает, что “космос в действительности такая бесконечность, всю глубину которой невозможно измерить нашими человеческими, земными — среди людей и на земле — возникшими мерами”. Или ещё безнадежнее: “...будучи мерилем земных вещей, человек не является мерилем всего космоса”.

Но как же быть тогда с великими поэтами, открывшими нам глубину и красоту бесконечности, нашедшими художественные мерки — слова, равноценные предмету описания? Разве они не были земными людьми? И разве поэтическое исключает человеческое, слишком человеческое, а не возвышает, одухотворяет, преображает его? Да:

*Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит...*

Но это — тоже Лермонтов:

*Послушай, быть может, когда мы покинем
Навек этот мир, где душою так стынем,
Быть может, в стране, где не знают обману,
Ты ангелом будешь, я демоном стану —*

*Клянися тогда позабыть, дорогая,
Для прежнего друга всё счастье рая!
Пусть мрачный изгнанник, судьбой осужденный,
Тебе будет раем, а ты мне — вселенной!*

А вот Тютчев, замороженный и заволаживающий нас по сей день видением представшей его поэтическому взору величавой картины открытого космоса, в который человек уже бесстрашно входит, ощущая его и свою “неизмеримость”. И движется вместе с ним:

*Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, —
И мы плывём, пылающе бездной
Со всех сторон окружены.*

“Тютчев ощущал вечность движения, движение вечности, то есть вечность, переходящую из точки в точку и из мига в миг; вечность, сущую в пространстве и во времени. Его прозирающее созерцание мироздания не разрешилось ни во что иное, как в это зияющее из века в век мыслящее противомыслие”.

И по-лермонтовски мятежный, по-достоевски срывающийся в тревожной неуспокоенности “противомыслия” голос (вот они — звуки, мелодия, напев!), волнуемый страстями роковыми, не могущий справиться с двойственностью природы человека, перешагнуть через границу двух миров — земли и неба, дня и ночи, страдания и смирения:

*О вещь душа моя,
О сердце, полное тревоги, —
О, как ты бьёшься на пороге
Как бы двойного бытия!
Так, ты — жилища двух миров...*

Историческая заслуга Тютчева как поэта заключается, быть может, в том, что он стал связующим звеном, посредником дня вчерашнего (прошлого, классического) русской литературы, во всём блеске наполненных его “элементов”, в том числе и лермонтовского, с днём современным и будущим. Когда каждое следующее поколение отечественных поэтов могло сказать: “Наш современник Тютчев”. И — говорило...

...Если вернуться на “линию”, обозначенную Адамовичем, то можно заметить “что то непостижимо русское”, выразившееся в лермонтовском образе — “дрожащие огни печальных деревень”, — неудержимо приближается к нам в начале XX века (в поэзии Блока и Есенина), надолго исчезая из виду в 30–50-е годы, и вновь появляется в 60–70-е во всплеске лирики, получившей название “тихой”:

*В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звёздами нежно украшена
Тихая зимняя ночь.*

(Н. Рубцов “Зимняя песня”)

*Окраина, ты вечером темнеешь,
Томясь в большом сиянии огней.
А на рассвете так росисто веешь
Воспоминаньем свежести полей.*

(А. Передреев “Украина”)

*И я опять иду сюда,
Томимый тягой первородной,
И тихо в пропасти холодной
К лицу приблизилась звезда.*

(А. Прасолов “И я опять иду сюда...”)

Вглядываясь с высоты сегодняшнего дня в эту недавнюю, хотя и ставшую уже прошлой страницей отечественной поэзии и её “тихих лириков”, занявших своё заслуженно-почётное место во многих антологиях (достаточно назвать знаменитые кожиновские “Страницы современной поэзии”), видишь не только общие, типологические черты стиля – неяркие, блёклые краски (в пейзаже, напеве, эпитете), отсутствие пафоса, декларативности, конкретность детали, – позволившие критикам выдвинуть новый термин.

Но всякий термин, как мы знаем, страдает искусственностью и однобокостью. “Тихая лирика” не составляет исключения. Она не была столь однородной и монолитной, как тогда казалось многим деятелям литпроцесса: слишком разные “тихие лирики” входили в неё. И слишком заметны, спустя полвека, их несходство, непохожесть, различия. И в плане индивидуальных особенностей, творческих установок, эстетического отношения искусства к действительности. И в плане окончательных результатов, весомости вклада в русскую словесность.

Два имени явно “выпадают” из “обоймы”, где А. Жигулин, А. Передре-ев, Вл. Соколов ещё как-то соседствуют друг с другом на основаниях общей описательно-повествовательной эстетики: конкретность, точность, реалистичность...

Рубцов и Прасолов, хотя и причислены к “тихой лирике”, но уже выходят из неё как сильные, потенциально другие творческие индивидуальности со своим “лица необщим выраженьем”.

Как-то непривычно ставить эти два имени рядом – сложилась слишком устойчивая тенденция говорить о каждом поэте отдельно, порознь друг от друга. Хотя при жизни они были современниками, пришли в большую литературу почти одновременно из провинции: из Вологды – Рубцов, из Воронежа – Прасолов. Прасолов был на 6 лет старше Рубцова, но первые книги их вышли почти одновременно: рубцовская “Лирика” – в 1965 году, прасоловский сборник стихов “День и ночь” – в 1966-м.

Так же – след в след – идут и скорбные даты: в 1971 году погиб Рубцов, в 1972 году кончил жизнь самоубийством Прасолов. Настоящее признание приходит к ним после смерти – вместе с осмыслением и пониманием читателями и критикой их небольшого, но столь весомого творческого наследия...

Стало ясно: и Рубцов и Прасолов не просто внешне приблизились к Традиции, как другие их собратья по “тихой лирике”, они поэты в Традиции, внутри Традиции, с Традицией; они тянут дальше, как бурлаки, по слову Евгения Винокурова, канат приемственности, а это значит, баржа движется, значит, происходит развитие...

В случае этих поэтов необходимо, на наш взгляд, говорить об осознанном выборе Традиции русской классической поэзии в те оттепельно-застойные годы, когда она, традиция, уличалась “новаторами” во всех грехах, а следование ей автором расценивалось как постыдный уход, бегство от современности.

Алексей Прасолов с документальной точностью воспроизвёл этот момент из своей творческой биографии. Когда на обсуждении его стихов на “вторнике” в Воронежском отделении Союза писателей (это было в сентябре 1964 года, сразу же после выхода “новомировской” подборки из 10 его стихотворений) основная критика свелась к такого рода упрекам, озвученным одним местным поэтом: “Мы запустили спутник, а тут – добротный сделанный дворянский дом с колоннами. Мастер – молодец. В своё время ему бы за работу – три бочки вина. А сегодня это устарело. Есть что-то от Тютчева и Блока, но лучше – Блок и Тютчев на досуге, чем Прасолов. Я получу удовольствие от оригиналов. Но видите: Прасолов въехал сюда на белом коне. Ну, что ж сказать? Хорошо. Но где глубина?..”

Отвечая приверженцу “новизны” в поэзии и обвинителю устарелости всего того в ней, что отдаёт Тютчевым с Блоком, Г. Троепольский буквально взорвался:

“Шевченко, а что такое глубина? Конкретно – в поэзии? А что такое современность? Прасолов – от XIX века? Найди у Тютчева, у Блока: “И душу я несусь сквозь годы...” до конца:

*Весна — от колеи шершавой
До льдинки утренней — моя.*

“Моя весна”, моя земля (вся) — кто это так говорил? Где это — “как сердце маленькое — лист”, где — “стынет он — по-человечьи”. Вы что, вы зачем сюда пришли?”

Однако потребовались многие десятилетия, подвижническая работа критики (и, прежде всего, В. Кожинова), смена поколений, борьба с догмами и стереотипами научно-наивного самосознания, чтобы читателю открылась глубина таких поэтов, как Рубцов и Прасолов. Понимание того, что она не заимствована, не одолжена “напрокат” у классиков — Лермонтова — Тютчева — Блока, — а своя, добытая своим, самостоятельным, единственно-возможным путём.

Впрочем, удивительно точно и проникновенно сказано об этом у Рубцова: “Но я у Тютчева и Фета // Проверю искреннее слово, // Чтоб книгу Тютчева и Фета // Продолжить книгою Рубцова”.

Продолжить — не значит повторить, а значит — отыскать своё, достойное “священного залога” (Ф. Тютчев). Это становится возможно при условии личного отношения современного автора к классическому поэту, читаемому не для получения “удовольствия от оригиналов”, а сопереживаемому в жизни, творчестве, судьбе. И это переживание слова носит сакральный характер. Не случайна же эта рубцовская обмолвка в “Вечерних стихах”:

*И, как живые, в наших разговорах
Есенин, Пушкин, Лермонтов, Вийон...*

Имени Тютчева нет в этом ряду, но, как живой, он чаще других поэтов возникает в поэзии Рубцова.

“Приезду Тютчева” в Россию посвящено отдельное одноимённое стихотворение, где о нём сказано: “И сны Венеции прекрасной, // И грустной родины привет — // Всё отразилось в слове ясном...” То, как это отразилось в слове Тютчева, бесконечно близко и дорого Рубцову.

Именно через Тютчева он ощущает стихии — ветер, грозу, непогоду; таинственную душу природы (“Как человек богоподобный, // Внушает в гибельной борьбе // Пускай не ужас допотопный, // Но поклонение себе!..”), историзм русских видений.

Именно через Тютчева он осуществляет выход, выходит на связь с теми “живыми” классическими поэтами, среди которых назван и Лермонтов. “Лермонтовский элемент” присутствует в рубцовской поэзии в особом, пронзительно-щемящем, эмоционально-лирическом восприятии родины, её непоказной — “О, вид смиренный и родной!” — и одновременно боженственно-возвышенной красоты — “О, сельские виды! О, дивное счастье родиться // В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!”, — в ощущении себя романтическим всадником-вестником ли, героем ли, впитавшим вольнолюбивый дух свободы — “Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны, // Неведомый сын удивительных вольных племён!”, — и в тайнах пророческих прозрений о будущем — “Боюсь, что над нами не будет возвышенной силы, // Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом, // Что, всё понимая, без грусти пойду до могилы... // Отчизна и воля, — останься, моё божество!”

Самое заветное желание лирического героя Лермонтова — “Надо мной чтоб, вечно зеленея, // Тёмный дуб склонялся и шумел”, — которым заканчивается, как мы помним, знаменитое стихотворение “Выхожу один я на дорогу...”, оживает в поэзии Рубцова не как метафора или центон, а — как память по сходству, по духу, по традиции, где оказался удивительно устойчивым этот образ: “Высокий дуб. Глубокая вода. // Спокойные кругом ложатся тени. // И тихо там, как будто никогда // Природа здесь не знала потрясений”.

Конечно, знала (однако, как тонко и выразительно это “как будто”!), как и вся Россия, как и её человек, “мыслящий тростник”, посетивший мир в его “минуты роковые”. Гигантская тень Тютчева вновь наплывает на рубцовское стихотворение, взрывая контекст изнутри скрытым напряжением философской мысли под маской созерцания и покоя...

Нельзя не разделить исторической правоты наблюдения Ивана Коневского в статье “Мистическое чувство в русской лирике”, отметившего: “...весь ход образной чуткости к таинственным делам и сторонам сознания у русских поэтов последовавшего времени приходится поставить в связь с мысленными формами одного Тютчева, выводите их единственно из его исходной точки”.

Критики любят говорить о том, что для Алексея Прасолова, этого, по определению, “философского поэта из провинции” (Алоиз Волдан, Австрия), Тютчев — та же исходная точка. В отсчёте традиции, мироощущения, “ходе образной чуткости”. Но всё это лежит на поверхности вещей. Ведь не случайно же первую книгу стихов поэт назвал — по тютчевскому стихотворению — “День и ночь” и не раз открыто признавался в своей расположенности к Тютчеву. Он его высоко ценил.

Между тем любимый, если не любимейший поэт Прасолова — Лермонтов. В его письмах рассыпаны признания, свидетельствующие о том, что лермонтовская поэзия была неотъемлемой частью сокровенного духовного опыта, глубоким камертоном, по которому он выверял слух: “Я молюсь той мудрой прозрачности, что, например, у Лермонтова: “Толпой угрюмою и скоро позабытой // Над миром мы пройдем без шума и следа, // Не бросивши века ни мысли плодотворной, // Ни гением начатого труда”.

Что это? Не строка, а гранёная плита над погребённым заживо поколением” (в письме к Инне Ростовцевой от 21.05.62).

Размышляя о том, как “быть собой, а не казаться” (это — главная забота поэта, особенно в начале пути — 1962–63 годы), Прасолов строго и придирчиво присматривается к современной ему поэзии и к тогдашним модным лирикам: “Броскость, отрывочность, суматоха — вот что в журнале. Прочитай “30 отступлений” (Вознесенского. — И. Р.) словно шёл босиком по резкому стеклу. Думал, почему так? У Пушкина, у Лермонтова редко встретишь даже эпитет, не употреблявшийся другими, а в целом — такая сила. А тут такая изощрённость — и пустота, и пустота. У других — есть точные слова, конкретный, точный образ, а тепла нет, того ощущения, как после молитвы, исповеди — нет. В чём дело?” (в письме к И. Р. от 5.10.62)

Мучительно ища ответа на этот вопрос, пытаюсь определиться в сложной, не всегда видной ему за тюремной решёткой (Прасолов находился там с перерывами в 1962–1964 годы), далёкой столичной литжизни, он приходит к выстраданному окончательному выводу: “Новизна, современность, яркий наряд и т. д. да не заглушат главного, если оно есть, а если нет, так не надо прикрывать бескрылость души крылатыми, неистовыми словесами... Найди у иных слово, чтоб применить к жизни, — чёрта с два!” (в письме к И. Р. от 5.10.62.)

Прасолов искренне радуется, если находит такие слова в “Днях поэзии” за 1962–1963 годы у молодых поэтов и со вниманием отмечает каждую находку: “У Голубкова [Дмитрия Голубкова (1930–1972), тонкого русского лирика, безвременно ушедшего из жизни. — И. Р.] понравилось: “Ты знала время, ты ушла впадал...” О Лермонтове — “окаменелое восстание” (переключка с тихоновским “окаменелым гневом” гор). Многие стихи — лёгкие акварельки, загородные видики, молодость, пытающаяся сказать мудро. Вот молодость — это хорошо! Она сквозит непосредственностью в отдельных местах”. И так по-человечески естественно вздыхает: “Господи, я становлюсь желчным критиком!” (в письме к И. Р. от 12.10.62.)

Конечно же, Алексей Тимофеевич преувеличивает — он никогда не был таким: злым, брюзгливым, но он не отказывал себе ни в хлёсткой эпиграмме на воронежских литераторов-борзописцев (на Ф. Волохова с романом “Не шути ты, рожь!”, например), ни в откровенном сарказме, особенно если это касалось профанации святого для него имени:

“Кстати, о Лермонтове. Не найдёшь ни одного сборника, где бы не было стихов о нём. И все берут одно внешнее, сам факт — трагическую гибель, застрашенность и грядущее бессмертие, всё — на грозном фоне и т. д. А внутреннего родства и духа ни у кого не чувствуешь. Есть что-то у Симонова в лирике военных лет — о боевой дружбе, о любви, есть у Тихонова в поэме “Киров с нами” и его кавказских стихах. А у остальных — ничего от его могучей мысли и чувства. Понятно, это трудней грозовой бурафории, мартиновского пистолета, привычной манеры показа этой трагедии” (в письме к И. Р. от 4-6.08.63.)

Сказанное Прасоловым почти полвека назад не утратило своего значения и по сию пору: штампы в показе лермонтовской трагедии ничуть не выветрились со временем и сегодня продолжают жить разве что в более блестящей, гламурной оболочке.

Приближение к образу Лермонтова по-прежнему трудно, и “лермонтовского элемента” в новой современной поэзии по-прежнему мало. Прасолов понимал под ним “могучую мысль и чувство”. Он глубоко переживал, что говорить

о личном, о тоске, о “глухих закоулках” души в наш век стыдно: “Подай общесоюзное чувство — тогда это будет ново, хоть и наигранно. А остальное — “старо, камерно, альбомно”. Разве только что в камерном письме уместно.

Для него Лермонтов — прежде всего человек, “горько и зло” сказавший об этом. Он цитирует строки из лермонтовского стихотворения “Не верь себе” о “тяжёлом бреде души твоей больной иль пленной мысли раздраженье” и, прочитывая их применительно к самому себе и своему творчеству, с горечью признаётся: “. . . если бы я определился в этом, увидел свою человеческую цель, а не литературную, — не метался бы в стихах от сурового слова до романсовой слякоти” (в письме к И. Р. от 21.03.63.)

Трезво анализируя свои неудачи и просчёты на этом сложнейшем пути, Прасолов пишет, что “ему не хочется быть рабом довлеющего факта, не дающего простора основному”, а хочется находить “стержневую мысль”, которая была бы слита с чувством. В качестве примера он приводит в письме от 7.05.63 года набросок стиха: “Стою, не ведая границы, // На час ушедший от людей, // Чтоб снова преданно открыться // Земле — праматери своей. . .” И здесь же — четыре строки из другого, как он сообщает, стиха, оставшегося нам неизвестным:

*И выйдет из арки ворот
Подёнщик с глазами пустыми,
Когда обыденность убьёт
В работе значенье святыни.*

Образ подёнщика “с глазами пустыми”, лишёнными небесного огня, — это образ, таящий в себе “лермонтовский элемент”, облитый “горечью и злостью”. Символ всего того, что более всего ненавидел Прасолов в творчестве. Литературное ремесло и мастерство не должны быть привычкой и самоцелью, иначе можно убить в процессе труда смысл и святое назначение поэта и поэзии.

“Значенье святыни” неизменно и прочно сопрягалось у Прасолова с именем Лермонтова.

В 1964 году в стране широко отмечался юбилей — 150-летие со дня рождения поэта. “Вечером будем смотреть юбилей М. Ю. Лермонтова — в 7.30”, — сообщает он в письме к И. Р. от 15.10.64 года.

Для него это встреча с тем, что он давно знает и любит, и повод ещё раз сказать “коротко — и всеобъемлюще”, назвать свои дорогие лермонтовские строки: “Я не унижусь пред тобою. . .”, “Так храм оставленный — всё храм” — это не круг моих умонастроений, а это — моё бытие. И что люди вспомнили в связи с 150-летием — это закономерно: совесть (нездоровая) утешает себя 50–100–150 и т. п. — летиями”. Написано 26 октября 1964 года в сутолоке вокзала, “на той дольке стола”, что человеку с подорожной по казённой надобности отводит судьба. Вокзалы рождают афоризмы: “А Россия, стихия жизни — за мной”.

К названным лермонтовским произведениям, составлявшим духовное бытие Прасолова, принадлежали также “Дума”, которая неотделима для него от оценки Белинского: “Кто же не услышит в ней своего стона, своего крика!”, и “Демон”.

В его неоконченном рассказе “Постоялец” герой Дмитрий Баженин, alter ego автора, ночью, в чужой комнате, наводя страх на хозяйку, кому-то говоря, “сводя голос до жгучего шёпота”, строки из поэмы:

*Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру,
Слезой раскаянья сотру
Я на челе, тебя достойном,
Следы небесного огня,
И мир, в неведение спокойном...
Пусть доцветает без меня!*

Демон Лермонтова — “весь он — вывернутая мука” — приводит за собой “Демона” (сидящего) Врубеля. “Царевну Лебедь” — “Чисто, глубоко и. . . страшно. А почему — не знаю”. А если бы увидеть оригиналы ещё? Забраться бы в Третьяковку” (в письме к И. Р. от 31.07.64).

“Следы небесного огня” как символы всего “чистого, глубокого и... страшного” вели Прасолова к Блоку — “К Блоку — через Лермонтова” (это его собственные слова в письме к автору от 11.03.63 года, а не литературоведческие построения и домыслы критиков). Точно так же, как — к Тютчеву — к философской поэзии — поэзии мысли, прежде всего.

Именно эти три поэта оказались знаковыми в поэтической судьбе Прасолова, определившими для него столбовую дорогу русской классической традиции, по которой он следовал до конца своих дней.

Сумевший самостоятельно зажечь свои, прасоловские огни во времени (“День и ночь”) и пространстве (“Земля и зенит” — название второй книги, 1968 года), увидевший в небе “разветвление огня” как символ движения, непокая, тревоги, набирающего высоту и снижающегося, идущего на убыль любовного чувства: “Огонь высокий канул в тень, // В полёте превратившись в камень...”, он сумел оставить нам и неповторимый, пластически-осязаемый “слепок” своего голоса:

*А голос в пространстве вечернем,
Какою-то силой гоним,
Метался — огромный, пещерный,
Не сходный с ничтожным моим.*

*И бездна предстала июню:
Я чувствовал близость светил,
Но голос, исторгнутый мною, —
Он к предкам моим восходил.*

В том же 1970 году, когда были написаны эти заключительные строки стихотворения “В ковше неотгруженный щебень...”, за два года до трагического ухода из жизни, Алексей Прасолов, осмысляя свой творческий процесс, в письме к Р. Андреевой-Прасоловой скажет: “Снова кидаюсь в свой мир, а потом оттуда — на лист бумаги, разрывая его, — это хороший признак, который даёт мне движение в моём “всегда”. Мой девятый вал уже захлёстывает меня — внутри, а внешне — не так уж много. Всё ведь идёт только полтора месяца. Я не скопидом — увы! — Бог отнял у меня даже чувство сохранения моего — стихов, писем, дневников, самой своей жизни. Быть может, я поэтом только и живу — хотя бы так...”

Говоря об особенностях утверждения в своём и учителях в поэзии, он здесь же заметил: “С детства — устный (от окружающих) Шевченко, школьные — Пушкин, Лермонтов (ставшие сразу нешкольными для меня), позже, по мере моего углубления — рембрандовский мрак от Лермонтова (даже от глаз его на портрете и от букв его поэзии), идущий к нежному, но такому же (только больше) мрачному Блоку, к ночной душе Тютчеву и дальше...” (Прасолов цитирует по памяти тютчевские: “О, вещая душа моя! О сердце, полное тревоги...” и блоковские: “Благословляю всё, что было, // Я лучшей доли не искал...” строки). И заключит своё размышление следующими словами: “Всё — как бы я о себе, и о тебе. А. Блок. И это для меня — препятствие. Слишком близка жизнь моего сердца и разума его жизни, их жизни. Значит, чтобы по-своему писать — надо по-своему жить: не изменяя, а углубляясь в современную мне жизнь, какой они знать не могли. А ведь она, не повторяясь, повторяет в тебе то, что вечно”.

Лермонтов не повторится. Второго Лермонтова не будет. Однако в приведённых словах нам важно выстраданное понимание поэта постклассической эпохи: писать по-своему — это надо жить по-своему.

Нельзя взять напрокат, одолжить у классиков, как внешнюю одежду, их символы, метафоры, образ жизни — вплоть до судьбы. Как же тогда нужно жить поэту наших дней, чтобы, не повторяясь, не копируя, не одалживаясь у великих, сохранить и развить дальше в своём творчестве тот художественный “элемент” — лермонтовский ли, тютчевский ли, блоковский, — который мы называем вечным?

Будут ли достойны в будущем русская поэзия и её читатель того “священного залага”, что нам оставлен? Хочется надеяться.

Как говорят о погоде, она переходит в область положительных значений.

ГЕОРГИЙ АБСАВА, НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ

КТО УБИЛ ЛЕРМОНТОВА?

15 июля 1841 года в 7 часов пополудни на дороге из Пятигорска в Железноводск лежал, истекая кровью, молодой офицер. Его звали Михаил Юрьевич Лермонтов; через три месяца ему должно было исполниться 27 лет. Свершилось похищение у России гениального поэта, мыслителя и философа во цвете лет, когда в раскалённом горниле его ума выплывали новые поэтические откровения, когда, принеся жертву искупительного покаяния – роман “Герой нашего времени”, – он замыслил создание эпопеи, охватывающей три важнейшие эпохи истории нашей страны. “Если бы Лермонтов был жив, не были бы нужны ни я, ни Достоевский”, – сказал Л. Н. Толстой.

Нам остаётся только с горечью повторить вслед за Д. Андреевым: “Если бы не разразилась пятигорская катастрофа, со временем русское общество оказалось бы зрителем такого – непредставимого для нас и неповторимого ни для кого – жизненного пути, который привёл бы Лермонтова-старца к вершинам, где этика, религия и искусство сливаются в одно... , где мудрость, прозорливость и просветлённое величие таковы, что человечество взирает на этих владык горных вершин культуры с благоговением, любовью и трепетом радости”.

Жизнь Лермонтова, самого загадочного из деятелей русской культуры, окружена завесой тайны, полна белых пятен, недоговорок, вырванных страниц, тщательно зачёркнутых имён; множество его автографов было разворовано, уничтожено или вывезено за границу. Это заставило А. Блока, пытавшегося написать историю его жизни, горестно воскликнуть: “Нищенская биография! Нет фактов для изучения!” Но Александр Александрович оставил технологию изучения: “Нужно провидеть!”

Самой большой тайной, безусловно, остаются обстоятельства дуэли и трагической гибели поэта. Загадки возникают сразу в день рокового поединка: поздно ночью в дом пятигорского военного коменданта полковника В. И. Ильяшенкова приходит корнет Михаил Глебов, объявляет о случившемся и называет себя единственным секундантом. Но утром следующего дня к коменданту является молодой князь Александр Васильчиков и говорит, что он был вторым секундантом. Весьма странно – дуэль было принято держать в тайне, но после неё участники обязаны были сдать властям и признаться во всём.

Утром 16 июля Ильяшенков формирует комиссию для расследования обстоятельств преступления, куда назначает представителей военной комендатуры, полиции, суда и окружной прокуратуры, однако начальник штаба войск Кавказской линии и Черномории полковник А. С. Траскин подключает туда ещё и сотрудника тайной полиции жандармского подполковника А. Н. Кушин-

никова. Тот недавно прибыл в Пятигорск для организации политического сыска и контрразведки. Работы ему хватает – город кишит контрабандистами оружия, отечественными и иностранными шпионами под видом путешественников и отдыхающих и пр. Кушинников никак не подчинён Траскину, но, тем не менее, он не отказывается от этого предложения. Мало того – сразу берёт на себя роль неофициального руководителя и ведёт расследование довольно двусмысленно. Дело было в том, что сразу после того, как привезли тело Лермонтова в Пятигорск, по городу разнесся слух о том, что поединок совершился бесчестно: поэт был убит вопреки правилам. Обитатели Пятигорска собираются у домика, где он жил, среди них слышен ропот. Плац-комендант подполковник Ф. Ф. Унтилов вынужден дважды объявлять собравшимся, что это была дуэль, а не подлое убийство.

Следователям не удаётся установить главное – мотивы убийства. Убийца – отставной майор Н. С. Мартынов, приятель и однокашник Лермонтова по юнкерской школе, – заявляет, что причиной дуэли послужили невыносимые насмешки над ним Михаила Юрьевича: “С самого приезда своего в Пятигорск Лермантов(!) не пропускал ни одного случая, где бы мог сказать мне что-нибудь неприятное. Остроты, колкости, насмешки на мой щёт, одним словом, всё, чем только можно досадить человеку”. Ужасающая картина; бедный Мартынов!

Однако следствие, зная характер Лермонтова, совершенно справедливо сомневается, “не относились ли его слова более к шутке или оскорблению чести вашей”, а в последнем случае – почему тогда он не обратился с жалобой к начальству, а прибегнул к кровавому самосуду. И Мартынов тут же меняет характер показаний: “Поводом же к его остротам было не что иное, как желание поострить – ...я других причин не знаю... Честь моя была затронута не насмешками его, но ...отказом прекратить их и прибегнуть к увещаниям другого рода (то есть к дуэли. – **Авт.**)”. Это умелый юридический ход, сразу снимающий вину с Мартынова: теперь во всём виноват не он, не сумевший понять юмора, а Лермонтов, усомнившийся в способности скромного, но благородного Николая Соломоновича защитить свою честь дворянина и офицера (по тем временам действительно серьёзное оскорбление).

Подельники – секунданты А. И. Васильчиков и М. П. Глебов – сообщают следствию о какой-то ссоре между противниками на вечере у генеральши М. И. Верзилиной, в результате которой последовал вызов со стороны Мартынова. При этом князь Александр Илларионович “долгом своим почитает заявить”, что ссора и последовавшее за ней оскорбление произошло при нём. Однако Мария Ивановна под присягой и при крестном целовании показала, что “неприятностей между ними я не слыхала и не заметила...” И в этом ей можно верить: её три красавицы-дочери на выданье имели не самую лучшую репутацию, и матери приходилось следить за ними и за гостями в оба глаза. Повторно допрошенный Васильчиков тут же отпирается от прежних показаний и заявляет, что он “не был свидетелем насмешек, обидевших майора Мартынова, а узнал об этом позже...” Любопытное и довольно подозрительное поведение молодого князя, юриста по образованию.

Слуги обоих противников, опять же под присягой, в один голос утверждают, что вражды между Лермонтовым и Мартыновым не было и “жили оне в дружбе и согласии... обходились между собою дружески...”

Кроме того, следственная комиссия выявляет ещё ряд подозрительных обстоятельств: ни убийца, ни секунданты не могут толком объяснить, “на эту дуэль из чьей квартиры или из какого места и в какое время выехали... на чём ехали: на дрожках или на верховых лошадях...” Показания всех троих расходятся совершенно. Более того, князь Васильчиков (опять он!) утверждает: “На эту дуэль выехали мы, т<о> е<сть> поручик Лермантов и я, из нашей квартиры, что в доме капитана Чельева (в Пятигорске. – **Авт.**)”. Между тем доподлинно известно и подтверждено документально, что М. Ю. Лермонтов уже 8 июля переехал из Пятигорска в Железноводск. 15 июля, в день дуэли они со А. Столыпным (Монго) приобрели там несколько билетов на ванны. Странное поведение человека, которому через несколько часов предстоит смертельный поединок с разъярённым непримиримым противником. А князя Васильчикова во второй половине этого же дня встретили в Пятигорске дамы Верзилины, причём в таком подавленном состоянии духа, какого они никогда за ним не замечали.

Комиссию интересует вопрос: стрелял ли Михаил Юрьевич? Все утверждают, что нет, не успел. А шустрый князь Васильчиков, как всегда забегая вперёд, заявляет, что “его пистолет я разрядил выстрелом на воздух...” И это опять странно – вопрос о выстреле Лермонтова очень важен, он позволит определить, была ли это дуэль или же убийство под её видом, а князю как юристу прекрасно известно, что заряженный пистолет – это вещественное доказательство. Между тем, когда следствие передало дело в окружной суд, за Мартынова как за “слабое звено” взялись опытные правоведы, имевшие основания подозревать всех троих в “умышленном намерении к лишению Лермантова жизни...” Их подозрения, видимо, разделял и полицмейстер Пятигорска В. А. Бетаки (друг Лермонтова и его однополчанин-тенгинец). Расставив несложную юридическую ловушку – не было ли осечки у лермонтовского пистолета, – они сумели вырвать у Мартынова признание, что “Лермантова пистолета осечки не было...” А осечки у пистолетов знаменитой мастерской братьев Кухенрейтеров и не должно было быть – заряд воспламенялся капсулем, а не ударом кремня. Значит, Михаил Юрьевич всё-таки стрелял. Но почему же он, великолепный стрелок, не попал? Да потому, что не имел такого намерения: жизнь человеческая имела для него, христианина, высокую ценность. Скорее всего, судьям удалось бы узнать правду, однако дело было срочно передано в военное судопроизводство, и новые, изболочившие Мартынова факты остались в черновиках и на суде не фигурировали.

Спустя много лет стало известно, что преступники, находясь под стражей, в изоляции, имели возможность общаться, обмениваясь “записочками” (без сомнения, с санкции жандарма Кушинникова – никто другой не пошёл бы на такое вопиющее нарушение закона), где корректировали и подтасовывали свои показания. Кроме того, впоследствии выяснилось, что на дуэли присутствовали ещё двое: Алексей Аркадьевич Столыпин по прозвищу Монго – родственник и друг Мишеля, секундировавший на его первой дуэли с де Барантом, – и князь Сергей Васильевич Трубецкой, кавалергардский поручик, кстати, сослуживец Дантеса и Мартынова, сосланный на Кавказ за сомнительную любовную интригу с фрейлиной Мусиной-Пушкиной. Полагают, что они-то и были секундантами со стороны Лермонтова (Трубецкой тоже был его родственником: его сестра была замужем за дядей Мишеля, ротмистром А. Г. Столыпиным). Однако они не были привлечены к следствию – Глебов и Васильчиков скрыли их присутствие.

Много ещё подозрительного можно обнаружить в материалах следственного дела, но это, как говорится, всего лишь цветочки.

Читаем свидетельство за № 35 от 17 июля 1841 года, подписанное военным лекарем И. Е. Барклаем-де-Толли: “При осмотре оказалось, что пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра (12-го. – **Авт.**) при срастении ребра с хрящом, пробила правое и левое лёгкое, поднимаясь вверх вышла между пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе прорезала мягкие части левого плеча, от которой раны поручик Лермантов на месте поединка помер”. Иными словами, пуля летела снизу вверх под углом 30–40 градусов к плоскости земли. Такой угол наклона раневого канала абсолютно нетипичен для дуэльной ситуации. Это могло произойти только в 2 случаях:

1. Лермонтов стоял гораздо выше, где-то на склоне горы Машук, а Мартынов, задрав голову, целил в него снизу. Однако правила дворянского поединка чести исключали подобную эксцентричную расстановку противников: секундантам обяваны были найти ровную площадку, выбрать каковую в окрестностях Пятигорска не представляло затруднений. К тому же следственная комиссия, явившаяся 16 июля 1841 года для изучения места преступления, в очень подробном протоколе-описании ни словом не упомянула о каких-либо неровностях рельефа. Здесь необходимо упомянуть, что подлинное место дуэли, к сожалению, утеряно, что было признано ещё в конце XIX века авторитетной комиссией под председательством такого знатока биографии поэта, как П. А. Висковатов. Известный памятник с четырьмя зловещими грифами означает только, что в радиусе нескольких десятков или сотен метров предательская пуля лишила жизни великого поэта и гражданина России. Н. П. Бурляев сообщает, что геодезические исследования эксперта-криминолога Н. Кузовлёва в этой зоне показали, что в любом месте разницы высот между двумя точками, расположенными на расстоянии 25–35 м (таково, по данным следствия, было расстояние между дуэлянтами) не превышает пяти-семи градусов (а должно было бы быть 30–40 градусов).

2. Видимо, более адекватной следует считать гипотезу о том, что в Лермонтова стреляли из “положения лёжа” (К. Н. Паустовский, С. И. Недумов, И. Д. Кучеров, В. К. Стешиц, В. А. Швембергер и др.). Но кто был этот стрелок? Очевидно, что это не Н. С. Мартынов. Был ли это человек из числа участников дуэли? Вряд ли. Не стоит излишне идеализировать дворянство, среди них было немало аморальных людей (в том числе и среди секундантов), но пачкать свои ручки и рисковать свободой они вряд ли собирались – на это есть другие. По Кавказу, где давно шла кровопролитная война, шаталось немало удалцов, привыкших к выстрелам из засады, к крови, ни в грош не ставивших человеческую жизнь, но любивших доступные развлечения, которые требовали денег.

А смехотворным рассуждениям о том, что-де Михаил Юрьевич в момент выстрела пытался отклониться, изогнулся, и это, дескать, обусловило такой угол раневого канала, вполне можно пренебречь. Время, за которое пуля могла преодолеть короткое расстояние между дуэлянтами, по документам – не более 25–35 м, при скорости около 300 м/сек, близкой к скорости звука, намного меньше, чем время реакции даже тренированного спортсмена. Да и не того сорта человеком был М. Ю. Лермонтов, бесстрашный офицер, легендарный храбрец кавказской армии, чтобы уворачиваться от пули.

Равным образом следует отвергнуть предположение о том, что направление полёта пули изменило золотое бандо (тонкий плоский обруч, надевавшийся по тогдашней моде женщинами на голову для удерживания волос), которое поэт выпросил “на счастье” у своей кузины Екатерины Григорьевны Быховец и носил в кармане. Тонкая и к тому же незафиксированная пластинка из мягкого металла не могла быть причиной рикошета. А во-вторых, форменный офицерский сюртук (повседневная одежда военных) не имел нагрудных и внутренних карманов; боковые карманы располагались немного ниже входного отверстия пули – на уровне верхней трети бедра.

И, наконец, давно нужно отбросить доводы о том, что Михаил Юрьевич стоял с очень высоко поднятой рукой, и поэтому кожа на боку оказалась подтянутой вверх, а вернувшись в обычное положение, создала видимость входного отверстия пули ниже 12-го ребра. Такое возможно лишь в том случае, если тянуться рукой очень высоко, что исключается при позиции пистолета на плече дулом вверх (примерно так, по показаниям секундантов, стоял в свои последние мгновения Михаил Юрьевич).

Необходимо также прекратить обвинения доктора Баркляя-де-Толли в медицинской неграмотности и незнании анатомии. Да, он совершил правонарушение, не произведя вскрытия тела Лермонтова, из-за чего не удалось установить подлинные обстоятельства гибели поэта. Врач тем самым нарушил “Наставление для полицейских врачей” от 1829 года, требовавшее обязательного вскрытия тела жертвы преступления. Однако сам он на такое беззаконие никогда бы не решился, несмотря на знатную родню, – Иван Егорович был родственником знаменитого фельдмаршала. Несомненно, его заставил пойти на это офицер спецслужбы – жандарм Кушников, целенаправленно запутывавший следствие (см. ниже).

Предположение о выстреле наёмного убийцы подтверждает необычное для дуэльной ситуации расположение входного и выходного отверстий раны: пуля попала в правый бок, а вышла из левого. В честном поединке направленные её должно было быть от груди к спине. Далее, вызывает удивление слишком большая пробивная сила пули, прошедшей насквозь вдоль длинной оси сечения тела, к тому же поднимаясь вверх, да ещё пробившей на выходе трёхглавую мышцу плеча. Конечно, крупнокалиберные нарезные дальнобойные пистолеты (они принадлежали Монго) были мощным оружием. Их ТТХ неизвестны, но мы можем ориентироваться на характеристики пистолета, из которого был смертельно ранен А. С. Пушкин (эта пара пистолетов недавно экспонировалась в Москве). Тяжёлая пуля весом 10 г калибра 12 мм (автомат Калашникова имеет калибр 7,62 мм, пистолет Макарова – 9 мм, пулемёт ДШК – 12,7 мм) вылетала из ствола со скоростью 300 м/сек (у револьвера системы “Наган” – 240 м/сек, у пистолета ТТ – 420 м/сек). Как уже упоминалось, расстояние между дуэлянтами составляло предположительно 25–35 м, что довольно много для шаровидной пули, которой заржалось огнестрельное оружие того времени. Круглая безоболочечная пуля имела невыгодные аэродинамические характеристики по сравнению с современной цилиндрической

ской и быстро теряла скорость не только от сопротивления воздуха, но ещё и от обратных воздушных завихрений, образующихся сзади летящего шара (сообщено автору ведущим научным сотрудником ЦАГИ, кандидатом технических наук Р. А. Засоловым). Следовательно, кинетическая энергия, определяющая пробивную способность шаровидной пули, снижалась очень резко. Конечно, на таком большом для пистолета расстоянии она не могла нанести столь страшную сквозную рану. Но выпущенная из длинноствольного крупнокалиберного нарезного штуцера (оружия отборных стрелков-егерей), где пуля, находясь дольше в длинном (обычно более 1 м) стволе, приобретала гораздо большее ускорение, — могла, и вполне.

Возникает вопрос: где мог оборудовать огневую позицию наёмный убийца? А вот где. Обратимся к протоколу следственной комиссии, обследовавшей место дуэли: "...проходит в Колонию (Каррас. — Авт.) означенная дорога. От этой дороги начинаются первые кустарники, кои, изгибаясь к горе Машухе, окружают небольшую площадку. Тут-то поединщики избрали место для стрельбы..." Н. С. Мартынов (из показаний следствию): "Мы стрелялись вблизи частого кустарника..." Заросли кавказского кустарника, видимо, были густыми и мощными, коль скоро участники привязывали к ним своих лошадей (это также отмечено в протоколе комиссии). В таких зарослях вполне можно устроить засаду и замаскироваться. Остаётся только привести жертву и поставить её в удобном для выстрела месте.

Но позвольте, ведь сделать это можно только по соглашению с участниками дуэли, случайные совпадения здесь исключены! Всё это может означать только одно — убийца имел сообщников среди участников дуэли! Кто-то хладнокровно продумал план предательского убийства и осуществил его. Кто это?

Алексей Столыпин-Монго, картинный красавец, член "кружка 16-ти", считавшийся другом Мишеля, образцом благородства и чести, по воспоминаниям одних современников, и "красивый манекен мужчины... с глупым выражением лица и уст, которые к тому же были и косноязычны", — по мнению других? Князь Серж Трубецкой, по прозвищу Тишайший, отпетый ловелас, вечно погружённый в сомнительные любовные интриги? Конногвардейский корнет Михаил Глебов, хромалец, рубака, тяжело раненный при Валерике, где он сражался рядом с Мишелем? Пожалуй, нет. Все они были кадровые военные, люди уставные, что, вообще-то говоря, ограничивает инициативу, кроме боевой.

Остаётся молодой князь Александр Илларионович Васильчиков, сын второго в государственной иерархии лица Российской империи — Председателя Комитета Министров и Государственного Совета И. В. Васильчикова, образованный юрист с университетским дипломом, которого Лермонтов, пусть в шутку, называл умником. Он был близок к либерально-западническим кругам, отличался болезненно гипертрофированным самолюбием, имел основания ненавидеть Лермонтова, частенько подтрунивавшего над ним (надо признать, язычок у Михаила Юрьевича был весьма острым). Можно полагать, что молодой князь мог сыграть роль организатора, *мозгового треста* заговора по ликвидации поэта.

Мы уже обратили внимание читателя на странное поведение князя на следствии. Не меньше подозрений вызывает тот факт, что "молодой Васильчиков отправил нарочного в самый день дуэли с известием о ней к своему отцу, который вследствие того тотчас и приехал сюда (в Петербург. — Авт.) прежде, чем могло придти к нему письмо от Левашова" (барон М. А. Корф, Государственный секретарь, лицейский однокашник А. С. Пушкина).

Что это за нарочный, опередивший расторопных казённых фельдъегерей? И как можно успеть так быстро выписать ему подорожную (эта и другие формальности занимали немало времени), если все перипетии злосчастного дня 15 июля закончились поздно ночью? А может быть, Александр Илларионович заранее знал о роковом исходе поединка?

Но ещё более подозрительно вёл себя князь, когда Михаил Юрьевич упал, сражённый пулей: его оставили лежать под ливнем без помощи, а Васильчиков, прихватив с собою потерявшего самообладание (и знаменитую черкеску!) Мартынова, скачет в Пятигорск. Там он передаёт окончательно упавшего духом Николая Соломоновича на попечение слуг, а сам отправляется к двум местным докторам поочерёдно с просьбой приехать на место дуэли, чтобы помочь горячо любимому раненому другу. Но, по его словам, он "получил такой же ответ, что на место поединка по случаю дурной погоды они

ехать не могут (вечером после 7 часов в Пятигорске и окрестностях разразилась проливной дождь. — **Авт.**), а приедут на квартиру, когда привезут раненого...” Но какого же другого ответа ожидал умный Александр Илларионович? Какую помощь могли оказать доктора в степи, во тьме кромешной, под ливнем? К тому же они, неплохие психологи, по-видимому, заподозрили недоброе: если Лермонтов ранен, то почему его не привезли в город, где есть военный госпиталь и квалифицированные хирурги? Ведь у Мартынова, богатого человека, имелись беговые дрожки, на которых он приехал к месту дуэли. Не исключено, что врачи, подозревая нечистую игру и не желая стать козлами отпущения, отказались от вызова. Возмущённый поведением докторов, честный князь возвращается и остаётся у тела Лермонтова с Трубецким, а Столыпин и Глебов едут в Пятигорск, где нанимают у помещика Мурлыкина, сдававшего внаём лошадей и экипажи, телегу, на которой слуги привезли Михаила Юрьевича в Пятигорск примерно к 11 часам ночи. Затем Глебов отправляется к коменданту Ильяхенкову с повинной.

В переводе на сухой язык полицейского протокола это означает, что Лермонтов не был убит на месте, а подавал какие-то признаки жизни (смутные намёки на это можно найти в воспоминаниях Васильчикова и в рассказе Глебова в изложении Эмилии Клингенберг, старшей дочери М. И. Верзилиной). Видимо, поделники опасались, что физически крепкий Мишель может и выжить при своевременной медицинской помощи — со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая вынужденную поездку по этапу в Сибирь. Поэтому “друзья” оставляют его, беспомощного, умирать под холодным проливным дождём, а сами имитируют бурную деятельность по спасению товарища — с целью затянуть время. И цель достигнута: “Когда я возвратился, Лермонтов уже мёртвый (!) лежал на том месте, где упал...” (А. Васильчиков).

Возвращаемся к протоколу осмотра места преступления: “На месте, где Лермонтов упал и лежал мёртвый, приметна кровь, из него изтекшая...” В течение почти полутора столетий было принято считать, что Михаил Юрьевич был убит наповал и умер в течение 1–2 минут от несовместимой с жизнью раны. Сердце поэта перестало биться и создавать повышенное (в сравнении с атмосферным) давление крови в кровеносной сети. Со смертью человека кровяное и атмосферное давление уравниваются и кровотечение прекращается. Однако следователи обнаруживают странные признаки: мёртвый человек пролежал 3 часа под страшным ливнем, дождь должен был начисто смыть все следы крови, но они остались на земле! По ним члены Комиссии без труда определяют то место, где лежал поэт. Объяснение может быть только одно: Михаил Юрьевич оставался жив ещё тогда, когда закончился ливень (после 10 час вечера), и кровотечение продолжалось. А умер он, как и считал один из его первых биографов П. К. Мартынов, при перевозке в город. Этому имеется ряд свидетельств и косвенных подтверждений, в том числе воспоминания слуги Лермонтова гурийца Х. Саникидзе, а также кучера Чухнина, рассказавшего о том, как они с братом на следующий день отмывали залитую кровью телегу.

Известный советский хирург профессор С. П. Шиловцев, в 40–50 годах XX века воссоздавший топографо-анатомическую схему раны Лермонтова, считал, что сердце и магистральные кровеносные сосуды (аорта, лёгочные артерии и вены, а также их крупные ветви) не были задеты; брошенный без помощи под холодным ливнем поэт скончался от болевого шока, коллапса, вызванного кровопотерей, и длительного переохлаждения.

Столь же подозрительно князь Васильчиков вёл себя и спустя много лет. В воспоминаниях и интервью, опубликованных в 70-х годах XIX столетия, он пытался предстать перед читателями в роли преданного друга Михаила Юрьевича, перекладывая вину на Монго, будто бы спровоцировавшего Мартынова на выстрел.

В одной из своих последних публикаций князь сообщил, что позиция Лермонтова была выше, чем у Мартынова, и сократил расстояние между барьерами почти вдвое. Ах, умён был Александр Илларионович и склерозом явно не страдал: он прекрасно помнил, что где-то в пятигорском архиве пылится дело, в котором хранятся компрометирующие его документы о необычном характере раны Лермонтова. Следует заметить, что дело это таинственным образом исчезло из архива в конце XIX века.

На протяжении многих лет князь А. И. Васильчиков, а после его смерти и его потомки пытались ввести в оборот легенду о несносном насмешнике

Лермонтове, якобы даже на барьере не удержавшемся от очередного оскорбления Н. С. Мартынова и обозвавшем последнего дураком, и это-де “переполнило чашу терпения противника, он прицелился, и последовал выстрел” (кн. Б. А. Васильчиков, сын А. И.).

Кто-то из правнуков князя передал его записи об этом англичанину Л. Келли, который включил их в свою книгу “Лермонтов. Трагедия на Кавказе” (слабое произведение компилятивного и неточного характера), и таким образом фальшивка была введена в научный оборот.

Всё вышеизложенное может подтвердить предположение о том, что организатором убийства М. Ю. Лермонтова под видом дуэли являлся князь А. И. Васильчиков. Но если так, то он, новый человек на Кавказе, без местных связей и знакомств, к тому же ещё и штатский чиновник, “подьячий”, не мог обойтись без технического исполнителя. А таковым, по-видимому, мог быть корнет М. П. Глебов, “розовый, красивый, до конца молодежавый, как отрок” (однако недавно С. В. Чекалин установил, что на самом деле Глебов был намного старше, чем принято было считать). Он несколько лет прослужил на Кавказе, знал всех и вся, пользовался доверием в войсках как боевой офицер. Только он мог найти исполнителя заказного убийства: таким людям доверяют, за ними идут. Не исключено, что именно Глебова и Васильчикова имел в виду Мартынов, когда впоследствии писал: “Друзья-таки раздули ссору...”

А. А. Столыпин-Монго и князь С. В. Трубецкой, скорее всего, были вовлечены в заговор случайно. Они были поставлены перед фактом соучастия в предательском убийстве и проявили малодушие, испугавшись огласки и изгнания из благородного общества. Видимо, поэтому они обязались молчать в обмен на сокрытие их присутствия на дуэли. Клятву сдержали все подельники: Васильчиков и Глебов утаили от следствия их участие, и Монго с Трубецким не проходили по делу в качестве фигурантов, и до самой смерти они не проронили ни слова об обстоятельствах дуэли. Правда, Монго в 1849 году во французском журнале “Мирная демократия” опубликовал перевод “Героя нашего времени”, где глухо обмолвился в предисловии о том, что тайна гибели Лермонтова осталась нераскрытой. Однако сделал он это вовсе не для того, чтобы искупить свою вину и почтить память своего друга, а вследствие нужды в деньгах, в чём не постеснялся открыто признаться в письме к сестре, М. А. Бек. Однако здесь уместно поставить вопрос: сам ли Столыпин сделал перевод лермонтовского романа или же он принадлежит другому лицу? Вопрос этот правомерен, ибо князь М. Б. Лобанов-Ростовский, бывший, как и Монго, членом лермонтовского “кружка 16-ти”, и некоторые другие мемуаристы указывают на плохое знание Столыпинным французского, тогда как от переводчика требуется совершенное владение языком. Кроме того, для перевода художественного произведения необходим также и литературный талант, которого Монго был лишён. Лобанов-Ростовский отмечает, что он был “косноязычен”.

Но в таком случае кому могло принадлежать авторство перевода? Уж не самому ли Михаилу Юрьевичу, который, как известно, в совершенстве знал не только французский, но и английский, и немецкий? Не был ли он похищен “друзьями” после смерти поэта? О факте кражи лермонтовских бумаг после его гибели „хищниками” прямо говорит помещик Г. Быховец (отец упомянутой Катеньки Быховец), несомненно, со слов дочери, в письме к издателю Бартеневу. Видимо, по Пятигорску ходили такие слухи. Об этом же косвенно свидетельствуют сделанные Ф. Боденштедтом немецкие переводы неизвестных донине 19 стихотворений Лермонтова. По словам Боденштедта, оригиналы на русском языке ему показал М. Глебов во время их встреч в Тифлисе в 1843–1845 годах. Остаётся только гадать, каким “нелегитимным” путём попали автографы стихов Лермонтова к Глебову (его архив до сих пор не обнаружен).

Заслуживает особого внимания личность Н. С. Мартынова, странного молодого человека, сыгравшего, как принято считать, роковую роль в судьбе поэта. Они были однокашниками в Юнкерской школе, но, возможно, были знакомы с детства (имения бабушки Лермонтова и родителей Мартынова находились неподалеку друг от друга). Есть сведения о дружбе юнкеров Маёшки и Мартышки на почве общей склонности к литературе — они вместе редактировали юнкерский рукописный журнал “Школьная заря”. Впоследствии они поддерживали ровные отношения в Петербурге, в Москве и на Кавказе. Лер-

монтов часто бывал в семье Мартыновых и даже завёл шуточный флирт с одной из его четырёх сестёр – красавицей Натальей. Воспоминания современников рисуют портрет Николая Соломоновича Мартынова – довольно заурядного человека, не лишённого добрых качеств и способностей, но весьма тщеславного и самовлюблённого до нарциссизма. Высокое самомнение, по-видимому, являлось характерной чертой рода Мартыновых, но при этом Николай “был довольно бесхарактерным и всегда находился под чьим-либо посторонним влиянием...” (И. Арсеньев). Подобное сочетание характерологических черт, как известно, не предвещает их обладателям ничего хорошего: такие люди легко становятся игрушкой в чужих недобрых руках.

Мартынов мечтал о блестящей военной карьере, ради этого добровольно перевёлся из придворного лейб-гвардейского Кавалергардского полка (где служил вместе с Дантесом и был с ним в приятельских отношениях) в Кавказскую армию. В свои 25 лет он уже имел штаб-офицерский чин майора и боевую награду – орден Святой Анны 3-го класса с бантом. Но в феврале 1841 года этот честолюбец внезапно ушёл в отставку по собственному желанию. Существует предположение, что его вынудили к этому однополчане, офицеры Гребенского казачьего полка, чтобы не позорить часть, – то ли за трусость в бою, то ли за карточное шулерство. Однако причина навсегда останется тайной – материалы “Дела о возвращении майора Мартынова на военную службу”, начатого всего через месяц (!) после его ухода в отставку, похищены из архивов; осталась лишь обложка дела, “в коем было 8 листов” (М. Давидов).

Николай Соломонович всячески стремился продолжить столь успешно начатую военную карьеру. Его пресловутые черкески с огромными кинжалами были, по сути, формой одежды его Гребенского казачьего полка, которую он имел право носить в отставке, но без эполет. Кстати, над этим пристрастием Мартышки к разукрашенным галунами черкескам подтрунивали все, кому не лень, а не только Мишель, однако это не мешало их приятельским отношениям, о чём имеется немало свидетельств современников. Конечно, у Михаила Юрьевича было мало общего с заурядным Николаем. Но он был приятелем его юности – “добрый малый – товарищ скучный, тягостный и вялый”... Поэт был всегда верен дружбе, даже с такой ординарной личностью. Распространявшиеся впоследствии слухи об их вражде – то ли за насмешки, то ли за вскрытие письма сестёр Мартынова, то ли за якобы оскорбительное изображение Натальи Соломоновны в романе, – не более чем попытки увести от истины (это было установлено И. Л. Андрониковым, Э. Г. Герштейн и О. Миллер). Примечательно, что в дальнейшем Мартынов носил клеймо убийцы великого поэта России легко и даже не без гордости. Сведения о его раскаянии, ежегодных панихидах в день гибели Лермонтова и пр. – всего лишь легенда. Раскаиваться Николай Соломонович начал только на пороге смерти, когда всерьёз стал задумываться, как его встретят Там...

Что заставило этого в общем добродушного, но слабохарактерного, безвольного и тщеславного человека разделить ответственность за преступление, которого он, судя по фактам, не совершал? Страх – и, возможно, страстное желание продолжить военную карьеру; обещание князя Васильчикова помочь в этом могло стоить многого: как-никак, он был сыном всесильного любимца царя. Можно полагать, что дуэль не несла заряда ненависти и злобы, а была затеяна под предлогом реабилитации трусоватого Мартышки. Может быть, что и сам Михаил Юрьевич принял в ней участие, желая помочь товарищу, тем более что через день он собирался уезжать в отряд (12 июля Лермонтов и Столыпин представили свои подорожные в пятигорскую комендатуру и ожидали только выплаты прогонных денег от военной казны). А дальше – Васильчиков и Глебов под прикрытием экстремальной ситуации поединка, где возможны любые случайности, осуществили свой предательский замысел. После этого они заставили Мартынова, оказавшегося в безвыходной ситуации, взять на себя страшный грех убийства друга. В альтернативе – прослыть убийцей или покаяться в преступлении, в котором он не был виновен, – Николай Соломонович выбрал первое.

Что двигало этими людьми, организовавшими преступление? Ведь не такто просто для христианина презреть заповедь Божию “Не убий!” и решиться на хладнокровно обдуманное убийство товарища. К тому же и земное наказание за это полагалось суровое – лишение чинов, дворянского достоинства и ссылка в Сибирь в каторгу (смертной казни в России не существовало

с 1744 года). Безусловно, у них могли быть личные причины – обида, уязвлённое самолюбие, ревность, соперничество и т. д., которые могли вызвать ненависть к поэту. Но одними личными причинами такое преступление объяснить трудно. Здесь явно просматривается чья-то могущественная рука, умело направлявшая их (и, возможно, гарантировавшая безопасность). Кому она принадлежала?

* * *

В советском, да и, пожалуй, в дореволюционном лермонтоведении было принято обвинять Николая I, инспирировавшего убийство поэта: будто бы император ненавидел его за свободолюбивые стихи, дважды ссылал на Кавказ под пули горцев, а когда они не достигли цели, послал жандармов для его ликвидации путём дуэли. Однако эта гипотеза не выдерживает серьёзного анализа: в вольнодумстве Лермонтов не был замечен, о смене форм правления в России не помышлял, антимонархических выпадов не допускал (с этой точки зрения у царя было больше поводов ненавидеть А. С. Пушкина, масона и дерзкого вольнодумца в молодости, однако он относился к поэту благожелательно). Считать же, что Николай как первый дворянин Империи обиделся за оскорбление всего дворянства в стихотворении “На смерть поэта”, нелогично. Нельзя же предъявлять подобные претензии человеку, которому шеф его тайной полиции А. Х. Бенкендорф писал в секретном аналитическом докладе за 1836 год: “В народе толкуют, что всему злу виною господа, то есть дворяне”. Да и мог ли уважать дворянское сословие царь, прекрасно знавший, что его деда Петра III и отца Павла I свергли с престола и убили русские дворяне – в результате интриг Англии и за британское золото. Крепостное право, за которое они цепко держались, было источником внутривластной нестабильности из-за постоянных крестьянских волнений и тормозом промышленного развития страны вследствие отсутствия свободных рабочих рук. Не зря император и Бенкендорф считали крепостничество “пороховым погребом под государством”. Но царь и дворянство были тесно связаны в “порочном кругу”: дворяне нуждались в царской власти как институте, освящавшем крепостничество, а царь нуждался в них как в единственном образованном классе общества, откуда он черпал кадры для госадминистрации и армии. Сознывая всё это, Николай I постоянно, но втайне работал над проектом освобождения крестьян от крепостного права (известно, что с этой целью им было создано последовательно около десятка тайных комиссий, работавших над проектом). Однако осуществить его удалось только его сыну Александру II, использовавшему идеи отца.

В первый раз монарх выслал Лермонтова на Кавказ из-за волнений, возникших после смерти А. С. Пушкина, и понять его, взошедшего на престол хмурым декабрьским днём под грохот русских пушек, стрелявших в русских людей, можно. Вторая ссылка Михаила Юрьевича произошла отчасти из-за его опрометчивого объяснения с де Барантом на гауптвахте, которое клеветники поспешили истолковать превратно – как повторный вызов на дуэль; но в большей степени – из опасения испортить и без того натянутые отношения с Францией конфликтом с её дипломатом: в это время разразился острый кризис отношений двух стран в ближневосточной политике. Русский посол граф Пален демонстративно выехал из Парижа и отсиделся в Петербурге. Мир напряжённо ждал, вернётся ли Пален во Францию, ибо его невозвращение означало войну. М. Ю. Лермонтов явился в известной степени жертвой, принесённой на алтарь русско-французских отношений, на что указывала Э. Г. Герштейн.

Николай I высоко оценивал художественные достоинства лермонтовского романа: “Я прочитал всего “Героя...”, который написан превосходно”. Неприятие у самодержца вызвал образ Печорина: “Это та же картина отвратительных фанатических нравов, которые встречаются в сегодняшних иностранных романах. Именно от таких романов портятся характеры и нравы... т<ак> к<ак> в итоге вырабатывается привычка верить, что мир состоит только из подобных людей, и в нём лучшие поступки вызываются лишь негодными и грязными побуждениями; каков же должен быть результат? Презрение или отвращение к роду человеческому”. К сожалению, у царя и поэта были

разные цели. Роман Лермонтова явился актом “искупительного покаяния”, как назвал его сдружившийся с ним славянофил Ю. Ф. Самарин. В романе были вскрыты опухоли и гнойники современного общества — установлен диагноз болезни, лекарства от которой Михаил Юрьевич не знал. Царю же было хорошо известно о наклонности общества подражать литературным образцам, что, безусловно, осложняло его задачи по управлению огромной страной, где дураки и дороги — ещё не самое большое зло.

Можно полагать, что Николай I желал наказать Лермонтова гарнизоной скукой в глухой провинциальной дыре, поместив его среди солдат и офицеров одного из самых славных полков кавказской армии — 78-го Тенгинского пехотного, и обратить к продуктивному творчеству. Именно в этом полку в тот же период был совершён беспримерный подвиг — рядовой Архип Осипов, оставшись последним защитником укрепления Михайловское, взорвал пороховой погреб. Герой погиб, но вместе с ним взлетели на воздух несколько десятков горцев, ворвавшихся в укрепление. В ознаменование героического подвига впервые в истории русской армии по приказу царя имя Архипа Осипова было навечно внесена в списки Тенгинского полка. Возможно, это и имел в виду самодержец, когда писал жене в Эмс (курорт в Германии, где она находилась на лечении): “Характер Капитана (Максим Максимыч. — Авт.) прекрасно описан... я надеялся и радовался, что, вероятно, он и есть Герой нашего времени. В Кавказской армии их число, безусловно, велико — о чём редко хотят знать... Счастливого пути, мсье Лермонтов, ему нужно только прочистить голову внутри той среды, где он найдёт, что завершить свой характер Капитана...” Остаётся добавить, что Тенгинский полк как понёсший большие потери по царскому приказу был выведен на отдых и пополнение, стоял гарнизоном в Темир-Хан-Шуре (ныне г. Буйнакск) и в Анапе. В боевых походах 1840 года, где героически отличался Лермонтов и был дважды представлен к высоким боевым наградам, а также 1841 года тенгинцы не участвовали.

Версией о царе, пославшем для убийства поэта жандарма Кушинникова, можно пренебречь как недостоверной. Лермонтов выехал из Петербурга 14 апреля 1841 года в Темир-Хан-Шуру, где стоял гарнизоном его полк. А подполковник А. Н. Кушинников за день до этого отправился в Пятигорск со спецзаданием по усилению контрразведывательной работы и, безусловно, не мог знать, что Михаил Юрьевич окажется в городе: они с Монго по приказу командования следовали на левый фланг в отряд генерала Засса, и их остановка в Пятигорске для лечения была неожиданной. К тому же на Кавказе в условиях войны, где опасности подстерегали офицера не только в боях и походах, но и в пути, было абсолютно нецелесообразно прибегать к столь ненадёжному способу ликвидации, как дуэль. Предоставим слово такому авторитетному эксперту, как знаменитый покоритель и „проконсул” Кавказа, генерал А. П. Ермолов. Он познакомился с Лермонтовым зимой 1841 года, когда Михаил Юрьевич по пути в отпуск в Петербург завёз ему конфиденциальное письмо от генерала П. Х. Граббе, командующего войсками Кавказской линии и Черномории. Узнав о гибели поэта, Алексей Петрович писал: “Уж я бы не спустил этому Мартынову... Я бы его спровадил; там есть такие дела, что можно послать да вынудши часы считать, через сколько времени посланного не будет в живых...” Ермолов очень высоко ценил Лермонтова: “Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знатный: таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождёшься...”

Но если не монарху, то кому же нужна была смерть М. Ю. Лермонтова? Чтобы это понять, необходимо рассмотреть подводные политические течения, которые постоянно протекали и протекают в недрах страны, то укрепляя, то подтачивая её государственные устои, будь то в Киевской или Владимиро-Суздальской Руси, Великом княжестве Московском, Российской империи, СССР или Российской Федерации. Дело заключается отнюдь не в регулярном чередовании “лысых и волосатых” правителей — царей, генсеков, президентов. Суть в другом: в не менее поражающей своей ритмичностью смене диаметрально противоположных концепций государственного развития, предполагающих вхождение в семью европейских народов на правах равноправного члена или самостоятельный, самобытный, независимый от Запада вектор движения России с элементами изоляционизма. Сложившиеся в 40-х годах XIX столетия антагонистические группировки, выразители этих политических тенденций — западники и славянофилы — составляли лишь надводную часть

айсберга. Западничество и славянофильство не являлись агрессивными течениями; противостояние двух мировоззрений было, скорее, полемическим. Однако внутри слоев тогдашней правящей элиты, да и нынешней тоже, борьба идей носила и поныне носит гораздо более ожесточённый характер (разрушение СССР в значительной степени обусловлено этим фактором). Идеологическая схватка внутри страны разворачивалась на фоне весьма неблагоприятной внешнеполитической обстановки и обуславливалась мощными геополитическими процессами.

Французская буржуазия, получившая власть в результате революционного взрыва в июле 1830 года, когда на трон взошёл „король банкиров” Луи-Филипп Орлеанский, стремилась избавиться от диктата Священного Союза континентальных государств, в первую очередь, России, Австрии и Пруссии. С другой стороны, влияние России препятствовало планам Англии по либерально-революционному раздроблению крупных держав, что могло облегчить британцам доминирование в Европе и господство на морских коммуникациях. Восточная политика Николая I, приведшая к установлению добрососедских отношений с Турцией и Ираном, а особенно русское военное присутствие в Дарданелльском проливе также вызывало беспокойство у английского правительства. Оно панически боялось выхода России на океанские межконтинентальные пути и прорыва в Индию – сокровищницу британской короны. Великобританию никогда не волновали территориальные склоки на европейском “пяточке”. Но стоило какой-либо стране начать укрепление своей морской мощи, тут же английский бульдог показывал свои клыки. Сила английской колониальной империи заключалась в военно-морском флоте, господствовавшем на межконтинентальных морских путях; но угрозы им гордые сакусы не терпели, и дерзкого соперника ожидала агрессия со стороны коалиций европейских стран, сколоченных на английское золото. Вот что толкнуло в объятия друг друга двух застарелых врагов – Англию и Францию: в атлантистский блок их объединил, в первую очередь, страх перед растущей морской мощью Российской империи. Первым симптомом этого не совсем естественного союза явилось разращение в 1841 года королевского правительства Великобритании на вывоз гроба с телом Наполеона с принадлежавшего Англии острова Святой Елены. Процедура эта вылилась в национальный праздник французов: на всём пути в Париж были выстроены войска, гремели салюты, стояли толпы народа, военные оркестры играли марши наполеоновской армии. И это был открытый вызов России, отказ от установившегося в Европе с 1815 года *status quo*. Союзники планировали ликвидировать русское влияние военным путём, но пока ограничивались ожесточёнными антирусскими пропагандистскими кампаниями в европейской прессе. Не случайно, что в этот период Россию посетил небезызвестный маркиз де Кюстин, отблагодаривший нас за гостеприимство клеветнической книжонкой “Россия в 1839 году”, и совершенно не случайно юный де Барант приехал в Петербург с глубокоим убеждением, что “северные варвары” лишены чувства чести и достоинства.

Трудно исключить, что именно этими международными обстоятельствами объясняется мягкий приговор убийцам Лермонтова: князя Васильчикова и корнета Глебова простили, а Мартынова Святейший Синод направил на церковное покаяние в течение 15 лет – странное наказание для офицера в высоком чине майора, кавалера боевого ордена, как уличённого в пьянстве и прелюбодеянии дьячка (Мартынов регулярно бомбардировал правительство просьбами о прощении и был освобождён от наказания через 4 года). Мы предполагаем, что императору были известны все подробности убийства поэта от агентурной сети 3-го отделения собственной Его Величества канцелярии (тайная политическая полиция). Документально подтверждено, что уже на следующий день после дуэли жандармский подполковник Кушинников сообщил о трагедии своему шефу А. Х. Бенкендорфу, добавив: “Почтительнейше доношу об этом Вашему Сиятельству, имею честь присовокупить, что откроется по следствию, не замедлю представить особо...” А следствию могло открыться очень многое: по Пятигорску ходили зловещие слухи о тёмных обстоятельствах поединка. Недаром боевой товарищ Мишеля юнкер Руфин Дорохов говорил впоследствии писателю А. В. Дружинину: “Дуэли не было – было убийство”. А служака Кушинников информировал своё начальство регулярно: с середины мая по середину июля им было направлено 16 рапортов в Петербург.

Мог ли в таких условиях Николай I допустить огласку позорящих страну событий? Конечно же, нет. Возможно, поэтому при его жизни ни один из участников роковой дуэли не получил разрешения на выезд за границу. Однако императору пришлось принять ложную версию, оправдывающую соучастников, в первую очередь Мартынова, об оскорблении его сестёр. И. Л. Андроников установил, что она была предложена в ходе следствия жандармом Кушинниковым. Кстати, этому человеку, изрядно-таки запутавшему расследование, мы обязаны тем, что следственное “Дело” всё же дошло до нас, хотя и не полностью: он снял копии с важнейших документов, а затем доставил их в Петербург, так как вскоре был отозван, не окончив своего служебного поручения, для доклада на Высочайшее имя. А оригинал следственного дела, равно как и “Дела Военного Суда” бесследно исчезли из городского архива ещё во 2-й половине XIX века. До хранилища документов спецслужбы руки похитителей дотянуться не могли (“Дело” впервые было опубликовано только в 1992 году Д. А. Алексеевым). Архивы Р. И. Дорохова и А. В. Дружинина также пропали после их безвременной кончины.

* * *

Возвратимся в напряжённую политическую обстановку 40-х годов. Франция и Англия параллельно с информационной войной против России готовились к прямой военной агрессии. Нельзя также забывать, что фактически с 1834 года на Кавказе шла настоящая война против непокорных – *немирных* – горских племён, спровоцированная и поддерживаемая союзниками: концепция “пояса нестабильности” по южным границам России была разработана уже в то время.

Вооружённое вмешательство не заставило долго себя ждать. В 1854 году в результате недалёковидной и, возможно, как считал Ф. И. Тютчев, предательской политики российского МИДа, возглавляемого графом К. В. Нессельроде (“Нет, карлик мой, // Трус беспримерный...” – Ф. Тютчев), объединённые войска Франции, Великобритании, Турции и Пьемонтского королевства при угрожающем нейтралитете Австрии и Пруссии (недавних союзников России) вторглись на Крымский полуостров и осадили Севастополь, главную базу Черноморского флота. Крымская война закончилась неудачно – Севастополь пал. Называют много причин поражения России: и недостаток парусов, особенно винтовых, и малое количество нарезных дальнобойных винтовок, и отсталую военную тактику, в том числе штыковые атаки в сомкнутом строю... Со всеми этими доводами можно согласиться, но основной причиной явилась неготовность России к противостоянию практически всей Европе. Почти вся огромная русская армия была сконцентрирована на западной границе – из опасения вторжения Австрии, выдвинувшей на свои границы армию в 500 тысяч человек, а защитники Севастополя постоянно страдали от недостатка людских резервов.

По условиям Парижского мирного трактата Россия потеряла право держать военный флот на Чёрном море, тем самым важнейшая доходная статья госбюджета – хлебный экспорт из Одесского порта в Европу через Босфорский и Дарданелльский проливы – подпадала под контроль Турции, а следовательно – под контроль Англии и Франции. Это ставило страну в кабальную зависимость от них и низводило некогда могущественную Российскую империю до уровня второстепенной державы. Эпоха доминирования России в Европе закончилась. Зато известный чревоугодник и “австрийский министр русских иностранных дел” К. Нессельроде получил возможность радостно сказать французскому певцу Лаблашу после заключения позорного Парижского трактата: “Поздравим друг друга: в этом году мы поедем к вам есть макароны” (А. Ф. Тютчева, дочь Ф. И.).

Великобритания, обладавшая самым мощным флотом в мире, имела слабую армию, поэтому её война с Россией напоминала бы бой кита со слоном. Сильную, многочисленную и храбрую армию содержала Франция. Именно французская пехота, спецназ (“зуавы”) и артиллерия сыграли решающую роль в осаде Севастополя и взятии в результате третьего генерального штурма Южной стороны (напомним читателю, что тогда интервентам удалось захватить укрепленные предместья, а сам город остался русским; однако “ци-

визированные” захватчики за несколько часов пребывания разграбили всё, что можно, не пощадив могил адмиралов Лазарева, Корнилова и Нахимова). История дуэлей двух величайших наших поэтов в этом контексте может приобрести особый интерес для равнодушного исследователя, если принять во внимание ту гигантскую пропагандистскую работу, которая тогда проводилась в европейском стане в целях подготовки Франции как главной ударной силы против России.

Для разрушения согласия двух народов необходимы исключительные причины; если их нет, то их нужно создать. При этом чем чудовищнее ложь, тем скорее в неё поверят, тем лучше для достижения цели, как утверждал недоброй памяти Й. Геббельс, министр пропаганды гитлеровской Германии. Всегда найдутся средства массовой информации, которые сумеют настроить общественное мнение в нужную сторону, поэтому нельзя исключить, что русско-французские дуэльные конфликты А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова инспирировались именно с такими целями. Признавая зловещую роль Дантеса и его так называемого “приёмного папашки” Геккерена, трудно в то же время отрицать какую-то силу, толкавшую их на кровавое столкновение с Пушкиным. Равным образом нагло спровоцированная дуэль Лермонтова с де Барантом (и даже практически на одном и том же месте – на Чёрной речке, Голгофе русских поэтов), возможно, преследовала те же цели. Социально-политическое значение обоих европейски признанных светочей русской культуры должно было подчеркнуть степень тяжести оскорбления Франции.

Поэтому император Николай I вынес Дантесу, французскому подданому на русской службе, столь мягкий приговор за оскорбление семейной чести и человероубийство: разжалование в солдаты и высылка в Европу. Видимо, и показное невнимание правительства к дуэли Лермонтова с французским дипломатом объяснялось нежеланием осложнять и без того натянутое до предела отношения с Францией, как указывала Э. Г. Герштейн. Отказ в продлении отпуска и поспешная высылка Михаила Юрьевича из Петербурга в 48 часов также поддаётся объяснению в политическом контексте: он был вынужден выехать на Кавказ 14 апреля, а всего два дня спустя, 16 апреля 1841 года состоялось торжественное бракосочетание наследника цесаревича Александра Николаевича, будущего императора Александра II, с великой княгиней Марией Александровной, урождённой принцессой Вильгельминой Гессен-Дармштадской. Зная независимый и гордый характер поэта, власти не без основания опасались, что потаённые враги России сумеют спровоцировать его новый конфликт с кем-нибудь из высокопоставленных иностранных гостей, страдающим повышенным содержанием адреналина в крови.

М. Ю. Лермонтова опасалось не только правительство, но и космополитические русофобские круги, стремившиеся насильно втащить страну в чуждую ей европейскую цивилизацию, где России была уготована третьестепенная роль; ещё больше оснований для опасения имела аморфная либерально-западническая масса мелкого и среднего дворянства, подражавшего аристократическим салонам. Всё это были потомки безродных иностранцев, нахлынувших в Россию “на ловлю счастья и чинов”: внуки екатерининских фаворитов, ценой позора достигших богатства и почестей; обломки древних боярских родов, в которых не осталось ничего русского, Для этих кругов дворянской интеллигенции, пропитанной западным духом на крутой русофобской закуске, не знавших и не любивших своей родины (а зачастую и родного языка), имя Лермонтова превращалось в угрозу. Своим блистательным поэтическим даром он объединял пламенный русский патриотизм и искреннюю православную религиозность. Нашествие Наполеона и “двунадесятый язык”, когда враг впервые за много столетий вторгся на исконно российские земли, всколыхнуло в народе высокие национальные чувства. И если А. С. Пушкин, чуждавшийся политической деятельности, был признан, сам того не желая, главой патриотических русских кругов, то М. Ю. Лермонтов с его сильной волей, недюжинным честолюбием и выраженными лидерскими качествами мог возглавить *русскую партию*.

“Мы волновались, приходили в глубокое негодование. Пылали от всей души... – так нас подымала сила лермонтовских стихов, так заразителен был жар, пламеневший в этих стихах. Наверяд ли когда-нибудь ещё в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление...” – так охарактеризовал знаменитый критик В. В. Стасов магнетическое воздействие по-

эзии Лермонтова на умы. Вот что может сделать один человек, но человек гениальный!

Михаил Юрьевич не оставил записей о своих политических взглядах, но некоторые его высказывания позволяют думать о его близости к евразийской геополитической модели развития России. Н. В. Гоголь отметил общность его взглядов с некоторыми концепциями славянофильства (кстати, в последние годы жизни Лермонтов сдружился с идеологами и вождями славянофилов: А. С. Хомяковым, Ю. Ф. Самариним, П. В. Киреевским. Однако, в отличие от них, Михаил Юрьевич не верил в панславистскую идею объединения западных славян, особенно поляков, вокруг России, высоко оценивал значение западно-цивилизационных реформ Петра Великого, которое отрицали славянофилы, признавал необходимым заимствовать многое из Европы в плане образования и научно-технического прогресса. Вместе со всем этим проницательный Гоголь догадался и его нелюбви к европейской модели цивилизации. “Это стремление шагать в ногу с Европой задержало наше развитие Бог весть на сколько лет... Сколько можно тянуться за Европой? Мы должны жить своей самостоятельной жизнью и внести своё самобытное в общечеловеческое, – говорил Михаил Юрьевич своему другу и издателю А. А. Краевскому. – Зачем нам всё тянуться за Европой и за французским... Я многому научился у азиатов, и мне хотелось бы проникнуть в тайны азиатского мирозерцания... Там, на Востоке хитник богатых откровений...”

На этом основании мы предполагаем, что М. Ю. Лермонтов был именно “евразийцем” – сторонником движения страны в азиатском направлении, расширения России на Восток. Эта политическая концепция особенно ярко отражена в его, как нам кажется, единственном “программном” стихотворении “Спор”: с какой-то космической точки, охватывающей огромное пространство от Урала до Дуная, поэт созерцает движение русских полков: скачут уланы, поднимая пыль, трясётся земля от тяжкого шага пехоты, дым пушечных фитилей застилает горизонт. Это движение России на Восток, на Кавказ. Вслушайтесь в ритм и размер стихов: это же мерная дробь боевых барабанов; не яростный призыв к атаке, а сигнал “поход”: русские идут!

* * *

Поэт в России – ещё и пророк, и учитель. Современники А. С. Пушкина отмечали его всё возрастающее влияние на императора. Не случайно многие (даже спецслужбы и некоторые члены дипкорпуса, например, прусский посол фон Либерман) считали Александра Сергеевича главой *русской партии*. Однако он был не политическим, а, скорее, духовным вождём патриотических сил, хотя вовсе не стремился к политической деятельности. Его боялись “некоторые из коноводов нашего общества, в которых нет ничего русского” (кн. П. А. Вяземский, из письма к графине Э. Мусиной-Пушкиной). По-видимому, того же они ожидали и от Лермонтова – его звезда стремительно всходила на поэтическом небосклоне России, его популярность росла гигантскими шагами. Кроме того, у него было то, чего полностью был лишён Пушкин: честолюбие, сильная воля, способность увлекать за собой людей, – словом, все качества, необходимые политическому вождю. Лермонтов неминуемо должен был превратиться в духовного лидера, способного возглавить и увлечь за собою патриотические круги и направить страну на её самобытный национальный путь развития, отрицающий западные либеральные ценности. Однако бунта против своей касты не прощают. Обоих поэтов окружили ядовитым туманом клеветы, а потом прибегли к свинцу. Кому было это выгодно, кто это сделал?

“Маленькая горсточка людей, по своему воспитанию и образу жизни ставших совершенно чуждыми своей стране, деморализованных жизнью среди роскоши... родина которых – итальянская опера и французский ресторан... а единственный нравственный закон – достижение наибольшего материального благополучия...” (А. Ф. Тютчева).

“Лермонтов убит. Его постигла одна участь с Пушкиным. Невольно сжимается сердце, и при новой утрате болезненно отзываются старые. Грибоедов, Марлинский (А. А. Бестужев. – **Авт.**), Пушкин, Лермонтов... Становится страшно за Россию при мысли, что не слепой случай, а какой-то приговор судьбы поражает её в лучших из её сыновей: в её поэтах. За что такая напасть... и что выкупают эти невинные жертвы?” (Ю. Ф. Самарин).

АНДРЕЙ РУМЯНЦЕВ

“МЕЛЬКАЮТ ОБРАЗЫ БЕЗДУШНЫЕ ЛЮДЕЙ...”

У лермонтовской драмы “Маскарад” оказалась странная судьба. Ко времени создания пьесы, к осени 1835 года, Михаил Юрьевич написал много стихов и поэм, попробовал свои силы в прозе, но дебютировать в литературе решил произведением драматическим. Он передал рукопись “Маскарада” в цензуру, надеясь поставить пьесу на сцене Петербургского императорского театра.

Однако драма была отклонена. Цензору не понравилось, что порок в пьесе не наказан, а мнение главного героя о костюмированных балах в доме богача В. Энгельгардта, вроде:

*Весь этот пёстрый сброд — весь этот маскарад¹
Ещё в уме моём кружится, —*

было сочтено неслыханно дерзким и оскорбительным: на этих балах бывали и царствующие особы.

Несколько месяцев Лермонтов переделывал драму по замечаниям цензуры, потом вновь представлял её в Третье отделение, — но тщетно. До гибели поэта пьеса так и не была разрешена к постановке. Только в 1842 году в сборнике “Стихотворения М. Лермонтова”, втором и наиболее полном к тому времени собрании стихотворений поэта, издателям удалось напечатать “Маскарад” с цензурными купюрами. А до появления на сцене пьесе предстоял ещё долгий путь. В 1847 году любительский театр в городе Галиче сыграл фрагменты из драмы. Через пять лет несколько сцен из “Маскарада” показал Александринский театр в Петербурге. При этом пьеса была дописана “соавторами”: Арбенин отравлял Нину ядом, а после решительного приговора самому себе закалывался кинжалом. Наконец, в 1862 году драму поставил московский Малый театр, но и здесь она подверглась переделкам и сокращениям. В частности, многие обличительные строки были из неё изъяты.

Таким образом, критика первой половины девятнадцатого века не имела возможности познакомиться с неискажённым произведением Лермонтова. Виссарион Белинский, оставивший блестящие и подробные разборы “Героя нашего времени”, стихотворений и поэм нового гения, лишь вскользь упомянул “Маскарад” в рецензии на посмертную книгу Лермонтова.

¹ Написание слова авторское.

“Они, — писал он об издателях сборника, — заслуживают благодарности со стороны публики, что поместили в изданное ими собрание стихотворений Лермонтова и такие пьесы, как “Хаджи Абрек”, “Казначейша”, “Сосна”, “Парус”, “Желание”, “Графине Ростопчиной”, “Ангел”, “М. П. Соломирской”, “В альбом автору “Курдюковой”, “Два великана”, “Ты помнишь ли, как мы с тобою...” и драму “Маскарад”; сам поэт никогда бы не напечатал их¹, но они, тем не менее, драгоценны для почитателей его таланта, ибо он и на них не мог не наложить печати своего духа, и в них нельзя не увидеть его мощного, крепкого таланта: так везде видны следы льва, где бы ни прошёл он...”.

Из крупных критиков второй половины XIX века ни А. Добролюбов, ни Д. Писарев, ни Н. Михайловский, ни Н. Чернышевский не оставили своих суждений о лермонтовской пьесе.

Очень бегло и, можно сказать, снисходительно отозвался о ней Аполлон Григорьев в статье 1862 года, примечательно названной: “Русский театр. Современное состояние драматургии и сцены”. “В литературе, — рассуждал критик и поэт, — есть юношеская попытка Лермонтова “Маскарад”. Дика она, нескладна своею постройкою, пожалуй, подражательна, но ведь если она подражание “Отелло”, то ведь подражание сто первое, у compris² “Коварство и любовь” Шиллера. Но ведь тут есть громадное лермонтовское лицо — Арбенин, здесь есть гениальные намёки на типы, из которых хорошие артисты могут досоздать типы: здесь есть игрок Казарин, князь Звездич, баронесса Штраль. Драма не сценична? Что ж за дело? Её можно посократить, но с толком. Опять, должно быть, нравственность мешает. Виноваты, однако, те, кто лет десять тому назад давали сцены из “Маскарада”³. Бедный, общипанный лермонтовский “Маскарад”, в котором Арбенин закаляется после отравления Нины, со словами: “Умри ж и ты, злодей!” (сколь это чувствительно!) — тоже, должно быть, ради специальной нравственности, не допускающей совершиться над ним лютой казни сознания. А какие это сцены для настоящего трагика — сцены Арбенина у гроба Нины, и Арбенина, узнающего от своего врага свою ужасную ошибку! Недаром покойнику Мочалову так хотелось играть Арбенина и — увы! — не удалось его сыграть ни разу”.

Отчасти Григорьева и тех критиков, кто писал о “Маскараде” позже, можно оправдать: цензурные сокращения и бесцеремонные переделки исказили произведение Лермонтова, в немалой степени выхолостили из него глубокое нравственное и философское содержание.

И всё же поразительно: в конце девятнадцатого века и в начале следующего драма уже ставилась на сценах России, но её “подпольная” жизнь продолжалась. Критика писала о ней редко и поверхностно. Создаётся впечатление, что в течение многих десятилетий русский читатель и зритель не подозревал, что в отечественной драматургии есть такой шедевр — “Маскарад”.

* * *

По сведениям исследователей, существовало девять рукописей драмы, имевших следы авторских переделок и поправок. Основным вариантом считается не сохранившаяся трёхактная редакция. Из сохранившихся же трёх редакций в наши дни печатается и ставится в театрах четырёхактный вариант.

Лермонтов приступил к созданию “Маскарада”, уже зная многие тонкости драматического искусства. В пору учёбы в Московском университете, а затем в Петербурге, во время занятий в Школе гвардейских подпрапорщиков и службы в лейб-гвардии Гусарском полку, поэт охотно посещал театры. Пьесы отечественных и зарубежных авторов, игра знаменитых актёров — постоянные темы разговоров с друзьями; замыслы трагедий и драм, самых невероятных и экзотических сюжетов наполняли страницы его записной тетради. Уже первые стихи и поэмы Лермонтова показывали его умение передать силь-

¹ Белинский считал, что такие жемчужины лирики, как “Парус” (“Белеет парус одинокий...”), “Желание” (“Отворите мне темницу...”), “Графине Ростопчиной” (“Я верю: под одной звездою...”) и другие, “не принадлежат к лучшим” в творческом наследии Лермонтова.

² Включая (франц.)

³ А. Григорьев имеет в виду исполнение сцен в Александринском театре.

ные переживания человека, объяснить необычный, часто не подвластный сухому рассудку поступок. Интересно, что одна из первых пьес поэта называлась “Люди и страсти”. Для лермонтовской драматургии это некий символ: во всех сценических произведениях молодого автора кипят сильные, необузданные страсти; все трагические происшествия – результат действия романтически возвышенных или житейски грубых чувств. И в классических драмах мировой литературы Лермонтова увлекает, прежде всего, борьба страстей. Он хорошо понимает, чем завораживают сочинения великих европейских драматургов. Ещё в 1831 году (или, по другим сведениям, – в 1832-м) юный Мишель поясняет в письме к своей тетушке Марии Шан-Гирей творческие приёмы создателя “Гамлета”:

“Вступаюсь за честь Шекспира. Если он велик, то это в “Гамлете”, если он истинно Шекспир, этот гений необъемлемый, проникающий в сердце человека, в законы судьбы, оригинальный, то есть неподражаемый Шекспир, – то это в “Гамлете”. Начну с того, что имеете вы перевод не с Шекспира, а перевод перековерканной пьесы Дюсиса, который, чтобы удовлетворить приторному вкусу французов, не умеющих обнять высокое, и глупым их правилам, переменял ход трагедии и выпустил множество характеристических сцен; эти переводы, к сожалению, играют у нас в театре. Верно, в вашем “Гамлете” нет сцены могильщиков и других, коих я не запомню.

“Гамлет” по-английски написан половина в прозе, половина в стихах. Верно, нет той сцены, когда Гамлет говорит со своей матерью, и она показывает на портрет его умершего отца; в этот миг с другой стороны, видимая одному Гамлету, является тень короля, одетая, как на портрете; и принц, глядя уже на тень, отвечает матери, – какой живой контраст, как глубоко! Сочинитель знал, что, верно, Гамлет не будет так поражён и встревожен, увидев портрет, как при появлении призрака. Верно, Офелия не является в сумасшествии, хотя сия последняя одна из трогательнейших сцен! Есть ли у вас сцена, когда король подсылает двух придворных, чтоб узнать, точно ли помешан притворившийся принц, и сей обманывает их; я помню несколько мест этой сцены...

“... Гамлет берёт флейту и говорит:

– Сыграйте что-нибудь на этом инструменте.

1 придворный: Я никогда не учился, принц, я не могу.

Гамлет: Пожалуйста.

1 придворный: Клянусь, принц, не могу (и прочее, извиняется).

Гамлет: Ужели после этого не чудачи вы оба? Когда из такой малой вещи вы не можете исторгнуть согласных звуков, как хотите из меня, существа, одарённого сильной волею, исторгнуть тайные мысли?..”

И это не прекрасно!”

Здесь удивляет, во-первых, то, что Лермонтов наизусть помнит наиболее важные сцены трагедии Шекспира, а во-вторых – то, что он чутко улавливает драматургические приёмы автора. У великого английского классика оказался вдумчивый ученик.

К началу работы над “Маскарадом” Лермонтов вовсе не был новичком в драматургии. До этого, начиная с 1830 года, он написал несколько пьес: “Испанцы”, “Menschen und Leidenschaften” (“Люди и страсти”), “Странный человек”. Одновременно с “Маскарадом” поэт писал драму “Два брата” (начата она была раньше, а закончена позже, чем “Маскарад”). Словом, драматургический опыт молодого автора был внушительным. К тому же, как известно, гений часто приходит к творческим вершинам по-своему – неожиданно и стремительно.

* * *

Читатель и зритель сразу заметит отличие “Маскарада” от пьес “Люди и страсти”, “Странный человек” и “Два брата”. Если в трёх последних пьесах Лермонтов использовал немало автобиографических коллизий, связанных с ранней смертью матери и спорами между отцом и бабушкой, то в “Маскараде” нет ничего, напоминающего о событиях собственной жизни поэта. Сюжет этой драмы “отстранённый”: ни судьба главного героя, ни его характер не связаны с личностью автора.

Внешне интрига, положенная в основу драмы, не сложна. В зале костюмированного бала Нину, жену Арбенина, бесцеремонно берёт за руку маска. Нина вырывается, но теряет один из двух браслетов, которые носит на запястьях. Его находит другая маска, знакомая Арбениной баронесса Штраль. Эта интригует с молодым князем Звездичем и в знак своей любви отдаёт ему найденное украшение. После возвращения Нины домой Арбенин замечает отсутствие браслета; в его душу закрадывается подозрение в измене жены. Интрига развивается.

Баронесса с помощью светского ростовщика Шприха теперь уже намеренно распускает слух о “связи” Нины с князем. Звездич не пресекает клевету: он надеется покорить сердце замужней женщины. В дом Арбенина, прямо в руки мужа, доставляется его любовная записка. У Шприха в этой истории свой интерес. Он хочет, подыграв баронессе, получить с неё проценты на деньги, данные когда-то в долг её умершему супругу, а князю — услужить, чтобы в будущем он стал его клиентом.

Арбенин раздумывает о цене благодарности в высшем свете. Ведь только что он спас Звездича от разорения, отыграв и возвратив князю его крупный проигрыш, а тот, по мнению Арбенина, отплатил ему подлостью: соблазнил его жену. Казарин, карточный шулер, большой знаток того, как в высшем обществе платят за добро, напоминает герою драмы о правилах света:

*...если он тебя от пьянства удержал,
То напои его сейчас без замедленья
И в карты обыграй в обмен на наставленье.
А от игры он спас... так ты ступай на бал,
Влюбись в его жену... иль можешь не влюбиться,
Но обольсти её, чтоб с мужем расплатиться,
В обоих случаях ты будешь прав, дружок,
И только что отдашь уроком за урок.*

Арбенин, хорошо знающий высшее общество, соглашается с Казариным. И даже циничные разглагольствования шулера о том, что в счастливых семьях благодеяния мужа по отношению к жене тоже не бескорыстны, не вызывают возражений у супруга Нины:

*Ты любишь женщину... ты жертвуешь ей честью,
Богатством, дружбою и жизнью, может быть;
Ты окружил её заботами и лестью,
Но ей за что тебя благодарить?
Ты это сделал всё из страсти
И самолюбия, отчасти, —
Чтоб ею обладать, пожертвовал ты всё,
А не для счастья её.
Да, — пораздумай-ка об этом хладнокровно
И скажешь сам, что в мире всё условно.*

В мире, конечно, не всё условно. Подлость, например, она и есть подлость. Но в том мире, где властвуют пороки, общий недуг поражает и нравственно здоровых людей. Во всяком случае, так чувствует себя Арбенин. Не отделяя собственную судьбу от жизни петербургского света, он честно признаётся, что зря стремился к добродетели: прошлое отравило его душу:

*Мне ль быть супругом и отцом семейства,
Мне ль, мне ль, который испытал
Все сладости порока и злодейства,
И перед их лицом ни разу не дрожал?
Прочь, добродетель: я тебя не знаю,
Я был обманут и тобой,
И краткий наш союз отныне разрываю —
Прощай — прощай!*

(Падает на стул и закрывает лицо.)

Казарин:

Теперь он мой!..

Ревность, затмившая разум Арбенина, бешенство из-за того, что он кажется себе опозоренным, ведут его от одной роковой ошибки к другой. Арбенин не имеет терпения выслушать до конца объяснения раскаявшейся баронессы, не верит Нине. Он сходитяся с князем Звездичем за карточным столом, намеренно объявляет, что тот подменил карту, и во всеуслышание называет его подлецом. Звездич требует удовлетворения, но Арбенин отказывается от дуэли. В пылу жестокого спора князь бросает слова:

*Да в вас нет ничего святого,
Вы человек иль демон?*

На что Арбенин отвечает: “Я — игрок!”

Сказано слово, которое объясняет многое в драме. Жизнь той среды, где обитают герои, — это бесчестная игра, и каждый в ней — игрок, для которого нет ни чести, ни справедливости, ни добра. Арбенин не признает права Звездича на защиту достоинства и обращается с ним, как с ничтожным человеком: он затаптывает своего врага в грязь. На стенания князя: “Честь, честь моя!..” Арбенин отвечает:

*Да, честь не возвратится.
Преграда рушена между добром и злом,
И от тебя весь свет с презреньем отворачится.
Отныне ты пойдёшь отверженца путём,
Кровавых слёз познаешь сладость,
И счастье ближних будет в тягость
Твоей душе, и мыслить об одном
Ты будешь день и ночь, и постепенно чувства
Любви, прекрасного погаснут и умрут,
И счастья не отдаст тебе ничье искусство!
Все шумные друзья, как листья, отпадут
От сгнившей ветви; и, краснея,
Закрыв лицо, в толпе ты будешь проходить, —
И будет больше стыд тебя томить,
Чем преступление — злодея!
Теперь прощай...*

(Уходя.)

Желаю долго жить.

Трагедия общества шулеров и интриганов в том, что стёрта граница между добром и злом. По Божьему предначертанию, эта граница проведена чётко, но люди создали такую жизнь, установили такие безнравственные законы над собой, по которым добро легко оборачивается злом и наоборот.

С первых страниц драмы карточная игра и маскарад предстают как две художественные метафоры, два символа великосветской жизни. Правила схожи. За карточным столом, например, ценится искусство “кстати честность показать и передёрнуть благородно”.

Завсегдатай игорного зала Казарин открывает то, что в свете знают все:

*Взгляните-ка, из стариков
Как многие игрой достигли до чинов,
Из грязи
Вошли со знатью в связи,
А всё ведь отчего? — умели сохранять
Приличие во всём, блюсти свои законы,*

*Держались правил... глядь!..
При них и честь, и миллионы!..*

Лермонтов знакомит зрителя с любителями карточной игры; они те же, что заполняют бальные и маскарадные великосветские залы. Этот “житель модных лавок, любезник отставной”, тот “малый неоценённый”:

*Семь лет он в Грузии служил
Иль послан был с каким-то генералом,
Из-за угла кого-то там хватил,
Пять лет сидел он под началом
И крест на шею получил.*

Среди подобной публики, как водится, есть авантюристы высокой пробы, ростовщики, завязанные сплетники. Об одном из них, Адаме Петровиче Шприхе, Казарин и Арбенин говорят так:

Арбенин:

*...Он мне не нравится... Видал я много рож,
А этакой не выдумать нарочно;
Улыбка злобная, глаза... стеклярус точно,
Взглянуть — не человек, — а с чёртом не похож.*

Казарин:

*Эх, братец мой, — что вид наружный?
Пусть будет хоть сам чёрт!.. да человек он нужный,
Лишь адресуйся — одолжит.
Какой он нации, сказать не знаю смело:
На всех языках говорит,
Верней всего, что жид.
Со всеми он знаком, везде ему есть дело,
Всё помнит, знает всё, в заботе целый век,
Был бит не раз, с безбожником — безбожник,
С святошей — езуит, меж нами — злой картёжник,
А с честными людьми — пречестный человек.
Короче, ты его полюбишь, я уверен.*

Арбенин:

Портрет хорош, — оригинал-то скверен!..

Своим среди такой публики был недавно и Арбенин. Он отошёл от игры потому, что “женился и богат, стал человек солидный”. Евгений Александрович очень хорошо изучил, как поймать удачу за карточным столом; это искусство сродни умению добиваться чинов, выходить в люди. Послушаем его:

*...чтобы здесь выигрывать решиться,
Вам надо кинуть всё: родных, друзей и честь,
Вам надо испытать, оцунать беспристрастно
Свои способности и душу: по частям
Их разобрать; привыкнуть ясно
Читать на лицах чуть знакомых вам
Все побужденья, мысли; годы
Употребить на упражненье рук,
Всё презирать: закон людей, закон природы.
День думать, ночь играть, от мук не знать свободы,
И чтоб никто не понял ваших мук!
Не трепетать, когда близ вас искусством равный,
Удачи каждый миг постыдный ждать конец
И не краснеть, когда вам скажут явно:
“Подлец!”*

Но, как мы упомянули, есть ещё один символ великосветской жизни: маскарад. Тут сходство ещё более явное. Надев маску, спрятав под нею лицо, имя и звание, человек освобождается и от морали. Он может клеветать, заводить мерзкую интригу, изощрённо мстить, затаптывать в грязь всё святое. Как знаток таких нравов, Арбенин говорит:

*Под маской все чины равны,
У маски ни души, ни званья нет, — есть тело.
И если маскою черты утаены,
То маску с чувств снимают смело.*

Лермонтов с молодых лет знал эти нравы. Приехав восемнадцатилетним юношей поступать в Школу гвардейских подпрапорщиков в Петербург, он чутко уловил и точно оценил особенности жизни столичной знати. Прежние московские впечатления и новое знание о большом свете помогли сделать выводы, на которые способен только острый ум и художественно одарённая натура. Лермонтов нашёл интересный образ, чтобы ярче передать своё наблюдение. “Видел я образчики здешнего общества, — сообщает он в одном письме, — дам весьма любезных, молодых людей весьма воспитанных; все вместе они производят на меня впечатление французского сада, очень тесного и простого, но в котором с первого раза можно заблудиться, потому что хозяйские ножницы уничтожили всякое различие между деревьями”. Тогда же поэт сделал вывод, которым поделился с адресатом: “...одну добрую вещь скажу вам: наконец, я догадался, что не гожусь для общества...”

В связи с драмой “Маскарад” интересно вспомнить о взглядах Лермонтова на собственную жизнь в чуждом ему кругу. Как-то он писал Марии Лопухиной:

“...я отнюдь не разделяю мнения тех, которые говорят, будто жизнь есть сон; я осязательно чувствую её действительность, её привлекательную пустоту. Я никогда не мог бы отрешиться от неё настолько, чтобы искренне презирать её; потому что жизнь моя — я сам, я, который говорит теперь с вами и который может в миг обратиться в ничто, в одно имя, то есть опять-таки в ничто. Бог знает, будет ли существовать это “я” после жизни! Страшно подумать, что настанет день, когда не сможешь сказать: “Я”! При этой мысли весь мир не что иное, как ком грязи”.

Из этого философского размышления видно, как строго отделял Лермонтов духовную жизнь поэта, его “я” от мелких и ничтожных забот большинства людей, окружающих его и составляющих мир, о котором можно сказать, что это “ком грязи”. И обратил внимание ещё на одно зрелое и, может быть, парадоксальное в своей противоречивой сути суждение Лермонтова: его жизнь (а она тоже проходит в атмосфере “маскарада”) полна “привлекательной пустоты”, и от неё нельзя “отрешиться настолько, чтобы искренне презирать её”. Эта мысль очень важна для понимания характера Арбенина. Хотя этот герой ничего не “наследует” от самого поэта, всё же “привлекательная пустота” жизни втянула в свой бесполезный водоворот и его, и он тоже не хочет и не может отрешиться от такого существования.

И ещё одно свидетельство хотелось бы привести. Однажды, как раз в маскараде, Лермонтова увидел Иван Тургенев. В своих кратких воспоминаниях он рассказал:

“На бале дворянского собрания ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза”. Описание внешности поэта Тургенев оставил весьма характерное, резко очерченное: “В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-тёмных глаз. Их тяжёлый взор странно не согласовался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий”.

Тургеневские картинки воспринимаются как некое пояснение к “Маскараду”. Чудится, что во второй из них есть какое-то напоминание о герое драмы, напоминание не столько о внешности его, сколько о духовном облике, о “внутреннем человеке”. А присутствие Лермонтова на маскарадном вечере, как

это увидел Тургенев, вообще напоминает участие в параде масок Евгения Арбенина. Мы говорим об этом не для того, конечно, чтобы сблизить героя “Маскарада” с автором драмы, а для того, чтобы лучше понять глубинное значение литературного образа.

* * *

Арбенин – могучий образ; по сложности он сродни Печорину. В каждой сцене его поведение непредсказуемо, от одной сцены к другой раскрываются в нём противоречивые черты. Кажется, что ты понял душевное движение Арбенина – ан нет, в следующее мгновение он перечёркивает своё великодушное – жестокостью, свою терпимость – резким несогласием, свою доброту и готовность помочь – равнодушием и эгоизмом.

Есть какая-то тяга Лермонтова к характерам рефлексивным, трудно познаваемым, противоречивым. Кажется, что поэту было интересно разгадывать такие характеры в жизни и описывать их в стихах, поэмах, прозаических сочинениях, драмах. Это схоже и с его постоянным “разгадыванием” самого себя, своей души. В этом смысле Лермонтов – фигура особенная, необыкновенная среди русских писателей. После тревожных, мучительных юношеских произведений (особенно в поэзии), вызванных к жизни неблагополучием в семье, ранним созреванием души, несчастливой любовью, Лермонтов хотел бы отбросить постоянные, терзающие его раздумья, напряжение остро чувствующей и мыслящей природы и жить так, как все живут в его возрасте. В его письмах Марии Лопухиной, которой поэт поверял сокровенные мысли и желания, есть строки, словно бы убеждающие, в первую очередь, себя, а не адресата принять и полюбить простые радости бесшабашной и пустой жизни:

“...пора мечтаний для меня миновала... мне нужны материальные наслаждения, счастье осязаемое, счастье, которое покупают на золото, носят в кармане, как табакерку, счастье, которое только обольщало бы мои чувства, оставляя в покое и бездействии душу!..”

Мы намеренно употребили слова: “простые радости пустой жизни”. Разумеется, они не устроили бы Лермонтова, и только что приведённые строки его похожи скорее на горький вызов самому себе, на эпатаж, который не принял бы он сам. А вот Арбенина “осязаемое счастье” до поры до времени устраивало.

Арбенин – один из светских людей, но всё же он особенный. Он не похож по образу мыслей и поступкам на своих собратьев по сословию. Арбенин достаточно времени отдал “забавам света”, хорошо узнал низость и пустоту придворной знати. Он может говорить об этом как знаток такой жизни, говорить откровенно и честно. Но сам он не способен на низкий поступок, сам он видит цену каждому человеку, находящемуся рядом, и привык не ждать от него добра. Впрочем, и сам он творит добро не из лучших побуждений, а часто потому, что сделать это ему ничего не стоит. Как ни парадоксально это покажется, он может протянуть руку помощи по привычке, Бог весть как приобретённой; душа его словно бы не участвует в благодеянии. Арбенин признаётся:

*Ни в чём и никому я не был в жизнь обязан,
И если я кому платил добром,
То всё не потому, что был к нему привязан;
А — просто — видел пользу в том.*

Любопытно сравнить его с князем Звездичем; именно с ним столкнула Арбенина маскарадная история. Звездич – родное дитя света. Баронесса Штраль на балу со знанием дела говорит князю в лицо, благо, что под нацепленной маской можно смело говорить правду в глаза любому:

*Ты бесхарактерный, безнравственный, безбожный,
Самолюбивый, злой, но слабый человек;
В тебе одном весь отразился век,
Век нынешний, блестящий, но ничтожный.
Наполнить хочешь жизнь, а бегаешь страстей.*

*Всё хочешь ты иметь, а жертвовать не знаешь;
Людей без гордости и сердца презираешь,
А сам игрушка тех людей.*

Князь, вероятно, никогда не задумывался над своим образом жизни. Он ему привычен, освящён традициями, принят всеми в свете. Арбенин не таков. Он не просто задумывается над пустотой своей жизни — он проклинает эту пустоту, не может без ненависти вспоминать свои никчёмные занятия:

*Ну, вот и вечер кончен — как я рад.
Пора хотя на миг забыться,
Весь этот пёстрый сброд — весь этот маскарад
Ещё в уме моём кружится.
И что же я там делал, не смешно ль!..
Давал любовнику советы,
Догадки поверял, сличал браслеты...
И за других мечтал, как делают поэты...
Ей-богу, мне такая роль уж не под леты!*

Но есть ведь и высокие страсти. Они никогда не увлекут Звездича, но они ещё способны захватить Арбенина. Ему нет дела до страстей, потрясающих свет, например, до страсти к богатству, к хлебной должности, к почёту; но его сердце ещё живо для такой страсти, как любовь:

*Бог справедлив! и я теперь едва ли
Не осуждён нести печали
За все грехи минувших дней.
Бывало, так меня чужие жёны ждали,
Теперь я жду жены своей...
В кругу обманщиц милых я напрасно
И глупо юность погубил;
Любим был часто пламенно и страстно,
И ни одну из них я не любил.
Романа не начав, я знал уже развязку,
И для других сердец твердил
Слова любви, как няня сказку.
И тяжело стало мне, и скучно жить!
И кто-то подал мне тогда совет лукавый
Жениться... чтоб иметь святое право
Уж ровно никого на свете не любить;
И я нашёл жену, покорное создание,
Она была прекрасна и нежна,
Как агнец божий на закланье,
Мной к алтарю она приведена...
И вдруг во мне забытый звук проснулся:
Я в душу мёртвую свою
Взглянул... и увидел, что я её люблю;
И стыдно молвить... ужаснулся!..
Опять мечты, опять любовь
В пустой груди бушуют на просторе;
Изломанный челнок, я снова брошен в море:
Вернусь ли к пристани я вновь?*

Эта страсть и привела Арбенина к трагедии, к неожиданному крушению всей его жизни, казалось, устоявшейся и безмятежной. Впрочем, не эта страсть, не любовь. Как раз любовь-то и возродила душу усталого, разувевшегося и трезво видевшего ничтожность своей судьбы человека. А погубило его другое. Прежняя пустая жизнь не прошла бесследно. Она оставила в душе неверие в чистоту чувств, научила всюду видеть обман. Этой отравой заражён сам воздух, которым дышит Арбенин, и достаточно было стечения обстоятельств, мелкой интриги, чтобы поколебать в его душе глубокое и святое чувство. Арбенин признаётся жене:

*Так, прежде я тебе цены не знал, несчастный!
 Но скоро чёрствая кора
 С моей души слетела, мир прекрасный
 Моим глазам открылся не напрасно,
 И я воскрес для жизни и добра.
 Но иногда опять какой-то дух враждебный
 Меня уносит в бурю прежних дней,
 Стирает в памяти моей
 Твой светлый взор и голос твой волшебный.*

Вот этот “враждебный дух” и есть то тлетворное, что занесено в душу Арбенина воспитанием, моралью общества, всей его прежней жизнью. Возможны ли для героя драмы безоблачная любовь, тихое семейное счастье, если интриги, подлость, измены стали общим правилом того круга, где он живёт? Иные критики девятнадцатого и двадцатого веков умаляли значение пьесы Лермонтова, да и всей его драматургии, уверяя, что его сценические произведения камерны и не самостоятельны. В “Маскараде” часто видели подражание западноевропейским “драмам страстей”. При этом не обращали внимания на резкую самобытность и оригинальность лермонтовского произведения. Во-первых, “Маскарад” — это драма русской жизни; в пьесе представлена болезнь русского девятнадцатого века, та болезнь, которая повлияла на судьбу многих поколений. Во-вторых, уже в этой пьесе молодого поэта во всей силе и глубине проявились нравственные, философские и общественные воззрения нашего гения. То, что для другого автора могло быть частной, бытовой историей, под пером Лермонтова выросло до драмы большого общественно-го звучания. Послушаем исповедь Арбенина:

*Кто знает, может быть...
 Послушай, Нина!.. я смешон, конечно,
 Тем, что люблю тебя так сильно, бесконечно,
 Как только может человек любить.
 И что за диво? У других на свете
 Надежд и целей миллион,
 У одного богатство есть в предмете,
 Другой в науки погружён,
 Тот добивается чинов, крестов — иль славы,
 Тот любит общество, забавы,
 Тот странствует, тому игра волнует кровь...
 Я странствовал, играл, был ветрен и трудился,
 Постиг друзей, коварную любовь,
 Чинов я не хотел, а славы не добился.
 Богат и без гроша был скукою томим.
 Везде я видел зло и, гордый, перед ним
 Нигде не преклонился.
 Всё, что осталось мне от жизни, это ты:
 Созданье слабое, но ангел красоты:
 Твоя любовь, улыбка, взор, дыханье...
 Я человек, пока они мои,
 Без них нет у меня ни счастья, ни души,
 Ни чувства, ни существованья!
 Но если я обманут... если я
 Обманут... если на груди моей змея
 Так много дней была согрета, — если точно
 Я правду отгадал... и, лаской усыплён,
 С другим осмеян был заочно!
 Послушай, Нина... я рождён
 С душой кипучею, как лава,
 Покуда не растопится, тверда
 Она, как камень... но плоха забава
 С её потоком встретиться! тогда,
 Тогда не ожидай прощенья —*

*Закона я на мeсть свою не призову,
Но сам, без слёз и сожаленья,
Две наши жизни разорву!*

Современники Лермонтова очень хорошо чувствовали и высоко ценили именно общественное звучание его сочинений. Принято считать, что впервые смело и в полный голос поэт заявил о своей позиции в стихотворении “На смерть поэта” и в последующих лирических произведениях. Публично, то есть в сочинениях, ставших известными публике, — да. Но до гневных строк, вызванных гибелью Пушкина, теми же воззрениями отмечены многие лермонтовские стихи, неоконченный роман “Вадим” и все его драматические произведения. Александр Иванович Герцен справедливо писал:

“Выросший в обществе, где невозможно было открыто высказать всё, что переполняло его, он был обречён выносить тягчайшую из человеческих пыток: молчания при виде несправедливости и угнетения. С душою, горевшей любовью к прекрасному и свободному, он был вынужден жить в обществе, которое прикрывало своё раболепие и разврат фальшивым блеском показного великолепия. Первая же попытка открыто выразить бурлившее в его душе яростное возмущение — ода на смерть Пушкина — навлекла на него изгнание. Путь активной борьбы для него был закрыт, единственное, чего у него не могли отнять, был его поэтический гений, и теперь, когда душа его переполнялась, он обращался к поэзии, вызывая к жизни полные мучительной боли звуки, патетические мелодии, язвительную сатиру или любовную песнь.

Его произведения — это всегда правдивое выражение глубоко пережитого и до конца прочувствованного, всегда внутренняя необходимость, порождённая какой-то особой ситуацией, особым импульсом, что, как заметил Гёте, всегда служило отличительным признаком истинной поэзии”.

Лермонтов не мог написать мелодраму лишь для того, чтобы пощекотать нервы читателя и зрителя. Это был бы не Лермонтов. У него всегда судьба человека, его сокровенные чувства “вставлены” в раму общественного существования, в конкретную эпоху, в конкретную социальную среду. Если внимательно посмотреть на творчество поэта с этой позиции, то мы увидим, что, начиная со стихотворений 1829 года, с первых прозаических и драматических опытов, шло быстрое освобождение Лермонтова от романтических, условных традиций отечественной и зарубежной литературы, от влияния Байрона, Шиллера и других популярных в России европейских авторов. Тот реализм, который утверждался в русской словесности усилиями Фонвизина, Радищева, Крылова, Грибоедова, Пушкина, Гоголя, стал особенностью всех зрелых произведений Лермонтова.

И драма “Маскарад” стоит одной из первых в этом ряду. Герцен, мнение которого мы привели выше, упомянул эту особенность как наиглавнейшую для поэта: “Лермонтов, куда бы он ни обращал мысль, всегда остаётся на твёрдой почве реальности, и этому-то мы и обязаны исключительной точности, свежести и правдивости его эпических поэм, равно как и беспощадной искренности его лирики, которая всегда есть правдивое зеркало его души”.

* * *

Первые же подозрения Арбенина в неверности жены поднимают в его душе тёмные, мстительные страсти, в первую очередь, дремавший доселе эгоизм. Как, изменили ему? Перестали любить его? Не пощадили его самолюбия, чести? В Арбенине вскипает волна яркой жестокости. Подозрения ещё не проверены, доводы ещё не выслушаны, клевета (а это могла быть и клевета!) только произнесена, а он уже начинает мстить — и кому? Женщине, которую, как уверял он, любит страстно, которую только что называл ангелом! Он, считавший себя благородным, словно бы поменялся местами с любым из светских хлыщей, которых он так презирал. Даже тщеславный и пустой Звездич вдруг проявил себя по отношению к Нине человеком порядочным: не зная, кто затеял интригу, он предупреждает жену Арбенина:

*Ваш муж злодей, бездушный и безбожный,
И я предчувствую, что вам грозит беда.*

*Прощайте же навек, злодей не обнаружен,
И наказать его теперь я не могу, —
Но день придёт — я подожду...
Возьмите ваш браслет, он больше мне не нужен.*

А благородный Арбенин при первом же столкновении с интригой запял себя дикой, неуправляемой мстительностью. Он вообразил, что может “казнить” жену по первому смутному подозрению: “Я сам свершу свой страшный суд...” Подсыпав яд в мороженое, которое съела Нина, он пускается в фарисейское философствование:

*Что жизнь? Давно известная шарада
Для упражнения детей;
Где первое — рождение! где второе —
Ужасный ряд забот и муки тайных ран,
Где смерть — последнее, а целое — обман!*

Если бы Арбенин говорил о собственной жизни и смерти! Тут иное: отнять жизнь у другого существа, сохранив свою, — и после этого без угрызений совести, без нравственных мучений любившего человека толковать о жизни как об обмане? Да при чём же тут жизнь, если её выстраивает сам человек! Арбенин не просто убийца. Он убийца, который в последние минуты жизни своей жертвы способен мучить её, предъявлять ей свои эгоистические обвинения и счёты. Даже при последнем вздохе жены он ведёт себя, как палач. Его пытка продолжается:

*Нет, нет — не говори, тебе уж не поможет
Ни ложь, ни хитрость... говори скорей:
Я был обманут... так шутить не может
Сам ад любовью моей!
Молчишь? О! месть тебя достойна...
Но это не поможет, ты умрёшь...
И будет для людей всё тайно — будь спокойна!..*

Нина:
Теперь мне всё равно... Я всё ж
Невинна перед Богом.

(Умирает)

Арбенин:
(подходит к ней и быстро отворачивается)
Ложь!

Окружение Арбенина, вроде прожжённого циника Казарина, хорошо знает, что в таких случаях раскаяние или сострадание — это в светском обществе чувства притворные, ненастоящие, как в маскараде. Жизнь продолжается как существование с напыленными на себя личинами; в ней чьи-то смерть, болезнь, разорение — это всего лишь происшествия, которые вызовут разве что любопытство, слухи и сплетни. Казарин не утешает Арбенина, а скорее упрекает его:

*Я, милый друг, спешил к тебе,
Узнавши о твоём несчастье.
Как быть — угодно так судьбе.
У всякого свои напасти.*

Молчание.

*Да полно, брат, личину ты сними,
Не опускай так важно взоры.
Ведь это хорошо с людьми,
Для публики, — а мы с тобой актёры.*

В критической литературе Арбенина называли демоническим героем. Едва ли это верно. От демона – духа отрицания и зла – он отличается бытовой узнаваемостью, реальной обоснованностью поступков, живыми чертами характера. Что в Арбенине демонического? Почти ничего. И эгоизм, и заблуждения, и отягощённость прошлыми пороками – всё земное, реальное, бытовое.

Когда-то Белинский в рецензии на роман “Герой нашего времени” заметил, что “в основной идее романа... лежит важный современный вопрос о внутреннем человеке”. Лермонтов одним из первых русских писателей стал изображать “внутреннего человека” во всей его противоречивости и сложности, заложив основы психологической прозы. Эту свою художественную миссию он выполнял, и создавая драму “Маскарад”, рисуя образ непостижимого, на первый взгляд, главного героя. Только большая духовная работа может позволить читателю понять и объяснить все мучительные переживания, все мотивы поступков этого человека, загадочного, страдавшего, заплатившего огромную цену за свои жестокие ошибки.

Только всё творчество Лермонтова в совокупности его напряжённой и мучительной лирики, сложных, даже таинственных философских поэм, ярчайшей по реализму и поэтичности письма прозы даёт возможность верно понять чудо русской драматургии – “Маскарад”.

Будем иметь в виду ещё одну мысль Белинского. В рецензии на второе издание “Героя нашего времени”, которое вышло в свет уже после гибели поэта, Белинский говорит о “лермонтовском элементе”, который пронизывает творчество поэта, “столь тесно соединённое с личностью творца и образующее новый, дотеле невиданный мир”. В “Маскараде” этот “лермонтовский элемент” ясно виден: он в огромном напряжении страстей, драматичности положений, трагической алогичности поступков (причём не только Арбенина, но и баронессы Штраль, и князя Звездича, и других героев). В таком изображении жизни есть глубокий философский смысл: события, влияющие на судьбу человека, определяются не только его характером, душевными переживаниями, обдуманными замыслами, осознанными мотивами, но и иррациональными побуждениями, и стечением обстоятельств – тем вмешательством рока, который часто вносит решающие изменения в ход событий.

Видимо, этим-то и обусловлено появление в драме “Маскарад” таинственного героя – Неизвестного. Ведь сам он, когда-то обиженный Арбениным, никак не влияет на течение светской интриги. Он лишь со злорадным удовольствием наблюдает за ней со стороны и является в минуты краха Арбенина, чтобы напомнить о своей давней обиде и сказать ему, что “злое семя произвело достойный плод...”

При всей верности сказанного об Арбенине, он, как и Печорин, обладает необъяснимым, притягивающим обаянием. Природу его обаяния можно долго разгадывать, его духовную сущность можно долго постигать, но едва ли найдутся точные ответы. О Печорине Белинский говорил:

“Да, в этом человеке есть сила духа и могущество воли, которых в вас нет. В самых пороках его обрешкивает что-то великое, как молния в чёрных тучах, и он прекрасен, полон поэзии даже и в те минуты, когда человеческое чувство восстает на него: ему другое назначение, другой путь, чем вам. Его страсти – бури, очищающие сферу духа”.

Буря, застигшая в жизни Арбенина, не очистила, а затмила сферу его духа. И всё же между ними, согласиться, есть какая-то тайная связь. Обе могучие натуры если не духовные братья, то всё же люди, составляющие одну нравственную когорту. Лермонтов настойчиво стремился представить читателю во всей полноте образ человека, прозревающего в жизни что-то, не видимое другими, стремящегося через тернии к добру. Интересно сравнить такой тип человека с героем Грибоедова. С одной стороны, их роднит резкое неприятие низости, пустоты, пошлости окружающих людей, и это свидетельство того, что в литературе всё взаимосвязано: каждый новый писатель продолжает художественные поиски своих предшественников. А с другой стороны, герой Лермонтова не только отрицает сложившиеся общественные порядки, не только негодует и обличает, но и доказывает собственным поведением, что может пресекать бесечье, отстаивать своё человеческое достоинство. Его духовное попрание богаче, его интересы шире, его воздействие на жизнь сильнее. Иными словами, Лермонтов не просто продолжил художественное осмысление жизни, начатое его предшественниками. Он расширил его диа-

пазон, вывел на сцену героя с большими духовными задатками и возможностями.

Именно “Маскарад” можно назвать вершинным произведением Лермонтова в драматургии. В нём так сильны реалистические картины, что эта пьеса по художественному методу оказалась ближе к будущему “Герою нашего времени”, чем к романтическим стихам и поэмам одного с ней периода творчества. Яркие и запоминающиеся, художественно достоверные описания петербургского общества, живые характеры пустых и пошлых “рыцарей” большого света, нравственная значительность произведения – всё говорило о новом, реалистическом письме Лермонтова. А разнообразие приёмов, которые использовал автор для того, чтобы психологически точно передать душевное состояние героев, тайные мотивы их слов и поступков, того неуловимого, подспудного, что скрывается за их поведением в драматические моменты жизни, открыло новые возможности для отечественной литературы. Лев Толстой признался, что после чтения “Маскарада” “начинает понимать драму вообще”.

* * *

Творчество Михаила Юрьевича Лермонтова – особая страница в русской классике. Эта страница и читается по-особому: когда в твоих руках “Маскарад”, то постоянно чувствуешь, что за этой пьесой стоит автор, написавший и “Героя нашего времени”, и поэму “Мцыри”, и “Песню про... купца Калашникова”, и врезавшиеся навсегда в память стихотворения “Бородино”, “Родина”, “Душа...” То есть перед тобой писатель особой духовной силы, поразительной ответственности за свою родину, необычайного чувства долга как сына своего века. Посмотрите: в драме “Странный человек” – в истории одной несложившейся семьи – то и дело возникают вроде бы совсем посторонние разговоры; так камерную мелодию дополняет и обогащает какая-то мощная, высокая музыкальная тема.

В студенческой комнате друзья Арбенина (совпадение фамилий героев двух пьес не имеет никакого подтекста) вдруг начинают необычную беседу – и она не кажется неуместной в этой камерной пьесе. Она отлично передаёт атмосферу времени, показывает, что занимает молодых людей одного круга, одной эпохи:

“Вышневецкой: Господа! Когда-то русские будут русскими?

Челяев: Когда они на сто лет подвинутся назад и будут просвещаться и образовываться снова-здорова¹...

Заруцкой: А разве мы не доказали в двенадцатом году, что мы русские? Такого примера не было от начала мира! Мы современники и вполне не понимаем великого пожара Москвы; мы не можем удивляться этому поступку; эта мысль, это чувство родилось вместе с русскими; мы должны гордиться, а оставить удивление потомкам и чужестранцам!..”

Гений двадцатилетнего Лермонтова поднялся до высочайших вопросов русского бытия – в драме “Маскарад” точно так же, как в романе “Герой нашего времени”, в поэмах и стихах. Не потому ли пьеса поэта прорвалась сквозь века, сквозь непонимание потомков, странную глухоту многих поколений – и опять зазвучала, тревожа ум и совесть людей?

¹ “Подвинуться на сто лет назад” – вероятно, ко временам Петра I, смелые реформы которого преобразовали Россию.

АЛЕКСАНДР ВОДОЛАГИН

доктор философских наук, профессор

ПРИРОЖДЁННЫЙ МЕТАФИЗИК

Философская проза М. Ю. Лермонтова

Уже ранние стихотворения и письма Лермонтова поражают проявившейся в них суровой мощью интеллекта, “мыслью сильной и свободной” – большой “редкостью” для большинства людей¹. Создается впечатление, что юный поэт не вырабатывал свое мирозерцание годами, как делали некоторые его выдающиеся сверстники (М. А. Бакунин, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарев и др.), а получил его сразу и целиком в виде вполне законченной метафизики, причем последняя не была заимствована им откуда-то извне – у Шеллинга или Гегеля (как думают некоторые исследователи, пытающиеся найти ключ к философскому содержанию его творчества в текстах немецких философов²), но присутствовала в его самосознании как некое “врожденное” достояние. “Художнический талант Лермонтова закрывал лицо поэта и мешал распознать его”³, – заметил, между прочим, П. В. Анненков. Даже Белинский, которого поэт втягивал в интеллектуальную борьбу с собой, не сразу разгадал в нем незаурядного мыслителя и упрекал его в *прекраснодушии*. Несомненно, Лермонтов был *прирожденным метафизиком*, каковым потенциально является почти каждый, кто реализует свою высшую человеческую возможность – предрасположенность к *чистому мышлению*. Лермонтов успел реализовать эту способность в полной мере, более того, пошел дальше – к “высшему состоянию самопознания”⁴, к сияющей вершине сверхчеловеческого знания. Это свое духовное восхождение он расценивал, как *возвращение* к некогда утраченной им позиции в божественно-космической иерархии, воображая себя низвергнутым в низины мирской жизни “чистым херувимом”, ностальгирующим *демоном*. Так он шифровал понимание собственной духовной сущности – своего томящегося в человеческой оболочке *второго “я”* (= *Самости*). “... Жизнь моя – я сам, я, говорящий теперь с вами и могущий вмиг обратиться в ничто, в одно имя, т. е. опять-таки в ничто, – рассуждал семнадцатилетний Лермонтов в письме к М. А. Лопухиной 2 сентября 1832 года. – Бог знает, будет ли существовать это я после жизни! Страшно подумать, что настанет день, когда я не смогу сказать: я! При этой мысли весь мир есть не что иное как ком грязи”. Столь высокая оценка онтологической значимости индивидуального Я-субъекта на фоне гностического, по сути, занижения ценности чувственно-воспринимаемого мира вызывает вопрос: что же представляет собой это “Я” помимо сознания собственной пустоты и ничтожества, сверх своего пренебрежительно-насмешливого отношения ко всему временному, да и к самому времени? Ответ находим в изумляющем духовной зрелостью автора романе “Вадим” (1832), где **человеческое “я” мыслится и изображается как сгусток свободной воли**.

Герой этого неоконченного романа (Вадим) – “демон, – но не человек”: “его душа еще не жила по-настоящему, но собрала все свои силы, чтобы переполнить жизнь и прежде времени вырваться в вечность”⁵. *Нечеловеческое*

в нем выражается, в частности, в неприятии основного условия нашего существования – его временности, *конечности*. Это *титаническое* начало, восстающее против природы (= *судьбы*), которая обрекает человека на смерть, есть его вневременная, *умопостигаемая воля*, способная направить свою энергию на что угодно, стать *волей к жизни* (“вождеющей волей”), *волей к власти* или *волей к ничто*. В любом случае даже тогда, когда она, выбирая рабство, отказывается от своей исконной сущности – свободы – она таит в себе некую вневременную *мощь*, достаточную для *прыжка* в вечность. “. . . Непоколебимая железная воля составляла все существо его”⁶, – говорит Лермонтов о Вадиме. Перед нами образ *гения*⁷ – *мощного человека*⁸, который, будучи не в ладах со своими современниками, разбивает их жалкие, сословные иллюзии о собственной значимости и вместе с тем задает новые образцы поведения, утверждая **самоценность чистого воления**, свободного от сковывающих предрассудков и какой-либо корысти (= материального интереса). Не ограничиваясь психологической характеристикой своего героя, автор идет к философскому обобщению:

“И в самом деле, что может противостоять твердой воле человека? Воля заключает в себе всю душу, хотеть – значит ненавидеть, любить, сожалеть, радоваться, – жить, одним словом; воля есть нравственная сила каждого существа, свободное стремление к созданию или разрушению чего-нибудь, отпечаток божества, творческая власть, которая из ничего созидает чудеса. . . о если б волю можно было разложить на цифры и выразить в углах и градусах, как всемогущи и всезнающи были бы мы! . . .”⁹

Судя по приведенному фрагменту, восемнадцатилетний Лермонтов уже располагал самым важным для человека знанием, причем, знанием концептуально оформленным. Эта концепция человека – как существа переходного, двойственного, духовно-космического, открытого двум *безднам* сразу, совмещающего в себе бессознательную стихию *природы* и сознающую саму себя *свободу*, пребывающего в беспокойстве и тревоге из-за нескончаемой борьбы этих противоположных тенденций, – получила свое совершенное художественное воплощение в романе “Герой нашего времени” (1840). Печорин, в самом деле, *герой*, поскольку имеет в сердцевине своего человеческого естества “отпечаток божества” – “творческую власть” разрушать и созидать из ничего. О нем, как и о сошедшем с ума “странном человеке” Арбенине, можно сказать: “В его опытах виден гений!”¹⁰. Присмотримся же к *опытам* Печорина повнимательнее. На первый взгляд, этот *страстный любитель охоты* есть не что иное, как русское издание байроновского Дон Жуана или известного (филологам) персонажа Бенжамена Констана – Адольфа¹¹. Не имея какой-либо определенной цели в жизни (например, сделаться “героем романа в новом вкусе”, как Грушницкий), он от скуки гоняется то за одной, то за другой женщиной – “азиатской красавицей” Бэлой, “бес-девкой” в Тамани или “чувствительной барышней” – княжной Мери, ценя в каждой из них, прежде всего, *породу* (“. . . Порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело. . .”¹² – утверждает Печорин). При этом скрытый мотив поступков этого “безнравственного человека”¹³ – не желание обладать очередной “куколкой” или, на худой конец, “запастись женой”¹⁴, а “жажда власти”. Иначе говоря, им движет отнюдь не *вождеющая воля* (*похоть плоти*), не патологическое любопытство (*похоть очей*), а *воля к могуществу*, что очевидным образом обнаруживается в его самосознании, в системе утверждаемых им *заповедей господства*: “первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает; – признается Печорин, – возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха – не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, – не самая ли это сладкая пища для нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость. Если бы я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив. . .”¹⁵. После такого признания становится понятным общий смысл всех его *выходок* и рискованных экспериментов над собой и теми, кто его окружает. Похоже, что Печорин – эта *белокурая бестия*¹⁶ – испытывает не столько судьбу, сколько свою собственную *волю к мощи*, ставшую в нем сильнее “инстинкта самосохранения”, наслаждающуюся своим ясновидением и “магнетическим” дальноействием. “Журнал Печорина” – **апология чистой воли**, освободившейся от банальных иллюзий и предубеждений, от человеческих привязанностей и страхов. Ни-

сколько не дорожа ни миром, ни своим собственным бытием-в-мире, эта воля утверждает себя в качестве высшей, абсолютной ценности. Анализируя свой “врожденный страх” перед возможностью женитьбы, Печорин уверяет: “...Как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться – прости любовь! Мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? Что мне в ней?.. Куда я себя готовлю? Чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего”¹⁷. Еще одно важное признание. Воля, сбросившая с себя *оковы неразумия* (= чувственности), не цепляющаяся за прошлое, хотя и *не забывает ничего*¹⁸, не беспокоится и о будущем: ведь она сама по себе – чисто духовная субстанция (= *монада*), причина всех своих состояний, самодостаточная, вневременная сущность и, как таковая, испытывает **“необъятное наслаждение” от сознания своей власти над временем**, проявляющейся как в безграничной мощи *припоминания*, так и во “всеведение пророка”¹⁹. В изображаемом писателем потоке сознания воля предстает в качестве *субстанциальной формы* психоматериальной жизни личности, накладывающей печать и на ее внутренние состояния (пристрастия, пороки и т. д.), и на ее внешний облик (“наружность человека”). Вот почему “Герой нашего времени” взламывает жанровые рамки “психологического романа”, развертываясь в подлинную *метафизику воли*, которая образует его философское содержание.

Для чего же человеку, этому жалкому порождению природы, ею же обреченному на смерть, дарована свободная воля? Может быть, свобода – не более чем “обман чувств или промах рассудка”²⁰, приятная иллюзия, которой мы тешим себя, не желая признавать жесткую детерминированность всех наших телодвижений, жестов, поступков, приглушая сознание собственной беспомощности? Если природа, оказывающая на нас двойное давление изнутри и извне, роковым образом предопределяет каждый наш жизненный шаг, то она же вместе с тем отменяет свободу выбора и ответственность за него, обесценивая чувство вины, раскаяние, стремление к самосовершенствованию. Может ли человек стать *мастером своей судьбы*, или “судьба человека написана на небесах”?²¹ В этюде “Фаталист” двадцатипятилетний Лермонтов (ровесник Печорина) демонстрирует необычно высокий уровень философской рефлексии²² при постановке и осмыслении этой фундаментальной проблемы метафизики, понимая, что она не может быть разрешена в чисто теоретической дискуссии. “...Господа, к чему пустые споры? – восклицает поручик Вулич. – Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута...”²³. Казалось бы, смертельно опасный эксперимент Вулича над собой и его неожиданная гибель после выигранного им пари предоставили проигравшему пари Печорину двойное доказательство в пользу действительности предопределения, которое спасло Вулича от “неминуемой смерти за полчаса до смерти”²⁴. И тем не менее *проба* Вулича в глазах Печорина не поставила крест на человеческом своеволии, не разрушила его веру в самоценность и силу свободной воли, готовой с наслаждением вступить “во всякую борьбу с людьми или с судьбой”²⁵. После гибели Вулича Печорин, почти поверивший в предопределение, все же “отбросил метафизику в сторону” и продолжил затеянную убитым поручиком рискованную игру, практически подтвердив своим “геройским” броском на вооруженного убийцу мысль о том, что для человека *непоколебимой железной воли* – охотника или воина – “судьба – индейка, а жизнь – копейка!”²⁶ Таким образом, не сгибаясь перед *мощью судьбы*, **русский фатализм** утверждал “постоянство воли, необходимое для действительной жизни”²⁷, более того, практически демонстрировал достоверность человеческой свободы.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. Т. V. М. – Л., 1937. С. 373, 512. П. В. Анненков отмечал в своих воспоминаниях, что уже в юности Лермонтов “отличался проблесками беспокойной, пылливой и независимой мысли” (Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 166). Его творчество – выражение поэтизирующего мышления (используем термин М. Хайдеггера), поэтому почитате-

лям Лермонтова приходится иметь дело не столько с настроениями и представлениями поэта, сколько с захватившей его мыслью. Очевидно, и его проза — не что иное, как “поэзия мысли”, причем не “мысли мыслимой”, вычитанной у Шекспира, Шиллера, Байрона, Гете или Гейне, а “мысли мыслящей” — собственной, самородной. Что же это за мысль? Мысль о сути и смысле бытия своего “Я”. Отсюда — философичность всего лермонтовского творчества, которое может быть истолковано как ряд актов самопознания мыслящего духа, устремленного к “высшему состоянию самопознания”.

² Так, например, Б. М. Эйхенбаум и В. Ф. Асмус исходили из “круга чтения и идей юного Лермонтова”, откуда будто бы философская проблематика “просачивалась” в его художественное творчество (Литературное наследство. № 43–44. М. Ю. Лермонтов. Т. I. М., 1941. С. 12, 83–128), при этом “круг идей” отождествляли с совокупностью субъективных представлений того или иного философа (К и с е л е в а И. А. Творчество М. Ю. Лермонтова как религиозно-философская система. М., 2011), что шло вразрез с метафизическим толкованием идеи как объективно-идеальной смысловой данности, принятым и Лермонтовым. Подлинный метафизик (каким и был Лермонтов) извлекает идеи не из философских текстов, а из собственного самосознания. Поэтому “влияния” русского шеллингианства (через Д. В. Веневитинова и М. Г. Павлова) или гегельянства (через А. С. Хомякова) на Лермонтова не так важны, как это представляют некоторые “лермонтоведы”. Философское содержание не привносится в поэзию извне, а продуцируется спонтанным поэтизирующим мышлением, что, между прочим, хорошо понимал В. Г. Белинский, вписавший имя Лермонтова в историю русской философии.

³ П. В. Анненков. Литературные воспоминания. С. 165–166.

⁴ Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. Т. V. С. 271.

⁵ Там же. С. 2.

⁶ Там же. С. 82.

⁷ Там же. С. 12.

⁸ Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. Т. I. М. Л., 1936. С. 128.

⁹ Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. Т. V. С. 83.

¹⁰ Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. Т. IV. М. — Л., 1935. С. 244.

¹¹ Литературное наследство. № 43–44. М. Ю. Лермонтов. Т. I. С. 496.

¹² Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. Т. V. С. 235.

¹³ Там же. С. 185.

¹⁴ Там же. С. 209.

¹⁵ Там же. С. 271.

¹⁶ Там же. С. 224.

¹⁷ Там же. С. 289.

¹⁸ Там же. С. 252.

¹⁹ Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. Т. IV. С. 145.

²⁰ Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. Т. V. С. 320.

²¹ Там же. С. 312.

²² Лермонтов, как заметил Георгий Флоровский, принадлежал к “беспокойному поколению” 1830-х годов, для которого философская рефлексия стала “неодолимой страстью” (Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 235). Уже в 16 лет он осознавал центральное значение феномена воли — в ее отношении к случаю и “законам судьбы”. Его суждения о шекспировском Гамлете как “существе, одаренном сильной волей”, а не безвольном, колеблющемся и нерешительном, как думали вслед за Гегелем В. Г. Белинский, И. С. Тургенев и многие др., свидетельствовали о необычной для подростка духовной зрелости и проницательности (Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. Т. V. С. 364–365). При этом сам Лермонтов не был “русским Гамлетом” (В. Турбин. Сын отечества. К 175-летию М. Ю. Лермонтова // Новый мир, 1989, № 10. С. 262): пройдя через жизненную стадию “гамлетовского” скептицизма, он, как и Печорин, вышел на уровень *наблюдающего и экспериментирующего разума*, став вырвавшимся из оков гением, опасным для авторитарного режима субъектом исторического действия. На примере М. А. Бакунина — ровесника Лермонтова — видно, к чему могло привести такого рода самоосвобождение “гения, прикованного к чиновничьему столу”.

²³ Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. Т. V. С. 314.

²⁴ Там же. С. 318.

²⁵ Там же. С. 317.

²⁶ Там же. С. 303.

²⁷ Там же. С. 317.

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ

СОЛДАТ НЕЗРИМОГО ПОЛКА

К 90-летию поэта Овидия Любовикова

1

Как же беспощадно время! Каким поразительным свойством обладает оно: тихо и молчаливо, одним лишь этим умолчанием, силой незримой и неуловимой позволяет людям отпустить свою собственную память. И она, эта память, против воли человека, отходит — на шагок, на версту, а потом и во все оставаясь лишь слабым контуром, очертанием, порой лишь воспоминанием улыбки и нечаянного слова. Всё остальное исчезает, забывается...

Вот почему такой благодатный смысл несёт в России слово “незабвенный”, и вот почему следует вновь и вновь преклонить колено перед памятью тех, кого любишь и помнишь, да и поторопиться, поторопиться!

Ещё один поворот неостановимого времени — и те, кто любил, отойдут, те, кто знал, забудут подробности, а те, кто не знал, выдумают миф.

Я пишу эти слова, думая об Овидии Михайловиче Любовикове, и две даты, две отметины не дают мне покоя: 90 лет со дня его рождения и почти 20 лет без него — он родился в 1924 году, а умер в 1995-м...

Каким было время, когда он родился! Каким стало, когда он ушёл! Что уместилось между двумя чертами...

2

Могу ли, имею ли я право обсудить никогда с ним не обсуждавшееся — из соображений, по сегодняшним временам, наивным? Из соображений порядочности, ибо этой вот порядочностью измерялись непроизносимые понятия и ценности.

Первое. Он родился в семье старого большевика из настоящих революционеров, вступившего в партию в 1905 году, подпольщика, сидельца питерских “Крестов”. Когда я видел Михаила Константиновича, он был очень стар, и я только здоровался с ним; мама же Овидия была улыбчива, доброжелательна, и от неё всегда веяло приветливым теплом. И это всё.

За долгие годы нашего общения я ни разу не слышал от Овидия ни единой ссылки на родителей, на их мнение, на что-то такое, что исторически, по справедливости, было за ними. Он никогда не использовал их авторитет — кроме сыновнего поклонения смыслу и сути их судеб.

Я пишу об этом потому, что решение уйти на фронт в 41-м году, ещё до того, как ему исполнилось 17 лет, было принято Овидием совершенно единолично, но, вероятно, было обусловлено жизнью его родителей и их убеждениями. И было единственно правильным не только по отношению к Родине, но и по отношению к отцу и матери. Сын был обязан защитить дело, за которое сражался его отец, и пафос тут отсутствовал полностью.

А теперь о том, что не было произнесено ни позже, после войны, когда всё окончилось и продолжилось мирное существование, и уж тем более в 41-м, когда дрожали внутри шестнадцатилетнего мальчишки не только страсть и долг, но и сама жизнь. Мыслимо ли было бы выговорить тогда желание получить бронь, уйти на учёбу, на работу пусть и в нужную войну, но не фронтовую среду?

Нет! Это исключалось! И это главное.

А мальчика бросили в самое пекло под Москвой. Вятские лыжные батальоны выкосило в 41-м почти вчистую. Парни погибали в первом же бою. Овидию повезло: его отправили в артиллерийское училище.

3

Одно время люди, причастные к литературе, поругивали лейтенантскую литературу: мол, послужили бы в солдатах! Зазвучало даже словосочетание “окопная правда”.

Но вот судьба лейтенанта Любовикова.

Рядовой вятского лыжного батальона под Москвой вышел живым из первой атаки, его послали учиться в артиллерийское училище. Потом – отдельная лыжная бригада, в её составе была артиллерия – знаменитые сорокапятки. Это они встречали первыми вражьи танки, и эти танки безжалостно утюжили их. Вот такая была лейтенантская “льгота” у мальчишки Любовикова! Он потом формулирует суть лейтенантской судьбы:

*На той войне был скоротечен
Прощанья скорбный ритуал:
Как помню, по шпиргалке речи
Комбат у гроба не читал,
Но над могилою три залпа,
Три грома, три огня подряд.
И пили мы до дна и залпом
Всю горечь горькую утрат.*

Лейтенантская, а это, в сущности, мальчишеская поэзия и проза составили со временем золотой сердечник не только литературы, но и нравственного мира страны. Ибо лейтенант – это первый командир солдата, идущий не рядом, а впереди него, и первым отдающий жизнь по собственной команде.

Овидий всегда это ощущал остро. Стремился выразить в стихах:

*И по ранжиру,
И по рангу —
Все перед совестью равны:
Они, от фланга и до фланга,
Стихи, пришедшие с войны.*

4

Но сначала был пришедший с войны уже не лейтенант, а капитан. И я помню, хорошо помню его, тогдашнего.

В 51-м, когда Любовиков вернулся из армии, я учился в девятом классе 16-й школы на улице Воровского. И каждое утро торопился от родительского дома с улицы Горбачёва вверх по Свободе, в горку. Там, неподалёку от пересечения с Коммунистической (ныне Орловской) я и встречал его.

Эти пересечения как будто кто-то рассчитывал по часам: без двадцати – без четверти девять. Ровно в девять у меня начинались уроки. У встречного человека тоже что-то начиналось в девять.

Он оглядывал меня спокойным и равнодушным взглядом, я делал то же самое – так смотрят друг на друга незнакомые люди, да ещё разных возрастов. Однако дети приметливы, и я вскоре разглядел, что мужчина всегда курит мундштук набивной – по такому же принципу, из разного цвета кусков плексигласа, делались какими-то умельцами ручки к финкам – таким почти боевым ножам. Значит, получалось, этот человек имеет отношение к войне, такие приметы о многом тогда говорили.

Познакомились мы довольно скоро. В те годы мне была любопытна область труда, от нашей семьи чрезвычайно далёкая. Отец был слесарем, вер-

нулся с войны старшиной, дважды раненным, и устроился работать в мастерскую, мама всю жизнь отслужила в госпитальной лаборатории. А мне вдруг понравилось писать заметки для газет – этакое начальное репортёрство, наивное, впрочем, и бесконечно школярское. Я никуда не ходил, а посылал почтой свои сочинения, большинство из которых безвестно исчезали, но некоторые всё же появлялись в газете “Комсомольское племя”.

Поразительно – не только для меня тогдашнего, но и для родителей – я получал деньги! Пусть скромные – в 10, 20 тогдашних рублей, – но и это было истинное открытие. А слово-то какое почтенное означали они – не зарплата, не получка, а – гонорар.

Всё началось с того, что в 1950 году, как только снова стали издавать после военного перерыва областную молодёжную газету “Комсомольское племя”, я занёс в редакцию фотографию и заметку об авиамодельных соревнованиях. Материал напечатали.

Далее всё моё “журналистское” начало двигалось пунктирно, с большими перерывами, тем не менее, я, видать, был зачислен в некий актив и зимой 1951 года получил приглашение на областной слёт юнкоров. Меня приветили, обласкали, главный редактор Леонид Дмитриевич Мокеров в своём докладе упомянул меня, и там я ближе увидел того человека, которого часто встречал по утрам. Он был заместителем редактора, а звали его Овидий Михайлович Любовиков.

Разумеется, я сидел тихо, как мышонок, слушал речи старших, и хотя понять не мог, о чём бы мог писать для газеты, заниматься этим мне очень хотелось. Из того тёплого и ласкового ко мне собрания я сделал вывод: надо писать.

Теперь, встречаясь на углу Свободы и Коммунистической, мы с Любовиковым здоровались, довольно сдержанно, впрочем, но вполне доброжелательно. Я посылал в “Племя” свои заметки, заходил в редакцию бесстрашно, мне стали давать задания, и я их учился выполнять. Чаще всего виделся с Заболоцким, реже – с Мокеровым, с Любовиковым – совсем редко.

Скоро он из редакции исчез, но пересекаться мы не переставали. Я получал не только “Кировскую правду”, “Племя”, но и “Комсомолку”, и по её публикациям узнал, что Любовиков стал её собкором по Кировской области.

После школы я уехал в Уральский университет, на отделение журналистики. А Овидия послали собкором “Комсомолки” в Новосибирск.

5

После университета я приехал на работу в “Кировскую правду”, и довольно неожиданно мы с Овидием оказались вместе: он был заведующим отделом культуры, я – его литсотрудником.

Только много лет спустя я понял, что он, сам того не ведая, наверное, позвал меня за собой туда, где он сам ещё только начинал: в литературу. Впрочем, мы ни слова не произнесли на эту тему, хоть какого-нибудь намёка не было на практицизм, на взаимность кого-то к чему-то обязывающих отношений.

Меня же привлекло в Овидии главное его достоинство: не суетливость, не велеречивость, а спорое умение делать дело. Он приносил проблемы и адреса, сообща мы придумывали тему и находили авторов. Время от времени он предлагал мне поехать в командировку. Предлагал, но никогда не заставлял. А я летел во весь опор! Так сложились две мои первые очерковые книжки – слабенькие, совершенно газетные, но я о другом и не мечтал.

Сам Овидий шёл тогда к своей третьей по счёту, но первой настоящей поэтической книге – “Спор”. Это едва ли не полностью владело им. Мы вообще много говорили с ним тогда о литературе.

Пережив формальный успех своих первых книжек, которыми сам он был очень недоволен, он упорно двигался вперёд, и я благодарен ему за то, что становился, похоже, первым слушателем то одного, то другого его стихотворения.

Мне всегда всё нравилось, он очень сдержанно улыбался, потом день-другой что-то переделывал и снова читал мне, уже поправленное, усиленное. Но это было, замечу, нечасто: Овидий писал свои стихи неторопко, доводил их до возможного предела художественности, и чаще всего читал их в окончательном виде.

Он вообще очень нехотя открывался. Прежде чем доберётся до стихов, мы много чего обсуждали иного, так сказать, рабочего. И уж только после этого осторожно, искоса взглядывая на меня, наверное, приглядываясь, готов ли я к иным материям, он говорил, точно извинялся: “Вот один стих смастерил...”

И читал негромко, чтобы никто, кроме меня, не слышал. Да ещё оглянется — нет ли поблизости нежелательных слушателей.

Не стану утверждать, что я был его всегдашним первослушателем. Совершенно уверен, что таким слушателем, разумеется, была Агнесса Михайловна, его милейшая, всегда приветливая и очень открытая жена.

Потом судьба нас чуточку развела: Овидий стал заместителем главного редактора, а я вернулся в отдел информации, где работал раньше, и через какое-то время меня сделали редактором “Комсомольского племени”. А далее жизнь развернулась так, что я должен был уехать из Кирова, и не в Москву, как многие предполагали, а в прямо противоположном направлении. Да и куда? В Новосибирск, собкором “Комсомольской правды”, на то самое место, где в 1955 году работал Овидий Михайлович. Его там ещё хорошо помнили, особенно газетчики, ведь в Новосибирске действовал целый корпус собкоров центральных газет, чего в Кирове никогда не было.

Новосибирск показался мне тяжёлым городом. Раскинутый по двум берегам Оби, он отнимал тогда уйму времени на дорогу. А моя жена Лилечка, став и там ведущим телевизионным диктором, домой приезжала по ночам, когда заканчивалась программа, и сын наш Дима, маленький ещё совсем, детсадовец, был со мной: дорога от телестудии до Зальцовки у Ботанического сада, где я получил квартиру под корпункт, составляла километров двадцать.

Я тогда не раз вспоминал Овидия. Выдержать такую жизнь, — не говоря уж об абсолютно ином человеческом окружении, — выше сил! Несколько раз, возвращаясь в Киров за семьёй или заскакивая к родителям при поездках в Москву, я неизменно встречался с Овидием, и вот уж тут мы бродили с ним часами. Я рассказывал о Новосибирске, он — о кировской литературе, да и про жизнь вообще говорили часами.

Агнесса Михайловна всегда зазывала домой, была доброжелательна и неизменно приветлива, хотела всё знать о городе, куда она, слава Богу, не доехала, и я невольно убеждал её в правильности этого решения. Мне же в Новосибирске была важна главная задача, решить которую требовала редакция и которой в 1955-м, у Любовикова, ещё не было: рассказать о Сибирском отделении Академии наук и его звёздах, которым несть числа.

6

Однако тяжёлый город Новосибирск дал мне время для литературы. Там, ещё до получения квартиры, в гостиницах я написал несколько повестей и ранних рассказов. Вынашивались сибирские книжицы — прозы и очеркистики.

Полтора года в Новосибирске закончились переводом в Москву, в аппарат ЦК комсомола, откуда я скоро ушёл в “Смену” и семь лет кряду, год за годом, писал по новой повести.

Писалось мне лучше всего в родительском доме. Я приезжал в Киров, и по вечерам мы гуляли с Овидием. В 1974-м я заболел, после операции приехал к родителям надолго, на пять летних, включая сентябрь, месяцев, и, конечно, писал. И снова гуляли с Любовиковым: улица Коммуны (теперь Московская) от набережной до театра была нашей любимой дорогой.

Я запомнил то лето какой-то освобождённости. Моя литературная судьба уже как-то складывалась, и я обсуждал решение: не уйти ли мне после того, как закроют больничный, на вольные хлеба? Грядущая воля в ту пору мнилась свободой и независимостью, и Овидий поощрял меня с постоянной его деликатностью: а чем будешь жить, на что?

Пунктирно рассказывал о себе: если бы его не избрали секретарём отделения Союза писателей, в газете работать он уже не смог бы. И не был уверен, что вольные хлеба для него — правильный выход.

Я задумывался, ворочался по ночам, мы снова и снова гуляли на другой день и раздумывали не о высотах поэзии или прозы, а про наш грешный быт. Впрочем, это надоедало, и Овидий читал стихи. Не свои. Тогда модным было “возвращение” поэтов Серебряного века, и Любовиков прочитывал одно-два стихотворения. Потом умолкал, и как будто даже голосом другим “вспоминал” Тютчева, Лермонтова, Пушкина...

Имена эти святые, возвышенные будто раздвигали стены нашей жизни. Отступали тучи. Город наш милый приветливо оглядывал нас окнами знакомых домов.

В те месяцы, когда я надолго оказался дома после больницы, Овидий с каким-то особым, братским, наверное, дружеством относился ко мне; так же он отнёсся и к первому моему однокласснику, пришедшему к больничному порогу. Ни слова о болезни – только о жизни, о множестве нелёгких человеческих судеб и социальных проблем. Не раз он заходил на ул. Горбачёва, в дом моих родителей, и, думаю, уходил от них с тем же тёплым добром, с каким я уходил когда-то от его мамы и отца.

В человеческом дружестве, да ещё сложенном на схожих взглядах, моральная, если можно так выразиться, теплоотдача просто необходима. В сущности, температура отношений и есть сама дружба. Но, как известно, горячее быстро остывает, а вот стабильность тепла обеспечивает продолжительность отношений. Хоть это и смешно, но настоящая дружба сродни хорошо сложенной русской печке.

Овидий был, мне кажется, именно таким: постоянно тёплым человеком. По крайней мере, так он относился ко мне.

7

Потом меня утвердили главным редактором “Смены”. Теперь мы с Овидием гуляем не только по вятским улицам, но и по Москве, встречаемся на Пленумах Союзов писателей РСФСР и СССР, у нас появляются общие знакомые.

Именно тогда Овидий с настоящим восторгом говорил мне, к примеру, про Даниила Александровича Гранина, про то, как он пишет о научной интеллигенции, и за что он ценит этого писателя вообще – за рассказ о войне, за “Блокадную книгу”. Естественно, что я всё это знал, но вот познакомиться воочию с Граниним мне удалось только с помощью Овидия – они где-то общались раньше. С Граниним я дружу и по сей день.

Да и какой поистине классической плеядой выглядела тогда советская литература: Виктор Астафьев, Василь Быков, обожжённый танкист, поэт Сергей Орлов (“его зарыли в шар земной” – это о русском солдате!), Михаил Дудин, Егор Исаев, Юрий Бондарев. И у Овидия, и у меня с каждым из них были свои пересечения, но я всегда отступал, когда пожимали друг другу руки те, кого называли фронтовиками.

Бог ты мой! Думая про них, я всегда с неугасающим недоумением пытаюсь высчитать, сколько же было им, когда началась война и когда она завершилась именно для каждого из них. Могучий Бондарев закончил войну в 23 года от роду, пройдя Сталинград. Овидий пошёл воевать в 16 лет, а в его 20 с небольшим война закончилась.

Оглянитесь окрест, люди! Как и что происходит с нынешними людьми в 20, в 23 года? Что же и каким образом мы уступили – да и кому? – чтобы так беспомощны и непутёвы оказались новые человеческие поколения, по моему, неспособные повторить то, что столь обыденно и просто сотворили мальчишки Отечественной войны, лейтенанты, выжившие в буре?

8

Он был скромным, неговорливым человеком. Незнакомым и не знающим его казался замкнутым, но был открыт и ясен тем, кому доверял. Я видывал, увы, на своём веку поэтов, спивающихся от чувства собственного превосходства – как уязвлённого, так и превознесённого. Кстати, такие, как правило, относятся к временам, внешне мирным.

Однажды он во время моего приезда домой увлёк меня в Русский Турек, где жила в ссылке семья Александра Твардовского и куда приезжал когда-то классик. Любовиков добился, чтобы в местной школе установили памятную доску, волнуясь, произнёс речь – глубокую и возвышенную: пример того, как надо достойно ценить друг друга соратникам по поэзии и войне. Меня вовсе не поразило волнение Овидия – он был искренне преданным человеком.

Именно верность – одна из тем его поэзии, не единственная, но надёжная.

Не пытаюсь вдаваться в анализ его стихов, я просто скажу, что тема войны перешла у него в тему совести – вековечный поиск литературы. Стихи Овидия Михайловича о чести, достоинстве, подлинности – это его личная честь, достоинство, подлинность. Его личностные качества, и ни в коем случае не словесная декларация. Он вообще был далёк от всякого рода словесной шелухи, прежде всего, в своих стихах.

И какими же качествами надо обладать, каким воспитанием, чтобы жить просто, говорить скромно, до пафоса поднимаясь лишь в стихах, но ведь то стихи!

Когда Овидий Михайлович выступал как поэт, он мог подняться и до проповедничества, но чаще стремился ещё выше — к простоте.

Порядочность была не спутницей его, а сутью, и если его обвинят в каких-нибудь неправильностях, то эти неправильности были для него убеждением, а значит, правильностью.

Обижались ли на него? Почти уверен, что — да, потому что литература — тогда, кстати, ей было легче, а сейчас неумоготу по этой причине — движется рядом с нелитературой, всякого рода графоманией и словесной ложью. И Любикову, когда он возглавлял вятскую писательскую артель, приходилось отбиваться от мусора, посягающего на литературу.

9

Человек не живёт один. Вот и у Овидия Михайловича была — и есть — его не просто, как любят повторять нынче расхожее “вторая половинка”, — а его душа, его сокровенная суть, его любимый и любящий человек Агнесса Михайловна. Они встретились сразу после его возвращения из армии, женились, и комнатка без всяких удобств в деревянном одноэтажном доме, возле которого я встречал его, когда был школьником, стала их первым пристанищем.

Это надо понять по-особенному: уходя на войну, шестнадцатилетний мальчик даже и влюбиться-то не успел! И сколько их было — таких-то! Но это легко сказать. Легко заметить, когда тебя это не касается лично... А Овидий не только испытал такую возможную утрату. Много лет спустя он не скажет, а выдохнет сокровенное:

*И через столько лет — сойти с ума! —
Настигнет вдруг тоской неодолимой:
За всю войну любимой ни письма
Я не отправил. Не было любимой.*

Судьба не просто спасла его, не только провела сквозь войну, она стала благосклонна и к даруемому свыше — к его любви, наградив его этой женщиной.

Агнесса Михайловна всегда видится мне эталоном доброжелательности — такой и должна быть настоящая учительница. Но как же важно распространить это светлое сияние на всё, что вокруг: на мужа, на собственных детей, на всех, даже незнакомых, которым она сначала улыбается, а потом вступает в разговор. Не говоря про свет её, который обращён к друзьям.

Эта пара в моём представлении всегда была удивительно интеллигентной, приветливой, доброжелательной, прожившей просто и духовно многие годы. Вот почему я с особым поклоном к ней говорю Агнессе Михайловне самые преклонённые слова за годы, прожитые ею после ухода мужа. Она исполнила долг любви и преданности, издав несколько его посмертных книг, приняв участие в учреждении премии имени Любиковова и библиотеки его имени, литературных чтений на его родине. Любовь и долг, переплетясь, явились новым достоинством этой женщины.

10

Мне отчего-то кажется, что серьёзная литературная оценка так и обошла его стороной. Не то что книг, но и серьёзных статей с глубоким анализом его поэзии до сих пор нет.

Я полагаю, что в нашей литературе есть солдатский полк поэтов.

У каждого из рядовых этого подразделения — свой голос и, ясное дело, своя судьба.

Он уходит от нас, этот полк. Он выходит из этого времени в туман истории, отдаляясь от нас. Его голос всё реже слышат те, кто остался здесь, на земле, а особенно те, кого тогда ещё не было на свете. Они не знают голода, слёз, потерь. Они настраивают себя не на лишения, а на беспричинную благодать, что так или иначе, раньше или позже заставит их содрогнуться от непонятой беды.

Полк настоящих поэтов, не скрою, пополняется. Достойные поэты говорят сейчас о другом, но с той же, как поэты войны, тревогой. Поэтому шаги их слышны, хотя никогда ещё мир не нуждался так в сокровенном слове правды.

Отсражавшийся, но не умолкнувший поэт Овидий Любиков с нами.

Прибавим только голоса, когда читаем его стихи. Стихи солдата незримо-го полка.

МАКСИМ ЕРШОВ

ТИХАЯ ЧЕСТЬ

Известному самарскому поэту Евгению Петровичу Чепурных исполняется шестьдесят.

К юбилею дорогой нам поэт выпускает новую книгу стихотворений “Снежный человек”, почти сплошь состоящую из стихов последних лет, где нам будет явлено его дальнейшее развитие – из себя сегодняшнего в себя нового, другого. Ко всему времена таковы, что не очень знают своих поэтов. Потому не лишне сделать краткий очерк литературного явления по имени Евгений Чепурных.

Из глухих, как омут, девяностых годов Чепурных явился книгой “Маятник”, которую теперь не сыскать. Оба экземпляра, что были у меня, “ушли в народ” закономерно и непреложно – будто только затем и появились на свет. Уже тогда (2003) было понятно, что Чепурных поэт своеобразный.

*Что на Руси? Не таи.
— Господи, вьюга и вьюга.
— Как же там овцы мои?
— Господи, режут друг друга.*

*Вьюга и ночи, и дни,
След от могилы к могиле.
То ль осерчали они,
То ли с ума посходили.*

*Лютый, садись на коня,
Добрый, в слезах умывайся.
— Что ж они, верят в меня?
— Господи,
Не сомневайся...*

Диалог внутри стиха я назвал бы одной из ярких черт поэтики Чепурных. Как и все, поэт занят судьбами Родины. Но при этом главное место в стихах занимает не памфлет, а образ героя из народа, который “облюбован”, который нередко и часть лирического “я” поэта, и которому только и дана возможность вести диалоги, например, с Господом.

Вторая черта, которая выдаёт в Чепурных-поэте лирика по преимуществу – замирание времени. Зачем поэт прибегает к нему или почему оно происходит в той мере, в какой это замирание происходит у него?

*И кружилась птичка Божья,
И кидал ей крошки в снег
Незаевшийся прохожий,
Тоже Божий человек.*

*У него очки, как окна,
За которыми тепло.
У него нога промокла
И на сердце тяжело.*

*И, кусая от кусочка,
Птичка думала: Бог весть,
Может, маленькая дочка
У него в деревне есть.*

*И живёт она, как птичка,
И не знает ничего.
Вьётся по ветру косичка
Дочки маленькой его.
Потому он птичек кормит
И кидает крошки в снег.
— Плачешь?
— Плачу.
— Помнишь?
— Помню.
— Помни, Божий человек.*

Напомню, что поэт живёт в мегаполисе, и потому такая значительность такой незаметной сцены где-то посреди Самары может возникнуть только с применением специального “увеличительного стекла” поэта, сквозь которое и время частного момента принимает новое качество протяжённости, место и действие сначала ограничены донельзя, чтобы потом быть увеличенными.

В 2009 году в Самаре выходит следующая книга Евгения Чепурных “Перелётное счастье”. Время изменилось, хотя трудно говорить о том, что оно утратило свои глубокие родовые изъяны, избыло и изжило их. После всего, что сказано, написано, передумано русской литературой в предыдущие десятилетия, оставалось или повторять сказанное, добавляя и добавляя ярости словам, или... думать в глубину, зреть в корень.

*Жизнь прожил,
А всё не пойму,
Зачем я, как маятник, мерно
Качаюсь из света во тьму,
Из Света во Тьму маловерно.
Зачем, как в холодной зиме
Следы урожайного лета,
Ищу я в безжалостной тьме
Следы милосердного Света?*

Чепурных – известный иронист и даже участник и победитель поэтических конкурсов в этом формате. Он может и “показать себя” – своего героя – в его бесшабашном выходе. Заметим, что это выход “из себя”:

*Отчаяться сердцем
И выбежать вдруг
Из тьмы и безвестья
В сверкающий круг
И крикнуть:
— Не ждали, собаки!?
О, как у вас весело, чёрт вас дер!
Скорее согрейте меня изнутри,
Простите, что я не во фраке.*

*Простите, что малость помяты портки.
Привет, иноземцы! Хэлло, земляки!
Обиженный разум клокочет.
А та, что умеет сразить наповал,
Не хочет, чтоб ты её поцеловал,
А просто сидит и хохочет...*

Но горькая ирония Чепурных — это или самоирония, или юмор, который не бывает злым. Это никогда не издёвка, не отрицание, что говорит о позиции “лицом к человеку”, а не наоборот. Приятие человека и мира, и сумасбродной женщины, и любого маргинала — это философский ответ — христианство, в которое Чепурных неподдельно и творчески углубляется. Мы можем сказать, что это общий путь. Да, путь, пожалуй, общий, но у Чепурных он приобретает своё значение и подлинность именно в том, что этот путь пройден в мысли, в жизни, в душе, а не получен в наследство от традиции уже потому, что так надо, или хотелось бы, или принято. Будучи христианином во взгляде на мир, Чепурных остаётся поэтом. В одном интервью он говорит: “В любое время никто, по-моему, не видел счастливых поэтов. Это, наверное, складывается из самого их предназначения. Ежели поэту не хватает каких-то печалей или приключений, он их сам найдёт. Он так устроен. Потому что душа не оседлая”.

Если вам надоело писать стихи, читайте Чепурных, чтобы вновь поверить в поэзию. Лучший рассказ о Чепурных — это сам поэт, Его стихи звучат и звучат тонко, а не грохочут. Чепурных пишет не строками, а строфами, используя разные их виды. Он и по-советски разбивает строку, и классически использует “анжамбеман строфы”, то есть переносит предложение в следующую строфу. Он, если это требуется, пишет секстинами и возвращается к четверостишиям, использует свободные строфы. Но главное не то, что он делает это, а то, что он делает это со вкусом.

Его стихотворение, как правило, имеет протяжённость, объём и образное пространство. Алексей Смоленцев в статье, посвящённой Чепурных, пишет о явлении, названном болгарским филологом Нейчевым: органике, “капле” бытия в “капле” быта. “. . . Если стихотворение становится осуществлением любви, то всё выражается в нём, исчезают границы”, — пишет Смоленцев в одном месте. “Это сочетание (аскетика и ирония) становится у Чепурных художественным приёмом, одной из “несущих” (в терминах механики) сил художественного мира поэзии Евгения Чепурных”, — пишет в другом. Он очень прав. Я же хочу сказать, что если аскетика и ирония стоят труда разума и души поэта, то их реализация в стихотворениях стоит труда, в том числе чисто формального, словесного, над созданием особого пространства. Это понимаешь, как только почувствуешь ветерок на своём лице в конце какого-то отличного стихотворения.

Книга Чепурных 2009 года “Перелетное счастье” открывается стихотворением “Тринадцатая строка”:

*А когда задрожал в руке
Леденистый фужер, искрясь.
На тринадцатой
На строке
Кровь невинная пролилась.*

*Обожгла.
Обратилась в суть,
Испаряя животный страх.
Я не знал, что кого-нибудь
Будут резать в моих стихах.*

*Отвернулся на два глотка.
Думал: выпью — и все дела,
А тринадцатая строка
Кровью жертвенной истекла.*

*И теперь в тишине крутой
Я тянусь через все стихи
Окровавленную рукой
До четырнадцатой строки.*

*И всплеснёт она, как волна,
И уколет, как остриё.
И отмоеет меня она
От всего, что есть не моё.*

“Тринадцатая строка” Чепурных – это констатация максимума осуществления личности в миру, предела художественно-светской мудрости. Это ступень, на которой уже ясно чувствуется неизбежная раздвоенность поэта, имеющего сокровище своё, своё главное бытие вне быта. Раздвоенность, которая отступит лишь в момент выхода души из тела – в момент “четырнадцатой строки”...

*...Просто понял, что нынче могу
Через золото видеть пургу.
Непричёсанной глупой душе
Не положено умничать-думать.
Я не то чтобы умер уже,
Просто понял, что это — раз плюнуть...*

Это реализм, но реализм магический, овеванный теплом лёгким, как благословение. Лирический эпос, показанный сквозь увеличительное стекло. Жизнь всемирна, всемерна, неизменна, абсолютна и мудра – да, даже тогда, когда поэт не может удержать тяжкого вздоха! – жизнь мудра окончательно. И метроном её времени теперь похож на песочные часы: они идут, казалось бы, осыпая свою плоть – песок времени – вниз, оканчивая его... Но в освобождающейся верхней сфере этих песочных часов возникает и растёт пространство для неба, пространство освобождённого времени.

Но человек – процесс. И взгляд, постепенно обрастающий мыслью, – процесс. Принимая свою окончательную конструкцию, развёрнутую ввысь и вширь, и замерев своим материалом на ветру и дожде времени – этот выстроенный человеком за годы конструктор его духа попадает под действие закона усталости металла. То есть он мог бы остаться достаточно прочным и высоким только при условии дальнейшего роста... Но куда идти, если в своих логических основах мир души человеческой в масштабах тысячелетий вполне статичен, и неизменнее всего – в худшем своём? Если ясно, что люди не внемлют слову? Если единственным оправданием перед собой остаёшься ты сам? Можно только возвращаться назад, как это описал однажды Юрий Кузнецов.

И Евгений Чепурных “возвращается” туда, откуда не уйти никому и никогда – пока верен себе, пока жив... Может быть, однажды он станет писать стихи для детей. Кажется, для “снежного человека” и нет лучшего занятия, тем более сам автор говорит о всегда свежем снеге вечности, падающем на Россию с небес капитализма... Но мне показалось, что в этой метафоре у снежного человека есть место и для двойной иронии: и по отношению к себе, и по отношению к окружающим, для которых – что поэт, что снежный человек существо немислимое, несказанное. Всё чаще поэт снижает лексику, стараясь показать, что и снежный – он тоже человек. Усмехаясь над собой (да и над всеми), он разочарованно треплет фотографии быта... Поэт устаёт. И это признак его окончательной искренности и открытости временам, правда которых такова, что только самовлюблённая пошлость чувствует себя в них, как хозяйка. Но наступает момент, когда поэт замирает – у окна ли, у зеркала или на лавочке у подъезда – и его пафос, присущий ему, как пульс, требует слова. И вот уже мир вновь баснословен!

И тогда поэт говорит спокойно и размеренно, как бы “про себя”:

*...Он любит птиц, их щебет, свист и смех.
Из дома уходя — везде как дома.
Он просто есть.
Он просто смотрит вверх,
И всё ему там, наверху, знакомо.*

*Прощая любопытные носы,
Бредёт он, косолапя виновато.
А вслед за ним
Идут его часы.
Как тень. Как приручённые волчата.*

И дослушав его, окрестные галки взрываются аплодисментами.

Нижний Новгород

СТАНИСЛАВ ЗОТОВ

В СЕРДЦЕ РУСИ — КОЛОМНА

К выходу в свет восемнадцатого выпуска "Коломенского альманаха"

Когда-то великий русский поэт Сергей Александрович Есенин, проезжая из Москвы в Рязань коломенским шляхом мимо старинного русского городка Коломны, что так живописно раскинулся у слияния рек Москвы и Оки написал:

*О, пашни, пашни, пашни,
Коломенская грусть,
На сердце — день вчерашний,
А в сердце светит Русь...*

И сейчас, в наше суетное время, проезжая Коломну, из окна поезда видишь ту же картину: пашни, пашни, широкий разлив рек Москвы и Оки и над всем этим милым сердцу и чуть грустным, как правильно отметил ещё Есенин, видом — яркого золота купола соборов Старой Коломны, серые башни коломенского кремля, Бобренёв монастырь на самом окоёме. Русь... Видел эту картину Есенин, и родилась у него мысль, что здесь и находится сердце Руси.

Коломна — город с древней, под стать Москве, историей, испокон веков тесно связанный со столицей неразрывными родственными узами, да хотя бы тем же коломенским шляхом — первой в истории России постоянно существующей дорогой, появившейся ещё при первом московском князе Данииле, младшем сыне Александра Невского, когда Коломна была завоёвана Москвой и из состава Рязанского княжества перешла в подданство Москвы. Собственно, с этого и началось строительство единого российского государства, собиранье земель вокруг Москвы — с присоединения к Москве Коломны, а дальше закрутилось веретено российской истории!

Ныне Коломна — это один из ведущих промышленных центров Московской области, город процветающий и обновляющийся, о чём и сообщает нам с первой своей страницы журнал коломенских писателей "Коломенский альманах" — многостраничное, роскошно оформленное издание с яркой обложкой, с многочисленными цветными иллюстрациями, в том числе с репродукциями прекрасных акварелей художника Сергея Андрияки, немало своих картин посвятившего видам Старой Коломны. "Коломенский альманах" — это, действительно, уникальное издание, где на полутысяче страниц представлен самый широкий спектр современных российских писателей — и не только коломенцев. Тут мы видим произведения Владимира Крупина и Анатолия Парпары, Владимира Бондаренко и Евгения Шишкина.

Альманах посвящён 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, который не раз посещал Коломну, когда ездил в свои родные пензенские места; коломенский шлях, ведущий на Рязань, на Пензу, ему было не миновать. Может быть, где-нибудь под Коломной, он и увидел "...на холме среди жёлтой нивы чету белеющих берёз" – типичный для южного Подмосковья пейзаж?

Лермонтов... Да, первая колонка альманаха открывается вводной статьёй Александра Сахарова "Время Лермонтова", посвящённой памяти великого поэта, но не только. Не будем забывать, что 2014 год – это и год 700-летия Сергия Радонежского – величайшего русского святого, в переломные годы борьбы Руси за независимость и освобождение от ордынского ига ставшего истинной душой русского народа, средоточием его лучших нравственных качеств. Преподобный Сергий был тесно связан с Коломной. Не раз бывал там, своими ногами исходил великий коломенский шлях, когда хаживал в Рязань мирить московского князя Дмитрия и рязанского Олега. По его почину на высоком берегу Оки был основан монастырь, который зовётся теперь Староголутвинским. Золотые главки его хорошо видны всякому, кто проезжает по дороге из Коломны на Рязань. В альманахе помещено прекрасное многокрасочное изображение иконы святого Сергия, благословляющего князя Дмитрия на битву с Мамаем.

Поэтическую рубрику альманаха украшают стихи современного русского поэта, главного редактора столичного журнала "Москва" Владислава Владимировича Артёмова. Как не поверить проникновенному признанию поэта:

*Как давно я на Родине не был,
Это сказки, что я убит,
Русь моя! Я вернулся с неба...
Кто ещё тебя защитит.*

Поэт и должен быть защитником своей Родины, причём и малой Родины тоже. И, разумеется, творчество поэтов малой Родины, родной коломенской земли, представлено в альманахе очень широко. Можно отметить стихи колумчанина Михаила Валерьевича Прохорова:

*Пути земные на земле пойми,
Земным войди в блаженное единство:
Будь женщиной, а после в ней прими
Высокое признание материнства.*

Вообще надо отметить, что составитель альманаха, его главный редактор Виктор Семёнович Мельников, отбирает для своего детища действительно глубокие, серьёзные произведения, отмеченные печатью непростых философских раздумий. И не случайно. Он сам писатель мыслящий. Вот и рассказ его, помещённый в альманахе, "Догорала осень" – это непростая история старого человека, пенсионера, в прошлом конструктора двигателей тепловозов (в Коломне до сих пор действует знаменитый Коломенский тепловозостроительный завод), который вынужден подрабатывать вахтёром, так как жизнь пенсионеров в современной России не сахар. Этот старый человек находит своё краткое счастье, полюбив молодую женщину, но возраст берёт своё и тяжёлая болезнь укладывает его в постель. И только любовь преданной ему женщины поддерживает его в этой жизни... Печальный рассказ, с печальным концом, но исполненный истинной любви и понимания тайных движений человеческой души.

Виктор Семёнович Мельников – известный писатель. Свой опыт и знание литературы он в полной мере проявил как издатель "Коломенского альманаха", восемнадцатый выпуск которого вышел в этом году. Можно представить, каких и усилий, и трудов в наше меркантильное время стоит ему издание альманаха. Уж приходится поклоняться спонсорам и благодетелям, добывая средства на издание! Тем более все авторы альманаха должны испытывать глубокую благодарность к этому человеку за его труд. "Коломенский альманах" открыт для всех авторов России. Разумеется, талантливых... И остаётся пожелать Виктору Семёновичу, чтобы наполнилась талантами русская земля, а град Коломна оставался бы стоять в сердце России, как незыблемый оплот нашего национального духа.

АЛЕКСАНДР ОСМОЛОВСКИЙ

ЭТОТ НОВЫЙ ДРЕВНИЙ ВИД ИСКУССТВА

(О сценическом воплощении поэзии)

Пойми, наконец, что ты имеешь в себе нечто лучшее и более божественное, чем то, что возбуждает твои страсти, дергает тебя непрестанно.

Марк Аврелий

I

Новизна этой идеи – в возвращении к истокам.

“Слова поэта – суть уже его дела”, – сказал некогда Александр Пушкин. Когда-то, на заре театра, Слово было основным и единственным строительным материалом актёра. Больше того, на заре профессионального театра актёр не существовал отдельно от поэта – по той причине, что поэт сам исполнял свои произведения. В ходе Великих Дионисий Поэт-Актёр потрясал толпу трагическим действием выстрадавшего Слова. Разве случайно “поэзия” на греческом звучит как “действую, творю”? Поэт-Актёр. Запомним неразрывность этого словосочетания. Оно нам понадобится в конце нашего разговора. Великие Дионисии принесли славу последовательно – Эсхилу, Софоклу, Еврипиду. И с каждой победой власть слова увеличивалась. Даже Хор, эта уникальная среда, эхо исторических и психологических обстоятельств, этот камертон, настраивающий толпу на точное восприятие событий, постепенно терял свое значение, отступал перед возрастающей значимостью Слова. Поэзия не только имела арену, она сама была ареной борьбы страстей и мыслей человека с силами Рока и Судьбы. Впрочем, разделялись ли на заре театра эти два понятия – страсти и мысли? Нет, если судить по текстам великих драматических поэтов. Ведь мозг питается страстями. Тогда запомним еще одно неразрывное словосочетание – Страсти-Мысли. Чтобы победить в шестидневном поэтическом марафоне, Поэт-Актёр должен быть выдающейся личностью, многообразной и яркой. Он обязан был в совершенстве владеть приемами воздействия – на народ и правителей. И те, и другие, и это исторический факт, не только прислушивались к нему, но и боялись его власти. Не случайно слово Актёр произносилось с заглавной буквы, закономерно, что ему поклонялись, естественно выглядел поступок матери, подносившей младенца, дабы Актёр благословил ее дитя на жизнь. Великое Слово, которым владел Актёр,

не требовало бутафории и суеты. От Актёра требовались ум, понимание страстей человеческих, умение восходить на высоты Духа, благородство и естественная красота движения. Чтобы не отвлекаться от Мысли-Страсти, Актёр не тратил времени на бесконечную смену мимики и жеста. Жестов было немного, они были традиционными и производили прямое воздействие на многотысячную толпу. Главным же строителем действия был Голос Человека. Яркая определенность интонации являла глубокий жест души. Пластическая статуарность, немногословная значительность жеста, позы и движения, абсолютное чувство ритма и музыки слова, разработанная индивидуальность тембра позволяли Актёру беспрепятственно погружаться в Смысл произнесённого. Да, Актёр имел великую возможность не отвлекаться от Смысла. Но и великую обязанность – воплотить Слово – таким, каким оно задумано было Поэтом. Возможность обеспечивалась обязанностью. Страсть и Мысль пронизывали друг друга. И, может быть, главным героем спектакля была Страсть-Мысль Поэта. Безумие прорыва и совершенное владение собой, раскованность страсти и математика формы – этого требовал материал. Потрясение, то самое потрясение, которое через двадцать с лишним веков назовут на театре “делом природы”, “счастливой удачей”, – это самое потрясение было рабочей целью античного актёра. Как характерно, что всё, что в современном театре называют словом “действие”, происходило за видимыми пределами театра! Театр учил искусству чувствовать, думать, понимать, осмысливать. Внезапное постижение Истины, высекаемое прямым контактом Актёра и Зрителя, становилось ОСОЗНАННЫМ ПОТРЯСЕНИЕМ. Космический, нечеловеческий крик боли и отчаяния был жестко предопределен нотами текста. Античный Актёр, балансирующий на грани Рока и Судьбы человеческой, обязан был уметь отделяться от себя ежедневного, подняться над бытом, выйти из личной суеты, ибо рабочей средой для него было поистине все Мироздание. Десять, двадцать часов длился спектакль, и, когда напряжение достигало опасного предела, Архонт (член правительства, руководивший состязаниями) приводил в движение войска: для сдерживания страстей толпы или для наказания чрезмерной дерзости Поэта-Актёра. Что это было? Это было не просто искусство. Это было пророчество, сверхобщение гения и народа, экстатическое воздействие, сверхжизнь. Да, театр когда-то был истинной ареной поэтического Слова. И Поэзия была Хлебом толпы.

Перечитайте (а лучше прочтите заново тексты отцов Трагедии), потом проведите линию из глубины веков сквозь наш век и дальше. По пути вспыхнут звезды, которым не суждено угаснуть никогда, – Шекспир, Гёте, Байрон, Пушкин, Лермонтов, Шиллер, Пабло Неруда... сотни гениальных созданий высшего рода искусств – ДРАМАТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ. Не есть ли это ОСОБЫЙ МИР, требующий ИНОГО театра? Чем объяснить столь затянувшееся молчание большинства гениев драматической поэзии? Прислушаемся к горьким словам великих театральных деятелей начала нынешнего века: “Поэзия – это очень трудно, этого мы не умеем”. “Поэзия – это нечто другое” (К. С. Станиславский); “Мы не доросли до Пушкина” (В. И. Немирович-Данченко).

Какая завидная и поучительная честность!

А, может быть, к концу века что-то изменилось к лучшему для драматической поэзии? Найдена ИНАЯ, адекватная законам поэзии методика постановочной и актерской работы? Нет, и свидетельство тому – чрезвычайная редкость в обычной практике театра произведений высшего из искусств, диетантская слабость попыток и, как следствие, равнодушие зрителя. Что это? Упущение человечества, его несовершенство? Или осознанное нежелание высшего? А может быть, дело в качестве современного театра? Как бы то ни было, создания высшего духа не участвуют активно в формировании высшего типа человека, не воздействуют на наш небогатый гениями мир.

Что же говорить о поэзии ЛИРИЧЕСКОЙ? Правомерно ли, что вся она лежит за гранью современного театра? Мы не случайно употребили слово ЛЕЖИТ. Профессиональное, то есть соответствующее материалу, исполнение лирического произведения – чрезвычайная редкость среди актеров современного театра. Между тем как ЛИРИЧНОСТЬ зрелищного искусства – насущное требование времени. Когда-то великая русская актриса Вера Федоровна Комиссаржевская мечтала о создании Театра Души. Ее драматический талант отличался глубоким лиризмом, удивительной душевной тонкостью и чистой

тона – тем, что отличает истинную поэзию. Удивительно ли, что Вера Федорова прекрасно исполняла стихи? Не это ли ее качество привело к ней в театр гения лирики Александра Блока? Не поиск ли ИНОГО театра потребовал союза с магом театра Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом? Может быть, тогда, на репетициях ЛИРИЧЕСКОЙ ДРАМАТУРГИИ, начинался Театр Души, Театр Лирической Поэзии, Театр Будущего. Ясно, что такой театр может быть создан лишь внутри лирики. Как страстно рвался к театру Александр Блок! И какое горькое разочарование ожидало его. Но не было еще ТЕАТРА БЛОКА. Как нет еще ТЕАТРА ПУШКИНА. Как еще впереди ТЕАТР БАЙРОНА или СПЕКТАКЛИ-МОНОЛОГИ МАЯКОВСКОГО. Как случилось, что ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ, например, Павла Антокольского (“Франсуа Вийон”, “Робеспьер и Горгона”), поэта, всеми жизненными нитями связанного с театром, вышедшего из театра, – как случилось, что произведения, которые он считал лучшими своими созданиями, не нашли своего сценического интерпретатора? Ответ прост: современный театр не владеет жанром (по точному определению самого поэта) ДРАМАТИЧЕСКОЙ ЛИРИКИ.

Поэзию называют ПРЕДЧУВСТВИЕМ МЫСЛИ. Если это так, то воплощенная в звуке и пластике театра, звучащая и зримая, поэзия может стать предчувствием действия, внутренним обоснованием человеческого поступка. Интонация и жест есть ПОСТУПОК актера, художника-гражданина. Но и интонация, и жест, и расположение образов определены внутренней структурой поэтического произведения. И в этом залог неисчерпаемого многообразия работы актера. Поэзия не может быть постигнута единым среднеарифметическим методом, и, лишённая сугубо индивидуальной художественно-смысловой структуры, она теряет возможность воздействовать. Так называемая “театрализация” поэзии с помощью обычного набора традиционно-театральных или современно-эстрадных средств обкрадывает зрителя. В то время как ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ СПЕКТАКЛЯ УЖЕ СУЩЕСТВУЮТ ВНУТРИ ПОЭТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА. В поэзии не сработает общий, неизбежно усредняющий “профессионализм”. Ибо у Пушкина – пушкинский профессионализм, у Байрона – байроновский, и так далее. Поэзия со своим безумием внезапного проникновения в суть: мысли, страсти, настроения – и со своей математической, поистине научной точностью преодолевает хаос бытия и выделяет человека как ОСМЫСЛИВАЮЩУЮ СЕБЯ ПРИРОДУ. Поэзия вместительна и экономна. Она требует свободного дыхания и ювелирного владения интонацией – этим жестом души. Масштаб, широта дыхания и дотошное ремесло. В трехминутном стихотворении Пушкина – вся история страсти. В монологе Шекспира – подробнейшая летопись формирования человеческого поступка. В коротком вскрике еврипидовского Хора – полная мера предстоящей трагическому герою Отплаты.

Поэзия:

- учит мастерству, искусству чувствовать, мыслить, познавать и являть движения духа;
- очищает от бытовой шелухи, высвобождая энергию человека с целью лучшего ее применения;
- учит лаконичности и выразительности;
- организует душу, воздействуя ритмом, являя из хаоса вечное, выжитое историей становления Человека;
- отграничивает интеллект, оформляя индивидуальность, что способствует полноценному участию личности в сотворении настоящего и будущего;
- помогает гармоничному развитию тела, учит красоте, выразительности и уникальности жеста, формирует художественную (что означает высшую степень естественности) целесообразность движений;
- открывает в человеке способность к духовному взлету, высвобождая из-под груза вещей и догм;
- учит одному из высших наслаждений – радости творчества в любой области человеческой деятельности;
- наконец, и это, может быть, самое главное – поэзия ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ на основе бескорыстия и добра, справедливости и правды, уважения к опыту человечества, стремления к истине.

С небес поэзии всё:

- резче, четче, выразительнее, оформленнее;

- истиннее в значении и месте явления, мысли, страсти;
- шире в охвате событий;
- ощутимее в ходе времени и роли текущего отрезка века.

Мгновенное в неожиданной точке соединение вечного и сиюминутного, стремление к познанию скрытого смысла вещей и явлений и, одновременно, явление самых конкретных и теплых реалий текущего бытия – эти обычные достоинства великой Поэзии обещают сценическому искусству неисчерпаемые возможности.

А миллионы строк лирической поэзии мира, уникальное и бесценное богатство человеческого духа пылятся в книжных шкафах, являясь, в лучшем случае, услугой уединенного чтения. Как мечтали и мечтают поэты о прямом воздействии своего слова-дела! Но, повторяю, попросите любого, на выбор, актера современного театра исполнить лирическое стихотворение. За редчайшим исключением, вы не испытаете художественного потрясения, несмотря на то, что вы предложите уникальный, гениальный материал. Вряд ли актер виноват в этом, ибо его, во-первых, не научили, во-вторых, в общем, и некому учить. Да и незачем, ибо не требуется для повседневной “органики” театра. Что ж, пусть так и будет в обычном, знакомом нам театре. При одном условии – что он будет воздерживаться от драматической и лирической поэзии, ибо обычной “органикой” и приспособлением к “текущей злобе дня” поэзию не “взять”, происходит неизбежное усреднение гения, что дает зрителю право требовать возврата денег за купленный билет: шел, видите ли, на шекспировскую трагедию доверчивости и простодушия, а попал на обыкновенную коммунальную склоку, или шел на народную поэтическую драму, а попал на эрзац-шоу.

Художественная вечность большой поэзии обеспечена ее общечеловеческим звучанием, извечными проблемами ищущего духа и математической выверенностью ее НОТ. Метр, ритмические фигуры, рифмы, размер, организация звукоряда, синтаксическая структура и композиционное построение, система и характер акцентировки, главная мелодия-тема и вариации, перебрасывающие свои ажурные мосты к ассоциациям, основные цвета произведения (иная строка настолько интенсивно окрашена, что, читая ее, становится больно глазам), образы и их подача, среда, в которую погружены события, и так далее – короче, вся специфика художественно-смысловых средств, суть НОТЫ поэтического (да только ли поэтического?) произведения. Надо научиться их “брать” – и поэзия оживет. Зачем лишать человека Вечности? В самом деле, почему сотни раз проигрывает, распутывая такт за тактом, музыкант, играющий балладу Шопена или этюд Скрябина? Или у Пушкина и Грибоедова, у Чехова и Островского, у Ростана и Шекспира, у Брехта и Маяковского менее определенные ноты? Повторим, вечность произведения обеспечена художественной определенностью, и эта определенность может быть достигнута. Нет, нет, это не Сальери, разъявший музыку. Знание и понимание структуры художественного произведения – ОБЫЧНАЯ профессиональная обязанность режиссера. Такая работа, кстати сказать, спасет его от панического страха оказаться банкротом, если он не выдумает чего-нибудь ЭТАКОГО, ибо оживший в первоначальном качестве текст заиграет сам. У гениев явно есть что ОТКРЫТЬ. Театриной своей согласной магией в силах оживит вечное и воскресит душу Поэта. Унифицируя же и, следовательно, крайне обедняя гениальные создания, примитивизируя “под знакомое” жизненные ситуации, театр оказывает дурную услугу обществу. Ибо существует, в таком случае, опасность безнадежного отставания театра от ОБЫКНОВЕННЫХ людей, живущих живой, а не унифицированной жизнью. Но всегда впереди будет Искусство. Никогда не отстанут Эсхил, Пушкин, Блок, Брехт, Маяковский. Овладевая их художественным миром, мы, может быть, сделаем шаг в профессиональном совершенствовании нашего искусства, а может быть, и в социальном движении нашего общества. Вернее будет наша оценка происходящих в мире событий. Совершеннее и многообразнее станет наша повседневная жизнь.

А может быть – “всему свое время и место”? Был театр Шекспира и театр Мольера, теперь – “другие времена, другие нравы”? Зачем, мол, гальванизовать труп? Однако дело-то в том, что трупом как раз оказывается частенько “современный” материал и “современная” манера игры, общая для всех, тотально-тиражированная обучением и одинаковой практикой. Между тем как

постоянная работа с классическим материалом (особенно с поэзией с ее жесткими профессиональными законами) могла бы изменить суть сегодняшнего театра. А эту суть надо менять, если, конечно, мы стремимся к созданию высшего типа человека и высшего типа человеческих отношений. Впрочем, пусть всё остается по-старому. И тогда почему бы не создать параллельно существующему театру ИНОЕ искусство сценического воплощения Поэзии. Но для этого надо сфокусировать усилия тех, кто, так или иначе, профессионально или стихийно, стремится к этому.

Реализовать драматическую и лирическую поэзию без специально построенной методики нельзя. Этому надо учить. Не надо переучивать насильно – никого. Но организовать скромный на первых порах МЕТОДИЧЕСКИЙ центр, лабораторию, работающую на стыке поэзии и театра, насущно необходимо. Причем дело именно в том, чтобы начать создавать ее сейчас, не выжидая по обычному принципу: посмотрим, что получится, а там... решим. Ибо нет в этом жанре арбитров. Речь идет не об одном еще театре с таким-то лидером, новоявленным мессией, ибо это, как выясняется, не меняет общей театральной практики, не влияет практически на общий уровень театральной работы. “Мессии” восходят на театральный небосклон и скатываются по противоположной сфере, а обычный, рядовой театр ничего особенно и не ищет, ограничиваясь общим внутренним раздражением, апатией, мечтой о том, что “вот появится хорошая (“ходовая”) пьеса...”, или – “вот придет новый режиссер, творческий человек, и тогда мы...”, или – “вот пришлют из института молоденькую героиню с потрясающими данными и...” Так, вовнутрь, и разряжается накапливаемая тоска по Искусству, окисляя творческую среду. А дело-то в другом – в овладении вечно-юным и древним ИСКУССТВОМ, место которого уверенно занимает среднеарифметическое ремесло. И это искусство не восстановится и не возникнет стихийно, из случайных, разрозненных дилетантских попыток. Ему, повторим, надо учить. Нужна школа, последовательность, методика. Нужна помощь и заинтересованность государства. Чтобы усилия отдельных художников, обязанных делать то, к чему они призваны талантом, не превращать (в который уже раз за историю человечества!) в крестный путь.

Уже сейчас поэзия, большая поэзия является малодоступной. А чтение, допустим, Еврипида и Шекспира становится уделом литературной элиты, – то есть, в сущности, гении работают не по адресу. Вне сценического воплощения слова гения – драгоценности в сейфе, грани их не играют своим острым светом, не дышат, не воздействуют. Но, конечно, и не портятся. Они – ждут. Да, художественная вечность большой поэзии обеспечена. Но еще раз – вслушайтесь в такие знакомые актеру команды:

– Действуйте! Действуйте! К чёрту слова! Мараем! Дальше!!!

И великая мысль-метафора летит в мусорное ведро репетиционного зала.

– Попроще! Поестественней! Органичнее! Поближе сегодняшнему моменту! Не рассусоливайте, не разводите философию! Дальше!!!

И от великого духа и великой страсти не остается и следа.

Но самое “великое” – вот оно:

– К чёрту! Это – ЛИТЕРАТУРА! Книжки пусть читают дома! Дальше!!!

И гении – замолкают. Они просто уходят. В другой город. Или в другую страну.

Может быть, почему бы и не помечтать, ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ ПОЭЗИИ когда-нибудь и ограничит власть дилетантства и невежества.

II

Итак, Лаборатория.

Идею лаборатории можно сформулировать двумя словами, и это опять будет взаимопроникающее словосочетание:

ПОЭЗИЯ-ТЕАТР.

Вот и название: Лаборатория “Поэзия-Театр”.

Содержание работы: практические исследования в области сценического воплощения поэзии.

Собственно, такая лаборатория уже создается практикой и нуждами театра. Отдельными попытками реализовать поэзию. Поэтому изучение удач и провалов в области воплощения поэзии, систематизация опыта – одна из задач.

Изучение законов сценического воплощения поэзии, овладение ими – основная задача. Практически это изучение должно проходить в работе над спектаклями, в которых могут принять участие и профессионалы, и любители. Тем более что стремление работать в области поэзии у профессиональных актеров очевидное. Ряд спектаклей, серия экспериментальных работ (театр стихотворения, театр поэмы, драматический спектакль-монолог, композиция) покажут зримый путь постижения этого вида искусства. Филологическая культура спектакля может быть обеспечена с помощью консультантов – профессиональных филологов.

На первых порах работу в Лаборатории будут вести всего два-три человека.

Далее. Лаборатория могла бы вести консультационную работу в помощь режиссуре и актерам, осуществляющим поэтическое произведение (созданию авторитета в этом смысле и поможет собственная работа лаборатории).

При Лаборатории целесообразно создать Студию Стиха, в которой могли бы заниматься и профессионалы, и любители. Содержанием работы Студии могут стать:

- изучение законов поэзии;
- знакомство с историей сценических интерпретаций поэтических произведений;
- встречи с мастерами театра и художественного слова;
- обучение основам сценической речи и сценического движения применительно к реализации поэтического материала;
- создание концертных программ.

На основе работы Лаборатории “Поэзия-Театр” можно было бы сфокусировать усилия актеров, режиссеров, музыкантов, художников, сценографов, – короче, всех творческих работников, связывающих свою работу с воплощением поэзии.

Теперь, чтобы избежать абстракций, необходимо вспомнить тот опыт практической работы с поэзией, который привел нас к осознанию необходимости Лаборатории. Работа началась почти двадцать лет тому назад и сразу же была связана с работой над словом. Литературный материал всегда составлял главный объект исследования и реализации.

Замечательно, что тоже двадцать лет назад, в 1960 году в Опле Ежи Гротовский организовал свою знаменитую Театр-Лабораторию “13 рядов”. Задача формулировалась: УЛУЧШИТЬ РАБОТУ АКТЕРА. Что и было сделано. Интересно, что главным объектом эксперимента устанавливалась актерская игра, А НЕ ЛИТЕРАТУРА. Кроме того, Лаборатория ставила задачу – исследование законов зрительского восприятия. Основной репертуара стала классика. Тогда особенно остро чувствовалось, что СЛОВА перестали быть универсальным средством общения между людьми. Больше того, слов надо было избегать, чтобы выразить нечто более сокровенное и существенное. Такая же тенденция (главное – игра, а не литература, главное – знак души, а не звук слова, главное – физическое действие, а не словесный поток) была и в наших театрах. Гротовский ушел дальше и очень быстро. Но у нас привычное забвение ценности Слова, ставшее, к сожалению, привычным, привело к ощутимым потерям в искусстве актера. Не говоря о том, что высшие сложности поэтического материала стали недоступными обычной практике театра. И именно ОБЩЕНИЮ, ВОЗДЕЙСТВИЮ это наносило удар. Еще бы, ведь вместо языкового богатства, определяющего всю систему общения, зрителю порой преподносилась поверхностная интерпретация, так называемое “собственное видение”, “свой взгляд на вещи”, “нужное сию минуту” и тому подобное. Знаменитый и тотальный “МЕТОД ФИЗИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ” выхолащивал подлинное, вечное, художественно-смысловое богатство драматической поэзии.

Однако и на этот раз мы уберемся от полемики с театром, в котором мы не работаем. Мы только скажем, что то, к чему стремился и стремится, мы надеемся, создатель Института Актера Ежи Гротовский, может быть достигнуто с двух точек: снизу и сверху. Первая точка – надежнее и основательнее и, возможно, требует больше усилий. Вторая точка – внезапнее и, возможно, не требует почти никаких усилий, кроме одного – предварительно пройти искусу Поэзии.

Однако встретимся мы на одной черте. КАК МЫ, ЛЮДИ, БУДЕМ ЖИТЬ, ДУМАТЬ, ОБЩАТЬСЯ?

С психологией зрителя как будто все ясно: если актер хоть на долю секунды почувствует себя избранным, его надо увольнять из театра. Со стороны актера еще яснее: как только зритель захочет потреблять искусство актера так, как потребляют, допустим, колбасу или вестерн, его надо вышвыривать из зрительного зала, как вышвыривают из бара подвыпившего купчика. Вот и всё. Короче, вряд ли надо изучать психологию зрителя. Знаю, что (как актер) чем больше ты зритель, тем понятнее твоя актерская работа. Смысл в том, что РАМПЫ – НЕТ. А есть – ЛЮДИ, собравшиеся кое-что обсудить.

А теперь – вопросы. Рожденные практикой работы с поэзией. Вопросы (и ответы), которые может разрешить профессионал. Лаборатория. Это – как открывают сердце. Делали, выходило, но не знаем – правы ли? Общение – было. Официальный успех и касса – тоже. Остальное – подлежит обсуждению. К которому и приступим.

Первый вопрос, который задают скептики (как правило, люди бесплотные, но, странное дело, имеющие вес), – а чем, собственно, отличается ВАШ ТЕАТР-ИНОЙ от обычного, работающего, выполняющего производственный план и... вообще, лояльного по отношению ко всему? Зачем новый вид искусства? Для кого? И чем грозит?

Вопрос, как видите, обширен.

Ответ же краток до чрезвычайности.

ИНОЕ ИСКУССТВО.

Или все искусства уже навеки созданы?

Второй вопрос. Если весь строй спектакля (стихотворения) предопределен внутренней структурой конкретного произведения, означает ли это, что два актера, читающие, допустим, одно и то же произведение, будут читать его совершенно одинаково? Пожалуй, на первом этапе работы – да, одинаково. А дальше?

Дальше это упражнение можно развивать в разных направлениях:

- подчеркнуть (выявить) личную тему данного актера;
- прочертить (тонко, не разрушая художественной целостности) нужную актеру задачу, доводя эту работу до критической точки, после которой конструкция начинает “трещать”;
- выявить возможности разных граней произведения (более существенных, побочных и т. д.);
- дать разное освещение, разную среду, резко отличные мизансцены и т. д.

Вопрос третий. Как уберечься от собственного житейского опыта, от своей бытовой сиюминутности, работая над классическим материалом? Как вернее разбудить тысячелетнюю память, дремлющую в каждом человеке, разбудить то, чего “не знал”, “не умел”, “не видел”, “не чувствовал”? Ведь нужен Гамлет, а не “я” в обстоятельствах Гамлета? Пока удавалось это проделать только через форму, не позволяя актеру этюдной работы, замены в рабочем порядке канонического текста своими (опять неизбежно житейскими) выражениями и т. п.

Вопрос четвертый. Если слово – главный материал спектакля, не превратится ли труппа в хор чтецов? Осуществляя Мольера в обычном театре (“Проделки Скапена” в обрамлении “Версальского экспромта”), мы определили, с рабочей целью, каждому актеру постоянное место на сценической площадке, не давая ему никакой возможности искать себе побочное “дело”, помогать себе приспособлениями, не имеющими оснований в стилистике Мольера. Актер должен был научиться максимальному использованию текста и ограниченного пространства. Постепенно он находил ту самую позу, которая выявляла его в качестве автомата той или иной страсти (порока, достоинства). Перемена поз под непрерывным “микроскопом” режиссера становилась основным мизансценическим принципом. Движение же имело силу катаклизма, групповое перемещение воспринималось как взрыв. Когда первый этап прошел, актеру было разрешено передвигаться в любую точку и занимать себя любым

приспособлением. Однако актеры от этой возможности дружно отказались. Может быть, им понравилось заниматься исключительно Мольером? Исключительное внимание к слову не позволяет идти по сюжету, мешает сводить несколько линий произведения в одну, среднюю, сквозную. Однако неизбежно “замораживает” тело. Тут – опасность скуки для глаза.

Вопрос пятый. Идея (проблема) образа превалирует над его внешностью. Возможно это? В этом отличие поэтического материала. Ибо важно не то, что он дядя Петя, с усами и с привычкой плевать на тротуар, а имеет значение лишь то, зачем он тут ходит по этой планете, что несет с собой, с чем пришел, куда уходит от мира и т. д. В сущности, спектакли ни разу не потребовали специального грима и поисков привычек и житейских манер. Урон не ощущался, но актеру обычного театра иногда трудно – он оказывается “голым”. Однако расширяется место для страстей-мыслей.

Вопрос шестой. “Вживание” в образ в этом искусстве оказалось ненужным. Однако возник термин – “вскакивание” в образ, мгновенное, и выход в любой момент. Есть опасность пунктирности. Техника ОЧУЖДЕНИЯ Брехта (“посмотрите, нет, вы только посмотрите, что он сейчас выкинет, этот мой персонаж!”) очень помогает. Можно иногда назвать работу с образом так: интеллектуально-чувственное исследование, публичное, данного типа.

Вопрос седьмой. Характер контакта со зрителем. Контакт почти всегда неконкретен, то есть актер лишь следит, чтобы не прерывалась нить, иногда может посматривать в зал, но не по значению мысли, а просто. Так мы разговариваем с другом, думая о своем-главном, лишь убеждаясь время от времени, что собеседник следит. В общем, работа на “втягивание” в смысл, а не на “выдачу”.

Вопрос восьмой. Исключительное значение придается ритму, как основному знаку состояния, в котором был поэт в момент создания вещи. Ритм – поистине царь и бог. Он должен дышать, вибрировать, быть чуть ли не одушевленным персонажем. Ритмы выдерживаются так же жестко, как, допустим, жанр. По сути, вся работа начинается с овладения ритмом строки, произведения, фрагмента. До начала осмысления. Есть опасность механистичности, звука стуквого.

Вопрос девятый. Оформление спектакля не несет бытовых нагрузок. Хорош прием елизаветинского театра: табличка с надписью “Лес”. Образцом может служить “Король Лир” Питера Брука. Необходим экстракт ситуации, а не иллюзия той или иной обстановки. В греческих трагедиях все “предлагаемые обстоятельства” обозначаются репликами и движениями Хора. В лирических драмах Александра Блока необходимо исполнять все ремарки, которые сами по себе искусство. Выполнить же их не под силу ни одному художнику.

Вопрос десятый. Сценическая площадка. Идеальной оказывалась площадка, открытая с трех сторон. Четвертая сторона – вогнутый по всему зеркалу гипсовый экран. Этим обеспечивалось качество звука, особый световой режим. Пространство обязательно должно быть объемным, а не закрытым наглухо сценическим ящиком. Работает все тело актера, а не только лицо. Вообще работа лицом к залу должна быть не более частой, чем работа, допустим, спиной.

Вопрос одиннадцатый. Особое значение в этом виде искусства играет самощенность, индивидуальная суть актера. Определенность, уникальность личности. При перевоплощении личность может скрываться, затушевываться. При воплощении же смысла образа актер думает параллельно работе (работе – не игре), демонстрирует даже свое отношение, окрашивает его эмоционально. В сущности, актер должен быть здесь солистом. Кроме того, ему приходится воплощать иногда несколько больших ролей в одном спектакле. Так, в “Гамлете” роль Клавдия и Полония исполнял один актер, и это обнаруживало интересные грани в образах, а актеру позволяло мыслить масштабно о сущности властителей.

Вопрос двенадцатый. Профессиональность рассматривается как высшее развитие и полное явление индивидуальности образа и исполнителя. То есть нет однотонной, среднеарифметической профессиональности, которая часто обеспечивает некую гладкость, “приличность” и только. Иногда может возникнуть ощущение разножанровости работы актеров, но это от непривычности, ибо чаще (в обычном театре) все бывает одинаково, даже выражения лиц одинаковые в некоторых зарепетированных спектаклях. Повторим, профессиональность есть максимальное выявление данной артистической индивидуальности.

Вероятно, мы будем иногда (или часто) говорить известные всем вещи. Но мы с этим встречаемся ежедневно, во многом сомневаемся, идем, в общем, ощупью.

Вопрос тринадцатый. Как учить, исходя из практики работы в поэзии, как обучать молодого актера? Может быть, попробовать методику, которую мы назвали “с небес поэзии”. От овладения строкой, малой поэтической формой, к драматическому монологу. То есть обучение актерскому мастерству начать со сложнейших вещей, с овладения законами звучащей поэзии. Ибо обыкновенная “органика” часто даже мешала воплощению поэтического материала.

Вопрос четырнадцатый. Бытовое правдоподобие, бытовая интонация, бытовой жест, узнаваемость, возможно более легкая для зрителя, в драматической и лирической поэзии лишь один из регистров. Органика диктуется здесь только материалом, что создает известные трудности для зрительского восприятия. Узнаваемости здесь может не быть, наоборот, ситуация бывает такова: ЭТОГО Я НЕ ЗНАЮ, НО, ЗНАЧИТ, ТАК МОЖЕТ БЫТЬ. Иногда поэтический спектакль зритель сравнивает с чтением необычной, даже странной книги. Если подойти с еще одной стороны, можно сформулировать так: не приспособление к “злобе дня” данного материала, а извлечение из суеты дня вечных человеческих страстей, мыслей, конфликтов. Если это удастся, возникает ощущение времени, звена в цепи мировой истории.

Конечно, вопросов неисчислимо много. Особенности воспитания актера поэтического театра, особые приемы режиссерско-постановочной работы, иные взаимоотношения со зрителем, и так далее, и так далее, — всё в этом искусстве сценического воплощения поэзии требует изучения, проверки, совместных поисков. Короче, необходима ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Оказалось, что изошрившаяся техника работы актера может “повисать” в воздухе, не обеспечивая контактов с миром на необходимых времени уровнях. Жесткие законы вечных произведений требуют специфически-изошренной техники, ограничивают безбрежную свободу самовыявления, приближая, однако, через овладение гениальным материалом к вечным ценностям человеческого духа и, в конечном счете, к объективности. История становления и развития человеческой личности на нашей планете получает свое наглядное выражение. Теперь уместно, может быть, вспомнить словосочетание ПОЭТ-АКТЕР. Через двадцать с лишним веков после Великих Дионисий гений лирической поэзии Александр Блок, мечтая о будущем типе человека, скажет так: ЭТО БУДЕТ НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК, НОВАЯ СТУПЕНЬ К АРТИСТУ. Так будущий театр получил рабочую формулу:

ЧЕЛОВЕК-АРТИСТ.

Какова же генеральная цель создания такой лаборатории? Цель на уровне мечты?

Цель такова:

ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВУ, СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ ДЛЯ СОЗДАНИЯ В БУДУЩЕМ ТЕАТРА ДРАМАТИЧЕСКОЙ И ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ.

Такой театр может явиться эталоном культуры в работе с поэтическим материалом. Театр же Лирики — вообще новый вид искусства, совершенно неведомый, но ожидаемый, однако, актерами и зрителями.

Если говорить образно, Театр Драматической Поэзии можно назвать Театром Духа, тогда как Театр Лирической Поэзии может стать Театром Души. Эти виды искусства, конечно, не противопоставят себя СОЦИАЛЬНОМУ ТЕАТРУ, а обогатят его иными, столь не хватающими сейчас возможностями воздейст-

вия, уточнят методы социальной организации. Если бы удалось в будущем создать творческий организм, способный воскрешать и пускать в работу для миллионов неисчислимы богатства поэзии, то, может быть, создадутся условия для прихода в наш трудный мир великого драматического поэта, который, в очередной раз, объяснит нам нашу суть. Новый, более совершенный тип человека, создается, в огромной мере, усилиями художников. Сейчас, как никогда, эстетическая неразвитость тормозит общее поступательное движение истории, ограничивает возможности во всех сферах человеческой деятельности. Нельзя упускать ни одной возможности, способствующей эстетическому совершенствованию. Тем более, такой громадной возможности, как мировая классическая Поэзия.

Повторим еще и еще раз:

– Надо оставить иллюзии, что сложившейся театральной практике под силу **СЦЕНИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ПОЭЗИИ**.

– Для выработки ИНОЙ техники необходима школа и метод.

– Одиноким энтузиастам вряд ли удастся что-нибудь изменить.

Хотя они уже начали эту работу и неизбежно будут продолжать ее. Ибо – пришло ВРЕМЯ.

Москва, 1980.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Теоретическая статья “Этот новый древний вид искусства” основывалась на личном опыте артиста и чтеца Александра Викторовича Осмоловского (1937–2013) и опыте театров, им создававшихся.

Он проходил режиссёрскую практику в прославленных театрах у ведущих режиссёров своего времени: у Николая Охлопкова в театре им. В. В. Маяковского, у Георгия Товстоногова в Большом драматическом театре, у Николая Акимова в Ленинградском театре комедии, у Леонида Вивьена в Академическом театре драмы им. Пушкина (Вивьен же был его преподавателем в Ленинградском театральном институте)... На Таганке по приглашению Юрия Любимова он ставил “Жизнь Галилея” со вторым составом и с Александром Калягиным в главной роли. Как потом вспоминал Осмоловский: “Я сразу же стал работать на серьёзном спектакле “Жизнь Галилея”, и Галилеем классическим был Саша Калягин: добрый, который не хочет из-за того, что “она крутится или не крутится”, терять свою жизнь, хочет продолжать научную работу, любит поесть, любит женщин, любит жизнь. Вот такой Саша Калягин. А Высоцкий был такой спортивный, стоял на голове. Но всё это было не то... И Саша Калягин выдержал конкурс. Мы с ним прекрасно подготовили эту роль. Но Любимов не дал ему сыграть... при активном участии Владимира Семёновича, который не выносил абсолютно никакой конкуренции...”

Ни в одном из профессиональных театров он не нашёл того, что искал (а главное – не нашел понимания своих исканий), но этот опыт не прошёл даром. На протяжении ряда лет Осмоловский разрабатывал собственные творческие принципы, которые и легли в фундамент его теории Поэтического театра.

К тому времени, как мы встретились, за его плечами было уже две попытки создания подобного театра – в Ленинграде и в Москве. Попытки эти остались на уровне лабораторных работ, которые были пресечены администрацией в обоих городах. И он пришел в Московский университет, в Дом культуры на Ленинских горах, в студенческую среду, как на самую благоприятную площадку для реализации своего замысла. Полагая, видимо, что этой реализации будет способствовать сама вольная атмосфера МГУ.

Перед приходом он набросал тезисы, которые полуиронически обозвал “Из речи, произнесенной в близком будущем на официальной церемонии открытия Театра поэтической драмы в Московском университете”. Сама же речь была вполне серьезной, а основные ее положения и стали тем фундаментом, на котором в течение двух лет строился наш театр.

“Итак, Университетский театр. Конечно, у него свои законы, и я не думаю подчинять труппу только своим театральным идеям. Для меня это, главным образом, счастливая возможность общения с моим главным зрителем. Обще-

ния творческого, то есть глубоко человеческого. Я хочу реализовать некоторые свои идеи, но только те из них, которые окажутся близки вам, которые помогут вам выразить свой внутренний мир, которые принесут вам радость, наслаждение поиска и реализации себя и своих идей. К овладению новыми художественными идеями можно прийти постепенно через ряд спектаклей (экспериментов, вынесенных на широкую арену).

Хотелось бы, чтобы Театр Поэтической Драмы помог самым разнообразным дарованиям индивидуально проявить себя...

Если у актера есть любимый поэт, любимая идея, надо найти эту форму и явить этого поэта и эту идею...

Но попутно (и обязательно) овладение стилем поэта, разработка голосового аппарата, выработка выразительного и лаконичного поэтического жеста. Не как цель, а как средство, как путь к гармонично развитому человеку, красиво и точно умеющему выражать мысли и чувства.

Постепенно из хаоса первого этапа (он не должен быть длинным) начнут проступать контуры будущего сплава театра поэзии и проблемы. Поэтическая драма – вот этот сплав. Театральное поэтическое действие (а не коллективное чтение стихов)...

Основное, чему надо учиться в новом театре (принципы художественные):

1. Ритм – царь. Ритм – бог. Ритм – основное. Ритмическая мелодия: героя, эпизода, представления. Обнажение гула-ритма.

2. Владение звуком (виртуозность голосового аппарата). Звук – основное вместе с Ритмом средство воздействия. Если Ритм – для себя, то звук – для толпы. В обычном театре регистры заключены в пределах бытовой правды. Здесь бытовая интонация лишь одна из многочисленных нот.

3. Жест как инструмент передачи сложных душевных движений, а не как средство дурацкой всеядной “органичности”. Владение телом – осознанное.

4. Самый краткий и самый эффективный путь воздействия – в овладении своей индивидуальностью. Здесь тайна истины искусства. Прямое выражение своей страсти-мысли возможно лишь самим собой. Уловить и выразить себя, внести свою ноту в мировую гармонию – нет выше наслаждения и нет большей пользы в творчестве всеобщей жизни.

...Работа началась над несколькими постановками одновременно, и первыми сценическими композициями стали “Музыка революции”, “Есть в наших днях такая точность...” (стихи поэтов, павших на Великой Отечественной войне, с вкраплением сцен “Разговор поэта с царем” Пушкина, отрывка из “Круглоголовых и острогололовых” Брехта, стихов и отрывков из “Большого завещания” Франсуа Вийона), “Реквием” (по стихам Федерико Гарсиа Лорки), пьеса Павла Антокольского “Франсуа Вийон”.

Особо стоит вспомнить “Музыку революции”.

Поначалу репетировавшийся спектакль состоял из двух частей: “Двенадцать” Александра Блока и отрывки из “Мистерии-Буфф” Владимира Маяковского в обрамлении его же стихов. Поэма “Двенадцать” предполагалась, как основное ядро, вокруг которого должен закручиваться весь революционный вихрь.

С чтения “Двенадцати” от начала до конца каждым индивидуальным голосом и с последующим разложением поэмы на голоса в унисон с изначальным замыслом Блока и началась работа над спектаклем. “Музыка революции” должна была воплотиться в музыке революционной улицы – во всем ее пафосе, вдохновении и кошмаре – улицы, которая не играла, но воплощала голосовым ансамблем двенадцати артистов. Выверялась каждая звуковая нота, искался адекватный смысл каждой интонации. Не монтаж, но симфония – такова была поставленная задача, для реализации которой требовалась особая работа над тонкими энергиями, отыскиваемыми в тексте поэмы, над собственными регистрами, над их перенастройкой по мере необходимости. Шел подбор музыкальных нот, наиболее полно передающих сокровенный смысл произведения, знакомого по школьным хрестоматиям и открываемого заново в постижении его подлинного величия.

– А Есенин? – спросил я Осмоловского на одной из репетиций. – Как можно воплощать музыку революции стихами Блока и Маяковского и игнорировать Есенина?

– Есенин? Подумай. Попробуй поработать над композицией. А потом отрепетируете и покажете мне, когда я вернусь с гастролей.

Он периодически уезжал на гастроли по России со своими индивидуальными концертами. И это была не только добыча хлеба насущного и не только индивидуальная концертная работа (о которой я еще скажу), но продолжение поиска того же синтеза мысли, страсти и музыки, над которым он работал и в “Театре поэтической драмы”.

В его отсутствие мы после нескольких репетиций достигли, как нам казалось, необходимого промежуточного пика в воплощении есенинского слова в общем хоре репетиционного катаклизма – и когда он снова появился в нашей небольшой репетиционной комнате – выдали, что смогли.

– Идите все сюда... – после недолгой паузы, внимательно посмотрев на каждого, перевел глаза на меня. – Сегодня твой день. Ты меня убедил. Есенин будет в “Музыке революции”.

Хорошо сказать – будет... Вся композиция была перекроена, переделана, но оставлены два “несущих” монолога, закольцовывающих ее и, по существу, определяющих весь звукомысл третьей части спектакля – монолог Хлопуши и заключительный монолог Пугачёва из есенинской драматической поэмы.

Двенадцатью блоковскими стихотворениями разных лет, как увертюрой к “Двенадцати” открывался спектакль. “На весенний праздник света я зову родную тень. Приходи, не жди рассвета, приноси с собою день...” – начальный аккорд. Далее музыкальная волна то взлетала вверх, то падала до перехвата горла на общем выдохе, и так вплоть до финальной ноты:

*А казалось... казалось еще вчера...
Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...*

Работая со мной над монологом Хлопуши (точнее, над двумя монологами героя, соединенными в один), он побуждал вчитываться, вчитываться и вчитываться в текст.

– Не пытайся форсировать голос. Держи строку. Если прочтешь ее целиком на одном выдохе, тебя будет слышно даже в дальнем углу зала. Орать, подражая есенинскому чтению, легко. А, между прочим, записывая Хлопушу на валик, он вынужден был напрягать связки. У тебя такой нужды нет. Вдумайся:

*Я три дня и три ночи блуждал по тропам,
В солонце рыл глазами удачу...*

В засоленной, практически мертвой почве! Три дня и три ночи! Может ли после этого твой герой кричать “героическим” голосом или, подобно Высоцкому, бросаться, не жалея сил, на растянутые цепи, которые держат его, чтобы не рухнул в зал?! Он еле стоит на ногах. Он говорит почти шепотом. А тебе все это нужно передать звуковой волной, где самая глухая нота должна отдаваться в заднем ряду. Показать? Думай. Включаешь собственные регистры, вдумываешься, и сам рождаешь свою ноту.

Одним из основных компонентов спектакля был общий хоровой звук, передающий эмоционально-смысловое наполнение в том или ином сюжетном отрезке, на котором “вышивалась” очередная реплика актера, причем и хор, и герой (тот, кто становился героем именно в данную минуту) вязали общую смысловую завязь, которая должна была дойти до зрителя как в хоровом, так и в индивидуальном звуковом посыле. Я не хочу называть найденное здесь Осмоловским “приемом” – настолько затерто и изгажено это понятие. Кроме того, “прием” – термин сугубо ремесленный. Ремесло почиталось необходимым, но никогда даже попытки не было поставить его во главу угла.

Все действие творилось звуком. Декорация творилась исключительно светом. Слово творило все художественное пространство спектакля, и диалог его участников с поэтом шел напрямую на глазах у зрителя.

И вот настал день прогона – 16 января 1976 года. Прогон в присутствии руководства ДК МГУ, которое должно было принимать спектакль.

“Это было Искусство!” – у меня до сих пор стоит перед глазами осветившееся невесть каким лучами лицо режиссера, влетевшего – именно влетевшего! – сразу по окончании спектакля за кулисы, и звучит в ушах его негромкий восторженный голос. Но было ли дело до Искусства тем, кто сидел в зале?

Не было. И быть не могло. Но должно было пройти время, прежде чем мы поняли это в полной мере.

Они в разговоре с Осмоловским сразу же начали “шить политику”, заявляя об “идеологической невыдержанности”. И о невозможности доведения спектакля в его настоящем виде до зрителя.

Чувство обиды и ощущение предельной несправедливости долго еще не проходило. Тогда мы не знали подробностей всей свистопляски, закрутившейся вокруг театра.

Еще до прогона, невесть какими путями, своеобразно препарированная информация о нашей работе достигла “дальнего зарубежья”. И в один далеко не прекрасный день “Свободная Европа” несколько раз преподнесла под вполне определенным соусом новость, что Театр поэтической драмы МГУ намерен поставить “Двенадцать” Александра Блока в “нетрадиционной и неординарной трактовке”. Как результат – беседа с режиссером в одном из кабинетов на Лубянке. И его последующая беседа с нами на одной из репетиций.

– Мы не имеем право сработать хуже, чем вещь написана. Мы обязаны обнажить все смыслы данного материала. Один сбой, и может пойти перекос в сторону примитивной антисоветчины. Этого не должно быть в принципе. Мы здесь собрались не ради дешевого политиканства.

В общем-то, он мог всего этого нам и не говорить. Но атмосферу, сгустившуюся вокруг труппы, он ощущал гораздо острее каждого из нас. И считал необходимым напомнить, ради чего вся наша работа.

Но уже заранее настроенная соответствующим образом университетская бюрократия не пожелала внимать никаким аргументам.

И дело было даже не в “артподготовке” вражеских голосов. Сам по себе спектакль внушил нашим зрителям непреходящий ужас.

Ситуация создалась воистину парадоксальная. С одной стороны – сами по себе произведения, печатавшиеся в однотомниках и собраниях сочинений поэтов, причисленных к классикам, при непредвзятом чтении волей-неволей вызвали вопрос: чем же была для России революция 1917 года? Этим вопросом заставлял задаваться не только Блок или Есенин, но и Маяковский, и их произведения, прочитанные в контексте времени написания, не могли не внушить ужаса и отвращения перед прошедшим революционным катаклизмом. Это если смотреть из относительно спокойных 1970-х. В то же время еще более углубленное чтение этих же произведений говорило о не избежности происшедшего, а гул природной стихии, их пронизывавший (и который мы стремились передать необходимым минимумом выразительных средств), напоминал о Роке древнегреческих трагедий, предопределяющем все развитие действия. С другой стороны эти же творения существовали в сознании наших “зрителей”, как исторические памятники, – вне их подлинного смысла, в эпоху, когда “революционный пожар”, почитай, четыре десятилетия как был потушен. О нем писали и говорили в окружении необходимых штампов, в точно выверенной системе координат.

Нам удалось то, к чему и вёл нас Осмоловский: воспроизвести реальную “Музыку революции”, симфонию революционной улицы. И этот гул опрокидывал всю “систему”. Слышать его явно не хотелось. В зале, наверно, стало по-настоящему страшно, как страшно было обывателю выходить на завьюженную улицу Петрограда января 1918 года. А последние слова спектакля – есенинские слова! – вопрошавшие, по сути: чья же стала революция...

Короче говоря, немедленно встал вопрос о дальнейшем пребывании нашего театра в стенах МГУ.

Мы продержались еще несколько месяцев. И эти месяцы были посвящены работе над “Франсуа Вийоном” Павла Антокольского, “Реквиемом” Федерико Гарсиа Лорки, началось чтение материала к спектаклю, который должен был называться “Три Слова”, и основу которого составляли “Слово о полку Игореве”, “Слово о гибели Русской земли” и “Задонщина” на древнерусском языке. Продолжали совершенствовать и “Музыку революции”.

Все это время, дабы пресечь множась и расползающиеся по МГУ слухи о некоей нашей “подпольной” работе, мы периодически устраивали открытые репетиции, на которые приглашали, в частности, артистов, профессиональных литераторов, специалистов по творчеству Александра Блока. Не от хорошей жизни пришлось пойти на это – Осмоловский не любил демонстрировать неоконченную работу. Память об этих репетициях особенно остро всплыла, когда я уже позднее оказался на открытой репетиции в Театре на Малой Бронной у режиссера, так и назвавшего свою книгу “Репетиция – любовь моя”. Анатолий Эфрос репетировал “Мертвые души”.

Та суэта, которую “творили” профессиональные артисты известного в Москве театра – с актерскими обмороками, с перебором режиссерских ходов, не имеющих никакого отношения к Гоголю – до сих пор иной раз всплывает перед глазами. Но самый замечательный момент был, когда Михаил Козаков, исполняющий роль Автора, вдруг сделал паузу и почти жалобным голосом обратился к Эфросу:

– Дайте мне здесь подумать.

В ответ раздалось совершенно истерическое:

– Не надо думать!!! Дальше!

Не преувеличивал несколько Александр Викторович, когда воспроизводил в своем трактате столь знакомые актерам “команды”: “К чёрту! Это – ЛИТЕРАТУРА! Книжки пусть читают дома! Дальше!!!” Вспоминается и реплика Эфроса на знаменитой дискуссии “Классика и мы”, когда на вопрос – “Зачем посредничество?” он буквально завопил:

– Без посредничества сидите дома и читайте!!!

“Открытые репетиции”, которые мы вынуждены были демонстрировать, ни по форме, ни по сути не отличались от обычных наших репетиций. Главным режиссерским рефреном было – “Думайте!”. Неточно взятая нота тут же возвращала актера назад, заставляла заново пройти мыслью долженствующий быть произнесенным текст. Найденный смысл сам диктовал нужную ноту.

По существу, мы этим отстаивали себя как оригинальную художественную структуру. Но остановиться администрация уже не могла. И вопрос был поставлен ребром. Режиссер не давал уволить себя по формальным причинам, – при том, что периодически до нас доносили “идею” отказаться от Осмоловского самим, – и нам тут же поставят нового руководителя. Само собой, об этом не могло быть и речи. До нас “доводили” слухи, что режиссеру на нас наплевать, что он хочет выдвинуться за наш счет. Мы продолжали работу. И тогда на одном из очередных совещаний было заявлено, что если театр “будет действовать в том же духе”, – все его участники будут отчислены из университета. После этого сам Осмоловский решил поставить точку.

“Прошу освободить меня от занимаемой должности по собственному желанию и в связи с моим глубоким убеждением в невозможности творческой деятельности Театра Поэтической Драмы в созданных администрацией ДК условиях”.

О том, чем он жил в преддверии последней встречи с труппой театра, лучше всего расскажут страницы его записной книжки.

Утром. Главная мысль – **овладеть обстоятельствами**. Всеми основными, особенно теми, которые внезапно могут поломать все...

О театре. Не надо травмировать ребят из-за этих преступных олухов в Университете. Пусть идея живет.

Надо все успокоить, пусть лечит забвение.

Уйти в академическую работу, зарабатывая концертированием.

Обратим поражение в выигрыш. В самом деле мы дали, делая “Двенадцать” в МГУ, высказаться ненависти бюрократии до дна. Клапан – открыли. И скажем им спасибо. Никаких реваншей, детские игры. Смертельная боязнь Искусства, непредвзятости – одинаковая черта буржуазии и бюрократии всех эпох. Пусть (пока) сидят в своих креслах. Изолировать их и никаких ближних малых стычек. Красота, форма, Искусство прежде всего. Эстетическое и нравственное воспитание личности. Духовное.

Мы – Театр Классической Поэзии.

Еще. Не надо призывать помощь извне, не надо кивать на Запад. Решать надо здесь и самим...

Последний сбор труппы Театра Поэтической Драмы МГУ.

Люблю эти последние минуты перед моментом перехода в Иное, перед окончательным оформлением уже прошедшей ситуации. И еще люблю, что не надо выдумывать, и изворачиваться, и составлять конспект, а надо сказать все просто, ясно и окончательно, и что есть, то есть...

Решение:

1. Театр Поэтической Драмы прекращает свое существование.

2. Театр переходит в общность людей-артистов. Нет горечи, нет распада, есть переход в иное.

Отныне артистическая судьба в руках самого человека, как стремление к совершенству, к индивидуальному богатству и индивидуальному профессионализму.

Не распад, а продолжение в ином.

Что исследовано?

- Драматическая симфония (Блок, Лорка)
- Свободная композиция (Вийон, Пушкин и т. д.)...

“Переход в иное” в той или иной мере осуществился в каждом, кто прошел период работы с Осмоловским. Во всяком случае, что касается меня, если бы не было Театра Поэтической Драмы, я не написал бы статью “Трагедия стихии и стихия трагедии”, работа над которой началась еще в университетских стенах – статью, где я впервые сопоставил есенинского “Пугачева” и шекспировского “Гамлета”, и с которой, собственно, и началась моя настоящая литературная работа. И все последующие мои статьи и книги во многом основывались на опыте нашего труда над звукомыслом произведения, над выявлением основополагающей “страсти-мысли” литературного материала.

Наше общение не прервалось да и не могло прерваться в дальнейшем. По договоренности с Павлом Антокольским мы репетировали сцены из его драматической поэмы “Франсуа Вийон”, написанной еще в начале 1930-х годов. Кстати говоря, во время одной из встреч с поэтом Осмоловский выразил пожелание обогатить действие драмы введением “женской линии”, которая способствовала бы углублению образа главного героя. Антокольский согласился, и так появился ряд сцен, написанных уже в процессе нашей работы, под общим названием “Девушка Франсуа Вийона”. Позже эти сцены были опубликованы в журнале “Дружба народов”.

Мы предполагали дать премьеру избранных сцен на юбилейном вечере поэта в Центральном доме литераторов в 1976 году. Но отношения между поэтом и режиссером начали резко охладевать. Антокольский (видимо, под воздействием организаторов вечера, для которых наша концепция показалась абсолютно неприемлемой) не принял в окончательном виде нашу сценическую трактовку его драмы. И в конце концов, Осмоловский вынужден был написать ему следующее письмо:

“Уважаемый Павел Григорьевич!

... На днях я встречался со своей труппой... В октябре мы начинаем новый сезон под крышей Института атомной энергии. Однако, к сожалению, работу над Вашим “Вийоном” мы вынуждены отложить до лучших времен, дабы не подводить Вас. Как-то мы говорили с Вами о компромиссах и о специфике Поэтического Театра. Я все же убежден, что компромисса с бюрократией быть не может (для меня и для того дела, которым я занимаюсь около 15 лет). Поверьте, это не незрелость, не умственная недостаточность и не малость возраста. Я также понимаю ответственность за своих актеров, которые работают со мной ряд лет. Тем не менее мы выбрали путь активный – репетировать, работать, но не “договариваться”.

Одним словом, мы в открытой оппозиции с существующими представлениями о функциях искусства. Времена сейчас трудные, но не очень, думаю, от ущемленности и подпольности мы уберемся. Что касается специфики поэтического театра (или, точнее, инога, чем тот, к которому приучен сегодняшний зритель), то я и мои товарищи убеждены, что ни Байрон, ни Пушкин, ни Шекспир, ни другие Поэты не могут быть явлены (и не были на достаточном уровне) средствами и “системами” привычного, бытово-просветительского, в общем, театра. Мне неловко утомлять Вас, но я считаю себя обязанным сказать сейчас все это.

Вы понимаете, конечно, что в этих условиях, было бы нецелесообразным мне и театру участвовать в Вашем юбилейном вечере. Горько писать все это, ведь до 16 января (выход “Двенадцати”) репетиции “Вийона” многое обещали, в феврале-марте работа шла полным ходом, но была прервана бюрократической свистопляской, вопреки мнению режиссеров, актеров, знатоков творчества Блока, бывавших на репетициях.

С глубоким уважением к Вам

А. Осмоловский

20 июня 1976 г. Москва”.

Что касается работы “под крышей Института атомной энергии”, то именно там были завязаны новые контакты, представлена “Музыка Революции”,

и началась работа по созданию Лаборатории “Поэзия-Театр”, принципы которой Александр Викторович изложил в письме вице-президенту Академии наук СССР Е. П. Велихову:

“Робкие, в связи со случайностью и скудостью технических возможностей, эксперименты показывают:

А) научно-организованное постижение текста – литературного, музыкального, зрелищного и т. д. – именно в процессе воплощения, возможно и резко усиливает воздействие;

Б) особая хорошо управляемая аудиовизуальная среда, концентрированная определенным образом атмосфера, в которую погружен воспринимающий, может стирать – пусть на время – стереотип в сознании, освобождать мозг от унифицированного бытового контекста, способствовать путем неожиданных ассоциаций переходу подсознательного в осознанное;

В) Слово, помещенное в особую, соответствующую замыслу-цели светозвуковую среду, воздействует однозначно, то есть, по сути, способно управлять сознанием.

Думаю, те, кто заинтересован в качестве и результативности воздействия (в отличие от организации просто успеха), меньше всего могут быть заподозрены в сальеризме, в подмене гармонии алгеброй. Хотя им и приходится туго в “эмоциональных потемках”, “неуправляемой сверхчувственности” и в прочих водоемах. Проблема в воздухе, необходимо дать ей стены и крышу. По сути дела, Лаборатория по изучению свойств звучащего слова в управляемой искусственной среде работает. В последнее время – благодаря любезности Центрального Музея космонавтики, ранее – в музее Скрябина... Идея эта Вам известна, без лабораторных исследований она неосуществима, без точного интеллектуального фарватера не нужна. А фарватер определен общей мировой линией духовной культуры, запечатанной в созданиях гениев человечества...

Аналогий и прецедентов в создании предлагаемой Лаборатории нет, и это – обнадеживающий фактор (не в административном, конечно, смысле). Речь идет именно о специфических исследованиях возможностей художественной информации, об исследованиях искусства со стороны НАУКИ ПЕРЕДАЧИ, ВОСПРИЯТИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ”.

Помимо упомянутых площадок, была еще одна площадка – в здании Литературного музея (Петровка, 28), в здании бывшего монастыря, где мы продолжали репетиции спектакля “Три “Слова”, совмещая театральную работу с историко-филологической, заново исследуя и ощущая звуковую, смысловую, эмоциональную основу “Слова о полку Игореве”, “Слова о гибели Русской Земли”, “Задонщины”, смыкая энергетику древних текстов с энергетикой сегодняшнего дня, выявляя в старых памятниках с о в р е м е н н ы й смысл.

Но лучшая работа Осмоловским безжалостно прерывалась, когда начались первые зачатки конфликта с администрацией той или иной площадки (причиной конфликта, как правило, было отсутствие понимания его сверхзадачи), или когда он чувствовал изменение атмосферы внутри самой труппы. Дилетантства он не переносил как такового, а слова “компромисс”, когда дело касалось основополагающих творческих замыслов, не знал вообще. Еще одну попытку обретения места для реализации своих замыслов он предпринял, обратившись во МХАТ к Олегу Ефремову. Стоит процитировать несколько фраз из письма Александра Викторовича:

“Олег Николаевич,

пишу Вам по необходимости: назрело...

Гельмановские пьесы, вампиловские сцены и т. п. – все это сделано прямо для “Современника”, если бы он пошел вглубь, внутри жизни общества, он после Вашего ухода не пошел, победило “мастерство”, сытость ремесла, антураж модного для определенного круга театра. Но театр, в котором Вы работаете сейчас, еще и художественный, и это еще большая и основная, кажется, вопрос! В чем именно проявляется художественное? В драматической поэзии – высшем, по Аристотелю, роде искусства. И этот высший род стучится, наконец-то, и в нашу общую театродверь...

Воплотиться в строке Пушкина, Есенина или Островского (он особенно “хитер” и непросто в поэзии своей, ни грамма не уступающей Шекспировской Музе) гораздо сложнее, чем “сыграть” правдиво лишь ситуацию – вежливо и “органично”, только “от себя”. И Пушкин, и Байрон, и Есенин, и Брехт от-

вергли обычный театр, потребовали, чтобы театр переучивался на иной язык. Этот иной язык требует своей школы, методики, постановочных приемов своих и т. д., и т. д., и т. д. И тут, в Поэзии, как говорил К. С. (Станиславский. – С. К.), “системой” не взять. Помните, Леонидов сказал об одной неудачной постановке Пушкина: “Нельзя, нельзя Пушкина играть. Его надо читать в предполагаемых обстоятельствах”.

Этакие “поэтические” спектакли и “поэтические” приемы часто бывают сейчас удивительно наивными и неуважительными в структуре поэтического Организма, в глубинности Слова. Примеров – масса. Ну, скажем, душедробительный джаз-банд вместо народного эпоса в Ленкоме (“Звезда и смерть Хоакина Мурьеты” по Пабло Неруде). Или лихой растащенный сегодняшней злобой “дня” Пушкин на Таганке. Даже Э. Гарин, гениальный актер, не избежал катастрофы в “Горе от ума”. Ведь нельзя разрушать ритмическую структуру поэзии. Сцена должна идти ровно столько минут, сколько звучит поэтический текст. Расселся, разыгрался – и нет искусства...

Драматическая поэзия ставит вопрос ребром: что есть театр – правда скоропроходящего минутного быта или вечная кафедра совершенствования человека и общества. Вы решили общедоступность, но дальше ведь, дальше, решать теперь художественность...

А как читает стихи наш актер в общей массе? Не опасно ли для развития страстно-гражданственного театра то, что ему это умение не нужно? Сыграл – наивно, “свежо” – пару сценок, внешность для штата подходит – и хорошо.

Что же предлагаю я?

1. Подумать о назревшей (если мы хотим быть первым театром в мире) необходимости создания Студии Драматической Поэзии или, допустим, Творческого Объединения “Поэзия-Театр”. Пусть штат будет крохотным, но только серьезным это должно быть, серьезным. Законы сценического воплощения Поэзии есть, их надо открывать и изучать предметно.

2. Можно будет включить в репертуар МХАТа чистый жанр драматической Поэзии, осуществить профессиональную, по законам этого жанра и этого поэта (не по вообще театральным традициям), осуществить постановку-эталон. (Нельзя же отдавать Пушкина и Шекспира Таганке, ведь стыдно это, плохо для всех нас!)...

... Я сразу после института не пошел в обычный театр, скучно мне там было во время многочисленных практик. Пятнадцать последних лет Поэзия была моей жизнью, профессией, всем. Осуществил на Центральном Телевидении более 20 поэтических передач в свое время: Лермонтов, Пушкин, Никитин и т. д. После последнего спектакля “Дж. Байрон” я ушел, ибо надо было идти дальше, а дальше не пускали. Выпустил более десяти сольных спектаклей-монологов (Достоевский, Блок и т. д., последний в этом году – “Опыты драматических изучений” – Пушкин). Экспериментировал: Мольер, “Двенадцать” Блока в МГУ, там же Брехт, но перепугал администрацию.

Мечтаю осуществить “Снегурочку” Островского. Отчасти из-за этой драмы два года постоянно гастролировал (наряду с поездками по Союзу) по Костромской области. Сейчас в Островском и Щелькове заканчиваю последнюю неделю последних здесь гастролей. “Снегурочка” – мужественное язычески-корневое русское произведение, драматическая поэма, а не картинки из квасного быта берендеев...

Я очень долго жил этим, назрело это все, чувствую – можно теперь и надо теперь. Убивает дилетантство. Приступил было этой весной к работе над “Словом о полку Игореве” (давний замысел) в подвале монастыря в Литмузее. Но прервал. Самодетельность атмосферы убивает замысел.

Прошу Вас об одном – откликнитесь, я мнения Вашего ищу. Мне вот все говорят: найди “папу”, чего мучаешься. А мне (и делу этому) “папы” противопоказаны...

Ефремов на письмо не ответил.

Оставалось разрабатывать свою систему Театра Поэзии в сольных спектаклях.

Я был свидетелем работы над такими спектаклями Осмоловского, как “Человек с человеком” (по рассказу А. Грина “Возвращенный ад”), “Исповедь великого грешника, писанная для себя” (Ф. М. Достоевский. “Подросток” и творческие рукописи), “Легенда о Великом Инквизиторе”, “Я искал голубую дорогу...” (стихи, поэмы, дневники, письма, статьи Александра Блока),

“Концерт для флейты-позвоночника” (В. Маяковский), “Обнаженные ритмы” (поэзия Африки, Испании, Америки. В основе этого спектакля лежал “лирический роман” нигерийского поэта Габриэля Окара “Голос”), “Темы и вариации” (Данте, Петрарка, Шекспир, Байрон, Пушкин, Лермонтов, Фет, Тютчев, Блок, Пастернак), “О Русь, взмахни крылами...” (Есенин)... Как он работал, в частности над Достоевским, дают опять-таки достаточно яркое представление его записи, позже вошедшие в книгу “Он и ты”. На протяжении жизни он написал несколько таких книг-размышлений.

“Заботился ли Федор Достоевский о том, например, чтобы “оставлять читателю возможность додумать самому”? Нет, не играл он в эти дурацкие жмурки. Он торопился, ему надо было успеть втиснуть в этот сюжет, вернее, в этот объем все, что накопилось, все до конца, не оставить на откуп ничего, до дна вычерпать, избить муку свою (и мира людей). Поэтому так насыщены ритмом его вещи, ему некогда, ему всегда некогда, никакого дыхания не хватает, если читать его честно, ибо то, как он пишет-живет, подобно затянувшейся короткой дистанции. Время – секунды, а расстояние оказывается сотней километров. Или бег начинаешь со скоростью, которую можно выдержать лишь на нескольких десятках метров, а дистанция растягивается нескончаемо, и остановиться невозможно. Инерция, поток, внутри которого ты оказываешься, – не сойти в сторону. Лихорадочное напряжение души, горячка, художественный бред и все почти всегда *об одном, в одно*. И проступает это одно сквозь хаос текущей жизни души только тогда, когда ты внутри, когда отдашься потоку. Отдашься потоку, чтобы избежать бессмысленной траты сил, чтобы остаться на грани, дышать, чтобы осмотреться и быть в состоянии овладеть обстоятельствами.

Да, начинать надо с того, на чем остановились те, кого ты признал, но понять надо *именно то, чего они не успели*, рассмотреть, по возможности спокойно, к чему они подошли. Если увидишь это, не бойся им подражать, ничего уже не бойся. И прибавь *только то, чего они не успели*. И тогда ПРОДОЛЖИТСЯ ЛИНИЯ. Чего же тебе еще?”

Об одной совместной работе здесь стоит сказать несколько слов.

Я предложил Осмоловскому для дальнейшей работы взять стихи современных русских поэтов, положив в основу композиции антологию “Страницы современной лирики”, составленную В. В. Кожиновым. Он предложил написать сценарий, что я и сделал по договору с Костромской областной филармонией.

Спектакль “Живое сердце России”, который позже объехал всю страну, состоял из двенадцати частей по числу поэтов – Юрия Кузнецова, Николая Рубцова, Анатолия Жигулина, Олега Чухонцева, Алексея Прасолова, Анатолия Передреева, Станислава Куняева, Николая Тряпкина, Василия Казанцева, Алексея Решетова, Владимира Соколова, Глеба Горбовского. Но наиболее запоминающееся представление состоялось 27 февраля 1983 года в Доме литераторов, когда выступление артиста предваряли стихи поэтов в их собственном исполнении. Вечере тогда приняли участие Жигулин, Казанцев, Кузнецов, Передреев, Лев Смирнов, Тряпкин, Чухонцев. Едва ли возможно забыть чтение Передреевым “Дней Пушкина” и “Беспощадна суть познания...”, Жигулиным “Бурундука” и “Кострожогов”, первое публичное исполнение Кузнецовым “Тайны славян”, тряпкинское пение... И чтение артистическое было в абсолютной гармонии с собственно поэтическим.

Из записной книжки Осмоловского. 30 сентября 1977 года.

“Идея моего театра (из недр поэзии) никогда меня не покинет (и после смерти физической). Однако время накопления не прошло. Торопливость реализации неизбежно приводит к скудости и к просто плохому театру, к эклектике, к вторжению старых форм и идей...”

Значит, опять все упирается в драматургию?”

20 июня 1977 года.

“О моем театре. Не надо ничего “лишь бы”. Искать прочное открытое начало...”

Главное. Сейчас я фактически вне официальной жизни.

Надо найти выход, найти легальную форму накопившемуся материалу. Оформить (чтобы внести) свою Мелодию.

Причем это может произойти в самом неожиданном месте”.

29 октября 1977 года.

“Спектакль – не запечатленный результат, а дымящийся, кровавый, свежий разрез: суть и способ обнаружения, идея и путь ее сотворения”.

Из книги “Он и Ты”:

“Сейчас я еще раз убедился, что замешан на народном, общечеловеческом. Чинно и скучно шел концерт в огромном зале драматического театра. И что-то произошло с моим выходом – зал засветлел, зажил. Овация, перелом вечера. И лица такие открытые, теплые, удивленные, очень глаза хорошо видны в темноте. Зал глаз. Глаза людей.

Да, не надо никому ничего “доказывать”, не надо полемики. Сам видишь, что на вершине? Ну, и достаточно. Значит, пора спускаться, на пиках воздух разрежен. Спускаться, скользить, в ущелья, в долины, отдохнуть и на другую вершину. Некогда пережевывать апофеозы. Умеешь? Значит, не уйдет”.

Из записной книжки. 22 декабря 1979 года:

“А главное – не отложить ли до следующего столетия?”

В следующем столетии он создал новую лабораторию-театр “Анаграмма”, где работал со школьниками на площадке одной из городских библиотек. Работал с ребятами исключительно над сольными спектаклями. И продолжал свою концертную деятельность.

Из записной книжки. 8 июня 2009 года:

“Нет.

= Ты не ушел из точки своей – долга своего на земле.

= Часы твои мерно подсчитывают.

= Ты знаешь, что надо делать и как.

= Официальное концертное продолжение (очень редкое).

= Главная задача – идти внутри себя к солнцу и в бездну – выполняется.

Надо продолжать.

Жест не должен тут же (или после слова) повторять смысл сказанного. Иначе Смысл тут же исчезает.

Еще раз – минимум жеста, не говорить в лоб – можешь наткнуться на тупые зрочки в зале. И потеряешься. Только текст и осмысление, даже без надежды быть понятым. Самая сильная Мысль и отсутствие полное жеста. Сказать в пол, в себя, в окно сбоку. Пауза. И дальше, дальше!”

* * *

Я не раз задавал себе вопрос – состоялся ли этот удивительный человек творчески, в полном объеме?

Как артист и тец, безусловно, состоялся. Он объездил со своими сольными спектаклями всю страну – от огромных концертных залов до домов культуры в глухих уголках и колоний строгого режима. Его знала и любила публика в разных концах Советского Союза, а потом и России.

Другое дело, что так и не был реализован на публике по-настоящему его главный замысел. Вопросы, которые он поставил в трактате “Этот новый древний вид искусства” и продолжал ставить в своих письмах-обращениях, в которых он продолжал развивать отдельные положения своей теории, были рассчитаны на продолжительный ответ в процессе работы, и он сам продолжал отвечать на них на протяжении всей жизни.

Он оставил разработки, которые однажды, думаю, все же найдут свое воплощение.

Когда Есенину после публикации “Ключей Марии” один поэт, недоумевая, задал вопрос: “Зачем ты это напечатал? Ты же здесь выдаешь все свои тайны”, – Сергей Александрович с приветливой улыбкой ответил:

– Ну что ж? Я ни от кого не таюсь. Пусть попробуют писать, как я. Я думаю, что это не будет плохо.

Может быть, найдутся художники, которые сумеют в полной мере реализовать то, что оставил после себя Александр Осмоловский.

Я думаю, что это не будет плохо.

Публикация и послесловие
Сергея Куяева